РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Русская литература

№ 2 Историко-литературный журнал 1993

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

О.Р. Николаев, Б.Н. Тихомиров. Эпическое православие и русская литература (материалы и постановка проблемы) (окончание) 3
Н.Л. Сухачев. Структура и функция в «Исторической поэтике» А.Н. Веселовского 17
Марена Сендерович (*США*). Антон Чехов: драма имени 30
Ю.А. Изумрудов. Горький и Клычков 42
В.М. Маркович. О лермонтовских реминисценциях в поэзии О. Мандельштама 63

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Письма Н.М. Карамзина к В.М. Карамзину (1795—1798) (публикация В.Э. Вацуро) 80
И. З. Серман (*Израиль*). Пушкин и новая школа французских историков (Пушкин и П. де Барант) 132
Н.Н. Мостовская. Повесть Тургенева «После смерти (Клара Милич)» в литературной традиции 137
Переписка К.Р. с Н.Н. Страховым (вступительная заметка, публикация и примечания Л.И. Кузьминой) 148
Письма К.Д. Бальмонта к Н.М. Минскому (публикация П.В. Куприяновского и Н.А. Молчановой) 187
Неосуществленный замысел Вяч. Иванова (публикация М.Д. Эльзона) 193
Л.Ю. Коновалова. Анкеты Дома Литераторов в Петрограде 196
Андрей Платонов. О первой социалистической трагедии (предисловие, публикация и комментарии В.В. Перхина) 200

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»

Из писем О.С. Бокшанской к М.А. Булгакову, Л.Е. Булгаковой-Белозерской и Е.С. Булгаковой (1930—1938) (публикация В.В. Бузник) 207
О Марсиевых ранах: поэт Бенедикт Лившиц (публикация Е.В. Лукина) 216

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

Г.И. Магнер. Когда написан Музейный автограф «Горя от ума»? 231
Г.М. Фридлендер. Об эпилоге поэмы Блока «Двенадцать» 233
В.Э. Молодяков. Источники двух эпиграмм 234
Г.Д. Зленко. О времени публикации некоторых произведений И.С. Соколова-Микитова . . . 234

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В.Н. Заневалов. Опыт биографии Ф.Д. Крюкова 237

ХРОНИКА

К.Ю. Лаппо-Данилевский. Юбилейные торжества, посвященные 250-летию со дня рождения Е.Р. Дашковой 241
А.А. Харитонов. Андрей Платонов в контексте своей эпохи (материалы IV Платоновского семинара) 243
В.Н. Заневалов. Научная конференция «А. Солженицын. К 30-летию выхода в свет повести „Один день Ивана Денисовича“» 251

Редакционная коллегия:

Н.Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
В.Н. БАСКАКОВ, Г.Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора),
А.А. ГОРЕЛОВ, Г.А. ГОРЫШИН, В.Я. ГРЕЧНЕВ, Н.А. ГРОЗНОВА,
Б.Ф. ЕГОРОВ, А.И. ПАВЛОВСКИЙ, А.М. ПАНЧЕНКО, В.А. ТУНИМАНОВ,
С.А. ФОМИЧЕВ, Г.М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М.Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

©Издательство «Наука», «Русская литература», 1993 г.

lib.pushkinskijdom.ru

О. Р. НИКОЛАЕВ, Б. Н. ТИХОМИРОВ

ЭПИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

(МАТЕРИАЛЫ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

(Окончание)

2

К вопросу об интерпретациях христианской этической системы в русской литературе второй половины XIX века (Гаршин, Достоевский, Лев Толстой)

Проблема соотношения евангельского и народного христианства исключительно остро поставлена в опубликованном в 1885 году в «Русской мысли» (кн. I—II) рассказе Вс.М. Гаршина «Надежда Николаевна». Своеобразным идейным центром, в котором как бы собрана в «фокус» проблематика гаршинского произведения, является эпизод, в котором один из героев, художник Гельфрейх, рассказывает о замысле картины, которую он мечтает написать: герой русского богатырского эпоса Илья Муромец, задумавшийся над страницей Евангелия. «И раскрыл он место о нагорной проповеди, и читает он о том, что, получив удар, надо поставить себя под другой. И читает он это место и не понимает. ⟨...⟩ "Как же это так, Господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят, или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать Твоих, Господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтоб грабил и убивал? Нет, Господи, не могу я послушать Тебя! Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться во имя Твое, ибо не понимаю я Твоей мудрости, а дал Ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не Тебя!.." ⟨...⟩ Илья — и Евангелие! Что общего между ними? — продолжает Гельфрейх. — Для этой книги нет большего греха, как убийство, а Илья всю жизнь убивал. ⟨...⟩ А ведь он святой. Видел я его в Киеве... Лежит вместе со всеми. И справедливо...»[1]

На первый взгляд может показаться, что в этом эпизоде евангельская мораль всецело и однозначно опровергается и отвергается. Действительно, такой силы удара по идее абсолютности христианских, евангельских моральных норм отечественная литература не вспомнит со времен выступлений героев больших философских романов Ф.М. Достоевского. Но точно так же со времен Достоевского трудно найти другой случай, когда так последовательно читательское восприятие и критика смешивали бы идейные позиции автора и героя, приписывая самому Гаршину полемический пафос его персонажа — художника Гельфрейха (в придачу очень односторонне истолкованный), а потом сетуя на то, что в финале произведения писатель будто бы отступает от своих собственных позиций. Если же рассматривать рассказ целостно, видя

[1] *Гаршин В.М.* Соч. Петрозаводск, 1954. С. 284. Далее ссылки в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

в названном эпизоде не «итог», а одну из важнейших идейных кульминаций всего произведения, говорить о творческой позиции самого В.М. Гаршина, а не Гельфрейха, то необходимо констатировать, что в «Надежде Николаевне» с исключительной остротой поставлена всеобъемлющая проблема противоречий и целостности христианской этической системы.

Илья у Гельфрейха впервые читает Евангелие [2] и не может постичь его в его целостности, понять, как он выражается, «мудрость» Христа. Все в нем восстает против этики нагорной проповеди, потому что она противоречит тому «голосу», который он «слушает» в своей душе и который ведет его в битвы; и в то же время Илья убежден, что этот «голос» дал ему в «душу» *тоже Христос*: «Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться *во имя Твое*, ибо не понимаю я Твоей мудрости, а *дал Ты мне в душу голос*, и я *слушаю его*, а не Тебя!..» (Курсив наш. — *О.Н., Б.Т.*). И нельзя сказать, чтобы это внутреннее ощущение героя было совершенно произвольным и не имело под собой почвы. Вступив в противоречие с одной стороной евангельской этической концепции, «голос», ведущий Илью, вполне определенно «корреспондирует» с другой ее стороной — с «наибольшей» (Матфей: 22, 39) Христовой заповедью — заповедью любви к ближнему. (Напомним: Илья готов простить и смириться, если ударят его, — «а если женщину обидят, или ребенка тронут?..») И когда Илья говорит: «Нет, Господи, не могу я послушать Тебя!.. поеду биться во имя Твое...», то он, с очевидностью, не отвергает Христа и Евангелие, но сама христианская мораль предстает его сознанию как глубоко противоречивая и внутренне разорванная. Весь жизненный опыт Ильи Муромца убеждает его, что для русского богатыря непреложное исполнение одной Христовой заповеди — «Люби ближнего своего как самого себя» (Матфей: 19, 18) — оказывается решительно невозможным без нарушения другой заповеди — «Не убий» (Матфей: 19, 19).

Столкнувшись с противоречиями христианской морали, не в силах понять и принять евангельскую этическую концепцию в ее целостности, Илья Муромец, не идеолог и не богослов, а богатырь, мыслящий поступком, в критической ситуации без колебаний сознательно отвергает непреложность одной из главных евангельских заповедей — «Не убий». Но в то же время он — подчеркнем это еще раз, — попирая в своих ратных подвигах евангельскую заповедь, проливая кровь «поганых», тем не менее искренне убежден, что его деяния как единственно возможное в данных конкретных обстоятельствах исполнение долга христианской любви — это служение «во имя» Христа.

Тот факт, что в замысле художника Гельфрейха с противоречиями евангельской этики сталкивается именно Илья Муромец, герой народного эпоса, ни в коей мере не является случайным, а выражает глубину гаршинского замысла. В дальнейшем «автокомментарии» Гельфрейх существенно уточняет идеологический контекст своего замысла. Это уточнение мы находим в его словах об Илье: «А ведь он *святой*. Видел я его в Киеве... Лежит вместе со всеми. И справедливо...» (Курсив наш. — *О.Н., Б.Т.*). Здесь исключительно важно, что богатырь Илья, который всю свою жизнь нарушал евангельскую заповедь («всю жизнь убивал»), народным сознанием воспринимается (и именно за это!) как святой. Тем самым, как бы получая «санкцию» народного мировоззрения, личное решение Ильи приобретает значение своеобразного «народного христианства» (религиозно-этической системы, иной вариант которой предстает в «Легенде о

[2] Этот необычный мотив: Илья Муромец, заточенный князем Владимиром в «погреба», за чтением Евангелия — находим в былине «Илья Муромец и Калин царь» (Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом. 4-е изд. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 526).

lib.pushkinskijdom.ru

двух великих грешниках» из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»[3]). А вопрос художника Гельфрейха: «Илья — и Евангелие! Что общего между ними?» — получает расширительное истолкование как вопрос о соотношении евангельского и народного христианства. И здесь уже не только Гельфрейх, но, бесспорно, и сам Гаршин сталкивает две эти этические концепции, выявляя принципиальное различие между ними, поверяя одну другой (уже в отличие от Некрасова, который это различие в своей легенде склонен скорее затушевывать).

Но здесь-то и встает со всей остротой вопрос о различении позиций автора и героя, Гаршина и его персонажа художника Гельфрейха. «И справедливо...», — говорит Гельфрейх по поводу утверждения святости Ильи Муромца, в принципе солидаризируясь с народным мировоззрением. (Хотя стоит, наверное, подчеркнуть, что в то же время Гельфрейх считает, что его картина призвана не столько дать решение, сколько поставить вопрос — такой, «чтобы он не давал людям покоя».) Какова же позиция Гаршина — автора рассказа «Надежда Николаевна»? Ответ на этот вопрос может дать только рассмотрение всего произведения в целом.

В финале рассказа главный герой Лопатин, защищая любимую и нравственно воскрешенную им женщину, убивает «эгоиста и насильника» Бессонова. «Автор как будто бы не осуждает его за это, — пишет авторитетный исследователь творчества Гаршина, — но героя осуждает внутренний голос. Лопатин держит ответ за свое преступление перед судом собственной совести, и этот верховный суд не оправдывает его».[4] И далее исследователь приводит завершающие рассказ строки из дневника Лопатина: «Меня не судили. "Дело" прекращено: было признано, что я убил, защищаясь. Но для человеческой совести нет писанных законов, нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь». Исследователь упрекает Гаршина за отступление от собственных позиций, выраженных в эпизоде с Ильей Муромцем и Евангелием. По нашему глубокому убеждению, никакого отступления нет, есть развитие основной идейной коллизии произведения. Недаром финал даже внешними скрепами прочно соединен с эпизодом Ильи Муромца, соотнесен с ним, запараллелен. Вплоть до того, что Лопатин убивает Бессонова каким-то бутафорским копьем, зачем-то находящимся в его мастерской (напомним, в сюжете Гельфрейха: «возьму *копье* в руки и поеду биться»). И уж никак нельзя считать случайным, что тяжело раненный Бессоновым, в бреду, Лопатин вспоминает гельфрейховского Илью. Но вот моральная проблема, воплощенная в образе богатыря, здесь, сейчас, непосредственно после совершенного им убийства, предстает в сознании Лопатина в каком-то новом повороте: «Это не то, — пульсирует в его мозгу, — это не тот вопрос, о котором говорил Гельфрейх» (с. 294). Совершив убийство при защите женщины от прямого покушения, движимый, *как и Илья*, чувством любви и сострадания, Лопатин вместе с тем, *в отличие от Ильи*, казнится муками совести за содеянное, страданием подтверждая непреложность для себя заповеди «Не убий», которую не в силах поколебать в его душе и бесспорная праведность мотивов его преступления.

Те самые евангельские заповеди, те стороны христианской этической концепции, которые в эпизоде с Ильей Муромцем предстали как разведенные и

---

[3] В «Легенде о двух великих грешниках» убийство кровопийцы и насильника пана Глуховского оказывается не только не новым грехом атамана Кудеяра, но, напротив, искуплением всех прежних, самых страшных, кровавых его преступлений. Как установлено исследователями, работая над «Легендой», Некрасов творчески переработал сюжет ряда народных легенд из цикла «Грех и покаяние», известных ему по публикации А.Н. Афанасьева «Народные русские легенды» (М., 1859). (См.: *Гин М.М.* От факта к образу и сюжету: О поэзии Н.А. Некрасова. М., 1971. Гл. 6: «Спор о великом грешнике»).

[4] *Бялый Г.А.* Чехов и русский реализм. Л., 1981. С. 344—345.

lib.pushkinskijdom.ru

противостоящие, сходятся в финале рассказа, но сходятся они не в сфере поступков героя, — Лопатин не может не броситься на защиту Надежды Николаевны, в возникшей ситуации он обречен на убийство самой своей любовью, иначе о любви просто не приходится говорить, — сходятся они в сфере его морального сознания. И страдание, которое несет в душе Лопатин, становится выражением и свидетельством подлинности этого схождения, подтверждением равной власти над его душой и заповеди «Люби ближнего...» и заповеди «Не убий».

Так в финале обнажается идейная конструкция всего произведения и, казалось бы, откровенно вставной эпизод об Илье Муромце и Евангелии приобретает в составе целого свое подлинное значение как контрастная параллель сюжету главного героя. Больше того, оказывается, что это главный проблемный узел рассказа «Надежда Николаевна». Глубинный смысл финала открывается только при его контрапунктическом соотнесении с эпизодом Ильи Муромца: столь остро обозначенное в замысле Гельфрейха как неразрешимое, противоречие евангельской этической системы в финале снимается, целостность евангельской морали восстанавливается, обнажая одновременно свою трагедийную основу. Все это в свою очередь заставляет под новым углом зрения взглянуть на моральную коллизию эпизода с Ильей и Евангелием и иначе отнестись к интерпретации художником Гельфрейхом его замысла. Однако прежде еще несколько слов об идейной конструкции рассказа в целом.

В гаршинском произведении есть еще один важный контрапункт. Главный герой Лопатин, так же как и его товарищ Гельфрейх, — художник. Он пишет картину, изображающую Шарлотту Корде в момент, когда «она уже решилась на свой подвиг-преступление». Два замысла, две картины — Гельфрейха и Лопатина — в их соотнесенности — это важнейший идейный контрапункт всего рассказа. Рассказ Гаршина называется «Надежда Николаевна». Надежду Николаевну, публичную женщину, художник Лопатин избирает единственно возможной моделью (настолько поразительно ее облик совпал с его замыслом) для воплощения на холсте образа Шарлотты Корде — «девы Эвмениды», как назвал ее Пушкин. Лопатин избирает Надежду Николаевну — «странное и несчастное создание с разбитой жизнью и страданием в глазах», страданием от глубокого и мучительного переживания своей греховности. Думаем, что в соединении на холсте в едином образе Шарлотты Корде и Надежды Николаевны — ключевая идея гаршинского рассказа: соединение решимости на преступление (для Лопатина Шарлотта Корде — «фанатик добра») и глубочайшего страдания от собственной греховности. Всевластность заповеди «Не убий» и здесь преодолевается в действии, но ее непреложность сохраняется для морального сознания преступающего.[5] Это в принципе все та же идея, которая воплощена и в финале гаршинского рассказа. И это «тот же вопрос», что поставлен в картине Гельфрейха, только решение ему дается принципиально иное.

В контексте всего рассказа, в соотнесении с образом Шарлотты Корде на картине Лопатина, с самим Лопатиным в финале, открывается: что не в неизбежном во имя любви к ближним нарушении заповеди «Не убий», но в полном отсутствии у Ильи малейшего ощущения драматизма этого решения, тени сознания греховности этого шага состоит подлинное отпадение гельфрейховского

[5] Вряд ли возможно утвердительно сказать, что в образе Шарлотты Корде Гаршин вносит в содержание рассказа какие-то аллюзии на современную русскую политическую действительность, но заслуживает внимания точное совпадение идеи лопатинской картины с мыслью Достоевского, сформулированной в связи с «делом Веры Засулич» в записной тетради 1880—1881 годов: «Засулич: "Тяжело поднять руку пролить кровь", — это колебание было нравственнее, чем само пролитие крови» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 57. Далее ссылки в тексте: том, страница).

lib.pushkinskijdom.ru

героя от евангельского христианства. Больше того, в контексте рассказа в целом, видимо, есть основания говорить (по крайней мере, поставить вопрос — такой, «чтобы он не давал людям покоя», как настаивал Гельфрейх), что не является христианской (или перестает таковой быть) и самоотверженная любовь к ближнему, но абсолютизированная и противопоставленная другим евангельским заповедям, ибо христианская этика — это не набор, не сумма заповедей, но их система, где каждая приобретает свое подлинное значение только в соотношении, в связях с другими и где значимо само «напряжение» между отдельными сторонами, отдельными гранями этой этической системы. А отсюда следует, что гельфрейховский Илья Муромец заблуждается, «атрибутируя» Христу «голос», который он слушает в своей душе.

Отметить этот факт оказывается немаловажным, так как уверенность Ильи в том, что он совершает свои ратные подвиги «во имя» Христа и что ведет его в битвы «голос», который дал ему в душу Христос, вполне определенно отзывается в народном восприятии Ильи Муромца как «святого» — не героя, но именно «святого», с чем соглашается, считая это справедливым, и художник Гельфрейх. И вот здесь-то капитальный пункт расхождений Гаршина и его героя. И тот и другой равно констатируют принципиальное расхождение между евангельским и народным христианством; но Гельфрейх при этом всецело на стороне народного христианства, с позиций которого евангельская этика представляется противоречивой и в конечном счете ущербной; Гаршин, напротив, восстанавливая в финале рассказа, как мы уже показали, целостность евангельской этической системы, с этих позиций вскрывает определенную моральную ущербность народного христианства. Заметим, что для Гаршина, автора «Четырех дней», видимо, значимо, что гельфрейховский Илья воспринимает врагов не как людей, а как «разных Тугаринов Змеевичей и Идолищ Поганых». Рискнем утверждать, что во всей русской классической литературе рассказ Вс.М. Гаршина «Надежда Николаевна» — это один из самых мощных ударов по идее «народа-богоносца», причем сделанный не с атеистических, а с христианских позиций.

После изложения Гельфрейхом замысла своей картины Лопатин с сомнением замечает: «...это лучше рассказалось, чем напишется красками на полотне. ⟨...⟩ Не выразят этого краски.

— Как не выразят? Вздор! Если не выразят всего, так что же за беда? Вопрос поставят... Постой, постой! — горячился Семен... — Ты скажешь, что вопрос уже поставлен? Верно! Но этого мало. Нужно задавать его каждый день, каждый час, каждое мгновенье. Нужно, чтобы он не давал людям покоя».

По существу, вопрос, который ставят и за решение которого берутся и гаршинские герои и сам автор, — это вопрос об абсолютном или относительном характере евангельских заповедей в системе христианской этики. Главный «нерв» вопроса — в определении условий, при которых нарушение заповеди оказывается не только не разрывом с Христом, но, напротив, собственно и является истинным подвигом христианской любви. А отправная точка всех построений — так остро воспринятая героями рассказа «разнонаправленность» «запретительных» евангельских заповедей, с одной стороны, и «наибольшей» заповеди любви к ближнему — с другой. При таком понимании нужно согласиться, что, действительно, ко времени создания «Надежды Николаевны» вопрос этот уже был поставлен в русской общественной (и художественной, и религиозно-философской) мысли. И пожалуй, наиболее глубоко и разносторонне — в творчестве Ф.М. Достоевского, прежде всего в его больших философских романах 1860—1870-х годов, от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых», а также в публицистических статьях «Дневника писателя» 1876—1877 годов. Причем острота и сложность вопроса выразились и в том, что в разных своих сочинениях Достоевский зачастую подходит к его разрешению с существенно различных позиций, вступая

lib.pushkinskijdom.ru

при этом как религиозный мыслитель и моралист с самим собой в «бездонные противоречия» (Д.С. Мережковский).

В каком отношении находится гаршинский рассказ к духовному наследию Достоевского? Сам писатель, приступая к работе над первым произведением своеобразной дилогии («Происшествие» — «Надежда Николаевна»), с некоторым даже удивлением признавался: «Оказывается, я склонен и способен разрабатывать его (Д⟨остоевского⟩) путь».[6] Это почувствовала и современная Гаршину критика, которая отмечала, что рассказ «Надежда Николаевна» написан «под небосводом Достоевского и в его атмосфере».[7] Однако в большинстве критических отзывов связь Гаршина и Достоевского понималась слишком плоско и прямолинейно: в поздних произведениях писателя, в том числе и в «Надежде Николаевне», видели лишь «перефразировку» «последних ненапечатанных сочинений графа Л. Толстого и сочинений — "Братьев Карамазовых", в особенности, — Достоевского».[8] При ближайшем рассмотрении, однако, обнаруживается, что, в целом действительно являясь в «Надежде Николаевне» продолжателем традиций Достоевского, Гаршин в то же время вступает в самую решительную полемику с рядом его идей, выраженных преимущественно на страницах «Дневника писателя» и связанных с позицией, которую автор «Дневника» занял по так называемому «восточному вопросу». Причем полемика эта, как мы постараемся показать, ведется Гаршиным вполне сознательно и целенаправленно. Забегая несколько вперед, можно сказать, что в «Надежде Николаевне» автор борется с Достоевским за Достоевского и с помощью Достоевского. И это не должно представляться парадоксом, спустя 20 лет сходным образом высказывался Д.С. Мережковский: «Только Достоевским можно обличить Достоевского; только Достоевским можно оправдать Достоевского».[9]

О «бездонных противоречиях» Достоевского в литературе о писателе, причем иногда с прямо противоположных позиций, писалось уже неоднократно. Одно из серьезнейших, прямо относящихся к нашей теме, так определил Л.Н. Толстой: «У него (Достоевского. — *О.Н., Б.Т.*) какое-то странное смешение высокого христианского учения с проповедью войны...»[10] Об оправдании и освящении кровопролития в публицистике Достоевского, явно вступившей в вопиющее противоречие с пафосом его художественного творчества, писал Д.С. Мережковский: «"Спасет ли пролитая кровь?" — ставит он (Достоевский в «Дневнике писателя» 1877 года. — *О.Н., Б.Т.*) тот же вопрос, как и в "Преступлении и наказании", и в области общественной дает тот же страшный ответ, как нигилист Раскольников в области личной: "разрешает себе кровь по совести"».[11] По-своему, глубже, поднимаясь над уровнем простой констатации, но со стороны этого же глубочайшего противоречия подходит к наследию Достоевского и В.М. Гаршин в рассказе «Надежда Николаевна».

Конечно же, не «как нигилист Раскольников» (хотя обнаруживаются и «общие точки») и уж тем более не «себе», но Достоевский в статьях «Дневника писателя» на самом деле «разрешает... кровь по совести», — разрешает почти так же, как гельфрейховский Илья Муромец в рассказе Гаршина, когда дело идет о защите и спасении «угнетенных и несчастных» от «поганых» — «братьев-славян» от турок-мусульман. Правда, взгляды художника Гельфрейха, которые тот развивает в рассказе при изложении друзьям своего замысла, естественно, не повторяют

---

[6] *Гаршин В.М.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. Т. 3. С. 156.
[7] Русская мысль. 1889. № 6. С. 58.
[8] Неделя. 1886. № 1. С. 27.
[9] *Мережковский Д.С.* Пророк русской революции // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 годов. М., 1990. С. 87.
[10] *Русанов Г.А.* Поездка в Ясную Поляну // Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 60.
[11] *Мережковский Д.С.* Указ. соч. С. 96.

lib.pushkinskijdom.ru

буквально религиозно-этические идеи «Дневника писателя»: гаршинский герой по-иному расставляет акценты, в чем-то более последователен, более определенен, даже более откровенен (об этом речь ниже), но в целом как художник Гаршин совершенно в духе автора «Преступления и наказания», «Бесов», «Братьев Карамазовых» создает в «Надежде Николаевне», в монологе Гельфрейха, законченный «образ идеи» (Бахтин), по отношению к которому идеи Достоевского-публициста, высказанные им в связи с «восточным вопросом», должны рассматриваться как реальный жизненный прототип. Гаршин обнажает то, что имплицитно присутствовало в позиции автора «Дневника писателя»; договаривает до конца то, чего Достоевский касался только мельком или о чем — сознательно или бессознательно — склонен был умалчивать; раскрывает в своем произведении возможности, кроющиеся в идеях Достоевского-публициста. Другими словами, Гаршин в «Надежде Николаевне» выступает как талантливый «художник идеи» (в бахтинском понимании).[12]

В черновых набросках времени работы над «Идиотом» Достоевский однажды записал: «Сострадание — всё христианство» (9, 270), — в том, очевидно, смысле, что всё христианство сводится к состраданию.[13] В другом наброске, уже последних лет жизни, он высказался иначе: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» (27, 56). Представляется, что в двух этих суждениях, которые соотносятся по противоположности как своеобразные «полюса», выразилось важнейшее противоречие религиозно-этического мировоззрения Достоевского. Замечательно, что во втором из суждений («Совесть без Бога есть ужас») как бы допускается возможность противоречия между совестью (состраданием) и Богом, их конфликт. Именно с такой ситуацией встречаемся мы в замысле гаршинского Гельфрейха, в обращении к Христу Ильи Муромца: «Нет, Господи, не могу я послушаться Тебя!», — когда богатырь сталкивается с тем, что Христова заповедь «Не убий» *ограничивает* проявления его любви к ближнему, его сострадание.

Движимый состраданием и любовью, гельфрейховский Илья Муромец сознательно и открыто вступает в столкновение с Христом, отвергает непреложность, абсолютный характер евангельской заповеди «Не убий». Именно в этой сознательности и открытости одно из важнейших отличий позиции Ильи Муромца в рассказе Гаршина «Надежда Николаевна» от авторской позиции Достоевского в его публикациях по «восточному вопросу» в «Дневнике писателя».

Среди всех публицистических выступлений писателя 1876—1877 годов своеобразие его позиции лучше всего позволяет уяснить полемика Достоевского с толстовским Левиным при разборе им восьмой части «Анны Карениной» («Дневник писателя». 1877. Июль—август. Глава третья). В одном из эпизодов романа Толстого между героями возникает спор как раз по вопросу «славянского движения». Левин выступает оппонентом сторонников движения, и в своем разборе Достоевский буквально набрасывается на него за это.

Кстати, на материале этой главы, в которой писатель, может быть наиболее определенно во всем «Дневнике», наиболее категорично, пишет о необходимости «убить турку» («Ну и убей!» — 25, 220), очень наглядно можно показать и

---

[12] См.: *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 97.

[13] Суждение это ни в коей мере не является у Достоевского случайным. В другой форме писатель не однажды высказывал эту идею. «Сострадание есть главнейший и может быть единственный закон бытия всего человечества», — заявляет, например, князь Мышкин (8, 192); «...надо любить ближнего как самого себя. В этом знании, в сущности, и заключается весь закон человеческий, как и объявлено нам самим Христом», — формулирует Достоевский уже от себя на страницах «Дневника писателя» (25, 204), и т.п. Именно за такое понимание христианства критиковал писателя К.Н. Леонтьев (см.: *Леонтьев К.Н.* О всемирной любви, по поводу речи Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 годов. С. 9—31).

lib.pushkinskijdom.ru

различие позиций Достоевского и героя его романа «Преступление и наказание», то позволит избежать буквального понимания слов Д.С. Мережковского о том, что автор «Дневника» «разрешает кровь по совести», «*как* нигилист Раскольников». Утверждая свое право на кровь, Раскольников, как он сам выражается, «принцип убил» (6, 211): доказал себе (и в этом главный итог всех его теоретических построений), что моральные нормы (в том числе и абсолютный запрет на убийство, евангельское «Не убий») — это фикция, «предрассудки, одни только страхи напущенные; и нет никаких преград» (6, 25). Достоевский же в «Дневнике писателя» нигде не покушается на евангельскую заповедь, не пишет об ее условности или относительности. Он о ней (и в этом главный пункт его отличия также и от гельфрейховского Ильи Муромца) просто как бы забывает; забывает настолько, что ему как будто даже в голову не приходит возможность религиозного, христианского объяснения отрицательного отношения толстовского Левина к войне, хотя тот, казалось бы, прямо говорит об этом: «...ни один человек, *не говорю уже христианин*, не может лично взять на свою ответственность начало войны...» (25, 208). Для Достоевского же это лишь какая-то патологическая «сантиментальность», но для него здесь как будто нет никакой религиозно-этической проблемы: «И вот, *как чувствительный-то человек*, он [Левин] и боится убить... турку» (25, 220).

«И что за бесчувственность рядом с сантиментальностью!» (25, 223) — восклицает Достоевский в ответ на возражения: «Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку» (25, 220). Писатель апеллирует именно к чувству, чувству сострадания, которое здесь у него оказывается «всеразрешающим»: «Убивают турок в войне, в честном бою, не мстя им, а единственно *потому*, что иначе никак нельзя вырвать у них из рук их бесчестное оружие. ⟨...⟩ А если не вырвать у них оружие и — чтобы не убивать их, уйти, то они ведь тотчас же опять станут вырезывать груди у женщин и прокалывать младенцам глаза. Как же быть? дать лучше прокалывать глаза, чтоб только не убить как-нибудь турку? Но ведь это извращение понятий, это тупейшее и грубейшее сантиментальничанье, это исступленная прямолинейность, это самое полное извращение природы» (25, 222). Мысль Достоевского здесь опирается буквально на те же аргументы и приводит к тому же выводу, что и мысль гельфрейховского Ильи Муромца: «Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят, или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать Твоих, Господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтобы грабил и убивал? Нет, Господи... Сяду я на коня, возьму в руки копье и поеду биться...» Но единство «пафоса» не исключает различия позиций, которое здесь состоит в том, что решение богатыря Ильи открыто и прямо утверждается в противоречии с евангельской моралью («Нет, Господи, не могу я послушаться Тебя!»), а Достоевский последовательно уходит от столкновения с Евангелием, обрушиваясь всей тяжестью своей аргументации на... героя «Анны Карениной», обвиняя его в «тупейшем и грубейшем сантиментальничанье». Хотя, возможно, в отмеченной рядом «исступленной *прямолинейности*» и содержится глубоко скрытый намек на догматическое понимание заповеди «Не убий». Если это так, то Достоевский фактически воспроизводит ситуацию, в которой неукоснительное соблюдение «запретительной» евангельской заповеди оборачивается «самым полным извращением природы» человека. Но открыто этого противоречия на страницах «Дневника писателя» он не касается (в отличие от своих художественных произведений).

Больше того, в публицистике 1876—1877 годов и периода «славянского движения» и времени русско-турецкой войны Достоевский вообще предпочитает обходить вопрос о том, что на войне надо убивать. Полемические страницы, направленные против позиции толстовского Левина, в этом отношении составляют, скорее, исключение. Но и они не нарушают общей тенденции «Дневника

lib.pushkinskijdom.ru

писателя», ибо и здесь главный акцент, так же как и во всей серии статей по «восточному вопросу», поставлен на другом — на «подвиге самопожертвования кровью своею» (25, 98) ради угнетенных и страдающих «братьев-славян». «К тому же, — пишет Достоевский, возражая Левину, — принужденный убивать турку солдат сам несет жизнь свою в жертву да еще терпит мучения и истязания» (25, 223). Складывается впечатление, что в логике Достоевского-публициста «в честном бою», где убийство врага неотделимо от самопожертвования (или, точнее, сопряжено с ним, так как в каждом конкретном случае совершается одно из двух, но что именно, невозможно установить наперед), — «в честном бою» *грех* убийства как бы «уравновешивается» (и тем искупается?) *подвигом* самопожертвования. Можно развить этот тезис, указав, что подвиг *самопожертвования* не сводится к простому риску потерять свою жизнь, но предполагает высокую и святую цель. Можно предпринять попытку установить характер отношений этой цели и средств ее достижения и т.п. Но важно подчеркнуть, что сам Достоевский этих положений не формулирует и в рассмотрение этих вопросов не входит. Самих этих проблем, повторим, для него здесь как бы не существует. В «Дневнике писателя», в статьях о «восточном вопросе», Достоевский словно намеренно резко сужает свой религиозно-философский кругозор. А это в свою очередь приводит к глубокому разрыву между его публицистикой и художественным творчеством.

Приведем один пример. Достоевский, в отличие от толстовского Левина, восторженно приветствует в «Дневнике» русских добровольцев, принявших решение отправиться в Сербию. Рассуждая в приведенной выше логике, в самом их решении, когда, по выражению Левина, «частный человек» «лично берет на свою ответственность начало войны», *подвиг* и *грех* как бы сосуществуют в едином акте личной воли. Но Достоевский вновь и вновь пишет об одном подвиге, не упоминая и намеком о грехе. Не так в романах. Сонечка Мармеладова, «вечная Сонечка, пока мир стоит», также совершая великий подвиг любви, принося себя в жертву ближним, мучается от сознания своей греховности, так как сама жертва любви для нее оказывается невозможной без нарушения евангельской заповеди. И Христос в «судный день» (в финале исповеди Мармеладова), обращаясь к Соне, говорит: «Прощаются... *грехи* твои мнози, за то, что возлюбила много» (6, 21. Курсив наш. — *О.Н., Б.Т.*). Но ведь Соня потому и совершила грех, нарушила евангельскую заповедь, что «возлюбила много»; грех явился формой и одновременно высшим проявлением ее любви к ближним. И тем не менее грех здесь не перестает быть грехом, не отменяется, а «прощается». Эта моральная диалектика так выражена в Евангелии в словах Христа: «Иже погубит душу свою мене ради, обрящет ю (её)» (Матфей: 10, 39). Причем для прощения оказываются равно необходимыми и любовь к ближнему, и сознание своей греховности, которое выражается в страдании, подтверждающем непреложность для грешника и в самом грехе евангельских заповедей. А взгляни Сонечка на себя как на героиню, проникнись сознанием совершенного подвига, поверь Лебезятникову, что она «имела право» (6, 283), и откажись от сознания греха и страдания — тут же и замутится ее светлый образ. Вот истинно христианское решение, которое Достоевский дает в своем художественном творчестве. (И именно эти традиции, как нетрудно заметить, развивает Гаршин, давая авторское решение проблемы в финале рассказа «Надежда Николаевна».) Но как раз сознания греха, сознания нарушенной заповеди Христовой и страдания от этого сознания при всей бесспорности жертвы, вызванной состраданием и любовью, — вот чего решительно нет в статьях Достоевского по «восточному вопросу»; и в этом глубочайшее отличие этики «Дневника» от тех моральных вопросов, которые даны в художественном творчестве писателя. Чем все это можно объяснить?

lib.pushkinskijdom.ru

В поисках ответа укажем первоначально на два обстоятельства, без учета которых полноценное решение представляется невозможным. Во-первых, это крайняя потрясенность Достоевского известиями о болгарских событиях. Без сомнения, имея в виду самого себя, он пишет в «Дневнике», что знает «одного господина, который о своих чувствах говорить не любит, но который, услышав, как одному двухлетнему мальчику, в глазах его сестры прокололи иголкой глаза и потом посадили на кол, так что ребенок все-таки не скоро умер и еще долго кричал, — услышав про это, этот господин чуть не сделался болен, всю ту ночь не спал и два дня после того находился в тяжелом и разбитом состоянии духа, мешавшем его занятиям» (25, 219). Во-вторых, это особая, отличающая «Дневник писателя» от собственно художественного творчества Достоевского его жанровая природа, которая включает в себя сильное публицистическое начало, предполагающее непосредственное воздействие на текущую действительность. Во взаимодействии оба эти обстоятельства и обусловили своеобразный характер статей писателя по «восточному вопросу». Самой жестокой реальностью художник трагического мировосприятия, создатель жанра романа-трагедии поставлен в положение героев своих собственных произведений, когда необходимо «не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что *вопросы неразрешимы*, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее» (6, 39). Подобно своим героям, Достоевский в *практическом* плане берется решать «неразрешимые вопросы». Видение трагических противоречий духовного бытия не облегчает, а, напротив, осложняет его задачу. Обращаясь к публицистике, автор «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов» идет на риск быть односторонним, покупая, однако, этой дорогой ценой так необходимую ему сейчас действенность.

Характерна реакция Достоевского на реплику толстовского Левина, которая прямо выводит все к тому же «больному» для «Дневника писателя» вопросу.

«— ...Теперь слышен голос русского народа, — говорит Кознышев, — который готов встать как один человек и готов жертвовать собой для угнетенных братьев; это великий шаг и задаток силы.

— Но ведь не жертвовать только, а убивать турок, — робко сказал Левин. — Народ жертвует и готов жертвовать для своей души, а не для убийства...» (25, 221). Достоевский буквально взрывается: «То есть, другими словами: "Возьми, девочка, деньги, жертву для души нашей, а уж братишке пусть выколют глазки. Нельзя же турку убивать..."» (там же). Чувство писателя более чем понятно, но ведь он сам позднее напишет: «Совесть без Бога есть ужас» (27, 56). В логике «Дневника писателя» «нельзя не убить» означает: «можно убить» — без каких-либо сомнений или вопросов. Неизмеримо сложнее обстоит дело в романе-трагедии Достоевского. Однако это далеко не всегда находит должное понимание в исследовательской литературе.

В статье, посвященной «нравственным основам публицистики» писателя, И.Л. Волгин пишет: «Достоевский с гениальной прозорливостью уловил в рассуждениях Левина зачатки того миросозерцания, которое получило в произведениях Толстого окончательное оформление лишь через несколько лет и стяжало ему славу "апостола непротивления". ⟨...⟩ ...Писатель (Достоевский. — *О.Н., Б.Т.*), которого его многочисленные интерпретаторы — и в России и за рубежом — почитали как величайшего поборника христианского смирения, отвечая на вопрос, поставленный разыгравшейся перед ним кровавой исторической драмой, со всей ответственностью приходит *к тому же выводу*, который через несколько лет сделает его любимый герой Алеша, вымолвивший свое знаменитое "расстрелять"» (курсив наш. — *О.Н., Б.Т.*).[14] Иначе говоря, исследователь отождест-

[14] *Волгин И.Л.* Нравственные основы публицистики Достоевского // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1971. Т. 30. Вып. 4. С. 318.

lib.pushkinskijdom.ru

вляет позиции автора «Дневника писателя» и его «любимого героя» Алеши Карамазова. Обратимся к тексту самого романа.

«Расстрелять!» — действительно говорит Алеша «с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата. "Браво!" — завопил Иван в каком-то восторге, — уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит...». Однако Алеша тут же берет свои слова назад: «Я сказал нелепость, но...» Иван перебивает его: «То-то и есть, что но...» (14, 221).

В этой ситуации ответить на вопрос о замученном генералом ребенке вопросом же: «Кто меня тут судьею поставил: кому жить, кому не жить?» (6, 313) — и устраниться от морального самоопределения — это действительно «полное извращение природы» и невозможно для «положительно прекрасного» героя, каким является Алеша Карамазов. В «Дневнике писателя» справедливо сказано, что те, которые «зажали уши себе и закрыли глаза на зверства и муки, которым подвергаются» беззащитные люди, — те «изменили Христу» (25, 124), так как это вступает в вопиющее противоречие с Христовой заповедью любви. И Алеша естественно отдается непосредственнейшему своему чувству. Но остановиться на этой своей первой, непосредственной реакции для Алеши, глубокого христианина, также невозможно: эта остановка в равной степени будет «изменой Христу». Недаром даже Иван, в восторге своем, замечает: «Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!» И Алеша, повторим, берет свои слова назад.

И.Л. Волгин бесспорно прав, отмечая единство реакции при решении Достоевским в «Дневнике писателя» и его любимым героем в «Братьях Карамазовых» одной и той же в принципе моральной коллизии — «Расстрелять!». И.Л. Волгин неправ, совершенно не принимая во внимание «обратное движение» христианского чувства Алеши. Ничего подобного Алешиному «Я сказал нелепость, но...» автор «Дневника писателя» не говорит и в рамках жанра в принципе сказать не может. Но как знать, не имела ли для самого Достоевского реплика его любимого героя в «Братьях Карамазовых» личного скрытого покаянного смысла?

Сложность, противоречивость реакции Алеши Карамазова, спровоцированного братом, глубоко не случайна: она выражает, что вопрос Ивана относится к разряду тех самых «проклятых», «неразрешимых» для христианского морального сознания вопросов, о которых Сонечка Мармеладова говорит Раскольникову: «И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать?» — в ответ на его вопрос: «...тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне?.. кому из них умереть?» (6, 313). И ситуации, заданные вопросами Раскольникова и Ивана Карамазова, и ситуация, в которую ставит толстовского Левина на страницах «Дневника писателя» сам Достоевский, — все это варианты своеобразной христианской моральной «апории», в которой выражаются трагедийные основы христианской этической концепции, — такой «апории», сущность которой можно лучше всего сформулировать, перефразировав слова героя романа «Бесы» Кириллова (в «Бесах» речь идет о совершенном насилии над ребенком): «И кто размозжит голову за ребенка, и то *плохо*; и кто не размозжит, и то *плохо*» (см. 10, 189).

Повторим, для христианского морального сознания это «неразрешимые» вопросы; если же они все-таки формулируются, то оптимальным ответом (в плане религиозно-философской рефлексии) является тот, который дает в «Анне Карениной» Левин, отвечая на прямой вопрос Кознышева: убьет или нет он насильника, если окажется свидетелем нападения на беззащитную женщину. «Если б я увидал это, — отвечает Левин, — я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперед сказать я не могу» (25, 218). Действительно, это нельзя без неизбежного серьезного морального ущерба «вперед сказать»: такие

lib.pushkinskijdom.ru

«проклятые» вопросы решаются не умозрительно, а только через действие и страдание. Характерно, однако, что Достоевский в «Дневнике писателя» не только не принимает, но и как будто не понимает смысл ответа Левина: «Значит, *не знает*, что бы он сделал! ⟨...⟩ Нет, пусть он (турок. — *О.Н., Б.Т.*) лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити» (25, 220). И это непонимание очень понятно. Достоевский опять здесь уходит от переключения вопроса в религиозно-философскую плоскость, от обнаружения его неразрешимости. А с другой стороны, поверх конкретного понимания реплики толстовского героя автор «Дневника писателя» не принимает левинскую рефлексию в данной ситуации в принципе. Потому что для Достоевского, как и для героев его романов, тут недостаточно только «страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы», — повторим это еще раз. А в Левине он не находит даже этого страдания. Верное сознание неразрешимости без морального ущерба таких вопросов в плоскости религиозно-философского умозрения оказывается для героя Толстого достаточным основанием для отстранения от себя самой необходимости их разрешения. «Строгое исполнение... закона добра»[15] фактически ограничивается Левиным «неделаньем зла»; это придает его позиции (хотя бы на время) устойчивость, уравновешенность, действительно дает ему «спокойствие души»,[16] но и колоссально сужает его христианство. Отвечая на вопрос, заданный Левиным самому себе по поводу только что обретенного им нового мировосприятия: «Неужели это вера?», Достоевский записывает в подготовительных материалах к «Дневнику писателя»: «Не думаю, чтоб вера, но, однако же, нечто взамен ее *очень успокоительное*» (25, 254. Курсив наш. — *О.Н., Б.Т.*). Излагая замысел своей картины, гаршинский художник Гельфрейх как на «сверхзадачу» указывает на необходимость поставить в ней такой вопрос, «чтобы он не давал людям покоя». «Спокойствия души» — вот чего не дано, в отличие от Левина, героям Достоевского и самому писателю при столкновении с «неразрешимыми вопросами», и в конечном счете именно в этом глубинные причины неприятия позиции толстовского героя автором «Дневника писателя».

Для истинного христианина есть такие ситуации, когда нельзя не убить, но нет таких ситуаций, когда можно убить, — вот единственное решение, в котором сохраняется верность евангельской этике во всей ее полноте. Так сформулированное, это решение обнаруживает, в чем состоит односторонность как позиции героя «Анны Карениной», так и автора «Дневника писателя»: Левин абсолютизирует одну его (решения) сторону: нельзя убить, Достоевский — другую: нельзя не убить. Но в художественном творчестве автора «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» дело обстоит существенно иначе. Двойственность реакции Алеши Карамазова, о которой говорилось выше, как раз и объясняется с позиций этого христианского решения. По отношению к другой евангельской заповеди сходное решение принимает Сонечка Мармеладова, которая не может не «переступить» (так как только этим может спасти семью от голодной смерти), но не может и простить себя за это. Вот решение «неразрешимых вопросов», которое дает Достоевский-художник, поднимаясь над той односторонней позицией, которую в качестве публициста он занимал на страницах «Дневника писателя».

В общей картине религиозно-этического мировоззрения писателя позиция Достоевского-публициста тяготеет к тому «полюсу», который задан формулой: «Сострадание — всё христианство», но в ней же со всей наглядностью и обнаруживается, что оборотной стороной ничем не ограниченного сострадания оказывается «разрешение крови по совести». Сужая в «Дневнике» свой религиозно-

[15] *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 22 т. М., 1978—1985. Т. 9. С. 409.
[16] Там же. С. 402.

lib.pushkinskijdom.ru

философский кругозор, Достоевский уходит от осознания того, что так понятому христианству «тесно» в евангельских рамках, что возведенное в абсолют сострадание неминуемо должно столкнуться с «запретительными» евангельскими заповедями, о чем сам же он позднее скажет: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного». Но именно это столкновение, как бы продолжив «пунктиром» позицию Достоевского-публициста и вполне в духе Достоевского-художника, творчески воссоздает Гаршин в рассказе «Надежда Николаевна», разворачивая сюжет гельфрейховской картины об Илье Муромце и Евангелии, где движимый состраданием и любовью к людям герой предстает в кульминационный момент осознания им своего конфликта с евангельской этикой и принятия решения поступить вопреки прямому слову Христа. То, что скрыто и частью как возможность присутствует в позиции автора «Дневника писателя», обнажается и предельно заостряется в фантазии художника Гельфрейха.

Пожалуй, именно здесь, в этом пункте, и состоит ключевой момент творческой полемики Гаршина с идеями Достоевского-публициста. Но ограничиться только сказанным, при всей его важности, недостаточно. Выше уже говорилось о неслучайности того обстоятельства, что в «Надежде Николаевне» специфическая этическая идея нашла воплощение в образе героя богатырского эпоса Ильи Муромца, воспринимаемого народным сознанием как святой. Именно это художественное решение позволило писателю поставить в рассказе не только проблему противоречий и целостности христианской этической системы, но и вопрос о соотношении евангельского и народного христианства. При всей ее остроте и важности эта сторона проблематики «Надежды Николаевны» может показаться дополнительной и факультативной в замысле гаршинского произведения, но рассмотренная в плоскости полемики Гаршина с позицией Достоевского в его статьях по «восточному вопросу», она приобретает новую значимость.

В статьях по «восточному вопросу» Достоевский не только «разрешает кровь по совести» (процитируем еще раз Мережковского), но идет дальше, утверждая «святость» кровопролития: «Что святее и чище подвига такой войны, которую предпринимает теперь Россия?» (25, 99) и т.п. Нельзя не заметить, что и здесь, в утверждении «святости» войны, также предельно близки позиции Достоевского-публициста и гаршинского художника Гельфрейха, настаивающего на «святости» Ильи Муромца, который «всю жизнь убивал». И так же, как сам гельфрейховский богатырь, считающий свои ратные подвиги служением во имя Христово, автор «Дневника писателя» провозглашает, что «обнажить, если надо, меч» — значит «послужить Христу и православию» (25, 65). В «Надежде Николаевне» идеологическую санкцию для утверждения «святости» русского богатыря, подвиги которого сопряжены с нарушением евангельской заповеди «Не убий», художник Гельфрейх находит в обращении к народному мировоззрению. Но — и в этом состоит «гвоздь» вопроса — тот же «ход» к народному мировоззрению и с целью обоснования тех же идей делает и автор «Дневника писателя» Достоевский. Рискнем высказать предположение, что творческая полемика Гаршина с Достоевским-публицистом именно потому и «сфокусирована» в рассказе в образе Ильи Муромца, что, воплощая в замысле художника Гельфрейха специфическую систему этических представлений, писатель ставил задачу не только создать «образ идеи» (Бахтин), по отношению к которому религиозно-нравственная концепция «Дневника писателя» является реальным жизненным «прототипом», но и выявить духовные народно-христианские истоки этой концепции.

Нельзя не поразиться творческой интуиции Гаршина, точности его художественного решения. Дело не только в том, что в печатном тексте «Дневника писателя» сам Достоевский, по крайней мере дважды, и именно с целью кон-

lib.pushkinskijdom.ru

центрированно выразить сущность народного духа и народные идеалы, патетически обращается к фигуре «христианского богатыря Ильи Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых» (25, 69), «чтимого им (народом. — *О.Н., Б.Т.*) за святого» (23, 150). Еще важнее указать на существование у писателя нереализованного замысла посвятить целую главу в «Дневнике писателя» разбору народной былины «Илья Муромец и Идолище в Царе-граде», причем в прямой связи с проблематикой статей по «восточному вопросу». И здесь уже можно удивляться точности художественного решения Достоевского. Именно эта былина с ее постановкой вопроса о сущности христианского подвижничества, с ее контрастным противопоставлением подвига благочестия калики Иванища, совершающего паломничество в «святую землю», поклоняющегося гробу Господню и т.п., и истинно христианского подвига Ильи, освобождающего «святой город» от захватившего его «Идолища поганого», приобретает совершенно исключительное значение как своего рода «сердцевина», «ядро» того своеобразного «жития» святого подвижника, которое мы обнаруживаем в составе былинного цикла об Илье Муромце, и одновременно как квинтэссенция этики народного христианства. Этим и объясняется обращение Достоевского к былине «Илья Муромец и Идолище в Царе-граде», которая привлекла его не только почти идеальным совпадением своей сюжетной ситуации с современной политической действительностью, но — главное — совпадением своей религиозно-этической концепции с общим пафосом статей писателя по «восточному вопросу».

lib.pushkinskijdom.ru

Н. Л. СУХАЧЕВ

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ В «ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКЕ» А. Н. ВЕСЕЛОВСКОГО

Вынесенные в заглавие статьи термины «структура» и «функция» могут показаться анахронизмами применительно к методу «Исторической поэтики» А.Н. Веселовского,[1] который, по словам В.М. Жирмунского, руководствовался «*культурно-историческим принципом*», означавшим для него «связь развития литературы с развитием общества в целом, взгляд на литературу как на отражение общественной жизни, включение ее закономерностей в более широкие закономерности общественного развития».[2] Я не оспариваю правомерности этой оценки, хотя отчасти она обусловлена реалиями времени, диктовавшими и осуждение формализма, «пытавшегося опереться на авторитет Веселовского» в переориентации теоретического литературоведения «от истории идей к истории форм»,[3] и ссылки на глоттогенические идеи Н.Я. Марра, якобы «не без влияния Веселовского» осмыслившего общие процессы «социально-исторического развития человечества».[4] Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что А.Н. Веселовский, неоднократно упоминавший «успехи лингвистики» для подтверждения возможностей сравнительного метода «на почве литературы»,[5] ясно представлял эмпирическую ограниченность индоевропейской компаративистики, как и ограничения опиравшейся на нее «сравнительной мифологии».[6] Если искать аналоги тому «философскому обобщению исторического развития» (с. 44), к которому стремился Веселовский в замысле «исторической поэтики» («сравнительной поэтики», «исторической эстетики»), именно в контексте лингвистических идей, то более родственными ему окажутся не построения компаративистов, а фактически преданный забвению в индоевропеистике XIX века опыт «сравнительного изучения языков» В. фон Гумбольдта. Подлинная значимость его философии языка могла быть оценена лишь после того, как А.А. Потебня поднял вопрос о соотношении языка и мышления, важность которого в структуре «исторической поэтики» не требует комментариев. Тесно связанная с проблемой слова и его значения, эта тема является все же не столько лингвистической, сколько «антропологической» — в том объеме понятия, в каком оно фигурировало у Гумбольдта, наметившего задачу создания «новой науки — сравнительной антропологии», под которой он понимал «пристальную философскую оценку» человека,

---

[1] В языкознании и литературоведении соответствующие понятия получили распространение в эпоху ОПОЯЗа и Пражского лингвистического кружка.

[2] См.: *Веселовский А.Н.* Историческая поэтика / Ред., вступ. статья и прим. В.М. Жирмунского. Л., 1940. С. 8.

[3] Там же.

[4] Там же. С. 4.

[5] Ср. там же. С. 47—48. Далее ссылки на указ. изд. даются в тексте.

[6] См.: *Горский И.К.* Александр Веселовский и современность. М., 1975. С. 143—149.

lib.pushkinskijdom.ru

его «органической природы».[7] При этом на первый план выдвигается анализ отношений, формирующих структуры человеческого поведения, «деятельности» в самых разнообразных ее проявлениях — в языке, культуре, мировоззрениях.

Установка на исследование «природы» явлений, их генезиса и «глубинных структур» — это то общее, что сближает Веселовского с Гумбольдтом и отдаляет его от адептов сравнительно-исторического метода индоевропеистики XIX века с их односторонне понимаемым «историзмом» и верой в «традицию», с одной стороны, и в «прогресс» — с другой. Вместе с тем, если «антропологическое» виденье Гумбольдта даже при обращении к строению человеческих языков предполагает проникновение в «каждую стадию культуры», поиски «основы для объяснения ступеней духовного развития»,[8] то конечная цель «исторической поэтики» Веселовского — ограничение того широкого определения, при котором «история литературы и есть именно история культуры» (с. 389).[9] При условии, что «история литературы в широком смысле этого слова — это история общественной мысли» (с. 52), А.Н. Веселовский акцентирует внимание на «поэзии» как таковой. И в качестве «идеальной задачи» истории литературы он ставит вопрос о том, «каким образом новое содержание жизни... проникает старые образы» (там же). Поскольку же поэтический «образ» есть словесный образ, постольку речь может идти о функции слова в качестве элемента традиции, «формы необходимости», но и как о структуре, порождающей «новое содержание», «элементе свободы». Структуры и функции в исторической поэтике А.Н. Веселовского менее всего рассматриваются мною в источниковедческом ключе или с лингвистических позиций. Поиск прямых упоминаний или реминисценций идей В. фон Гумбольдта в научном наследии А.Н. Веселовского вряд ли целесообразен. Их констатация ничего и не объяснила бы.

Языковедческая концепция Гумбольдта, выросшая из замысла «сравнительной антропологии», так или иначе была небезызвестна создателю «исторической поэтики». Достаточно напомнить, что в 1862—1863 годах Веселовский слушал в Берлине лекции Г. Штейнталя по «психологии народов», а в 1862 году вышел труд А.А. Потебни «Мысль и язык», где в изложении «антонимий Гумбольдта» автор следует тому же Штейнталю — его книге «Происхождение языка» (1858).[10] Имелся и русский перевод труда Гумбольдта «О различии строения человеческих языков...», выполненный П. Билярским (СПб., 1859), а сочинение Потебни благоприятствовало популярности автора в России. Позже Штейнталь посвящает философии языка Гумбольдта работу «Труды Вильгельма фон Гумбольдта по философии языка» (1883). Труды самого Штейнталя и его психологической школы в мифологии способствовали как зарождению замысла «сравнительного литературоведения» в начале 60-х годов, так и окончательному формированию историко-поэтических идей Веселовского. Следует, однако, иметь в виду, что мысли Гумбольдта были интерпретированы Штейнталем в духе естественнонаучных позитивистских установок второй половины века. Это не могло не отразиться и на восприятии Гумбольдта Веселовским, а точнее — на неприятии, сказавшемся в отсутствии непосредственного интереса к его трудам. Параллели с Гумбольдтом, имеющиеся в тексте «Исторической поэтики», больше говорят об интересе к Потебне.

---

[7] *Гумбольдт В.* Язык и философия культуры / Сост., общая ред. и вступ. статьи А.В. Гулыги и Г.В. Рамишвили. М., 1985. С. 332—333.

[8] *Гумбольдт В.* Избр. труды по языкознанию / Пер. с нем. яз. под ред. и с предисл. Г.В. Рамишвили. М., 1984. С. 48, 69.

[9] См.: *Емельянов Л.И.* «Идеальный, истинный филолог...» // Русская литература. 1988. № 1. С. 126—127.

[10] *Потебня А.А.* Эстетика и поэтика / Сост., вступ. статья, библиогр. и прим. И.В. Иваньо и А.И. Колодной. М., 1976. С. 215.

lib.pushkinskijdom.ru

В понимании таких конституирующих для философии Гумбольдта понятий, как «дух языка», «дух народа», «внутренняя форма языка», «деятельность мышления» и др., со временем произошла своего рода подмена тезисов. Само «сравнительное языковедение», задуманное Гумбольдтом как попытка осмысления сущностных законов языка, «языка вообще», проявляющегося в качестве имманентного свойства человеческого разума, было вытеснено сравнительно-историческим направлением, ставившим перед собой более узкую задачу — установить происхождение и характер родственных связей между «индо-германскими» (индоевропейскими) языками. А именно в связи с успехами этих «историко-филологических занятий» в своем отчете о заграничной командировке за 1863 год Веселовский упоминает имя Гумбольдта, усилиями которого санскрит был «введен в систему прусского университетского образования» (с. 394). Тут же он отмечает, впрочем, что в целом история строится немецкими филологами «над человеком и вопреки человека, между тем как следовало бы построить ее из самого человека, как физиологической и психологической единицы, состоящей, разумеется, под влиянием окружающего, но имеющей достаточно материала в самой себе, чтобы из себя развиться» (с. 393). Сходным пафосом «очеловечивания истории» были пронизаны размышления Гумбольдта о «строении человеческих языков». Именно благодаря выраженному антропоцентризму исторической поэтики Веселовского в его «сравнительном методе» можно обнаружить ряд параллелей с соответствующими мыслями немецкого философа. Так, в уже цитировавшейся выше лекции 1870 года Веселовский подчеркивает: «Если, как мне кажется, в истории литературы следует обратить особенное внимание на поэзию, то сравнительный метод откроет ей в этой более тесной сфере совершенно новую задачу — проследить, каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие» (с. 52). Сравним приведенный отрывок со следующими словами Гумбольдта: «За влиянием языка на человека стоит закономерность языковых форм, за исходящим от человека обратным воздействием на язык — начало свободы. Поистине в человеке может пробудиться нечто такое, оснований чему в предыдущих исторических ситуациях не отыскать никакому рассудку; и мы не сможем познать природу языка и исказим историческую истину, если исключим возможность таких необъяснимых феноменов. Если же свобода, в свою очередь, сама по себе неопределима и необъяснима, то, возможно, поддаются установлению по крайней мере ее границы внутри определенной сферы действия, которая только и предоставлена ей...» [11]

Близость диалектического понимания «свободы» и «необходимости» («долженствования») в развитии исследуемых явлений, как и сходство исходных посылок о «языковом мировидении» (Sprachliche Weltansicht), по Гумбольдту, т.е. о «прогрессе общественной мысли в границах слова или устойчивой поэтической формулы», согласно Веселовскому (с. 51), никоим образом не могут быть сведены к прямому влиянию его идей на формирование научных взглядов создателя исторической поэтики. Не сводится к ним и принципиальная ориентация сравнительного метода Веселовского как основы его научных построений на выявление внутренних закономерностей («законности») поэтического мышления как такового, а не на хронологическое упорядочение фактов по формально историческому принципу, направленному на поиск исключительно унаследованных от прошлого и заимствованных тем или иным народом поэтических форм. И вряд ли правомерен вывод Вяч. Вс. Иванова, согласно которому «именно благодаря Веселовскому сложилось представление о том, что разграничение

[11] *Гумбольдт В.* Избр. труды по языкознанию. С. 84.

lib.pushkinskijdom.ru

жанров "всегда исторично"»,[12] в чем усматривается преемственность в подходе к «словесному элементу» как результату «диахронической эволюции первобытного синкретического действа».

История «речевых жанров» (в смысле М.М. Бахтина) менее всего занимала Веселовского в качестве некоего кумулятивного процесса накопления «памяти жанра» и формирования «жанровых структур».[13] Правда, основание для подобной трактовки дают «Три главы из исторической поэтики» (1899), где утверждение «слово вообще не крепко привязано к тексту» поясняется следующим образом: «Преобладание ритмическо-мелодического начала в составе древнего синкретизма, уделяя тексту лишь служебную роль, указывает на такую стадию развития языка, когда он еще не владел всеми своими средствами и эмоциональный элемент в нем был сильнее содержательного, требующего для своего выражения развитого сколько-нибудь синтаксиса, что предполагает в свою очередь большую сложность духовных и материальных интересов. Когда эта эволюция совершится, восклицание и незначащая фраза, повторяющаяся без разбора и понимания, обратятся в нечто более цельное, в действительный текст... Содержание станет разнообразнее в соответствии с дифференциацией бытовых отношений, а когда у народа явится и раздельная память прошлого, создастся и поэтическое предание, чередуясь с старой импровизацией; песня станет переходить из рода в род, от одной народности к другой, не только как мелодия, но как сам по себе интересующий текст» (с. 206). Но, во-первых, у Веселовского речь идет не о «разграничении жанра», а о становлении «поэтического» текста в недрах «игрового синкретизма», не имеющего отношения ни к онтологии языка, ни к «эволюционной типологии» речи, на фоне которых Вяч. Вс. Иванов рассматривает преемственность идеи синкретизма в знаковых моделях культуры и языка. «Древний синкретизм» здесь не относится к «словесному элементу», а представляет лишь более раннюю стадию «поэзии» («ритмическо-мелодическое начало»). Во-вторых, «стадия развития языка», упомянутая в связи с созданием «поэтического предания», вписывается в систему бытовавших в науке представлений о глоттогенезе (перекликаясь, в частности, с теорией «трудовых выкриков» и «звукоподражательной»), но явно использована для иллюстрации тезиса о вторичности текста, что действительно предполагает достаточно высокий уровень рефлексии над языком,[14] существование «раздельной памяти прошлого».

Сама логика материала, приводимого в доказательство «синкретизма древнейшей поэзии», показывает, что при этом автора интересует не так последовательность разных ее стадий (исторический план), как качественный аспект процесса «дифференциации поэтических родов», его генезис. В целом сравнительный метод Веселовского, как и метод Гумбольдта, в современных терминах ближе к типологическому, чем к собственно сравнительному, т.е. сравнительно-историческому, восходящему к традиции индоевропейского языкознания, которая Гумбольдта не воспринимала. Внешне же сохранявшая преемственность гумбольдтовской традиции «народно-психологическая» школа Г. Штейнталя по существу искажала заложенное Гумбольдтом понимание «внутренней формы языка».

Тема «Гумбольдт и Веселовский» существует лишь в силу концептуальной близости их сравнительного метода, близости подходов к исследованию двух различающихся, но смежных феноменов человеческой деятельности — языка и народно-поэтического творчества. Правда, в трактовке сугубо языковых проблем, например в вопросе о соотношении языка и мышления, слова и понятия,

---

[12] *Иванов В.В.* Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976. С. 9.
[13] Там же. С. 10—11.
[14] См.: *Овчинников Н.Ф.* Ступени рефлексии: от мифа к науке // На пути к теории научного знания / Отв. ред. В.И. Корюкин. М., 1984. С. 25—51.

lib.pushkinskijdom.ru

Веселовский следует за Штейнталем. Но и за Потебней, который и в искаженном изложении сумел разглядеть глубину гумбольдтовской мысли, хотя и не проник до конца в систему его терминологического словоупотребления, отражавшего иную эпоху, когда сочетания типа «дух разума» менее всего воспринимались в системе теологических представлений, как был воспринят гумбольдтовский «дух народа» Потебней. Последний сразу же признает, что «определение языка как работы духа, представляя существенным признаком языка движение, прогресс, возвышает Гумбольдта над всеми предшествующими теориями».[15] Понятие прогресса, впрочем, не вполне вписывается в теорию Гумбольдта. Рассматривая далее ряд «противоположностей» («антонимий») в его определениях, такие как свобода и необходимость, речь и понимание (объективное и субъективное), создания народа и создания отдельных носителей языка («неделимых»), Потебня заключает: «Но если Гумбольдт утверждает тождество (хотя бы даже и высшее) языка и духа, если он старается выйти из круга "без языка нет духа, и наоборот — без духа нет языка" таким образом, что возводит рядом и дух и язык к высшему началу, то это должно быть следствием каких-нибудь недоразумений... Гумбольдт не находит ничего равного языку; не отвергая этого безусловно, мы, однако, смело можем повторить признаваемую многими мысль, что аналогия поэтического народного творчества с созданием языка поразительна. Если при действительном существовании такого соответствия возможно исследовать не только ход развития, но самое зарождение мифа и народно-поэтического произведения, не вдаваясь в решение метафизических задач, то должно быть возможно и не метафизическое исследование начала языка».[16] Свое решение задачи Потебня и приводит: «Если... будем в состоянии определить законы прогресса языка, узнать, как он изменяется в течение веков под влиянием действующей на него мысли... то есть найдем постоянные отношения, в какие становится уже сформировавшаяся масса языка к новым актам творчества, то в этих последних... сможем найти черты, общие нам с первыми говорившими людьми».[17]

По существу Потебня интерпретировал понятия «дух языка», «дух народа» как «душевная деятельность народа», приравняв «дух» к «душе» и «духовное» к «божественному». Менее очевидны переходы от «деятельности» к «прогрессу» и от гумбольдтовской «внутренней формы языка» к «внутренней форме слова». Исходя из психологического понимания слова как апперцепции, Потебня ссылается и на слова Гумбольдта: «На язык нельзя смотреть как на нечто (ein Stoff) готовое, обозримое в целом и исподволь сообщимое: он вечно создается, притом так, что законы этого создания определены, но объем и некоторым образом даже род произведения остаются неопределенными»; после чего он формулирует свой собственный тезис: «Сказанное здесь обо всем языке мы применим к отдельному слову. Внутренняя форма слова, произнесенного говорящим, дает направление мысли слушающего, но она только возбуждает этого последнего, дает только способ развития в нем значений, не назначая пределов его понимания слова».[18] В такой трактовке «внутренняя форма слова» вошла и в историческую поэтику Веселовского, и в современную нам лексикологию. Но это понятие не имеет ничего общего с «внутренней формой языка», в смысле Гумбольдта, у которого она скорее равнозначна «семантической системе языка», отнесена к его содержательной стороне в целом, но ни в коей мере к отдельному слову.

---

[15] *Потебня А.А.* Указ. соч. С. 57.
[16] Там же. С. 67.
[17] Там же. С. 70.
[18] Там же. С. 181.

lib.pushkinskijdom.ru

Наиболее четкую характеристику теоретических представлений Гумбольдта о языке можно найти в публикациях Г. Рамишвили, в том числе в его книге «Вопросы энергетической теории языка» (Тбилиси, 1978), в предисловии к избранным трудам Гумбольдта по языкознанию. Рамишвили обращает внимание прежде всего на тот факт, что Гумбольдт перенес проблему генезиса языка на такую плоскость, где фактор времени как бы иррелевантен. Его рассмотрение ориентировано не на внешние факторы происхождения, а на внутренний генезис, усматривающий в языковой способности сущностную характеристику человека («инстинкт разума»). «Прогресс», следовательно, не может быть примерен к такой системе координат. Фундаментальным актом языка является при этом превращение мира в мысли, он «обуславливает функции мыслительной силы человека».[19] По определению А.А. Потебни: «...язык есть переход от бессознательности к сознанию».[20] Развивая идеи Гумбольдта и Потебни, В.А. Михайлов в своей последней работе показал, что «не мышление, а сознание как его высшая форма невозможно без языка».[21]

Конечной целью своего исследования Гумбольдт считал отношение языков к «миру представлений» как «общему содержанию языков».[22] Поскольку же различия языков эмпирически связаны с различиями народов, то он и пытался объяснить специфику языков исходя из «духа народа», который, в свою очередь, извлекается только из самого языка, выступающего как «языковое сознание народа» (nationeller Sprachsinn).[23] «Народы» объединяются им в «человечество» как культурно-этническое единство людей. В качестве «суммы всех слов» язык — это «мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека».[24] Гумбольдт называет этот промежуточный мир «подлинной реальностью» (wehre Welt).[25] По мнению Рамишвили, «постулирование языковых значений между звуковой формой и предметом исключает возможность толкования языка как номенклатуры»,[26] против чего впоследствии выступал и Ф. де Соссюр. Соответственно, языком отражаются «не столько чисто субстанциональные свойства языкового мира, а скорее отношение человека к нему. Эти отношения в различных языках преломляются по-разному, через свойственное каждому языку семантическое членение... Следовательно, звучание соединяется не с предметом непосредственно, а через семантически "переработанные" единицы, которые уже в качестве содержательных образований могут стать основой самого акта коммуникации».[27] В формулировке Гумбольдта: «...язык представляет нам не сами предметы, а всегда лишь понятия о них, самодеятельно образованные духом в процессе языкотворчества».[28] Таким образом, «эта целиком внутренняя и чисто интеллектуальная сторона языка и составляет собственно язык».[29] Два последних высказывания Гумбольдта заимствованы из главы «Внутренняя форма языка», где это понятие трактуется, в противоположность «звуковой системе языков, ее технике», в качестве их «интеллектуальных приемов» (Verfahren).[30]

---

[19] *Гумбольдт В.* Избр. труды по языкознанию. С. 314.
[20] *Потебня А.А.* Указ. соч. С. 69.
[21] *Михайлов В.А.* Смысл и значение в системе речемыслительной деятельности. СПб., 1992. С. 12.
[22] *Гумбольдт В.* Избр. труды по языкознанию. С. 316.
[23] Там же. С. 47.
[24] Там же. С. 304.
[25] Там же. С. 171.
[26] Там же. С. 13.
[27] Там же. С. 14.
[28] Там же. С. 103.
[29] Там же. С. 100.
[30] Там же. С. 101.

lib.pushkinskijdom.ru

Примечательно, что именно в завершении названной главы Гумбольдт оговаривает: «Метафоры, казалось бы поразительно уловившие юношеский дух глубокой древности, следы которой донесены до нас языками, от повседневного употребления настолько стираются, что становятся для нас едва понятными».[31] Это замечание позволяет, с одной стороны, заметить, как гумбольдтовская «внутренняя форма языка», которая, по словам Рамишвили, имманентна языку и требует исследования по содержательным параметрам, легко может быть ассоциирована с отдельным словом в его метафорическом переносном употреблении. С другой стороны, сам метафорический перенос обусловлен этой внутренней формой или «интеллектуальными приемами» языка. У Веселовского, как и у Потебни, внутренняя форма слова также явно связана с его первичным значением, т. е. сохраняет «видимые» следы метафорических переносных словоупотреблений.

Что касается исходной посылки Гумбольдта, можно сослаться на его тезис: «Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia). Его истинное определение поэтому может быть только генетическим».[32] На фоне этой дефиниции дается и определение формы языка: «Постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка».[33] По мнению Рамишвили, «энергейтическую теорию языка следует понимать как своего рода лингвистическое введение в общую теорию человека, которая должна ответить не только на вопрос "Что такое язык?", но и на вопрос "Чего достигает человек посредством языка?". Такой подход к роли языка отличается от позиции семиотика-лингвиста, усматривающего в языке фиксированную форму (эргон) лишь как частный случай статических знаковых систем».[34] Исследуя динамику формирования в знаке смыслов (а это всегда «личностный смысл»), В.А. Михайлов отметил следующее высказывание Потебни: «...если спросим, когда и для какой именно умственной деятельности необходимо слово, то, по Гумбольдту, можно будет отвечать: слово нужно для преобразования низших форм мысли в понятия»[35] (т. е. для «перехода образа предмета в понятие о предмете»). Однако, подчеркивает Михайлов, «само слово никак не создает понятия из образа».[36]

После этой весьма схематической передачи некоторых идей «сравнительного языковедения» Гумбольдта попытаемся вновь обратиться к «сравнительному литературоведению» Веселовского. Как уже отмечалось, «сравнительный метод» отождествлялся им со сравнительно-историческим в индоевропейском языкознании и положительно оценивался именно в качестве такового. Однако уже вопрос о форме и о миросозерцании в немецкой эстетике вызывает следующее уточнение Веселовского: «Что касается до форм эпоса, лирики и драмы... то они даны задолго до проявления в истории тех особенностей миросозерцания, на которые мы перенесли определение эпического, лирического и т.п. Эти формы — естественное выражение мысли, им нечего было дожидаться истории» (с. 49). И далее: «Каждая новая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами... позволяя себе лишь новые комбинации старых, и то наполняя их тем новым пониманием жизни, которое собственно и составляет ее прогресс перед прошлым? По крайней мере история языка предлагает нам аналогичное явление...» (с. 51). (И впрямь, язык предстает в качестве «орудия и формы безграничного универсума

---

[31] Там же. С. 107.
[32] Там же. С. 70.
[33] Там же. С. 71.
[34] Там же. С. 24.
[35] *Потебня А.А.* Указ. соч. С. 68.
[36] *Михайлов В.А.* Указ. соч. С. 125.

lib.pushkinskijdom.ru

действий»,[37] причем движение мысли к осознанию в образе предмета его понятийной формы «есть движение от содержания к содержанию, а не от знака к знаку».[38])

Двойственность «генетического» и «исторического» подходов к проблеме ощутима при сравнении приведенных выше цитат из А.Н. Веселовского. Но собственно понимание исторической перспективы в культуре как взаимоналожение и взаимодействие «нового» и «завещанного» и составляет одну из исходных структур его «сравнительного метода». Этим он отличается от метода Гумбольдта, более «генетического» (онтологического) по своей ориентации. Отмеченная двойственность подводит в конечном счете Веселовского к постановке вопроса о времени проявления в сознании поэтического акта как личностного акта (с. 60), противопоставленного общему культовому действу и преданию, а точнее — выделившегося из них. Но тут же в рамках личного творения ставится вопрос о соответствии между «данной литературной формой и спросом общественных идеалов» (с. 67), что вновь погружает авторское творчество в народно-поэтическую стихию. Так проявляется стремление Веселовского согласовать «прогресс» и внутреннюю логику поэтического творчества, рассматриваемого в его генезисе, т. е. вне «истории», вне «социального времени» (в смысле Ф. Броделя). Проявляется заложенное в структуре «исторической поэтики» противоречие свободы и необходимости, которые в равной мере характеризуют и «механический процесс народной идеализации» у «полу-личного певца» и творческое воображение «личного поэта» с его правом выбора вымышленных типов для выражения того же «национального самосознания» (с. 57). Мало того, «идеалом исторической науки» оказывается, по Веселовскому, не просто динамика личного и национального, но «полное обобщение», т. е. обобщение, «приложенное к широким литературным эпохам» (с. 46). А последние должны характеризовать «не расу, не народ, не данную цивилизацию, а известный культурный период, повторяющийся при течении одинаковых условий, у разных народов» (там же), как это походя изложено в лекции «О методе и задачах истории литературы как науки» (1870).

В статье «Из введения в историческую поэтику» (1893) та же мысль подана не только в более эксплицитной форме, но и в ином ракурсе. История литературы определяется здесь как «история общественной мысли в образно-поэтическом переживании и выражающих его формах» (с. 53), а далее приводятся примеры соответствия «между данной литературной формой и спросом общественных идеалов» (с. 67). Здесь Веселовский задает риторический вопрос: «Именно эволюция этих идеалов не обуславливает ли повторение спросов на тот или другой литературный сюжет, обновление старых?..» (с. 70). Эволюция рассматривается им как нечто органическое, «довлеющее целям человеческого развития», проявляющееся и в формах «народной легенды» и в «сознательной художественной литературе» (с. 68), поскольку «сознательность не исключает законности» (там же). Другими словами, свобода авторского выбора не должна затемнять его исторической закономерности в рамках данной культурной традиции. Средством же проникновения в структуру этой «эволюции идеалов» и их «образной идеализации» (с. 71) для Веселовского выступает *слово*, указывающее «нормы личному символизму и импрессионизму» в «процессах восприятия и воспроизведения», а то и другое — «существенно одно и то же» (с. 71—72). Поэт, будучи лишь более открытым для свойственной каждому человеку «суггестивности» образов и впечатлений, более чутким к их мелким оттенкам и сочетаниям, «аперцепирует их полнее», обогащает «новой интенсивностью знакомые слова и образы» (с. 74).

---

[37] Там же. С. 127.
[38] Там же. С. 104.

lib.pushkinskijdom.ru

Слово, таким образом, заложено в структуру исторической поэтики не как сугубо языковой элемент, внешняя «форма» поэтического творчества, и не как ближайший его аналог, обнажающий сходные условия и механизмы творчества, а как его «генетическая» (в гумбольдтовском смысле) основа. Слово есть условие «образной идеализации», особое средство «подсказывания» или «суггестивности» (с. 71), которым располагает поэзия. Наряду с этим, само функционирование слова, одновременно обобщающего и индивидуализирующего предметную реальность в сознании, позволяет Веселовскому уже на психическом уровне снять кажущееся противоречие между свободой и необходимостью, возникающее на стыке «традиции» и обновляющих тенденций «прогресса». В этом убеждают, в частности, его рассуждения о «слове "обобщение"», под которым «мы привыкли разуметь понятия весьма различные и далеко друг от друга расходящиеся» (с. 44). В этом рассуждении — целая палитра переходов от случайного и индивидуального к общему и закономерному.

Прослеживая движение от фактов, «житейских мелочей», к «ряду частных выводов» и далее к «рядам выводов», опирающимся на «разные группы фактов» и выступающим как «второй ряд обобщений», Веселовский называет в этом пассаже «научным обобщением» лишь последнее, «самое полное» из них (с. 45). Именно после такого экскурса в логику «обобщения» автор приступает к разъяснениям своего «сравнительного метода», который «сменил методы эстетический, философский и, если угодно, исторический» (с. 47), но который есть «тот же *исторический метод*, только учащенный, *повторенный в параллельных рядах* (курсив мой. — *Н.С.*), в видах достижения возможно полного обобщения» (там же). Таким образом, «исторический параллелизм» Веселовского не может быть сведен к традиционному сопоставлению повторяющихся фактов в разных традициях (на чем стояли компаративистика и сравнительная мифология), а является не чем иным, как обозначением самого процесса рефлексии над «рядами частных выводов», абстракциями различного порядка.

О роли «слова» и «обобщенной» в нем культурной традиции в структуре «исторической поэтики» можно судить и по статье «Из истории эпитета» (1895), где Веселовский обращается непосредственно к «историческо-психологической перспективе», в которой происходит «накопление метафор, сравнений и *отвлечений* (курсив мой. — *Н.С.*)» (с. 73). Эпитет в его понимании — это «одностороннее определение слова, либо подновляющее его нарицательное значение, либо усиливающее, подчеркивающее какое-нибудь характерное, выдающееся качество предмета» (там же). Показательно здесь разграничение «тавтологических эпитетов», т. е. «тождесловия», когда прилагательное и существительное выражают одну и ту же идею (с. 47), и «эпитетов *пояснительных*», характеризующих какие-либо существенные признаки предметов (причем подчеркивается «относительность этого существенного») (там же). Последние подразделяются на «эпитеты-метафоры» (тропы) и на «пояснительные» же. За предпринятой автором классификацией стоит не просто попытка систематизации рассматриваемых фактов (это попутная задача), а желание показать саму логику генезиса и функционирования слова (разумеется «поэтическое» слово), «эволюцию» метафоры в ее «постоянстве, разлагающемся со временем и уступающем разнообразию» (с. 79). Эпитет-метафора в целом ряде случаев объясняется «физиологическим синкретизмом и ассоциацией наших чувственных восприятий, в которой при нашей привычке к аналитическому мышлению мы обыкновенно не даем себе отчета» (с. 77). К этим «выраженным синкретизмам», представлениям «чувственного порядка», примыкают случаи, когда слияние произошло «уже на почве языка, выразившего его одним комплексом звуков» (с. 78). Как «формулы языка» (там же), так и «история поэтического стиля в сокращенном издании» (сами эпитеты) остаются тем не менее отражением «поэтического сознания от его

lib.pushkinskijdom.ru

физиологических и антропологических начал и их выражений в слове — до их закрепощения в ряды формул, наполняющих содержание очередных общественных миросозерцаний» (с. 73).

Таким образом Веселовский как бы сопрягает «эволюцию» (т. е. генезис) языка и «эволюцию» поэзии в едином процессе, охватывающем отмеченные В.М. Жирмунским «общие закономерности общественного развития». В этом контексте и следует воспринимать утверждение, что формы эпоса, лирики и драмы существовали еще «до проявления в истории», что они есть «естественное выражение мысли», что «между этими формами и изменяющимся содержанием миросозерцания устанавливаются отношения как бы естественного подбора, определяемые условиями быта и случайностями истории» (с. 49). Структура этих отношений и оказывается объектом внимания в «исторической поэтике», ориентированной не так на историю форм (они «сущностные», «исстари завещанные» для народно-поэтической традиции), как на «поверку систем, построенных на фактах исторического прошлого» (с. 55), на «умственную и образовательную эволюцию» бессознательного и «зарождающегося *я*» (с. 60). «А в этом весь вопрос», — подчеркивает Веселовский.

Чтобы ответить на него, необходимо рассмотреть, как работают «исстари завещанные образы» при «новом понимании жизни» (с. 51), или — в современной терминологии — исследовать функцию поэтических форм.

И вновь для пояснения поставленной проблемы Веселовский обращается к языковому материалу: «Нового языка мы не создаем... новые комбинации совершаются внутри положенных границ, из обветрившегося материала... Но каждая культурная эпоха обогащает внутреннее содержание слова новыми успехами знания, новыми понятиями человечности. Стоит проследить историю любого отвлеченного слова...» (с. 51). Соответственно, вопрос о границах и условиях поэтического творчества, его «прогрессе», рассматривается в рамках «устойчивых мотивов», унаследованных и «заимствованных» (с. 50), которые либо вступают в «новые комбинации» в согласии с «новым пониманием жизни», либо меняют свою функцию, а следовательно, и значимость, т. е. содержание. Как замечает Веселовский, «это внутреннее обогащение содержания, этот прогресс общественной мысли в границах слова или устойчивой поэтической формулы должен привлечь внимание психолога, философа, эстетика: он относится к истории мысли» (с. 51).

Объектом сравнения в поэтике являются, как было сказано, не сами изменяющиеся и неизменные формы, а разные исторические традиции, за которыми прослеживаются различные сочетания («комбинации») нового и старого, что и показывает Веселовский на целом ряде примеров. Таким образом, предмет исследования — поэтическая традиция предстает в конкретных культурно-исторических функциях рассматриваемых форм, в изменчивости их социальной значимости, независимо от тождества (или вернее — сходства) и различия самих «поэтических образов». «Историческая» составляющая поэтики Веселовского — это «история мысли» в самом широком понимании, «умственная и образовательная эволюция человека» (с. 60), становление сознания.

«Умственная» и «образовательная» эволюции представляют в структуре «исторической поэтики» две стороны единого, но одновременно и разнонаправленного «двойственного» процесса. Имеется в виду «скрещивание» в «народно-поэтической эволюции», на путях «народно-психического развития» (с. 61—62) двух традиций: «народно-поэтических основ» и посторонних им «литературных образцов» (с. 60), которые в конечном счете восходят к тем же «основам», но выступают в новой функции, в видоизмененном культивированном виде. «Архаисты и новаторы», если воспользоваться тыняновской формулой, одно из условий поэтической эволюции, функционирования «форм»; характер их до-

lib.pushkinskijdom.ru

полнительного распределения в «народной» и «литературной» традициях и предопределяет локальное разнообразие культур, как показано Веселовским на материале западной, «латинской», и восточной, «славянской», эпических школ (с. 60—63).

Я не останавливаюсь на специфических литературоведческих аспектах *исторической поэтики* — показательна концептуальная сторона выдвинутой Веселовским программы исследований, которая отчасти была подхвачена, но не завершена «формалистами», а другой своей частью приближается вплотную к тому научному направлению, которое, зародившись под влиянием лингвистического структурализма, переросло в «семиотику культуры». Преемственность основополагающих идей Гумбольдта, Потебни, Веселовского в контексте семиотических штудий практически не прослеживается в силу сложившейся парадигмы науки. (Правда, именно А.Н. Веселовский считается «одним из предшественников современной семиотической этнологии и поэтики».[39]) Между тем подлинная структура явлений, мы в этом убеждены, может быть вскрыта и объяснена только при обращении к их генезису. Как уже подчеркивалось, «исторический» метод Веселовского и обращен не на внешние проявления поэтических форм и стилей, т. е. на историю как таковую, а именно на их внутреннюю эволюцию. Прежде всего его занимает генезис сходных по выражению, по своему «определению», но различающихся по содержанию явлений, поскольку «данное миросозерцание могло осложниться не тою формою, которая теперь дает ему название» (с. 49). Отсюда и емкость обобщений, позволяющих наметить, например, распределение авторского и «народных» начал в эпических преданиях следующими штрихами: «...личный поэтический акт без осознания личного творчества, поднятие народно-политического самосознания, требовавшего выражения в поэзии; непрерывность предыдущего песенного предания, с типами, способными изменяться содержательно, согласно с требованиями общественного роста» (с. 58).

По сути здесь — отражение той же диалектики единичного индивидуального и общего типического, к которой постоянно обращается Веселовский, рассматривая ее на разных уровнях поэтической эволюции: и в истории эпитета (слова), и в становлении культурных традиций на обширных территориях — традиций, охватывающих в разнообразных сочетаниях и народно-поэтическую стихию и книжные «школьные» образцы.

Остановлюсь несколько подробнее на тех аспектах исторической поэтики, которые затрагивают само «поэтическое сознание», его структуру и функции. Для Веселовского это то же самое, что и миросозерцание «зарождающегося *я*»: «То, что мы могли бы назвать эпическим, лирическим, драматическим миросозерцанием, должно было в самом деле выступать в известной последовательности, определяемой все большим и большим развитием личности...» (с. 48—49). С этой точки зрения слово (и шире — словесное творчество, текст) воспринимается в качестве сущностного для поэтического сознания «интеллектуального приема». Именно поэтому «история литературы в широком смысле этого слова — это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом» (с. 52). В основе же функционирования слова — «переживание», которое и самые «фантастические ответы» на вопрос «Почему?» («Les Pourquois?») преобразует «в предмет веры и воображаемого знания», и эти ответы «еще существуют в переживании, как основа некоторых историко-литературных взглядов» (с. 54).

---

[39] *Иванов В.В.* Указ. соч. С. 6.

lib.pushkinskijdom.ru

Личностный, индивидуальный характер поэтического сознания заставляет Веселовского, исследователя «народной поэзии», крайне скептически высказаться о навеянном романтизмом идеале «несбыточного народного поэта», потому что «в народной поэзии личный момент объявился в большей мере, чем верили и прежде» (с. 56). На фоне приведенной оценки «полу-личный певец» (с. 57) есть характеристика не индивидуума, а среды — эпохи неосознанности и безразличия к авторскому *я* народной поэзии. Более того, «личное сознание не отражается в настроении эпоса» (с. 58). «Поэтическое сознание» на этом периоде соответствует «национальному сознанию» (этническому). За эволюцией поэтических форм (их историческим «движением») стоит процесс развития народного самосознания и высвобождения личностного начала, обусловленный «новыми общечеловеческими целями, новыми задачами для энергии личности» (с. 64). Тесная связь, естественным образом сложившаяся между личностными и общественными переживаниями в ходе эволюции, действительна на всем протяжении человеческой истории — это функциональная связь: даже «синкретические и метафорические эпитеты новейшей поэзии дают повод говорить о таком же переживании, которым можно измерить историческое развитие мысли в сходных формах словесного творчества» (с. 88). Все это — «кадры, в которых привыкла работать мысль и без которых она обойтись не может» (с. 91).[40] Отсюда то внимание, которое Веселовский уделяет «схеме», «формуле», «устойчивым мотивам», собственно поэтической форме, будь то «первобытное слово» — первообраз «мифа» или «первоначальная форма» и «внутреннее содержание слова» (с. 51), будь то схема животного эпоса (там же), будь то драма как «действие» с ее сменой форм, сюжетов, типов (с. 65—67), будь то эпические повторения или формулы параллелизма в лирических песнях (с. 110—115), будь то эпитет в качестве «истории поэтического стиля» (с. 73).

Поэтическая форма оказывается, следовательно, функцией «образно-поэтического переживания» в конкретных его проявлениях. Это собственно исторический аспект «поэтического сознания» как объекта исследования. Последний проявляется в «социальном времени» (Ф. Бродель), тогда как само «поэтическое переживание» оказывается имманентным сознанию. Рассматривая психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля (статья 1898 года), Веселовский подчеркивает: «Человек усваивает образы внешнего мира в формах своего самосознания» (с. 127). Язык как непосредственное проявление «самосознания», его инобытие, накладывает при этом свой отпечаток на структуру «поэтического сознания», вплоть до того, что «часто не поэт, а слово повинно в стихе» (с. 154). Это еще один из аспектов взаимопроникновения исследуемой традиции и свободы поэтического выбора, затрагивающий как содержание, так и форму: «Язык народной поэзии наполнился иероглифами, понятыми не столько образно, сколько музыкально, не столько представляющими, сколько настраивающими; их надо помнить, чтобы разобраться в смысле» (с. 155).

Подобного рода «искания созвучий» являются в конечном счете «исканием человека в природе», отражая «тот же психический процесс, который ответил когда-то на первые робкие запросы мысли...» (с. 199). В контексте «запросов мысли» и формируется историческая поэтика Веселовского как «попытка построить *генетическое определение поэзии* (курсив мой. — *Н.С.*) с точки зрения ее содержания и стиля, на эволюции языка-мифа...» (с. 200).

Я воздерживаюсь здесь от оценки тех или иных объяснений начал «поэтического сознания», его генезиса, связанных, в частности, с идеей Веселовского о первобытном синкретизме «ритмованных орхеистических движений с песней-музыкой и элементами слова», благодаря чему в орбиту исследования вовлекается

[40] В.М. Жирмунский уточняет: «в словоупотреблении Вес. "рамки" (фр. cadres)» (с. 620).

lib.pushkinskijdom.ru

ритмическая форма как один из существенных элементов поэзии в узком смысле. Я стремлюсь вычленить из контекста «исторической поэтики» лишь общую ее схему, связанную с интерпретацией «интеллектуальных приемов», «образной идеализации», «образно-поэтических переживаний» поэзии в широком смысле — *поэзии*, приравненной к «истории мысли».

Многие проблемы остались за рамками представленного здесь монтажа высказываний А.Н. Веселовского, так или иначе затрагивающих все еще спорную проблему соотношения языка и мышления, языка и культуры.

lib.pushkinskijdom.ru

МАРЕНА СЕНДЕРОВИЧ (США)

АНТОН ЧЕХОВ: ДРАМА ИМЕНИ

Принимаясь за творческую биографию Чехова, следует иметь в виду, что она была уже написана самим Чеховым — в четырех с лишним тысячах писем и в целом ряде литературных произведений он прокомментировал свою жизнь в искусстве с такой полнотой, глубиной и тонкостью, что остается только быть внимательным читателем, таким, о котором Чехов мечтал всю жизнь и не видел его рядом с собой. Задача, внушающая страх.

Творческая автобиография Чехова растворена во множестве бытовых деталей, но в ней есть четкая — чеховская — внутренняя форма. По внутренней форме это — драма. Чрезвычайно интересны жанровые характеристики этой драмы — она сопоставима с жанровой сложностью чеховской драматургии. Она начинается как комедия, развивается как драма, а в последнем акте мы оказываемся свидетелями трагедии. По своему основному содержанию она может быть названа драмой имени.

Акт I. Что может быть естественнее для комического писателя, газетного обозревателя и фельетониста, чем подписываться псевдонимом? Такова была традиция. Так делали все собратья Чехова, юмористы-газетчики. Это была своего рода профессиональная условность, соблюдение некоего жанрового этикета. Работа в малой прессе требовала даже не одного, а целого набора псевдонимов, которыми пользовались поочередно в зависимости от рода или жанра публикации, а также характера печатного органа — пользовались как платьем, подобающим ситуации, в соответствии со светскими условностями, или же как комической маской («Храните маску Улисса...» — письмо к издателю «Осколков» Н.А. Лейкину от 10 дек. 1884 года).[1] Псевдонимы строго различались и ревниво оберегались и авторами и редакторами. Чехов клянется Лейкину в письме от 23 ноября 1885 года: «...обещаю в декабре, январе и в конце ноября ничего не давать в юмористические журналы с подписью А. Чехонте и вообще подписью, известною читателям „Осколков"».

Но как непросто это простое обстоятельство в жизни Чехова! Драматичен не самый факт пользования псевдонимом, а то, как он переживается автором. Уже с 1883 года этому обстоятельству уделяется в его письмах пристальное, можно сказать, преувеличенное внимание. Ситуация эта в ее повышенной самоосознанности становится предметом артистической игры. Чехов ее драматизирует. Вопрос — как спрятаться от читателя? — становится повторяющимся мотивом в переписке с Лейкиным. Возникает он как раз в ту пору, когда Чехов превращается в довольно известного юмориста, сознающего остроту своего пера. Скрылся или не скрылся? — оказывается больным вопросом. В одном случае

[1] А. П. Чехов цитируется по «Полному собранию сочинений и писем» в 30 томах (М.: Наука, 1974—1983). Для писем указываются адресат и дата письма, так что их можно идентифицировать по любому изданию. Для сочинений указываются том и страница.

lib.pushkinskijdom.ru

Чехов оскорблен, что его «мелочишку» редактор подписал полной фамилией, а не псевдонимом, и жалуется на это Лейкину (конец дек. 1883). Он никак не может примириться, что все знают, «кто этот Рувер... Я уже два раза съел за свои заметки „подлеца" от самых искренних моих» (Лейкину, 10 сент. 1883). «Нельзя ли мой фельетон пускать без подписи? Теперь уже все знают, что я Рувер... Все знакомы — хоть перо бросай!» (Лейкину, 12 или 13 февр. 1884). Интересно, что он все же входит во вкус скрывания под псевдонимом и использует возможности этой ситуации с удовольствием. Собираясь сочинять пародию на «Чад жизни» Б.М. Маркевича, он пишет Лейкину: «Можно будет посплетничать, скрывшись под псевдонимом» (30 янв. 1884). Псевдоним раскрепощал Чехова, давал ему свободу, раскованность. В 1884 году московские обозрения Чехова в «Осколках» шли под псевдонимом Улисс. В конце года он подозревает раскрытие тайны и, как уже отмечено выше, призывает Лейкина: «Храните маску Улисса». Ранее, в письме к брату Александру он формулирует принцип, преподнесенный в качестве намерения: «Коли буду писать, то непременно издалека, из щелочки» (13 мая 1883). В эту пору мотив подсматривания становится важной и повторяющейся ситуацией в его рассказах: «В море», «Злой мальчик», «Ночь перед судом», «Шуточка», «Агафья», «Ведьма» и др. В «Агафье» эта ситуация — прямой повествовательный прием, ее метапоэтический характер в других текстах более завуалирован.

При всем разнообразии его псевдонимов чаще всего Чехов подписывался именем Антоша (или А., или Ан.) Чехонте. И тут мы сталкиваемся с другой стороной ситуации. Немыслимо думать всерьез, что под таким прозрачным псевдонимом можно спрятаться. Скорее это финальный сценический жест шутливого раскланивания, соответствующий жанровым характеристикам юмористических текстов, под которыми он стоит. Таким образом, отношение Чехова к псевдониму двойственное: это, с одной стороны, способ скрыться, когда ему неугодно быть обнаруженным в своем авторстве, с другой же стороны, это игра в прятки с самим собой, подобно тому как играют дети, когда, зажмурив глаза, говорят: «Ищи меня». Он не избегает возможности быть обнаруженным, но делает вид, что скрывается, при этом он одновременно избегает и не избегает называния своего имени. Если вдуматься в эту игру, то можно обнаружить, что это и игра с самим собой: ее смысл заключается в создании дистанции — внутренней дистанции — между самим собой и написанным. Чехов прячется и от себя самого, подобно тому как он скрывается под псевдонимом от читателя. Здесь можно усмотреть аналогию, которая выдает нечто характерно чеховское в том смысле, что недостаточно социальных и культурных мотивов в объяснении ситуации с псевдонимом — за этим стоит стыд за содеянное, боязнь осмеяния, которые магически исчезают под волшебной шапкой псевдонима.

Необходимость во внутренней дистанции выдает одну важнейшую особенность творческой личности Чехова, особенность, которая с этого момента начинает играть все более важную и драматическую роль. С этой точки зрения можно усмотреть более глубокий — чеховский — смысл в том обыденном факте, что писатель начинает свою писательскую деятельность, подписываясь псевдонимом. Чехов как бы защищается от чего-то перед самим собой и самую эту необходимость прятаться принимает как литературный прием, более того — как самую суть писательского амплуа, как модус писательства.

Акт II. Чехов, который не принимает себя всерьез и делает комические жесты по этому поводу, едет в декабре 1885 года в Петербург и к удивлению своему обнаруживает, что в столичной литературной среде его принимают как серьезного писателя. «Я был поражен приемом, который оказали мне питерцы. Суворин, Григорович, Буренин... все это приглашало, воспевало... и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава» (Александру Чехову, 4 янв. 1886).

lib.pushkinskijdom.ru

В чем же дело? Почему жутко? Мы узнаем, что тот писатель, которого встретили в Петербурге с распростертыми объятиями, не удовлетворяет самого Чехова. «Знай, мол, я, что меня так читают, — продолжает он в том же письме, — я писал бы не так на заказ...» В письмах этого периода, с начала 1886 года, эта ситуация вызывает у их автора амбивалентную реакцию. С одной стороны, Чехов весело пародирует ее — вплоть до фарса, он предается веселому, шутливому самовозвеличиванию, причем это становится его излюбленной, повторяющейся темой вплоть до 1889 года. С другой же стороны, он шутя, но не в шутку жалуется на свое положение известного писателя, жалобы постепенно начинают звучать все откровеннее и, наконец, завершаются отчаянным воплем.

Вернувшись из Петербурга, он пишет накануне дня своего рождения М.М.Дюковскому: «Завтра известный писатель волею судеб производится в чин именинника» (16 янв. 1886). А через два дня, тоже в шутку, жалуется В.В. Билибину: «Прежде, когда я не знал, что меня читают и судят, я писал безмятежно, словно блины ел; теперь же пишу и боюсь...» Чего же он боится? Когда намечается издание сборника рассказов («Пестрые рассказы»), то перед Чеховым возникает гамлетовский вопрос: подписывать свое настоящее имя или не подписывать? «На книге я буду не А. Чехов, а А. Чехонте», — сообщает он Н.А. Лейкину 3 февраля 1886 года. Но вопрос остается открытым: псевдоним или фамилия? Через 11 дней он пишет В.В. Билибину: «Вы советовали наредти ее... не псевдонимом, а фамилией... Зачем Вы уклонились от мотивировки Вашего совета? Вероятно, Вы правы, но я, подумав, предпочел псевдоним, и не без основания» (14 февр. 1886). И через две недели ему же: «Я опять о псевдониме и фамилии... Вы напрасно публику припутываете... Откуда публике знать, что Чехонте псевдоним? И не все ли ей равно?» — пытается разобраться Чехов.

Подписать книгу своим настоящим именем казалось Чехову слишком серьезным. Просто и всерьез называть и подписывать свои книги к лицу только знаменитым писателям. Себя он к таковым не причисляет. А комический псевдоним соответствует его желанию выглядеть ироничным не только по отношению к миру, но и по отношению к своему авторству. Нужно не ошибиться в понимании серьезности этой позы. Как все серьезное у Чехова, она амбивалентна. В ней есть самозащита от претенциозности, но и оправдание своей позиции юмориста: если я могу относиться с иронией к самому себе, то я имею право иронизировать по вашему поводу. Ведь именно в этот период Чехов на самом деле ничего против своей известности не имел; он, скорее, наслаждался ею, но неотъемлемой в этом состоянии была потребность подсмеиваться над собой в положнении известного писателя. Необходимость рефлексии и необходимость двойственности. В том же феврале он пишет брату Александру: «За наречение сына твоего Антонием посылаю тебе презрительную улыбку. Какая смелость! Ты бы еще назвал его Шекспиром! Ведь на этом свете есть только два Антона: Я и Рубинштейн. Других я не признаю» (3 февр. 1886). Через две недели летит веселая шутка к М.М. Дюковскому: «Пишу Вам, чтобы у Вас было одним автографом великого писателя больше... Через 10—20 лет это письмо Вы можете продать за 500—1000 рублей. Завидую Вам» (17 февр. 1886).

Внимание А.С. Суворина, восхищение Д.В. Григоровича и других литераторов потрясло Чехова, отсюда и восторг игры. Но гораздо более это побуждало его взглянуть на себя, писателя, серьезно. И что он обнаружил? — Свое несоответствие своему представлению о серьезном писателе, свое неуважение к собственному дару. И еще одно важное обстоятельство: нежелание раскрыться вполне. «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал», — признается он в известном письме Д.В. Григоровичу от 28 марта 1886 года.

lib.pushkinskijdom.ru

Кстати, в этом же письме Чехов возвращается к вопросу, ставить свое имя на книге или нет. Выходит, рассуждает он, что нельзя, «потому что уже поздно». А решил не ставить, «вероятно, из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится... Знай я, что меня читают и что за мной следите Вы, я не стал бы печатать этой книги». Григорович все же убедил Чехова. Через три дня он просит Лейкина: «Если не поздно, то на 2-м заглавном листе моей книжки рядом с „А. Чехонте" поставьте в скобках „А.П. Чехов"... Получил я, представьте, от Григоровича письмо, который требует забросить псевдоним» (31 марта 1886).

Как известно, Григоровичу удалось убедить Чехова не только в этом: он начинает принимать свой дар всерьез. Чехов пишет В.В. Билибину: «Григорович доказывает, что у меня настоящий талант (у него подчеркнуто)... Я, конечно, рад, хотя и чувствую, что Григорович перехватил через край» (4 апр. 1886).

В том же 1886 году, но несколько ранее, 15 февраля, в «Новом времени» был напечатан рассказ «Панихида», подписанный подлинным именем Чехова. Заметим, что Чехову уже случалось трижды подписываться своим именем, но именно случалось. Сейчас же это стало началом последовательной позиции: отныне подлинное имя доставалось нововременским рассказам, псевдонимы же продолжали появляться в мелкой прессе. Нам время теперь получше разобраться в чеховской двойственности по отношению к самому себе, своей деятельности и своему имени как символу этой двойственности.

Писательство оказывается в жизни Чехова деятельностью, обрекающей его на двойственное отношение к себе и к миру. С одной стороны, его человеческое существование, среди родных, друзей и знакомых, которые не ценят его авторства или вовсе не читают его: «Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника» (Григоровичу, 28 марта 1886). Именно поэтому Чехов убежден в «своей литературной мелкости» (там же) и говорит о своем писательстве как о «побочном занятии» (письмо к Михаилу Чехову, 11 апр. 1886). Но зато все его близкие знают, ценят и пользуются услугами его медицинской профессии. Чехов вполне сознает двойственность своего существования и в эту пору не может легко с этим примириться: «...я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне» (то же письмо к Григоровичу). «Кроме жены-медицины у меня есть еще литература-любовница», — пишет он брату Александру в день своего рождения в 1887 году. Шутку эту он позднее разрабатывает, пользуясь ею как инструментом серьезной рефлексии. В письме к Суворину он обосновывает принципиальную необходимость этой двойственности: «Вы советуете мне не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю, почему нельзя гоняться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться можно. Гончих у меня, по всей вероятности, нет (теперь в переносном смысле), но я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно... Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют» (11 сент. 1888).

Шутка о медицине-«жене» и литературе-«любовнице» известна широко и кажется вполне объяснимой, если исходить из самих реалий жизни Чехова. Между тем в ней запечатлено больше, чем тот факт, что Чехов одновременно занимался медициной и литературой, причем великий писатель считал медицину своим основным занятием. Чехов говорит о внутренней потребности находиться в состоянии двойственности: «...я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела».

lib.pushkinskijdom.ru

Более того, и в писательстве он раздваивался. И это опять-таки находит выражение в отношении к имени. Начав систематически подписываться своим собственным именем, он тем не менее продолжает — систематически же — печататься и под псевдонимами, как бы давая знать, что и в самой литературе он так же «вероломен». Н.А. Лейкин и А.С. Суворин чувствовали себя как его «жена» и «любовница» — точнее, каждый из них чувствовал себя «женой», а в другом подозревал «любовницу».

В 1889 году, однако, Чехов меняет и «жену» и «любовницу», но остается верным своей двойственности. Увлеченный и разочарованный театром, утомленный новой постановкой «Иванова», он пишет 15 января 1889 года А.Н. Плещееву: «Беллетристика — покойное и святое дело. Повествовательная форма — это законная жена, а драматическая— эффектная, шумная, наглая и утомительная любовница».

Двойственность мироощущения Чехова принимает характер оппозиции священного и профанного. В узком плане это разделение на серьезные рассказы, под которыми Чехов ставит свое имя, и на «мелочишку», которую он продолжает подписывать псевдонимами, что при известности Чехова становится все большей условностью. В ином чеховском определении это разделение на серьезное и «пошлое»: «...вечно у меня серьезное чередуется с пошлым. Должно быть, планида моя такая» (Я.П. Полонскому, 22 февр. 1888). Причем это принципиальная и вполне осознанная позиция. В декабре 1886 года Чехов, верный себе в своем дуализме, дает совет брату Александру: «Не позволяй в мелочах подписывать твое полное имя... К чему это? Осрамиться хочешь?» (между 27 и 30 дек. 1886). Но есть и другой, крупный план. В крупном плане священное тождественно сокровенному — еще невысказанному, ненаписанному, а профанное — всему уже написанному. Чехов пишет А.С. Суворину 27 октября 1888 года: «...те сюжеты, которые сидят в голове, досадливо ревнуют к уже написанному; обидно, что чепуха уже сделана, а хорошее валяется в складе, как книжный хлам... Что я называю хорошим? Те образы, которые кажутся мне наилучшими, которые я люблю и ревниво берегу, чтоб не потратить и не зарезать к срочным „Именинам"... все, что теперь пишется, не нравится мне и нагоняет скуку, все же, что сидит у меня в голове, интересует меня, трогает и волнует».

Разделение на высокое и низкое непременно присутствует во всех его оценочных высказываниях. Если в 1886 году «мелочишка» и юмористика противопоставляются нововременским рассказам, то впоследствии, когда его одолеет страсть к роману, Чехов будет с иронией говорить о нововременских рассказах этого периода, противопоставляя все уже написанное задуманному и никогда не осуществленному роману. Чехов осознает противоречие «высокого» и «низкого» в своей писательской натуре и шутливо рассуждает по этому поводу в письме к В.Г. Короленко: «Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный; я на замечании; выражаясь языком поэтов, свою чистую музу я любил, но не уважал, изменял ей и не раз водил ее туда, где ей не подобает быть» (17 окт. 1887). Та же мысль, но уже с большей серьезностью высказана в письме к Я.П. Полонскому: «Ах, если в „Северном вестнике" узнают, что я пишу водевили, то меня предадут анафеме! Но что делать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тру-ла-ла! Как ни стараюсь быть серьезным, но ничего у меня не выходит, и вечно у меня серьезное чередуется с пошлым. Должно быть, планида моя такая» (22 февр. 1888).

Волею судьбы Чехов оказался в положении, которого он не предвидел. Он начал свою юмористическую деятельность в расчете на непритязательную публику ради заработка, но не искал легковесной славы. Когда же слава пришла к нему неожиданно, он не мог принять именно ее легковесности. Его самолюбие не

lib.pushkinskijdom.ru

позволяло ему этого. Он-то знал себя лучше. Серьезные писатели, поверив в его дар, заставили его самого отнестись к себе всерьез.

В октябре 1887 года Чехов молниеносно задумывает и пишет «Иванова». В этот период он в легком, искристом настроении. Письма его полны шутливого упоения успехом, веселых шуток и каламбуров. Чехов пишет брату Александру об «Иванове», что «сюжет небывалый» (между 6 и 8 октября 1887), что «хотел соригинальничать», но не уверен, удалось ли ему это (24 октября 1887). Начинается увлечение театром. Со смешанным чувством ожидает Чехов постановки «Иванова», к премьере готовится, «как к венцу» (А.С. Лазареву-Грузинскому, 15 ноября 1887). Первое представление проходило в атмосфере особого возбуждения, в котором было и «откровенное шиканье» и «солидный успех», что оставляет в авторе «утомление и чувство досады» (брату Александру, 20 ноября 1887, а также 24 ноября). В письмах об «Иванове» Чехов так искусно драматизирует все перипетии постановки пьесы, что уже это одно складывается в сюжет особой закулисной драмы, в которой автором, главным героем и режиссером был он сам. В обеих столицах «Иванов» наделал много шуму. «Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам, — пишет он из Петербурга Михаилу Чехову 3 декабря 1887 года. — От пьесы моей все положительно в восторге, хотя и бранят меня за небрежность». Чехова принимают в Петербурге как знаменитого писателя. Вообще конец 1887 года является, по-видимому, временем наиболее шумной популярности молодого Чехова; по сравнению с ним период южного путешествия и работы над «Степью» был подлинным отдохновением.

Мне представляется, что время подготовки к «Степи» и работы над нею было периодом наименьшего разлада Чехова с самим собой. «Степи» предшествует поездка на юг, в места, где прошло детство. Обращение в «Степи» к теме детства должно быть, по-видимому, понято как передумывание жизни и возвращение к истокам. Он как бы отстраняется от сиюминутных забот. Все житейское обретает крупную перспективу. Он освобождается от бремени писательства, отодвигается вопрос о репутации, об имени. «Вы поймете положение человека путешествующего, которому решительно не до авторства», — пишет он Н.А. Лейкину. И тут же добавляет: «Правда, в „Петербургскую газету" я писал... чтоб не заставить свою фамилию жить на чужой счет, писал мерзко, неуклюже, проклиная бумагу и перо» (22 мая 1887). Трудно отделаться от впечатления, что Чехов здесь каламбурит. Он использует западное значение слова *фамилия*, чтобы тотчас уйти от него и сказать нечто совершенно иное, что прочитывается между строк. Хотя прямое значение слова *фамилия* здесь «семья», оно немедленно уступает место русскому значению: когда «не до авторства», а писать все же приходится и пишется «мерзко, неуклюже, проклиная бумагу и перо», то тут уж фамилии приходится «жить на чужой счет», т. е., иначе говоря, приходится жить за счет фамилии. Перед нами подлинно чеховская инверсия.

В работе над «Степью» Чехов обретает невиданную до того свободу и гармонию. Эту повесть он впервые адресует избранному читателю, полагая, что публике и критике она не понравится. «Пишущий... поймет меня, читатель же соскучится и плюнет», — пишет Чехов В.Г. Короленко 9 января 1888 года. Те же мысли — в письме к Я.П. Полонскому: «Есть много таких мест, которые не поймутся ни критикой, ни публикой, той и другой они покажутся пустяшными, не заслуживающими внимания, но я заранее радуюсь, что эти самые места поймут и оценят два-три литературных гастронома, а этого с меня достаточно» (18 янв. 1888). Впрочем, он метит еще выше — поверх голов своих избранных читателей: «Сюжет поэтичный, и если я не сорвусь с того тона, каким начал, то кое-что выйдет у меня „из ряда вон выдающее". Чувствую, что есть в моей повестушке места, которыми я угожу Вам, мой милый поэт, но в общем я едва ли потрафлю...» (А.Н. Плещееву, 19 янв. 1888).

lib.pushkinskijdom.ru

Увы, здесь есть уже зерно нового разлада.

Акт III. Чем ближе Чехов подходил к окончанию «Степи», тем противоречивее становилось его отношение к ней. Ощущение поэтичности, оригинальности новой повести, сознание того, что в «Степи» он обрел свободу самовыражения и выложился до конца, что достиг некоего предела совершенства, сменяется неуверенностью в успехе, предчувствием непонимания (письма к А.Н. Плещееву от 23 янв. и 3 февр., М.В. Киселевой от 3 февр., А.С. Лазареву-Грузинскому от 4 февр. 1888 года). Он пишет Плещееву: «Вы ждете от меня чего-то особенного, хорошего — какое поле для разочарований! Робею и боюсь, что моя „Степь" выйдет незначительной... Откровенно говоря, выжимаю из себя, натужусь и надуваюсь, но все-таки в общем она не удовлетворяет меня, хотя местами и попадаются в ней „стихи в прозе" »(23 янв. 1888). И ему же по окончании повести: «Моя „Степь" похожа не на повесть, а на степную энциклопедию» (3 февр. 1888).

Едва закончив «Степь», Чехов жалуется, что перенапрягся: «На свою „Степь" я потратил много соку, энергии и фосфора, писал с напряжением, натужился, выжимал из себя и утомился до безобразия. Удалась она или нет, не знаю, но во всяком случае она мой шедевр, лучше сделать не умею... я переживаю *кризис* (курсив мой. — *М.С.*). Если теперь не возьму приза, то уж начну спускаться по наклонной плоскости» (А.С. Лазареву-Грузинскому, 4 февр. 1888). Кризис — это действительная характеристика этого периода. Кризис, вызванный перенапряжением, был только физической почвой для более глубокого разлада. На другой день после окончания «Степи» Чехов пишет Киселевой: «Давно уж в толстых журналах не было таких повестей; выступаю я оригинально, но за оригинальность мне достанется так же, как за „Иванова". Разговоров будет много» (3 февр. 1888).

«Степь» была встречена с восторгом, но при этом личные отклики и печатная критика были полны непонимания и вытекающих из этого упреков. Раздраженный Чехов саркастически пишет А.Н. Плещееву: «Завтра я поеду к П.Н. Островскому и предложу ему одну шутку. Я напомню ему двенадцатый год и партизанскую войну, когда бить француза мог всякий желающий, не надевая военного мундира; быть может, ему понравится моя мысль, что в наше время, когда литература попала в плен двунадесяти тысяч лжеучений, партизанская иррегулярная критика была бы далеко не лишней. Не захочет ли он, минуя журналы и газеты, выскочить из засады и налететь наскоком, по-казацки? Это вполне исполнимо, если вспомнить о брошюрочном способе. Брошюра теперь в моде; она недорога и легко читается. Попы это поняли и ежедневно бомбардируют публику своими фарисейскими отрыжками» (6 марта 1888). Позднее, в том же году, Чехов пишет А.С. Суворину: «Критики нет. Дующий в шаблон Татищев, осел Михневич и равнодушный Буренин — вот и вся критическая сила. А писать для этой силы не стоит, как не стоит давать нюхать цветы тому, у кого насморк» (23 дек. 1888).

Состояние кризиса усугубляется и временным творческим бессилием, которое наступает после «Степи». Чехов жалуется Я.П. Полонскому: «После „Степи" я почти ничего не делал... От нечего делать написал пустенький, французский водевильчик под названием „Медведь"... На „Степь" пошло у меня столько соку и энергии, что я еще долго не возьмусь за что-нибудь серьезное» (22 февр. 1888).

Чехова мучит неудовлетворенность самим собой, характером своего писательства: он приходит к осознанию фундаментальной двойственности своей натуры — двойственности священного и профанного в своей творческой жизни (в его собственной терминологии «серьезного» и «пошлого» — см. его признание Я.П. Полонскому в том же письме от 22 февраля 1888 года). Именно в этот период, когда он наконец позволил себе писать всерьез и свободно, в согласии

lib.pushkinskijdom.ru

со своими внутренними стремлениями, когда он получает всеобщее признание, увенчавшееся присуждением ему Пушкинской премии, — именно в этот период его неудовлетворенность своим положением в литературе, или лучше сказать своей жизнью в литературе, достигает критических масштабов. Этот кризис имеет по-чеховски двойственный характер, как и характер его известности. Парадокс одновременного признания и непонимания заставляет Чехова глубже заглянуть в самого себя. Оценивая свое положение в русской литературе, он приходит к выводу, что слава его имеет преходящий характер. Из парадокса своего признания без понимания он делает горький вывод: «...газетные беллетристы второго и третьего сорта должны воздвигнуть мне памятник или по крайней мере поднести серебряный портсигар; я проложил для них дорогу в толстые журналы, к лаврам и к сердцам порядочных людей. Пока это моя единственная заслуга, все же, что я написал и за что мне дали премию, не проживет в памяти людей и десяти лет» (А.С. Суворину, 10 окт. 1888).

Но почему «не проживет в памяти людей и десяти лет»? Свидетельство ли это собственной недооценки или указание на «объективную» быстротечность славы? Скоротечность жизни — и отсюда недолговечность памяти о нем — представляется Чехову и спасительной, поскольку ему не нравится написанное. Вот что пишет он И.Л. Леонтьеву-Щеглову о своей повести «Огни»: «Перечитываю написаннос и чувствую слюнотечение от тошноты: противно! Ну да ничего... Наплюве!.. Какую бы мы глупость ни написали теперь, как бы ни мудрили над нами наши индюки критики, а через 10 лет мы уж не будем чувствовать этого, а потому, капитан, — вперед без страха и сомнения!» (18 апр. 1888).

Однако недолговечность славы — только внешнее измерение достоинства художника, оценка во внешней перспективе. Этим Чехов не ограничивается, он смотрит на себя внутренним оком и приходит к настроению, трагическому для знаменитого писателя: «Если... говорить по совести, то я еще не начинал своей литературной деятельности, хотя и получил премию... Все, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать и что писал бы с восторгом» (А.С. Суворину, 27 окт. 1888).

Это никак не жест скромности — это жест отчаяния. Это и искренний отклик на мнение тех из его литературного окружения, кого он ценит. «Меня в Питере почему-то прозвали Потемкиным, хотя у меня нет никакой Екатерины. Очевидно считают меня временщиком у муз» (Киселевой, 25 марта 1888). Он неоднократно возвращается к этой теме. Прозвище глубоко ранит его. Он оправдывается перед И.Л. Леонтьевым-Щегловым, жалуясь и саморазоблачаясь: «Зачем Вы дразните меня Потемкиным? В своем потемкинстве я пока не вижу ничего, кроме труда, утомления и безденежья да скуки громаднейших размеров. За своих „Медведей" мне стыдно, за премию — тоже стыдно, театра я не люблю, к литературе и к семье привык, интересных людей не вижу, погода отвратительная... Что ж тут завидного?» (Между 14 и 17 ноября 1888).

Странным образом он начинает вживаться в роль Потемкина: «Во-первых, я „счастья баловень безродный", в литературе я Потемкин, выскочивший из недр „Развлечения" и „Волны", я мещанин во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть» (А.С. Лазареву-Грузинскому, 20 окт. 1888). Вживание в эту болезненную роль проходит так естественно потому, что не противоречит неизменной чеховской внутренней раздвоенности, разделенности на священное и профанное, требующей отрицания части самого себя. В связи с успехом «Иванова» в Петербурге он пишет Киселевой: «В Питере теперь 2 героя дня: нагая Фрина Семирадского и одетый я. Оба шумим. Но при всем том как мне скучно и с каким удовольствием я полетел бы в милое Бабкино» (17 февр. 1889). «Нагая Фрина Семирадского и одетый я» — это скандально-недолговечные темы.

lib.pushkinskijdom.ru

В 1888 году повторяющимися мотивами писем Чехова являются жалобы на усталость, на то, что литература превратилась в «обязательный труд», «lege necessitatis» — а прежде он называл ее любовницей, — и он должен «понукать себя к работе» (И.Л. Леонтьеву-Щеглову, 14 сент. 1888). Он пишет много, но чувствует ненужность, бесплодность своего писания, поскольку из «100 пудов» выходит «только 5 золотников золота» (А.Н. Плещееву, 15 сент. 1888). Именно потому, что, по его собственному мнению, слишком мало подлинного выходит из-под его пера, Чехов чувствует себя неловко в положении знаменитого писателя. Невесело смотрит он на будущее и потому, что ощущает хрупкость своего писательского пера. Он признается А.С. Лазареву-Грузинскому не без иронии: «...и великие писатели бывают подвержены риску исписаться, надоесть, сбиться с панталыку и попасть в тираж. Я лично подвержен этому риску в сильнейшей степени... наибольшему риску сойти с рельсов подвержен тот поезд, который идет ежедневно, без остановок, невзирая ни на погоду, ни на количество топлива» (20 окт. 1888).

Никогда еще жалобы на бремя писательства не звучали столь отчаянно, как в конце 1888 года. Письма этого времени передают состояние глубокого отчуждения. Чехова угнетает сознание бесцельности, бессмысленности, ничтожности и ненужности его труда. В смятении он пишет А.С. Суворину: «Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового: она необразованна, дурно воспитанна, а ее лучшие элементы недобросовестны и неискренни по отношению к нам. Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу. Буренин говорит, что я не нужен и занимаюсь пустяками, Академия дала премию — сам черт ничего не поймет... Будь же у нас критика, тогда бы я знал, что я составляю материал — хороший или дурной, все равно — что для людей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астронома звезда» (23 дек. 1888).

Внешние и внутренние противоречия странным образом приходят не в столкновение, а во взаимное соответствие, питают друг друга. Наконец, к этому комплексу добавляются жалобы Чехова на то, что его писательская известность оказывается препоной между ним и людьми: репутация знаменитого писателя заслоняет для других его человеческую личность. Он пишет А.С. Суворину в конце 1888 года: «Вы пишете, что писатели избранный народ божий. Не стану спорить. Щеглов называет меня Потемкиным в литературе, а потому не мне говорить о тернистом пути, разочарованиях и проч. Не знаю, страдал ли я когда-нибудь больше, чем страдают сапожники, математики, кондуктора; не знаю, кто вещает моими устами, Бог или кто-нибудь другой похуже. Я позволю себе констатировать только одну, испытанную на себе маленькую неприятность, которая, вероятно, по опыту знакома и Вам. Дело вот в чем. Вы и я любим обыкновенных людей; нас же любят за то, что видят в нас необыкновенных. Меня, например, всюду приглашают в гости, везде кормят и поят, как генерала на свадьбе; сестра возмущается, что ее всюду приглашают за то, что она сестра писателя. Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей» (между 20 и 25 ноября 1888).

Именно эта ситуация находит свое наиболее полное и глубокое осмысление в «Скучной истории» (написана в августе — начале сентября 1889 года). Здесь она получает свою экзистенциалистическую формулировку как ситуация отчуждения имени, которое становится независимым от своего носителя, и не только больше не имеет ничего общего с ним самим, но и мешает ему жить, стоит между ним и миром и обрекает его самого на неподлинное существование. Разве можно читать начало «Скучной истории» иначе, чем как продолжение только что цитированного письма к А.С. Суворину, как бы Чехов впоследствии

lib.pushkinskijdom.ru

ни открещивался от этой связи? «Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое... И прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем. Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку... Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и несомненно полезном» (т. 7, с. 251).

Развитие темы отчуждения имени составляет костяк «Скучной истории», определяет внутреннюю форму рассказа. Иначе говоря, «Скучная история» целиком может рассматриваться как воплощение концептуального сюжета отчуждения имени. (Интересно, что в период работы Чехова над «Скучной историей» летом 1889 года повесть называлась «Мое имя и я», по свидетельству И.Я. Гурлянда — см. т. 7, с. 671, и только впоследствии Чехов отказывается от такого названия.) Сюжет этот развивается в направлении интенсификации состояния отчуждения, что демонстрируется исчерпывающим образом — при всей сложности ситуации — во все большем физическом, визуально представимом, расхождении судьбы имени и судьбы его носителя. Сюжет достигает кульминации в размышлениях профессора, который сидит «один-одинешенек, в чужом городе на чужой кровати»: «Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина; во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но все это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве... В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло» (т. 7, с. 306).

Развязка сюжета также содержится в размышлениях профессора, который в ожидании смерти дает волю воображению, доходя до гротеска: «Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову...» (т. 7, с. 308).

Наконец, экзистенциальный кризис достигает предельной глубины в представлении профессора о финальном необратимом расхождении его судьбы с судьбой его имени: «...месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце, — и это в то время, когда я буду уж покрыт мохом...» (там же).

Знакомая, даже избитая ситуация, воплощенная в крайней форме экзистенциального кризиса, перестает быть общим местом, обретает свежесть — восстанавливается ее первоначальный трагический смысл.

«Скучная история» — это не что иное, как крайне заостренное выражение того самого кризиса, который переживает Чехов в 1888—1889 годах. Не случайно писатель-медик делает своим героем медика, который говорит о себе, что он не лезет в литературу. Концепция имени, которая выражает отношение Чехова к собственному имени, оказывается у него средоточием важнейших противоречий его писательской и человеческой судьбы в их единстве. И только «Скучная история» дает нам полную уверенность в том, что Чехов не просто был одержим проблемой имени, но и сознательно направлял на нее свое внимание, знал ее смысловой потенциал. В «Скучной истории» он разрабатывает мотив отчуждения имени в качестве интроспективного фокуса в кризисе творческой личности.

«Скучная история» явилась выражением, но ничуть не преодолением кризиса. Напротив, письма конца 1889 года свидетельствуют о его углублении. Чехов пишет А.С. Суворину: «...очерков, фельетонов, глупостей, водевилей, скучных историй, многое множество ошибок и несообразностей, пуды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина — и при всем том нет ни одной

lib.pushkinskijdom.ru

строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение. Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда» (18—23 дек. 1889).

Чисто умозрительному, писательскому преодолению ситуация не поддавалась. Она требовала жизненного ответа. Чехов продолжает в том же письме: «Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом. Мне надо учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда».

Жизненным ответом, на мой взгляд, была поездка на Сахалин, глубоким мотивом которой явилось прежде всего бегство от неподлинного существования, в которое Чехова повергло его ставшее знаменитым имя. Это было бегство от имени, которое Чехов, как это ни парадоксально, больше не чувствовал своим и которое лишало его жизнь подлинности.

Если продолжить аналогию со «Скучной историей», которая напрашивается сама собой, то я позволю себе сказать, что Чехов совершает путешествие на Сахалин, чтобы с ним не случилось того, что произошло с Николаем Степановичем. Ведь если отбросить все разнящиеся обстоятельства существования старого профессора в «Скучной истории» и реальной жизненной ситуации Антона Чехова, то легко обнаружить, что общим лейтмотивом их ламентаций были жалобы на скуку, затхлость жизни, застой — атрибуты старения. Чехов пишет А.С. Суворину 4 мая 1889 года, за три месяца до начала работы над «Скучной историей»: «В душе какой-то застой. Объясняю это застоем в своей личной жизни. Я не разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг все как-то менее интересно. Надо подсыпать под себя пороху».

И еще одно обстоятельство связывает Николая Степановича с автором его «скучной истории»: сожаление, что жизнь прожита не так и хорошо бы поправить что-то. Вот еще одно чеховское признание в письме к А.С.Суворину, перед которым он раскрывался глубже и полнее, чем перед другими: «Я думаю, что если бы мне прожить еще 40 лет и во все эти сорок лет читать, читать и читать и учиться писать талантливо, т. е. коротко, то через 40 лет я выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса. Теперь же я такой лилипут, как и все» (8 апр. 1889). А через год Чехов делает горькое признание в письме к В.М. Лаврову: «...вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования...» (10 апреля 1890).

В истории русской литературы известны случаи, когда авторы совершали фатальные поступки, напоминающие деяния их героев, — Чехов и здесь предпочитает инверсию в финале: он находит выход, который позволяет не свершиться тому роковому, что произошло с героем «Скучной истории».

Задумав поездку на Сахалин, Чехов необычайно воодушевляется. Отступает мрачное настроение, хандра и скука. Чехов целеустремленно готовится к путешествию, полон нетерпения поскорее начать его, предвкушает необыкновенные впечатления. «Целый день сижу, читаю и делаю выписки. В голове и на бумаге нет ничего, кроме Сахалина. Умопомешательство. Mania Sachalinosa», — признается он А.Н. Плещееву 15 февраля 1890 года. И через два дня — А.С. Суворину: «...пахнет весной, и мне досадно, что я еще не еду на Сахалин». Он весело шутит по поводу своей поездки: «Осталась ли довольна моим индейским подарком моя будущая супруга, от которой я бегу на Сахалин?» (М.В. Киселевой, 28 янв. 1890). Но шутка выдает подлинные его мотивы. О том же Чехов рассуждает и всерьез. «Я в самом деле еду на о. Сахалин, но не ради одних арестантов, а так вообще. Хочется вычеркнуть из жизни год-полтора», — пишет он С.Н. Филиппову 2 февраля 1890 года. Отвечая на сомнения Суворина в разумности этой поездки, Чехов перечисляет все рациональные мотивы своего путе-

lib.pushkinskijdom.ru

шествия на Сахалин и добавляет, чувствуя, по-видимому, их неубедительность: «Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2—3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью?» (9 марта 1890). А 22 марта Чехов признается И.Л. Леонтьеву-Щеглову: «Пожалуйста, не возлагайте литературных надежд на мою сахалинскую поездку. Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того только, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих пор».

Это письмо, написанное перед самой поездкой, подтверждает серьезность мотивов, высказанных — и не раз повторенных — в переписке начала 1990 года перед путешествием на Сахалин. Чехов оказывается здесь поразительно верным себе, первоначальному своему намерению. Подтверждает не только для чего он едет на Сахалин, но, что еще существеннее, — от чего бежит: «Если критика, на авторитет которой Вы ссылаетесь, знает то, чего мы с вами не знаем, то почему она до сих пор молчит, отчего не открывает нам истины и непреложные законы? Если бы она знала, то, поверьте, давно бы уж указала нам путь, и мы знали бы, что нам делать, и Фофанов не сидел бы в сумасшедшем доме, Гаршин был бы жив до сих пор, Баранцевич не хандрил бы, и нам бы не было так скучно и нудно, как теперь, и Вас не тянуло бы в театр, а меня на Сахалин...»

Впечатления от поездки — а Чехов делится ими в письмах щедро, — еще одно свидетельство того, что главный мотив этого путешествия — переживание кризиса. Письма передают состояние такой глубокой удовлетворенности, наполненности и полноты жизни, какого Чехов, по-видимому, еще не испытывал. «Право, столько видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно», — сообщает он А.С. Суворину из Благовещенска 27 июня 1890 года. А по возвращении в Москву пишет И.Л. Леонтьеву-Щеглову 10 декабря: «...я доволен по самое горло, сыт и очарован до такой степени, что ничего больше не хочу и не обиделся бы, если бы трахнул меня паралич или унесла на тот свет дизентерия... Я был и в аду... и в раю». И через неделю А.С. Суворину: «Когда приеду, буду рассказывать Вам все с самого начала. Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин... а какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома... Не то возмужал от поездки, не то с ума сошел — черт меня знает» (17 декабря 1890).

Так разрешается глубоко личный кризис, который Чехов переживает в конце восьмидесятых годов. Так разрешается драма имени. Эпилог этой драмы, скажу наперед, приходится на следующее десятилетие, именно тогда происходит искупление.

lib.pushkinskijdom.ru

Ю. А. ИЗУМРУДОВ

ГОРЬКИЙ И КЛЫЧКОВ

Вопрос о взаимоотношениях Алексея Максимовича Горького и новокрестьянских писателей приобретает ныне повышенный интерес. Настоящая статья — попытка осмыслить жизненные и творческие связи Горького и Сергея Антоновича Клычкова, чье имя в плеяде поэтов-«новокрестьян» одно из наименее известных современному читателю.

1

Личное знакомство Сергея Антоновича Клычкова и Алексея Максимовича Горького состоялось в 1908 году в Италии. Ему предшествовала довольно-таки романтическая история, случившаяся с первым; она заслуживает быть отмеченной в нашем повествовании. Но прежде несколько слов о том, кем же был к этому времени Клычков. Насчитывалось ему не более девятнадцати. Молодой, но многое уже успевший повидать человек. Выходец из крестьянской семьи. Гимназистом принимал участие в первой русской революции. Скульптор С.Т. Коненков, возглавлявший в дни декабрьского вооруженного восстания в Москве одну из боевых дружин, в которую входил Клычков, впоследствии вспоминал: «Я знал его как проповедника передовых идей между талдомскими рабочими. Он выступал там как пропагандист за освобождение труда. Будучи в Москве, С. Клычков был активным проповедником освобождения рабочего класса из-под гнета эксплуататоров и даже с оружием в руках выступал против царизма, будучи на баррикадах под моим руководством на площади Восстания».[1]

Юноша уже пробовал свои силы в поэзии. На него, в частности, обратил внимание В.В. Вересаев, познакомивший с его стихами самого Бунина.

Итак, романтическая история. Учась в московской гимназии, Клычков страстно влюбился. Однако избранница его не ответила ему взаимностью и в 1908 году вышла замуж за другого, человека богатого и с положением. Отчего будущий поэт, как явствует из автобиографии, «вздумал... было наложить на себя руки».[2] Но случай счастливо изменил его судьбу. Бродя в одну из ночей по московским улицам, он поведал о своем горе случайному знакомому. Им оказался Модест Ильич Чайковский. Страстная исповедь глубоко тронула известного либреттиста и драматурга. Он заинтересовался молодым человеком, который к тому же грезил о поэтической известности, и, решив помочь ему, взял с собой в заграничную поездку в Италию. Здесь-то, на Капри, и познакомился Клычков с Горьким. Мы не располагаем сведениями о пребывании там Клычкова и его беседах с Горьким, но не подлежит сомнению — встреча эта для начинающего поэта

---

[1] ИМЛИ. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 18.

[2] *Клычков С.А.* Чертухинский балакирь. М., 1988. С. 6.

lib.pushkinskijdom.ru

значила очень много, каприйские впечатления на всю жизнь остались одними из самых ярких. Об этом свидетельствует автограф на хранящемся в архиве Горького титульном листе романа «Сахарный немец»: «Дорогому Алексею Максимовичу Пешкову в знак давнишней, каприйской любви и почтительного уважения к Максиму Горькому. С. Клычков».[3]

Капри в те годы был для многих желанным местом паломничества. И всем, а особенно приехавшим из России, Алексей Максимович был рад, беседы с каждым были обоюдополезными. И потому следующее свидетельство жены Горького М.Ф. Андреевой мы вполне относим к Сергею Клычкову: «...наезжало (на Капри. — *Ю.И.*) много народу — родные, друзья, просто знакомые, совершенно незнакомые почитатели его таланта, люди, взыскующие правды и добивающиеся ответа на вопрос, как им жить... А.М. жадно всматривался в каждого, искал то, что нужно было знать ему, писателю».[4]

Не подлежит сомнению, что Клычков читал тогда Горькому свои первые поэтические опыты. Видимо, те, что появились вскоре в его первом сборнике «Песни» (1911). В них — сказочный мир старых деревенских поверий, легенд, мифологические персонажи. В них — любовь к деревне, благоговение пред ней. Какова могла быть оценка Горького? Наверное, не более как сдержанная. Потому что уже вскоре в ряде писем он выскажется предельно ясно и однозначно неодобрительно.

По возвращении из Италии Клычков некоторое время учится на историко-филологическом факультете Московского университета, затем оставляет его и уезжает на родину, в деревню Дубровки. Занимается здесь крестьянским трудом, пишет стихи. В дальнейшем при содействии М.И. Чайковского издает свои первые сборники — «Песни» и «Потаенный сад» (1913), тепло отмеченные критикой. Клюев назвал эти стихотворения «хрустальными песнями». Брюсов заметил, что они «не банальны; выбрав темы народно-русские, г. Клычков ищет для них и подходящего склада, иногда успешно находя в ритмических строках напевность, соответствующую народному стиху».[5]

Вести о литературном успехе Клычкова вскоре доходят и до Горького. Начинающий поэт Д. Семеновский так пишет ему о «Потаенном саде»: «...какая красота! По-моему, Клычков — первый и самый интересный из современных русских стихотворцев».[6] В ответном письме Горький, хоть и признает поначалу, что Клычков не без таланта, высказывает — и довольно резко — свое несогласие с адресатом: «А вот что Вам нравятся стихи Клычкова, Клюева и подобных им, — людей весьма даровитых, но мало серьезных и еще *не поэтов*, — это плохо, простите меня! Очень плохо. Вы еще молоды, но у Вас есть кое-что свое, что Вы и должны беречь, развивать, говорить же, что "*я решил быть поэтом* прекрасной дали, грядущего эдема, града невидимого и влюблен сейчас в слово «рай»" — все это Вам не нужно. Все это — дрянь, модная ветошь, утрированный лубок и даже языкоблудие. Каким Вы будете поэтом, это неизвестно ни Вам, никому, но если Вы пойдете за Клычковыми, — Вы *не* будете поэтом.

Чтоб понять, что такое Клычковы, какие они еще мальчики, сравните их стихи со стихами хотя бы Бунина, взяв его последнюю книгу "Иоанн Рыдалец"; посмотрите, какая строгость, серьезность, какая экономия слова и любовь к нему. Вообще же учиться нужно по Пушкину, а от того, кто скажет Вам, что Пушкин устарел, — идите прочь!⟨...⟩

---

[3] Автограф не датирован. Однако установлено, что относится он к началу 1925 года, когда в короткое время Клычковым были посланы Горькому два экземпляра своего только что вышедшего романа «Сахарный немец».

[4] Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 273.

[5] *Брюсов В.Я.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 362.

[6] Цит. по: *Солнцева Н.М.* Гость чудесный // Москва. 1988. № 2. С. 199.

lib.pushkinskijdom.ru

...Нужно стремиться быть именно хорошим, серьезным поэтом, а для сего необходимо выкинуть вон из головы всю современную бутафорию и театральщину, все эти "дали", "эдемы", "фиалы", дохлых "Прекрасных дам" и прочую дребедень. И чем скорее это будет сделано, тем лучше для того, кто это сделает... Пишите просто, искренно о своей душе и от своей души, никому не поддакивая, никого не слушая — ни меня, ни Клычковых, никого...»[7]

Как видим, лирика Клычкова ассоциировалась для Горького прежде всего с худшими проявлениями современной поэзии, которые он определял как «утрированный лубок», «бутафорию», «театральщину» и т.п. Основания для этого у него, наверное, были. Ведь вот, к примеру, и Н. Гумилев довольно серьезно раскритиковал стихотворения из сборника «Песни», назвав их «сладкой водицей».[8]

Да, в ранней лирике Клычкова были недостатки, и местами весьма серьезные, но было в ней также нечто такое, что их полностью искупало: очевидная искренность, глубинная любовь к народному характеру, жажда целостности личности, гармонии души и мира — мотивы, которые станут отличительной чертой всей новокрестьянской лирики. Остается сожалеть, что Горький этого не заметил или не придал особого значения.

В поэтическом искусстве Алексей Максимович более всего ценил ясность и лаконичность мысли, законченность образов, реалистичность настроя. И вот как раз этим-то критериям, по его мнению, и не отвечали стихи Клычкова.

Чуждыми были для Горького и клычковская трактовка мифологической образности, поэтизация деревни как некоего фантастического Потаенного сада, где живут в гармоничном единении со всем и вся безгрешные мечтательные мифологические существа. Не нашла понимания у Алексея Максимовича и клычковская «грусть-печаль» как основная тональность стихов.

Бесспорно, горьковский совет учиться поэтическому мастерству у Бунина был правилен. Да, ранняя лирика Клычкова несравнима с «Иоанном Рыдальцем», серьезно проигрывает перед ним. Но ведь автор «Песен» еще только-только входил в литературу, в то время как Бунин выпустил уже немало книг. И потом (и это, пожалуй, главное): это *разные* поэты, с *разным* мироощущением.

Естественно, категоричность горьковского письма не могла не подействовать на Д. Семеновского, заронила в его душе сомнение в правильности своих литературных пристрастий. Хотя поначалу в ответном письме он с присущей его возрасту горячностью возразил Горькому: «Я совершенно не согласен с Вами, что Клычков — не поэт. По-моему, это очень своеобразный и сильный талант в ряду современных поэтов...» [9] Позднее он признавался: «Горьковскую строгость пришлось испытать в те дни и мне. В моих литературных вкусах и суждениях было много незрелого, наносного, взятого напрокат. Не умея уважать свое, индивидуальное, я рядился в платье с чужого плеча. Такой маскарад вызвал со стороны Горького резкую критику».[10]

В переписке с Семеновским Горький еще несколько раз упоминал имя Клычкова. Так, разбирая присланные адресатом стихи, он наставлял его: «...не нужно форсить рифмами, как делают это Клычковы и Клюевы, поверьте старому воробью: они гораздо больше книжники и спортсмены слова, чем поэты милостию божией. Что будет с ними дальше, не знаю, но пока — они все еще музыканствуют. Я не отрицаю музыку слова, но хорошая музыка всегда проста, все хорошее просто...».[11] А в письме из Мустамяк от 26 июля 1914 года выражал уже свое

---

[7] *Горький А.М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 315—316.
[8] *Гумилев Н.С.* Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 119.
[9] Из писем Д. Семеновского М. Горькому // Волга. 1968. № 3. С. 47.
[10] *Семеновский Д.Н.* А.М. Горький: Письма и встречи. Иваново. 1961. С. 15—16.
[11] Там же. С. 25—26.

lib.pushkinskijdom.ru

удовлетворение происшедшими в Семеновском изменениями: «Приятно знать, что Вам более не нравится Клычков и что Вы читаете Пушкина, — этот испортить Вас не может, но может обогатить».[12]

Адресат Горького довольно интересная фигура в поэтических кругах. (Правда, сегодня имя его известно не многим.) Обычно его относят к пролетарским поэтам. Но и новокрестьянские мотивы были ему свойственны, и не только в дореволюционном творчестве. Мотивы, подмеченные им именно у Клычкова, Клюева. И нельзя не согласиться с мнением современных исследователей его творчества: «Поэзия Семеновского как раз тем и интересна, что в ней плодотворно взаимодействовали оба направления русской демократической поэзии».[13] С Клычковым Семеновский был лично знаком, переписывался с ним.

Предреволюционные и послереволюционные годы были бурными в биографии Клычкова. Первая мировая. Отравление газами. Октябрь семнадцатого. Пленение белогвардейцами и махновцами, вынесение ими смертных приговоров и неожиданное спасение. Знакомство с Есениным и Клюевым. И, конечно же, новые стихи, новые поэтические сборники. Революцию Клычков воспринял с радостью, с энтузиазмом, она пробудила его надежды и творческие силы, сблизила с пролетарскими поэтами. Вместе с Есениным и Герасимовым он пишет «Кантату», посвященную памяти погибших борцов революции, которая торжественно исполняется в Москве, на Красной площади, в первую годовщину Октября. В этом же соавторстве, включая и Н. Павлович, создается киносценарий «Зовущие зори», воссоздающий недавние революционные события. В 20-е годы Клычков работал в журнале А.К. Воронского «Красная новь», на страницах которого опубликовал программную статью «Лысая гора», где с реалистических позиций сформулировал свои взгляды на место и роль поэзии в современном обществе, — взгляды, во многом созвучные Горькому-художнику. А в ответе на анкету журнала «Книга о книгах» к 125-летию со дня рождения А.С. Пушкина он высказался так: «...Пушкин для меня всегда был образом утешения, успокоения и надежды... Сейчас на нем будут учиться, подражать его стилю, удивляться его поэтической манере — завтра литература будет жить Пушкиным».[14] Это почти дословно повторяет горьковские наставления Семеновскому в связи с Пушкиным.[15] Что глубоко закономерно. Великий поэт России был для обоих писателей «началом всех начал»,[16] от него и к нему шли они в своем творчестве.

2

В середине 20-х годов Клычков, к этому времени уже известный поэт, автор нескольких сборников, начинает работать над прозаическими произведениями. У него возник грандиозный замысел: создать целую серию романов — девятикнижие под общим названием «Живот и смерть» — о жизни российской деревни начиная с крепостного права и кончая революцией.

Дебют Клычкова-прозаика заинтересовал многих литераторов, в том числе и Горького, что нашло отражение, в частности, в переписке последнего (до этого имя новокрестьянского поэта в течение длительного времени — более десяти

---

[12] *Горький А.М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 29. С. 324.

[13] *Агеев А., Куприяновский П.* Поэты рабочего края // Дм. Семеновский и поэты его круга. Л., 1989. С. 7.

[14] Гость чудесный: Наследие Сергея Клычкова // Лит. обозрение. 1987. № 5. С. 109.

[15] Красноречив, к примеру, и такой фрагмент из письма с Капри от 13 мая 1913 года: «Читайте... Пушкина — это основоположник поэзии нашей и всем нам навсегда учитель» (Собр. соч.: В 30 т. Т. 29. С. 303).

[16] Выражение из письма Горького П.Х. Максимову от 28 авг. 1911 года (Там же. С. 181).

lib.pushkinskijdom.ru

лет — вовсе не упоминалось в письмах Горького, — и это в общем-то характерный показатель того, что Клычков-*лирик* мало волновал Алексея Максимовича, несмотря на то что у создателя «Потаенного сада» в дальнейшем выходили и иные книги стихов, неизмеримо более зрелые и содержательные).

В начале 1925 года Алексею Максимовичу, находящемуся в Сорренто, становится известно, что вышел в свет первый клычковский роман «Сахарный немец», и он справляется у писателя Павла Низового, не пришлет ли автор ему эту свою книгу. И Сергей Антонович, узнав об этом, сразу же пишет Горькому: «Дорогой Алексей Максимович! На днях по приезде из деревни я встретил Павла Низового и он сообщил мне Ваше желание познакомиться с моей книжонкой... Значит, Вы не получили моего Сахарного Немца — а я его выслал Вам чуть ли не пробным экземпляром, потому что чье-чье, а Ваше мнение мне драгоценнее всего, ибо люблю Вас и верю главное в Вашу искренность, почему-то очень верю, что Вы никак не соврете, а мне надо прежде всего правду, потом уже следует так называемая приятность в обхождении... у нашего брата вещь совершенно фальшивая и невыносимая; мы не умеем быть даже грубы, может, главным образом, потому, что все очень прежде расчетливы и через меру друг с дружкой хитры...

Само собой разумеется, что я очень обрадовался сообщению Низового, но вместе с тем и не пойму, почему Вы не получили: решил Вам послать второй экземпляр, относительно которого и буду ждать от Вас самого беспощадного и откровенного мнения: верьте, что меня не прошибешь, живу по-прежнему бирюком и обеими руками держусь за то маленькое, но свое, что не променяю ни на что большое, но чужое...

Желаю Вам всего-всего хорошего. Сергей Клычков».[17]

Горький прочел роман очень быстро, и уже 31 марта послал автору подробный разбор его: «...я получил Вашу книгу и первый раз и второй, сегодня. Не отвечал же Вам, потому что не знал адреса. Прочитал "Сах. немца" с великим интересом. Большая затея, и начали Вы ее — удачно. Первые главы — волнуют; сказка Пенкина "Ахламон" — безукоризненно сделана. Всюду встречаешь отлично сделанные фразы, меткие, пахучие слова, везде звонкий, веселый и целомудренно чистый великорусский язык. Злоупотребление "местными речениями" — умеренное, что является тоже заслугой в наши дни эпидемического помешательства и некрасивого щегольства "фольклором".

Но — уж Вы меня извините! — книга, в общем, показалась мне сырой и несколько тяжелой. Она — многословна, растянута. Возможно, разумеется, что я ошибаюсь.

Не понравилось мне и то, что едва ли не половину книги Вы написали гекзаметром или чем-то вроде его. Это напомнило мне "Устои" Н.Н. Златовратского, роман, где покойник написал целую главу — косьбу сена — гекзаметром. Напомнило "Попиаду" Радимова и его "Деревню". Радимов — это, иногда, хорошо. "Попиада" его, во всяком случае, исключительно интересная вещь. Но Вы, на мой взгляд, в пафосе Вашем ближе к Златовратскому, а сие — образец подражания не заслуживает. Извините за слово "подражание", речь идет, конечно, о сходстве — и только. Сходство это для Вашей книги не выгодно.

Нередко ритмическая проза Ваша заставляет Вас допускать неточности: "...вальком по рубахам колотит, а сама, то и дело, *под юбку* глядит". Надо ли беременной женщине глядеть под юбку себе? Глядит она на брюхо, этого достаточно.

Таких "описок" можно найти у Вас немало. В общем, повторяю, книга показалась мне тяжелой и сырой. Но размер, широта Вашего плана — подкупает.

[17] Лит. обозрение. 1987. № 5. С. 110.

lib.pushkinskijdom.ru

⟨...⟩ Мне кажется, я знаю, чего это стоит Вам, и скажу прямо: меня радует, что вопреки всему русский писатель остается тем же смелым и независимым духовно, каким он был. Здесь эмигрантская критика злобно визжит, говоря о Вас, работающих в России. Здесь никто не понимает, как трудна ваша жизнь и в какой героической позиции стоите вы. Говоря "вы", я, разумеется, исключаю ряд людей, которые пишут не то, что могли бы, а лишь о том, что им приказано.

Не сердитесь на меня, дорогой С.А., на этот отзыв о Вашей книге! Иначе не могу.

Я очень жду продолжения. Когда и где оно выйдет? Пришлете? ⟨...⟩

Будьте здоровы. Желаю бодрости духа».[18]

Как видно, отзыв в целом одобрительный. Достоинства романа Горький подчеркнул очень точно, особо отметив «чистый великорусский язык». И, что особенно важно, увидел в книге проявление творческой, внутренней свободы автора, поставил его в один ряд с художниками честными и бескомпромиссными. И это символично: немногие писатели удостаивались столь высоких отзывов литературного мэтра; Клычков к тому же был из числа тех, чьи мировоззренческие устремления считались Алексеем Максимовичем глубоко ошибочными. (Все это лишний раз свидетельствует о том, что Горький-художник в писателе ценил прежде всего — как бы интуитивно — художника же, и только потом уже принимались в расчет иные критерии.)

К числу же недостатков романа Горький отнес излишнюю, по его мнению, ритмизацию повествования, усмотрев в этом параллели с творчеством народника Н.Н. Златовратского, писательскую манеру которого считал слащавой. Несколько позднее горьковская критика конкретизируется, приобретет ясную идеологическую окраску, в данном же письме сказалось по преимуществу первое, чисто эмоциональное впечатление от романа.

В письмах к экономисту и писателю Д.А. Лутохину Горький отдает должное литературному мастерству автора «Сахарного немца». Так, в первом из них, от 8 мая 1925 года, он советует адресату использовать для диспута о современной литературе и роман Клычкова, наряду с произведениями К. Федина, М. Зощенко, М. Булгакова, Л. Леонова. По его мнению, «все это говорит о здоровом росте русской литературы». И потому оптимистическое резюме: «Все больше и больше является новых имен, новых людей, и, право, в этой области Русь не устает рождать талантливых. Да и вообще, везде, живут россияне бойко. Удивляюсь: на чем эмигрантская пресса строит свои надежды?»[19] А в письме от 30 декабря 1925 года он аргументировал значимость книги Клычкова тем, что она в ряду прочих свидетельствует «о конце старого»,[20] о безвозвратно уходящем в прошлое старом укладе деревенской жизни. Однако в письме к В.Я. Шишкову (от 20 декабря 1925 года), говоря о «Сахарном немце», он вновь упоминает Златовратского.

Для более ясного понимания позиции Горького по отношению к роману Клычкова особенно важны два его письма Н.И. Бухарину (от 23 июня и 13 июля 1925 года), впервые опубликованные в 1989 году. Они столь характерны и многоговорящи, что считаем целесообразным привести здесь довольно обширные выдержки из них:

«Нет, дорогой Николай Иванович, я не боюсь, что "мужик съест". Однако же когда представишь себе всю огромность всемирной русско-китайско-индусской деревни, а впереди ея небольшого, хотя и нашедшего Архимедову точку опоры, русского коммуниста, то, всматриваясь в соотношение сил, испытываешь неко-

[18] Архив А.М. Горького. ПГ-рл-18-75-1.
[19] Архив А.М. Горького. М., 1976. Т. 14. С. 395.
[20] Там же. С. 401.

lib.pushkinskijdom.ru

торую тревогу. Деревня, ведь, тоже, в некотором роде "церковь", а люди весьма охотно веруют во что-нибудь спокойненькое и уютное. Спокойненькие верования осаливают человеков, — глагол "осаливать" я произвожу не от соли, а от сала. И когда я вижу, что о деревне пишут — снова! — дифирамбы гекзаметром, создают во славу ея "поэмы" в стиле Златоврацкого — это меня не восхищает. Мне гораздо более по душе и по разуму солоненькие рассказы о деревне старого знакомого моего Пантелеймона Романова. Конечно, я понимаю, что коварство истории повелительно диктует необходимость встать к деревне именно лицом, а не затылком и что вообще в мире нет ничего, что позволило бы русскому коммунисту не беспокоиться о целости его затылка.

...Тема противоречия психологии "деревня — город" неизбежна и естественна, как нельзя более. У нас будут две линии литературы: мужицкая и рабочая. Они, эти линии, уже намечены».[21]

«Резолюция ЦК "О политике партии в области художественной литературы" — превосходная и мудрая вещь, дорогой Николай Иванович! Нет сомнения, что этот умный подзатыльник сильно подтолкнет вперед наше словесное искусство. Молодежь осмелеет в своем отрицании старого быта, получит возможность отметить беспощадно его ядовитую пыль и грязь в "комчванстве" и с большей энергией начнет искать и создавать "героя" — человека, в совершенстве воплощающего в себе инстинкты и дух массы, влекомой историей к жизни по истине новой.

...Очень хорошо, что "Прожектор" будет издавать книжки и в их числе издает рассказы Романова о деревне. Это — весьма хорошие рассказы, особенно если противопоставить их возрождающемуся сентиментализму народничества, столь ярко выраженному в "Сахарном немце" поэта Клычкова и в гекзаметрах Радимова "Деревня". Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, даже, пожалуй, неизбежен конфликт двух "направлений". Всякая "цензура" тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика — и нещадная — этой идеологии должна быть дана теперь же.

Талантливый, трогательный плач Есенина о деревенском рае — не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима.

...Нам дано добить старое, но у нас нет сил для изображения нового в том грандиозном объеме, как его выдвигает жизнь. А потому и своевременно и мудро приласкать несколько — молодых, воодушевить их, как это и сделано в резолюции ЦК. Город и деревня должны встать и [ближе] — лоб в лоб. Писатель-рабочий обязан понять это».[22]

Теперь ясно, какой же основной порок увидел Горький в «Сахарном немце». Это «возрождающийся сентиментализм народничества», «дифирамбы» деревне. Дифирамбы, вместо последовательного разоблачения ее старых, до конца реакционных основ, развенчания ее. Мужикопоклонники и деревнелюбы (а к таковым он относил и Клычкова), по его мысли, сводят на нет всю важную работу «небольшого русского коммуниста», оставшегося один на один с огромной русско-китайско-индусской деревней. Творчество Клычкова мыслится им в контексте крестьянской литературы — той, что противостоит писателям-рабочим, и противостоит конфликтно.

---

[21] Изв. ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 181—182.
[22] Там же. № 1. С. 246—247.

lib.pushkinskijdom.ru

3

Отношение Горького к крестьянству и крестьянской литературе было достаточно сложным, противоречивым, включало в себя большой спектр проблем общественной жизни России предреволюционной и послереволюционной эпохи. Тема эта очень обширная, многогранная, и подробно рассматривать ее в данной работе не представляется возможным. Выделим лишь некоторые, наиболее характерные аспекты. Они важны как сами по себе, так и применительно к Клычкову.

Во-первых, «работе писателей-рабочих» конфликтно противостояла не вся крестьянская литература, а лишь часть ее, за «вычетом» творчества таких авторов, как С. Подъячев, И. Вольнов и некоторые другие, «которым были чужды сентиментализм и слащавость народопоклонников» и которые изображали деревню «во всей ее жути», возбуждая «ненависть к прошлому».[23] Эта часть, по мысли Горького, была доминирующей в крестьянской литературе (потому-то Алексей Максимович в письмах Бухарину полемически противопоставил всю крестьянскую литературу пролетарской) и, следовательно, представляла большую опасность. Вот почему он с тревогой и надеждой встречал каждую новую книгу о деревне, искренне радовался, если находил созвучие своим мыслям и представлениям. Такое созвучие, к примеру, он нашел и в «солоненьких» рассказах П. Романова, отнюдь не являвшегося крестьянским писателем как таковым, и, конечно же, не преминул зачислить его в число авторов, оппозиционных неонародническому крылу, которое ассоциировалось для всех в это время прежде всего с именами С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Радимова.

«...Мне органически враждебно постоянное противодействие мужика неотразимым требованиям истории» [24] — таким был горьковский тезис 20-х годов, согласно которому Алексей Максимович строил свою концепцию деревенской темы в литературе. Подобный взгляд сформировался у него в результате мучительных раздумий о судьбах крестьянства в дореволюционные и революционные годы. Если в повести «Лето» (1909) Горький показал деревню, разбуженную революцией, стремящуюся к новой, справедливой жизни, и провозгласил веру в грядущее будущее крестьянского народа, то в книгах «Несвоевременные мысли» (1918) и «О русском крестьянстве» (1922) деревня представлена только лишь в плане «прошлого», как оплот всех темных реакционных сил, грозящих погубить немногочисленный пока еще пролетариат, а с ним и надежду на то, что цели, поставленные революцией, будут достигнуты. Ожидание и предощущение грандиозного всеобщего праздника («С праздником, великий русский народ! С воскресением близким, милый!» [25]) сменилось глубочайшим пессимизмом, тревогой, болью: «...главнейшей и наиболее неустранимой особенностью деревенского люда является свирепый собственнический индивидуализм, который неизбежно должен будет объявить жестокую войну социалистическим устремлениям рабочего класса. Парижскую коммуну зарезали крестьяне, — вот что нужно помнить рабочему».[26] Но при всем этом, случалось, как бы ни были безграничны и тревога и боль, они в свою очередь сменялись невольно и иными чувствами — сомнениями в том, что все в действительности будет так безысходно, как представляется, сомнениями, проистекавшими от любви писателя и гражданина к своей родине, своему народу, сомнениями, показывавшими, что истина для него была все-таки дороже всяких теорий и догм, как бы выстраданы они ни

---

[23] *Горький А.М.* О литературе. М., 1955. С. 234, 237.
[24] Лит. наследство. 1963. Т. 70. С. 497.
[25] *Горький А.М.* Лето // Полн. собр. соч.: В 25 т. М., 1971. Т. 9. С. 513.
[26] *Горький А.М.* Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М., 1990. С. 190.

http://pushkinskijdom.ru

были: «Мнение не есть суждение, и если мои мнения окажутся ошибочными, — это меня не огорчит».[27]

Сомнения эти поддерживала сама постоянно менявшаяся жизнь. Поддерживало их и общение с писателями, столь ценимыми Горьким, — С. Подъячевым и И. Вольновым, которые в письмах к нему не только «разоблачали» деревню, но и защищали ее, указывали на здоровые начала в ней. Алексей Максимович все чаще начинает замечать в книгах о крестьянстве, помимо фактов, говорящих о живучести, мощи старого, реакционного в деревне, и факты иные — об ослаблении этого старого. В конце 20-х он уже пишет о появлении «нового человека», «который знает, что город и деревня — две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для них пришла пора слиться в одну необоримую творческую силу, — слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда и нигде не сливались», который «хорошо понял необходимость и неизбежность "смычки" (города и деревни. — *Ю.И.*), хорошо видит процесс ее и прекрасно чувствует чудеса будних дней».[28]

В этой «смычке», иными словами коллективизации, Горький видел залог будущего, считал крайне важным осуществление ее «в кратчайшие сроки» и в то же время полагал все это «безумнейшей задачей»,[29] так как «зоологическая» стихия деревни представлялась ему неуправляемой, непредсказуемой. Но, с тем большим упорством призывая на борьбу с этой самой стихией, Горький, однако, не мог не замечать, что стихия эта рождает и вдохновляет немало талантов, мастеров слова, с которыми мало кто мог сравниться в способности «выражения... любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком».[30]

Все эти вышеперечисленные аспекты в своей совокупности и определяли отношение Горького к новокрестьянским писателям. Оно никогда не было однозначным. И понимание этого особенно важно при анализе упоминаемых выше писем Бухарину.

4

Горьковские письма Бухарину, как явствует из процитированных фрагментов, весьма обстоятельны, конкретны, аргументированны. Они дают обильную пищу для размышлений. И естественно, не могут не побуждать к тем или иным выводам. Но, думается, все-таки не к таким, к каким пришел литературовед С.И. Субботин в статье, опубликованной в журнале «Новый мир». Он считает, что мысли и пожелания Алексея Максимовича явились для Бухарина чуть ли не основанием для развязывания идеологической войны против крестьянских писателей, что его «Злые заметки» (1927) написаны, «без сомнения... вполне в духе горьковских пожеланий их автору».[31] Заметим: «без сомнения». А мы как

---

[27] *Горький А.М.* О русском крестьянстве. Берлин. 1922. С. 5.
[28] *Горький А.М.* О литературе. С. 270—271.
[29] Изв. ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 215.
[30] *Горький А.М.* О литературе. С. 253.
[31] Сергей Клычков: Переписка, сочинения, материалы к биографии / Публ. и сост. Н.В. Клычковой; Вступ. ст., подгот. текстов и примеч. С.И. Субботина // Новый мир. 1989. № 9. С. 194—195. Аналогичную мысль Субботин высказывает и в статье «Чистый голос» (Лит. газ. 1989. 28 июня. № 30. С. 6). Несколько иное, свободное от подобной категоричности суждение содержится в статье Н. Примочкиной «Трагическая ошибка Горького» (Молодая гвардия. 1991. № 3. С. 258—268), однако одно из ключевых ее положений не может не вызвать возражения. Так, справедливо полагая, что «разлад между Горьким — идеологом, политиком и Горьким — человеком, художником, разрыв между чувством и долгом, сердцем и разумом — частично объясняет его неоднозначно-противоречивое отношение к новокрестьянским поэтам, и в частности к Клычкову», Н. Примочкина неожиданно

lib.pushkinskijdom.ru

раз сомневаемся. Право же, можно ли сравнивать цитируемые письма, сам их стиль, тон, с бухаринскими заметками? Они — вот уж поистине верно название! — действительно злые, а в злобе человек более всего далек от истины. Совершенно справедливо мнение Ю.А. Прокушева, что «Злые заметки» — «бессовестный пасквиль на поэта и человека», написаны они «бездумно-оголтело, безнравственно»,[32] что их «и сегодня, спустя шесть десятилетий после публикации в "Правде", читать горько и оскорбительно...».[33] Это мнение сегодняшнего дня, но и в то время находились люди (и их, надо сказать, в общем-то было немало), которые считали точно так же. К примеру, М. Пришвин. И символично, что именно в письме к Горькому он поделился своим негодованием по поводу бухаринской статьи, охарактеризовав ее как «хулиганскую», причинившую ему «горечь и возмущение и унижение».[34]

«Злые заметки» не только вторично убивали Есенина, но и, если можно так выразиться, «перекрывали кислород» всем поэтам его направления, в том числе и Клычкову. О такой ли «критике» писал Бухарину Горький?! Такой ли метод работы с писателями, особенно с начинающими, советовал ему?! Ведь он как никто другой знал силу печатного слова. Вспомним его более позднее открытое письмо поэту Павлу Васильеву: «...как только дружески скажешь о ком-либо неласковое или резкое слово, — то тотчас же на этого человека со всех сторон начинают орать люди, которые ничем не лучше, а часто — хуже. Так было в случае с Панферовым: немедленно после моего мнения о небрежности его работы на Панферова зарычали, залаяли даже те люди, которые еще накануне хвалили его. Этих двоедушных, беспринципных паразитов пролетариата нужно ненавидеть, обличать, обнажать их гнусненькое лицемерие, изгонять из литературы...» [35] О бухаринской же статье отнюдь не скажешь, что это просто недружеское, неласковое слово. Что же? Сплошное издевательство и глумление, вдобавок имеющее четкую политическую подкладку. Как-никак редакторская статья «Правды»! То-то уж порезвилось сонмище двоедушных и беспринципных! Думал ли о них Николай Иванович? Смысл статьи, ее жестокость, безапелляционность суждений убеждают: да, наверное, думал.

Многозначительна и другая цитата из письма Горького к Бухарину (одного из тех двух, о которых выше шла речь):«Литературная молодежь восхищает меня. Отношение к ней "напостовцев" — дурацкое. Все эти Родовы, Лелевичи, Вардины прежде всего бездарны. Да, видимо, и малограмотны. Не следует затискивать начинающих писателей в угол, хотя бы и в марксистский».[36] Как видно, здесь уже называются вполне конкретные имена тех, к которым сполна применимо убийственное определение: «двоедушные и беспринципные». Это сторонники журнала «На посту» (1923—1925), нигилистически относившиеся к классической литературе и к непролетарским писателям-«попутчикам». Загонять

резюмирует: «Столь разные оценки одного и того же произведения («Сахарного немца». — *Ю.И.*) в письмах Горького Клычкову и Бухарину свидетельствуют, на наш взгляд, о постепенном созревании в сознании писателя мысли о допустимости существования двойной морали — морали для "личного пользования" и морали официальной, публичной». Итак, «неоднозначно-противоречивое отношение» идет от «двойной морали». Отсюда только шаг и до обвинения Горького в беспринципности. Неужели Н. Примочкина, критикующая, кстати, в этой же своей работе писателя и публициста В. Бушина за якобы передержку фактов и предвзятость при интерпретации им смысла горьковских писем Бухарину в статье «Соблазн прокукарекает первым» (Лит. обозрение. 1990. № 8), не понимает, что сама допускает и передержку и предвзятость?

[32] *Прокушев Ю.А.* Знать, откуда что пошло // Лит. Россия. 1989. 8 янв. № 44. С. 8.

[33] *Прокушев Ю.А.* Дума о России. М., 1988. С. 622.

[34] Лит. наследство. Т. 70. С. 341.

[35] Лит. газ. 1934. 12 июля.

[36] Изв. ЦК КПСС. 1989. № 23. С. 182.

lib.pushkinskijdom.ru

начинающих в марксистский угол — их излюбленный метод работы с ними, а тех, кто упирается, не желает этого, придерживается своей позиции, они публично грязно бранят и щедро обвешивают всевозможными ярлыками. Одного из них «удостоился» и Клычков. А ведь это и к нему тоже, Клычкову, можно с полным правом отнести горьковские слова: «Литературная молодежь восхищает меня». Вспомним и письма к Лутохину.

Бесспорно: двояко относился к Клычкову Горький. Не без похвалы, но чаще все-таки критиковал, однако совсем по-иному, отнюдь не так, как это делал Бухарин, который в своих заметках унизился прямо-таки до начальственного разноса, призвал дать по есенинщине ни больше ни меньше как «хорошенький залп»,[37] дабы разом покончить с ней. (А есенинщина это, понятно, не только Есенин. Это и Клычков тоже. По Бухарину, конечно.)

Правда, могут возразить, однажды в одной из записок своему секретарю П.П. Крючкову Алексей Максимович довольно резко высказался на счет Клычкова: «В письме ко мне Артемий Багратович (Халатов. — *Ю.И.*) правильно указал на Клычкова, как на одного из людей, стоящих “по ту сторону баррикады”».[38] Действительно, выражение очень резкое и политически однозначное. Тут, конечно же, Горький был не прав. Они оба находились по одну сторону баррикады, делали одно очень большое и важное дело — создавали советскую литературу, — вот лишь исходные позиции их не всегда совпадали. Горький допустил резкость, но, отнюдь не стремясь подыскивать оправдания этому, заметим: мнение его было скорее частного характера, по форме лишь солидаризирующееся со словами Халатова. А далее в упомянутой записке Крючкову Алексей Максимович еще раз формулирует свое отношение к «Сахарному немцу». Приводя полный текст положительной рецензии на роман из бюллетеня Гиза, где, в частности, утверждалось, что в книге «с большим лирическим напряжением показана *гибель прочного мужицкого психического и бытового уклада*», Горький высказывает свое несогласие с ней. И резюмирует: «“Большое лирическое напряжение”, с которым “показана гибель *прочного* мужицкого уклада”, — есть не что иное, как искренное и не беззлобное сожаление о гибели “прочного уклада” жизни деревенского лавочника».

5

Роман Клычкова «Чертухинский балакирь» также приковал к себе пристальное внимание Горького. Алексей Максимович был наслышан о нем еще задолго до появления в печати. «Клычков совсем расписался, — так, в частности, сообщал ему в августе 1925 года А.К. Воронский, — у него готова вторая повесть “Чертухинский балакирь”, очень свежая и неплохая. Кажется, лучше “Сахарного немца”, который мне нравится».[39] В конце декабря 1925-го—начале января 1926 года Горький знакомится с главой из романа — «Два брата», опубликованной в пятом номере Альманаха артели писателей «Круг» за 1925 год. И вот первая оценка, пока еще очень краткая, но знакомую, клычковскую, особенность уже подметившая: «...Клычков напоминает покойного Н.Н. Златоврацкого...»[40] В это время в Москве готовится к выходу в свет первый за 1926 год номер журнала «Новый мир», где решено начать публикацию полного «Чертухинского балакиря».

---

[37] *Бухарин Н.И.* Злые заметки // Вопросы литературы. 1988. № 8. С. 224.
[38] Архив А.М. Горького. Т. 14. С. 463.
[39] Там же. Т. 10. Кн. 2. С. 23.
[40] Там же.

lib.pushkinskijdom.ru

А вскоре экземпляр его отправляется почтой в Сорренто на строгий и беспристрастный суд. В сопроводительном же письме главный редактор журнала В.П. Полонский сообщал: «Вы, вероятно, встречали в прошедшем году журнал с этим наименованием. К сожалению — он не был блестящ. По этой печальной причине мне предложили превратить его в издание, если не в первосортное, то во всяком случае в приличное. Задача интересная, журналов у нас немного, литература — растет, я согласился. Вышедшая книжка — первая, которую я проредактировал. Насколько она удачна — судить не мне. Но опасения мои за будущее журнала — основательны, и я взываю к Вам: Алексей Максимович, поддержите! Вы спросите: почему я раньше Вам не написал? Именно потому, что сначала хотел показать "реформированный" журнал: у старого была репутация незавидная. ... "Новый мир" имеет большие возможности сделаться массовым журналом».[41]

Как видим, Полонский придавал большое значение возрождающемуся журналу. И, чтобы рассчитывать на успех его в читательском мире, пригласил к сотрудничеству молодых, перспективных литераторов. И символично, что в круг авторов первой книжки — а тут были и Есенин, и Вс. Иванов, и Б. Пильняк, и Маяковский, и П. Орешин, — вошел и Клычков, которого Полонский очень ценил и о котором впоследствии скажет необычайно смелые и пророческие слова: «Когда зайдет речь о крестьянской литературе, историк назовет не имя Деева-Хомяковского и даже не П. Замойского, а Сергея Клычкова — самого крупного и замечательного русского художника, выдвинутого русской деревней».[42]

Горькому первая книжка журнала понравилась, показалась «весьма удачной», о чем он и известил Полонского. Правда, персонально о Клычкове, как, впрочем, и о других авторах, он не сказал ничего, ограничившись общим мнением и дав ряд советов, «чтоб молодежь писала и училась писать, а ее бы читали и учились читать».[43]

Публикация «Чертухинского балакиря» осуществлялась в «Новом мире» за 1926 год вплоть до девятого номера (исключая лишь февральскую книжку). В этом же году в Госиздате вышло отдельное издание. Роман сразу же вызвал большой читательский резонанс. И в начале ноября И.А. Груздев в письме к Горькому интересуется, получил ли он для чтения наряду с другими произведениями московских писателей книгу Клычкова. У Алексея Максимовича к тому времени экземпляр уже имелся, причем с дарственной надписью автора: «Дорогому Алексею Максимовичу Горькому на память. С. Клычков. 6-го окт. 1926 г. Москва». Он и поныне хранится в его личной библиотеке в музее-квартире А.М. Горького в Москве. Пометы, сделанные на его страницах, позволяют судить, из чего складывались горьковские оценки, как формировались, почему порой были противоречивы.

Горького не оставили равнодушным сочный, колоритный язык романа, афористическая манера письма, художническая смелость автора, о чем он и высказался некоторым из своих адресатов. Книга хорошая — таково в целом, к примеру, его мнение в письмах А.К. Воронскому и Ф.В. Гладкову. Находящемуся в эмиграции Д.А. Лутохину он даже высылает роман, настоятельно советуя прочесть. Своеобразно отношение к произведению в письме М.М. Пришвину от 17 октября 1926 года: «Читали вы роман Клычкова "Чертухинский балакирь"? Вот — неожиданная книга! Это — 1926 год в коммунистическом и материалистическом государстве! А это неожиданнее — предисловие Лелевича!

---

[41] Там же. С. 90.
[42] *Полонский В.* Октябрь и художественная литература // Известия. 1928. 7 ноября.
[43] Архив А.М. Горького. Т. 10. Кн. 2. С. 91.

lib.pushkinskijdom.ru

Да — "Крепок татарин — не изломится!
А и жиловат, собака, — не изорвется!"

Это я цитирую Илью Муромца в качестве комплимента упрямому россиянину».[44] Действительно своеобразно. Чувствуется: далеко не все нравится ему в романе, не со всем он может согласиться, но мастерство автора, оригинальность его видения мира невольно вызывают уважение. А «комплимент упрямому россиянину»? Кому он конкретно? Конечно же, и автору, и чертухинцам — персонажам романа, действительным россиянам.

А с чем же все-таки не соглашался Горький? Раскроем авторский экземпляр. Вот какие цитаты отчеркнуты в нем: «...человек... в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги — подрежет пилой-верезгой. Тогда-то железный черт, который ждет этого и никак дождаться не может, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что черт в духовных делах — порядочный слесарь. С этой-то гайкой заместо души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, будет жить до скончания века!»; «Все в мире человека боится»; «Черт и человек... живут во уничтожение мира и жизни». Данные мысли принадлежат мифическому персонажу, лешему Антютику, в рассказе которого, однако же, ясно ощущается «сочувственная авторская интонация».[45] Здесь, как, впрочем, и в других фрагментах романа, Горького оттолкнет идея неприятия городской цивилизации, несущей, по Клычкову, гибель природе, естеству, духовности.

Тема природы, гармонии человека и природы, столь большую дань которой отдал в своем творчестве Клычков, была очень близка и М. Пришвину, в чем он и признавался Горькому в ответном письме: «Тему эту я знал, она внутри меня, она не использована в русской литературе, и появление такой книги («Чертухинского балакиря». — *Ю.И.*) есть новое доказательство, что гений наш человеческий не может быть уничтожен, а если он бывает подавлен, то выпрет свое, не считаясь с эпохой». Правда, тут же, несколько выше, делает существенную оговорку: «Меня отбросила жизнь в природу, я спасался в ней, потому что не хотел вступать в мещанский брак с электричеством. Но я никогда, нигде не кидался со злобой на цивилизацию и считаю это вульгарностью не меньшей, чем простой мещанский брак с электричеством. Вот почему, зная лично Клычкова, я никак не могу приняться за чтение его романа "Балакирь". Знаю вперед, что непременно талантливо, но вихрасто, неврастенично».[46]

«Злоба на цивилизацию» — это, конечно же, чересчур. Клычков был лишь против уродливых, противоестественных проявлений цивилизации, против отождествления ее с нравственным нигилизмом, что тогда — да и до сей поры — считалось большинством — и политиками тоже — едва ли не необходимым и неизбежным. Как оптимистично и искренно прозвучат спустя четыре года после «Чертухинского балакиря» его слова из статьи «Свирепый недуг» в «Литературной газете» — лучший ответ всем его оппонентам, в том числе Пришвину и Горькому: «Самым торжественным, самым прекрасным праздником при социализме будет праздник... древонасаждения! Праздник любви и Труда! Любовь к зверю, птице

---

[44] Лит. наследство. Т. 70. С. 335.

[45] *Островская С.Д.* Рукой Горького. М., 1985. С. 79.

[46] Лит. наследство. Т. 70. С. 337. Несколько лет спустя, в письме С. Динамову (от 19 апреля 1923 года) М. Пришвин дает уже несколько иную оценку творчества Клычкова, без каких-либо оговорок признав в нем непревзойденного художника: «В свое время я много занимался великорусским фольклором, изумляясь, какие богатства народного творчества лежат не использованными литературой. Алексей Ремизов, как известно им плененный, зарылся в эти материалы, но не достиг цели, потому что соблазнился архивами и оторвался от народной среды. Клычков единственный писатель, которому это удалось» (цит. по: *Белая Г.А.* Дон Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей. М., 1989. С. 365).

lib.pushkinskijdom.ru

и... человеку! Если мы разучились, так природа сама научит нас и беречь ее, и любить, ибо лгать в ней трудно, а разбойничать преступно, так же как и в искусстве!» [47]

Из процитированного выше письма Пришвину узнаем, что для Горького было неожиданным предисловие Лелевича. И неудивительно. Ведь Лелевич — один из самых воинствующих «напостовцев» — и вдруг предваряет книгу Клычкова! В предисловии немало теплых слов в адрес автора, и потому, может быть, в нашем литературоведении оно долгое время считалось «в целом одобрительным». В недавней же статье «Доля» в журнале «Москва» (1989. № 9. С. 193) исследователь творчества Клычкова В. Морозов полагает, что это явная ошибка. И совершенно справедливо. Действительно, как понимать такое: «Роман написан безусловно весьма талантливо... Роман Клычкова есть не что иное, как художественное отражение борьбы, по выражению Ленина, "мелкособственнической (и мелко-патриархальной и мелко-буржуазной) стихии" против диктатуры пролетариата, против социалистического строительства, против электрификации, против "культурной революции". Роман Клычкова талантлив и свидетельствует о значительном мастерстве, но ни талант, ни мастерство не могут спасти от фальши художника, если тот положил в основу произведения реакционную идею».[48] Роман талантлив, но направлен против социалистического строительства. Вряд ли подобное можно считать за какое-либо одобрение. Такая «похвала» оказалась, наверное, как нельзя кстати все тем же двоедушным и беспринципным.

Предисловие, как и роман, Алексей Максимович тоже внимательно, с карандашом, прочитал. Помеченные фразы сходны по духу с выделенными им из романа (т. е. «идут» как бы в унисон с его мыслями о просчетах книги). В частности: «...Клычков собрал всю нечистую силу, всех леших, чертей, домовых и русалок и двинулся во главе этой своеобразной рати против надвигающейся городской культуры и техники».[49]

Чрезвычайно интересна для исследователя переписка Горького с А.К. Воронским и Ф.В. Гладковым в октябре—ноябре 1926 года. В ней он конкретизирует свое отношение к «Чертухинскому балакирю», аргументирует свои доводы. Так получилось, что роман Клычкова оценивался здесь в сопоставлении с «Цементом» Гладкова. Позиции этих авторов Горький сравнил уже после выхода «Сахарного немца», отдав предпочтение «Цементу», увидев в нем «первую попытку поэтизации созидающего труда», хотя в то же время и нашел ее «достаточно корявой, неудобочитаемой в диалогах», «нехудожественной в принятом смысле слова»,[50] что указывало на весьма существенные недостатки произведения. А.К. Воронский, которому он написал об этом, впоследствии выдержку из письма, касающуюся Гладкова, привел в своей статье «Лунные туманы», где положительно разбирался «Чертухинский балакирь». Гладков не согласился со статьей, полагая, кроме того, что в ней принижено значение его книги, повествующей о наиболее актуальном тогда — о рабочем классе, героике труда, да и горьковские слова показались не совсем справедливыми. Обо всем этом он написал Алексею Максимовичу, который в свою очередь подробно и обстоятельно ответил ему. О «Чертухинском балакире» же сказал, в частности, следующее: «Клычков написал книгу хорошую, но художественная ее значимость несколько преувеличена Воронским, а "философская" — недостаточно освещена. Клычков от "миллионных масс крестьянства", а мои симпатии навсегда с "ничтожной кучкой" городского пролетариата и с интеллигенцией. Клычковская поэзия тоже "провинциализм",

---

[47] Новый мир. 1989. № 9. С. 195.
[48] *Лелевич Г.* Предисловие // Клычков С. Чертухинский балакирь. М.; Л., 1926.
[49] Цит. по: *Островская С.Д.* Рукой Горького. С. 80.
[50] Архив А.М. Горького. Т. 10. Кн. 2. С. 32.

lib.pushkinskijdom.ru

но, разумеется, более оправданный именно тем, что это поэзия отмирающей многомиллионной России. Не скоро — во времени — и не быстро — в движении, а все-таки деревня должна будет идти по путям, пролагаемым "ничтожной кучкой"».[51]

Отсюда ясно: для Горького творчество Клычкова возникло не на пустом месте, не как единичное явление, но было художественным отражением чаяний и идеалов многомиллионной России, крестьянской России. В этом он видел его ценность, злободневную значимость, историческое «оправдание». Вместе с тем к этой России он добавлял определение «отмирающая». Здесь сказались недооценка Горьким крестьянства как класса, гиперболизация его темных реакционных сторон, суеверности, отсталости. В наметившемся в тогдашней политике противостоянии «деревня—город» свои симпатии он отдавал последнему, полагая, что тот ближе к истине или даже вообще обладает монополией на нее. Потому новокрестьянская идеология казалась ему ошибочной, а ее поэтов он называл кондовыми, инстинктивными, биологическими. Есенина, к примеру, — при всем уважении к нему, восхищении его потрясающей лирикой, — он, перефразируя сюжет известной басни, представил как глиняный горшок, который, столкнувшись с «железной посудой — городом»,[52] разбился и должен был разбиться. Подобная обреченность мыслилась, видимо, Горьким и в отношении клычковских идеалов. Правда, порой, в силу их искренности и чистоты, он все-таки говорил, что «это не столько идеология, сколько "эмоциональный бунт"».[53]

6

Претензии Горького к художественной стороне прозы Клычкова, о чем он пишет Гладкову, нам известны еще со времени выхода «Сахарного немца», а вот к философской требуют некоторого разъяснения. Буквально сразу же после письма Гладкову Горький уже непосредственно самому Воронскому высказывает упрек в том, что тот «недостаточно "разоблачил"» [54] «Чертухинского балакиря». А в чем же этот недостаток, растолковывает в письме к нему: «В "Лунных туманах" Вы очень хорошо говорите о дуализме как мироощущении по существу мизантропическом. Можно сказать, что вообще все идеалистические системы мышления — пессимистичны, это будет верно. Но гораздо важнее доказать, что лишь материализм и монизм могут служить источником пафоса, источником героического мироощущения, что лишь на этой почве человек возникает во всем своем величии, еще неясном нам. Мы плохо видим самих себя...».[55] Идею дуализма, о чем здесь идет речь, в романе исповедует один из центральных персонажей — мельник Спиридон, создавший своеобразную мужицкую религию. Она оказывается несостоятельной. Альтернативным и истинным мировоззрением в романе представлен пантеизм, персонифицированный в языческом существе — лешем Антютике. Вот за «недостаточное разоблачение» всего этого, и именно с позиций материализма и монизма, Горький и критиковал «Лунные туманы». Однако, как считает Н.М. Солнцева (и в этом мы с ней солидарны), точки зрения как Воронского, так и Горького в данном случае одинаково уязвимы: они «необоснованно отождествили дуализм персонажа с идейной концепцией самого писателя».[56] Факт этот, думается, очевиден. Воронский, к примеру, так

---

[51] *Горький А.М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 29. С. 480.
[52] Там же. Т. 26. С. 91.
[53] Архив А.М. Горького. Т. 10. Кн. 2. С. 43.
[54] Там же. С. 42.
[55] Там же. С. 43—44.
[56] *Солнцева Н.М.* Поэзия Сергея Клычкова: Автореф. канд. дисс. М., 1989. С. 11—12.

lib.pushkinskijdom.ru

прямо и заявляет: «Сергей Клычков — дуалист. Человек по Клычкову — двуипостасная тварь», основывая свой вывод на теоретических построениях Спиридона Емельяныча, «мужицкого мудреца и провидца», устами которого будто бы то и дело излагаются авторские мысли. И, естественно, критикует: «...расщепление мира на две ипостаси, принципиально враждебные друг другу, есть миропонимание по сути своей пессимистическое и мизантропическое. Эту истину "Чертухинский балакирь" подтверждает не теоретически и отвлеченно, а наглядно, в художественной форме, путем эмоционального опыта художника».[57]

Горький, по сути, не только поддержал этот тезис, но еще и попенял Воронскому за мягкость и половинчатость критики.

Вместе с тем нельзя не предположить и того, что обоих рецензентов могли ввести в некоторое заблуждение довольно своеобразная манера письма романиста, его излюбленный прием повествования на грани вымысла и реальности (с неизменной оригинальной лукавинкой), приведшие в итоге к тому, что «голос автора, его позиция прозвучали в романе не в достаточной степени отчетливо. Автор как бы самоустранился, он говорит читателю: "...не отличишь были от небыли, правды от выдумки"».[58]

Все эти клычковские небыли и выдумки, пристрастие к чертям, лешим, русалкам, лунные грезы Воронский назовет «балакирством». И выразит пожелание, чтоб в дальнейшем творчестве писателя его было как можно меньше. Горький также не одобрил «балакирство», но был в этом более категоричен. Алексею Максимовичу было важно высказать свое мнение по поводу мировоззренческих особенностей «Чертухинского балакиря» не только потому, что сама книга как таковая его этим очень заинтересовала, но и потому еще — и это, наверное, главное, — что она оказалась весьма созвучной принципиальному философскому спору между ним, Горьким, и Воронским, начало которому положила статья последнего, опубликованная в апреле 1926 года в газете «Правда» и журнале «Красная новь». Ответом на статью стало письмо Горького к ее автору (от 17.04.1926). Затем, через год с небольшим после их обмена мнениями о «Чертухинском балакире», в «Сибирских огнях» появляется новая публикация Воронского, «Вопросы художественного творчества», где повторены ряд положений статьи «О Горьком», и как реакция на нее открытое письмо Горького Воронскому, напечатанное под заглавием «О себе».

О чем же был спор? Каков же был подтекст за краткими суждениями Горького о материализме и идеализме при оценке «Чертухинского балакиря» и «Лунных туманов»? Цитируем «О себе»: «Вы (т. е. Воронский. — *Ю.И.*) говорите, что от моих взглядов "прямая дорога к философскому и художественному солипсизму". Думаю, что у меня нет и не может быть причин бояться этого "уклона". Я — антропофил и геофил: для меня прежде всего существует человек и земля, на которой, работая, он создает для себя "вторую природу". Идеализм для меня неприемлем не только потому, что мой "идеал" — человек, творец всех идей, всех чудес, и что я убежден в неограниченности развития способностей человека — идеалистические системы философии органически чужды мне, потому что они, в сущности своей, глубоко пессимистичны в отношении к человеку, рисуют мир как среду, навсегда враждебную ему, а враждебность эту — неодолимой силами человека, тоже навсегда. Вы знаете, что пессимизм основан не на познании мира, а на страхе человека, отколовшегося от мира...».[59]

Заметим в скобках: конечно же, Горькому не угрожал «уклон» в сторону солипсизма. Да, он провозгласил примат человека (говоря философским языком

---

[57] *Воронский А.К.* Избр. статьи о литературе. М., 1982. С. 220, 224.
[58] *Солнцева Н.М.* «Еще мной не промолвлено слово...» // Подъем. 1987. № 4. С. 116.
[59] Архив А.М. Горького. Т. 10. Кн. 2. С. 63.

lib.pushkinskijdom.ru

— мыслящего существа), но человека не самого по себе, а в органичном единстве с миром вокруг — реальным, прочным, вечным. Опасения Воронского в данном случае были напрасными. Все это совершенно бесспорно, и комментарии тут просто излишни. Сосредоточим внимание на несколько иных вопросах.

Итак, с идеализмом Горький связывал и беспомощность человека, его забитость, суеверность, неспособность противостоять враждебным силам, покорность судьбе, страх перед ней. Все это — как основополагающую тенденцию — он и увидел в «Чертухинском балакире» и искренно огорчился.

Иных книг ждал он от современных писателей: где бы человек бросал вызов враждебным силам и побеждал, где б не обстоятельства управляли человеком, а человек обстоятельствами. Где б не было никаких мистических «потусторонних» видений, поисков там «сверхъестественного», ибо, по Горькому, единственно возможное «сверхъестественное», единственное и самое главное Чудо «здесь, на земле... это — сам человек...».[60]

Материализм Горькому был близок именно таким вот пониманием человека, его сути. Но при этом писатель заявлял, что во имя Человека готов даже стать еретиком и по отношению к материализму, ибо замечал, что иные толкователи этого учения стремятся возвести его идеи в абсолют, отчего они становятся античеловечными.

Горький-художник, боготворя и славя Человека, считал историю его эволюционного развития, в ходе которой он ценой величайших усилий творит самого себя, свою «вторую природу», сюжетом для самого «величайшего и чудеснейшего художественного произведения»[61] с кратким и емким заглавием «Человек» — произведения, которое навсегда неповторимо и совершенно.

Но при всем том, и это важно подчеркнуть, Горький судил о Человеке, этом чуде из чудес, все-таки довольно противоречиво. Не без оснований полагая, «что в человеке осталось очень много зоологического от первой природы, создавшей его животным», он, однако, едва ли не все это зоологическое — во всяком случае, бóльшую часть — приписал человеку деревни (у которого животное чувство будто бы поглощало все остальное) и сделал вывод, что будущее лишь за человеком города. Крестьянин, по его мнению, не может сам побороть в себе животный инстинкт, а это в стране с преимущественно сельским населением наверняка чревато всеобщей бедой. Горький философски обосновывает принципиальную разницу труда рабочего и труда крестьянина — как созидающего, революционного и собирающего, консервативного, что приводит его к крайнему выводу: «Если б крестьянин исчез с его хлебом, горожанин научился бы добывать хлеб в лабораториях».[62]

Все это вызвало в Воронском решительную отповедь: «Писатель слишком и несправедливо пристрастен к нашему "мужику". В нашей деревянной Руси много волчьей злобы, ограниченности, много темноты, невежества и суеверия. Но вот в чем дело... крестьянин не только собственник, но и человек угнетенного труда. Одну душу, жадную, собственническую, дикую, Горький видит превосходно, а к другой глух. И у него искажаются иногда революционные перспективы и звучит скептицизм».[63]

Горький верил в торжество жизни, но им действительно порой овладевал скептицизм, когда он размышлял о том, сколь сильны «первичные» корни в народной стихии. Воронский, частично разделяя опасения Горького, в конечном

---

[60] Там же.
[61] Там же. С. 31.
[62] Там же.
[63] *Воронский А.К.* Избр. статьи о литературе. С. 46—47.

lib.pushkinskijdom.ru

итоге считал все же иначе: «...у нас нет пока основания для преждевременного пессимизма».[64]

Вот этим как раз аспектам философского спора о Человеке и оказался созвучным роман Клычкова.

Но, помимо вышеперечисленного, спорящие затронули еще одну проблему, которая разрешалась ими также не без учета «Чертухинского балакиря». Воронский указал Горькому на то, что тот смотрит на природу как на хаос. Алексей Максимович не согласился со столь категоричным утверждением, однако при этом заметил, что все-таки воспринимает природу не как гармонию, а как сырой материал, который человек должен обрабатывать «в интересах... обогащения ее дарами, — ее энергиями».[65] Горький был убежден в правильности именно такого взгляда на природу, неоднократно высказывался об этом в печати, в письмах начинающим писателям. А потому появление «Чертухинского балакиря» (и сходных по духу книг других авторов-«новокрестьян») его и озадачило, и встревожило. Отнюдь не сырым только материалом была природа для Клычкова, а своеобразным культом, главной ценностью и главным совершенством. Реакцией на подобное вполне можно считать следующее суждение Горького (как известно, не признававшего никакого культа, кроме культа человека): «Не должно быть истины, пред коей человек склонял бы голову и преклонял колено».[66]

Конечно же, неколенопреклоненное отношение к природе для Горького не отождествлялось с потребительством, хищничеством. В природе немало прекрасного, чем можно и нужно восхищаться, признавался он, но немало и такого, что угрожает жизни человека, препятствует ему в развитии своих способностей. И вот эти-то препятствия человек и должен преодолеть, должен покорить стихийные силы природы, чтобы обратить их на службу прогрессу. Справедливо подчеркивая это, Горький, однако, — и в этом его историческое заблуждение — не разделял тревоги иных писателей, в частности Клычкова, что покорение природы, особенно при таком его понимании, какое сложилось в официальных кругах, может обернуться ее истреблением, отчего под вопросом окажется и само существование человека. Он считал, что в социалистическом государстве подобное невозможно.

Воронский тоже полагал, что хищнического отношения к природе, а отсюда и других пороков — механизации и стандартизации бытия — не может быть при социализме, ибо все это «порождение капиталистических общественных отношений»,[67] однако в «Лунных туманах» попробовал стать, пусть даже и не совсем отчетливо, и на иную точку зрения — автора «Чертухинского балакиря»: «Сетования Сергея Клычкова на то, что человек вскоре уничтожит все живое, имеют свои основания; его протесты против механизации и стандартизации жизни тоже своевременны и от них нельзя легко отмахнуться».[68]

Наверняка это «отступничество» Воронского Горький также имел в виду, когда писал критику, что тот недостаточно философски «разоблачил» роман Клычкова.

7

Прозаическое творчество С. Клычкова было для Горького явлением этапным в современной литературе. И потому порой он, оценивая отдельные произведения

[64] Там же. С. 46.
[65] Архив А.М. Горького. Т. 10. Кн. 2. С. 63.
[66] Там же. С. 64.
[67] *Воронский А.К.* Избр. статьи о литературе. С. 224.
[68] Там же.

lib.pushkinskijdom.ru

других писателей, прибегал к сравнению их с книгами Клычкова. И естественно, брал в расчет прежде всего то, насколько отличны они — сравниваемые — по идейной направленности. По романам Клычкова Горький судил о том, как надо и не надо писать: надо — в смысле художественности, владения языком, не надо — в смысле тенденциозности, политики.

С примерами подобных сравнений мы уже встречались в настоящей работе. Дополним их еще одним — откликом А.М. Горького на рассказ К.А. Федина «Мужики» (в письме К.А. Федину от 13 ноября 1926 года): «Мужиков прочитал тотчас же после романа Клычкова "Чертухинский балакирь". Значительно ваше разноречие с Клычковым, и, конечно, это разноречие — надолго. Как спаять сталь с медью. Город и деревня все более озорно дразнят друг друга».[69] Из процитированного фрагмента явствует, что для Горького было весьма важно подметить в «Мужиках» данное «разноречие» с «Чертухинским балакирем», свидетельствующее о принципиально разных подходах двух художников слова к одной и той же теме — «Исторические судьбы российской деревни».

Разноречие было действительно значительным, оно проистекало из контрастного понимания авторами жизненного мироустройства крестьянства. Если герои «Чертухинского балакиря» люди по натуре глубоко страдающие, воспринимающие как величайшую трагедию забвение и утрату в настоящем духовных ценностей, созданных многими поколениями крестьян, ценностей по сути общинных, то персонажи фединских «Мужиков» совершенно иные. Это деятельные, энергичные, жизнерадостные поселяне, и мирская община (или просто мир, как зовется она в повести) их не очень-то и волнует, а если уж говорить определеннее — и не указ она им. К пастуху Прокопу, например, кстати, немало натерпевшемуся от мира и ушедшему в конце концов из него, мир сам приходит на поклон, за помощью: никто во всей округе не мог лучше Прокопа управляться со скотом.

Естественно, мировоззрению Горького более отвечали такие персонажи литературы, как фединский Прокоп, нежели мельник Спиридон да балакирь Петр Кирилыч из романа Клычкова. В суждениях, помыслах, поступках Прокопа он увидел знамение времени, нового времени, когда патриархальная деревня стала все более и более испытывать влияние города. Благотворное, по Горькому, влияние.

Сюжетно связанным с «Чертухинским балакирем» был и третий роман Клычкова — «Князь мира», в котором, однако, рассказывалось уже об иной эпохе — времени отмены крепостного права. После публикации в журнале «Молодая гвардия» роман вышел отдельным изданием в 1928 году в издательстве «Федерация». Каких-либо откликов на эту книгу в критическом и эпистолярном наследии Горького нет. Однако известно, что Алексей Максимович был с ней знаком. В его библиотеке хранится экземпляр романа с собственными пометками. Они, как и прежде, акцентируют мировоззренческие аспекты автора, его умение пользоваться всем богатством великого русского языка.

8

Документы сохранили и ряд других свидетельств горьковского восприятия творчества Клычкова. Так, на листе из блокнота (1930—1936) он оставляет пометку следующего содержания: «С. Подъячев, Вольный более кр(естьянские) писатели, чем Клычков, Клюев, Есенин и т. д. этого ряда».[70] Кроме того, на

[69] Лит. наследство. Т. 70. С. 514.
[70] Архив А.М. Горького. Т. 12. С. 249.

lib.pushkinskijdom.ru

письме к нему Н.А. Славятинского (1934) делает приписку: «Очень верно», касающуюся высказанного здесь мнения о том, что большая часть «попыток современных писателей опереться на фольклор носила либо реакционный характер (Клюев, Клычков), либо карикатурно-революционный — небезызвестный Петр Орешин».[71]

Ясно, все это звучит, конечно, отнюдь не комплиментарно. И тем не менее, повторимся, как художника он его ставил достаточно высоко. Показательно в данном случае письмо к Ромену Роллану (от 29 января 1928 года), который обратился к Горькому за разъяснениями по поводу появления на Западе так называемого «Письма русских писателей», где утверждалось, что в России якобы нет литературы. Горький решительно парирует этот выпад и убедительно доказывает, что литература в России есть, и достаточно сильная, с богатым будущим. По его словам, в стране — изобилие писателей, необычайно талантливых, представляющих талантливый народ. И в качестве аргументов называет такие имена, как М. Пришвин, К. Тренев, В. Вересаев, А. Толстой, Б. Пастернак, Н. Тихонов, Н. Асеев и т. д. И в этот авторитетный круг включает и С. Клычкова, охарактеризовав его как автора «двух интереснейших романов».[72]

При всей сложности и противоречивости отношения Горького к Клычкову как литератору, он был неизменно доброжелателен и участлив к нему как человеку. И не отказывал в помощи. Сохранилось письмо, где Клычков благодарит его за заступничество в связи с раскулачиванием, ревизией имущества родителей и братьев.[73] Было это в 1925 году. К Горькому Клычков обращался и за содействием в облегчении участи сосланного в Нарымский край поэта Н.А. Клюева. Последний был вскоре переведен на жительство в Томск, и есть основания полагать, что и Горький также способствовал этому. Когда же у Клычкова в результате бесчисленных жестоких нападок официальной критики, объявившей его кулацким поэтом, была отнята всякая возможность печатать свои оригинальные произведения, именно Алексей Максимович нашел для него выход — посоветовал заняться переводами и помогал с публикациями. Известно, что он был знаком с одной из лучших переводческих работ Клычкова — поэмой «Мазур Ваза — победитель», вольной обработкой вогульского (мансийского) эпоса, оцененной Воронским выше бунинской «Песни о Гайавате». Издательство «Academia», где печаталась поэма, направило Горькому один из первых экземпляров.

В целом о литературных связях, взаимоотношениях Горького и Клычкова в 30-е годы известно очень мало. А потому в такой ситуации важна любая подробность, любой факт интересен, пусть даже имеющий косвенное отношение к ним, — даже такой, к примеру, о котором сообщает в своих мемуарных записях В.Н. Горбачева, жена С.А. Клычкова, тоже по профессии литератор:

---

[71] Лит. наследство. Т. 70. С. 373.

[72] Там же. С. 20. Гладков не согласился с такой точкой зрения Горького, написав ему, в частности, следующее (письмо от 25 марта 1928 года): «...единственными носителями русской литературы считаете людей, которые меньше всего характерны для нашего времени (Сергеев-Ценский, Клычков, Толстой, Пришвин, Гл. Алексеев, Катаев и др.)» (Там же. С. 107). Для Горького это вряд ли было неожиданностью, поскольку он уже имел возможность убедиться, сколь безоснователен в своих литературных оценках Гладков. Последний в письме Алексею Максимовичу от 25 января 1927 года таким вот образом отозвался о писателях, чьи творческие и духовные принципы не разделял, в том числе и о Клычкове: «Теперь один из основных лозунгов нашей страны такой: "Без культуры нельзя построить социализм — двигайся неустанно к высшим ее ступеням". И когда я слышу таких писателей, которые чванятся своей "культурностью", как Булгаков, Клычков или бывший большевик Эренбург, мне горько, мне невыносимо от их, извините за выражение, блевотины, которую они изрыгают на наше "бытие", на людей, которые, жертвуя собой, строят новую жизнь на основах высокой культуры и справедливости» (Там же. С. 88).

[73] В письме этом, кроме того, Клычков просит у Алексея Максимовича разрешения посвятить ему свои стихи (они прилагались к письму). Какие именно это были стихи — пока не установлено.

lib.pushkinskijdom.ru

«1935 год. После бессонной ночи, проведенной за работой, я только что заснула. Времени — около двух дня. Телефонный звонок.

— Арбачеву Варвару Николаевну.[74]

Сергей Антонович:

— Она спит и не может подойти.

В трубку строго:

— Говорят из секретариата Горького. Необходимо с ней говорить.

Сергей Антонович, тоже строго и надменно:

— И тем не менее, товарищ дорогой, она спит и подойти не может.

Недоуменное молчание. Сергей Антонович кладет трубку».[75]

Эпизод, конечно, в информативном смысле малозначителен. Однако черту характера Клычкова, и притом важную, он подчеркивает. И именно независимость. Без подобострастия относился к Горькому Клычков, с достоинством. Уважал, но как равный равного. А это качество и Алексей Максимович ценил прежде всего в каждом человеке и так же держал себя в общении с другими.

Изучение наследия Клычкова в советском литературоведении еще только начинается. Далеко не все архивные материалы изданы, многие еще не найдены. Вовлечение их в научный оборот позволило бы не только ликвидировать белые пятна в творческой биографии самого Клычкова, но и, быть может, пополнить какими-то новыми сведениями наши знания о Горьком. Уже и то, что известно ныне, потребует внести ряд поправок в работы биографов Горького.

---

[74] Варвара Арбачева — литературный псевдоним В.Н. Горбачевой.

[75] По какому конкретно поводу обращались в данном случае к В.Н. Горбачевой, в воспоминаниях не сообщается. Но можно предположить, что это было связано с вопросами публикации отдельных ее произведений (в частности, романа «Чернышевский», изданного в 1936 году). Имя В.Н. Горбачевой упоминается в переписке В.Я. Зазубрина с А.М. Горьким в связи с подготовкой первого за 1935 год номера журнала «Колхозник». В.Я. Зазубрин проинформировал адресата, что планирует напечатать наряду с материалами других авторов (в том числе самого Горького), ее очерк «Бездна» — о крестьянских бунтах в годы падения крепостничества (см.: Архив А.М. Горького. Т. 10. Кн. 2. С. 393).

lib.pushkinskijdom.ru

В. М. МАРКОВИЧ

О ЛЕРМОНТОВСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЯХ В ПОЭЗИИ О.МАНДЕЛЬШТАМА

Осип Мандельштам принадлежал к поколению поэтов, «преодолевших символизм» и стремившихся уйти от очень важных для символистов традиций романтической культуры.[1] Тем интереснее изучить некоторые проявления его внутренней связи с крупнейшим из русских поэтов-романтиков — Михаилом Лермонтовым. Попробуем проследить использование и преобразование лермонтовских мотивов в нескольких разновременных стихотворениях Мандельштама. Если анализ выявит определенные закономерности, может проясниться не только отношение одного поэта к другому, но и во многом — проблема отношений авангарда и классики в целом.

* * *

В стихотворении «Концерт на вокзале» (1921) лермонтовская реминисценция бросается в глаза немедленно. И сразу же становится очевидным полемический смысл ее использования:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...[2]

Естественно, вспоминается другое:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.[3]

И оказывается, что памятный почти каждому русскому читателю мотив стихотворения «Выхожу один я на дорогу» превращен в собственную противоположность. Изменяется не только эта, центральная по своему значению, символическая деталь, но и вся картина в целом. У Лермонтова создавался образ мировой гармонии, оттого и рождалось горькое недоумение лирического героя:

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

---

[1] Подробнее об этом: *Жирмунский В.М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 106—133, 138—141.

[2] Тексты стихотворений Мандельштама цитируются по изданию: *Мандельштам О.* Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1.

[3] Тексты стихотворений Лермонтова цитируются по изданию: *Лермонтов М.Ю.* Собр. соч.: В 4 т. 2-е изд. Л., 1979. Т. 1.

lib.pushkinskijdom.ru

Сознанию героя ситуация представлялась парадоксальной: мир гармоничен, и я это чувствую, но мне в мировой гармонии места нет, и моя жизнь для меня невыносима. У Мандельштама противоречие как будто бы устраняется, но устраняется страшной ценой: ощущение невыносимости бытия становится основой всей возникающей в начале стихотворения картины мира. Перед читателем — дисгармоническая вселенная, где оба традиционных полюса романтической антитезы «земли» и «неба» приобрели одинаково чудовищные очертания. Это образ антилермонтовский.

Однако вслед за ним создается уже совсем иной образ, по смыслу равновеликий и вместе с тем диаметрально противоположный первому:

Но видит Бог, есть музыка над нами, —
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Здесь важна тема божественной власти музыки, объединяющая в себе два близких, но все же разных по своему происхождению значения. Одно восходит к романтическим концепциям музыки, к пророчествам о ее неземной, сверхчувственной природе, о выражении в музыке духовных первоначал мироздания («мировой воли», «гармонии сфер»). Другое значение связано с обиходными формулами религии, с выражениями типа: «Видит Бог!» или «Над нами Бог!». У Мандельштама обе смысловые перспективы сходятся в несколько необычном сочетании («Но видит Бог, есть музыка над нами»). И это сочетание слов звучит как декларация о вселенской гармонии, которая, оказывается, все же существует за пределами страшной истины, открывшейся герою в его непосредственных ощущениях. Получается, что противоречие между признанием мировой гармонии и ощущением невыносимости бытия у Мандельштама не исчезает, а лишь развертывается в иной форме и в ином порядке. Противостояние двух поэтических решений оборачивается глубинным сходством.

Содержание следующих строк подкрепляет исходную декларацию. Строка «Дрожит вокзал от пенья Аонид» может быть воспринята двояко. Если актуализируется предметный план метафоры, можно прочувствовать содрогание здания, сотрясаемого сильными звуками. Если предпочтение отдается переносным значениям, можно вообразить себе человека, потрясенного сильными чувствами. Но и то и другое сведено в едином ощущении — изображаемый мир во власти духа музыки. Это ощущение реализует скрытую гармонию: разорванный воздух (тот самый, которым «нельзя дышать») вновь сливается в единое целое.

Созданное здесь представление о гармонии усложняется и одновременно углубляется во второй строфе:

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон...

Мандельштам теперь строит образы нескольких, соседствующих и как бы объемлющих один другого, миров. Это мир парка, в котором природа становится частью культуры. Далее мир вокзала, ставшего концертным залом, — зримое воплощение самой культуры. И уже в нем, им охваченный и ему подчиненный, «железный мир», враждебный искусству и, казалось бы, неотразимо страшный для него.

lib.pushkinskijdom.ru

Тема «железного мира» пробуждает ассоциации, отсылающие прежде всего к Баратынскому, к его теме «железного пути» современной цивилизации. В стихотворении Баратынского «Последний поэт» (1834—1835) речь шла о становлении меркантильного, насквозь прагматичного индустриального мира, которому не нужна поэзия и в котором исключается ее дальнейшее существование. Новой вариацией той же темы оказался позднее «страшный мир» Блока. Мандельштам возобновляет эту давнюю тему, но возобновляет ее для того, чтобы преобразовать: в его стихотворении «железный мир» заворожен силой искусства.

Явления и законы «железного мира» втягиваются в семантическое поле мифопоэтических смыслов. Вагон уносится «в элизиум туманный», с которым в поэзии Мандельштама прочно связано не только ощущение потустороннего, но и представление о сфере, где рождаются художественные образы (наиболее отчетливо проявляется такая связь в цикле «Tristia», в 1916—1920 годах). В тот же ряд включаются «звучный пир» и далее «павлиний крик и рокот фортепьянный». Субъективный план восприятия легко объединяет явления разных сфер, появляются признаки слияния «внешнего» пространства с пространством «внутренним». И в результате — вся воссозданная второй строфою многосложная гармония приобретает черты сказочно прекрасного мифа.

Но почти в тот же миг один за другим звучат три мотива, отделяющие лирического героя (и читателя) от прекрасной гармонии, на время завладевшей его сознанием:

Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.

Мандельштам использует знакомое каждому ощущение страха при виде уносящегося поезда, на который ты опоздал. Страху этому тут же придается переносное значение, однако оно сохраняет в себе всю пронзительность первоначального житейского смысла. И становится ясно, как трагически опоздало искусство со своей мечтой о гармонической вселенной, о «музыке сфер», которую должны внести в мир творческие усилия художника. Все увенчивается осознанием иллюзорности пригрезившейся гармонии: страх оказывается единственным сигналом истины; возможность иного мировосприятия представляется сном.

Тема сна — еще один, менее явный отзвук поэзии Лермонтова. Фантасмагорический образ завороженного музыкой «железного мира» сродни той лирической утопии, которой завершалось «Выхожу один я на дорогу». Лирический герой Лермонтова грезил о возможности уйти от своего неразрешимого конфликта с миром в иную, фантастическую, вселенную, где действуют законы чудесного сна. По этим законам воображение творило гармонию не только небывалую, но и невозможную, непредставимую. Ее обаяние соединяло в себе чары природы и культуры, и едва ли не главной из образующих гармонию сил являлась музыка:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

В стихотворении Мандельштама создается тот же, в сущности, эффект: рождается поэтический миф о торжестве высшей гармонии над непереносимым трагизмом бытия. И опять музыка является силой, образующей мифическую гармонию. Однако отношение лирического героя к сотворенному им мифу оказывается у двух поэтов различным. В стихотворении Лермонтова сон поначалу четко осознан как забытье и греза («Я б желал навеки так заснуть...»), и лишь потом происходит погружение в это сознательно «запрограммированное» состояние, вплоть до полного растворения в нем. Концовка стихотворения у Лермонтова

http://pushkinskijdom.ru

не закруглена: в напевном ритме последней строфы все больше ощущается некая завороженность, декларативная энергия стиховой фразы постепенно угасает, стихотворение не заканчивается, а скорее прерывается — как будто человек и в самом деле засыпает. В стихотворении Мандельштама вхождение в мир поэтического мифа, напротив, поначалу оказывается неосознанным и незаметным, и только потом сознание устанавливает отдаляющую дистанцию, которая позволяет понять обманчивость возникшей картины. И вот тогда сходство поэтических решений вновь оборачивается их противопоставленностью. Лирический герой не забывается, а переживает трагическое пробуждение.

После этого может показаться, что начался развал мифической гармонии, — в третьей строфе все ее слагаемые деформированы:

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и в слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках —
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...

На первый план выдвигается тема хаоса. Она звучит уже в лирическом парадоксе «стеклянный лес вокзала»: лес часто ассоциируется у Мандельштама с дантовским образом сумрачного бездорожья, в котором блуждает человек, «утратив правый путь».[4] Одновременно, символическим значением определения «стеклянный»,[5] тот дантовский «дикий лес» сближен с «прозрачными дубравами» Аида, с царством мертвых (недаром чуть позже вокзал оказывается обиталищем потусторонней «тени»). Смысл, образуемый переплетением этих далеко не одинаковых значений, поначалу смутен, однако следующие строки придают ему бóльшую определенность. «Скрипичный строй в смятеньи и в слезах» — здесь тема хаоса звучит уже яснее. А затем глубоко скрытая дантовская реминисценция находит поддержку в более явственной, тютчевской. «Ночного хора дикое начало» напоминает о «страшных песнях» ночного ветра — «про древний хаос, про родимый». И в еще большей степени — о тютчевской теме «ночных голосов»:

На мир дневной спустилася завеса;
Изнемогло движенье, труд уснул;
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный, еженочный гул.

Откуда он, сей гул непостижимый?
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый
Теперь роится в хаосе ночном?..[6]

В следующих строках мандельштамовского стихотворения — хаотическое смешение слов и реалий, разведенных традицией по разным уровням эстетической иерархии: аромат элегических роз смешивается с запахом гниения, «родная тень» теряется в чуждых ей «кочующих толпах». И над всем — «стеклянное небо», еще одна деформация естественного космического порядка. «Тот» и «этот» мир

[4] Об этом см., напр.: *Завадская Е.В.* Дерево слова // Слово и судьба: Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М., 1991. С. 345.

[5] Главное символическое свойство стекла в стихотворениях Мандельштама — его прозрачность, ассоциативно соотносимая с просветом в вечность, во внеземной мир. Подробнее об этом — ниже.

[6] *Тютчев Ф.И.* Лирика: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 74.

lib.pushkinskijdom.ru

смешиваются самым странным образом. Образ хаоса начинает казаться завершенным и всеобъемлющим, а присутствие в его «ночной» путанице «родной тени» до предела углубляет трагизм внушенного строфой впечатления.[7]

Читателю не дано сразу понять весь разветвленный комплекс возможных значений. Поначалу ясно лишь то, что «родная тень» принадлежала миру ночи, а теперь принадлежит царству смерти. Но в следующей, четвертой, строфе этот смысл будет подхвачен родственным мотивом (речь пойдет о «тризне милой тени»), опять прозвучит напоминание о царстве мертвых, и тогда возникнет пучок более конкретных ассоциаций, во многом близких, но все же различных по существу.

«Милую тень» (или «родную тень») можно воспринять как аллюзию на недавнюю трагическую смерть расстрелянного Николая Гумилева или на смерть Александра Блока, тоже недавнюю и тоже трагическую.[8] Но мотив может быть наполнен и более широким смыслом, говорящим об упадке самой поэзии, которая перестала быть носительницей всемогущего Слова. В ряде стихотворений цикла «Tristia» («Когда Психея-жизнь спускается к теням»,«Я слово позабыл, что я хотел сказать», «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг») «тень» ассоциируется с представлением о внутреннем смысле поэзии, не получившем адекватного словесного воплощения, а значит, и подлинного бытия в составе культуры. «Мысль бесплотная», запертая в глубине творческого сознания, и есть «чертог теней», который фигурирует в цикле «Tristia». Это подспудное начало поэзии, ее «внутренний образ», осязаемый только слухом поэта (такова формулировка, прозвучавшая в статье Мандельштама «Слово и культура»), явно сродни музыке. Вот почему именно музыка звучит «на тризне милой тени», и вот почему тема эта окрашена трагически: торжество музыки означает в данном контексте бессилие словесных образов поэзии, переживающей в новом веке роковой для нее кризис.

Впрочем, как это часто бывает у Мандельштама, то, что на одном семантическом уровне производит впечатление распада, на другом уровне представляется своеобразным единством. Каждый из мотивов, воплотивших тему хаоса, несет в себе некий внутренний диссонанс. Но все они вместе звучат в согласии, потому что на определенной глубине вторят друг другу и «музыкально» друг друга поддерживают. А в четвертой строфе это подспудное согласие получает открытое выражение: здесь возрождается еще недавно поставленная под сомнение тема — победа музыки над «железным миром».

И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит...

«Дрожь вовлекла в этот смысловой круг стоящее за его пределами представление о загнанном, взмыленном коне».[9] И тут же наметилась ассоциативная связь с представлением о нищем, дрожащем в своем убогом рубище. Обоими сближениями «железный мир» несомненно унижен: торжество музыки обретает более отчетливые и даже более резкие формы.

Но столь же резко ограничено развитие этой темы. Она сразу же заключена в рамки субъективного впечатления, из которых ей уже не выйти («И мнится мне...»). А дальше появляется чувство внезапно возникшей неодолимой преграды, тут же сменяясь пророческим предостережением:

---

[7] В системе эсхатологических представлений торжество хаоса и вторжение потустороннего в земной мир может служить признаком приближающегося конца света.

[8] См. об этом: *Струве Н.* Осип Мандельштам. Лондон, 1990. С. 29—30.

[9] *Гинзбург Л.* О лирике. 2-е изд. Л., 1974. С. 373—374.

lib.pushkinskijdom.ru

В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар очки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

Преградой оказываются «стеклянные сени» — такова еще одна мандельштамовская загадка. Семантика слова «сени» открывает простор для разных толкований. По своему словарному смыслу оно означает помещение, через которое входят в дом или выходят из него. Переносное и, в частности, условно-поэтическое его значение («в их сенях ветра шум...» — о лесах) в сочетании с эпитетом возвращает к образам «стеклянного леса» и «стеклянного неба», к самому трагическому их аспекту. В некоторых стихотворениях цикла «Камень», написанных в 1908—1909 годах, «темница мира, хорошо знакомая уже флорентийским неоплатоникам, уподобляется теплице со стеклами вечности».[10] Роль стекла насмешливо коварна: оно и открывает вечность человеческому взгляду, и непроницаемо отделяет от нее. Но какую бы из двух интерпретаций мы ни избрали, создается ощущение замкнутого пространства, ощущение неодолимого предела. Ощущение это акцентировано предостерегающим окликом («Куда же ты?»), мгновенно переводящим лирическое «я» в категорию второго лица и тем как бы ставящим его «на место». А потом уже вводится самая амбивалентная из всех вариаций темы торжества искусства: «В последний раз нам музыка звучит!»

Поэтическое слово бессильно и мертво, лишь то, что в поэзии глубже слова, все еще звучит и торжествует. Однако смысл этого торжества — особый, на что теперь прямо указывает новая тютчевская реминисценция. В заключительной строке стихотворения явственно слышится знакомое:

Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, —

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час пробил, настал... Молитесь Богу:
В последний раз вы молитесь теперь.[11]

У Тютчева речь шла о последней вспышке веры, о вспышке мощной, но именно последней, чем и определялась особая ее красота. У Мандельштама эффект тот же и та же двойственность его смысла: победа, но последняя; последняя, но все же победа. Ощущение торжества художественной гармонии живет вместе с ощущением ее пределов и ее обреченности.

В конечном счете, при всей остроте и беспощадности трагического смысла стихотворения, в нем достигнуто своеобразное внутреннее равновесие, близкое к тому, которое, пусть и по-другому, было достигнуто в лермонтовском «Выхожу один я на дорогу». Там жило ощущение мировой гармонии, а рядом с ним — ощущение безысходной трагедии личности. И тут же, опять рядом, — мечта о фантастическом инобытии, которое могло бы «снять» все неразрешимые противоречия жизни и сознания. И ни одно из этих ощущений не теснило другие: каждое звучало чисто и ясно, не посягая на иные звучания, оставаясь на своем месте, в своем праве. Но разве не таков же итог всех поворотов лирического

[10] *Микушевич В.Б.* Опыт личного бессмертия в поэзии Осипа Мандельштама // Слово и судьба. С. 304.
[11] *Тютчев Ф.И.* Лирика: В 2 т. Т. 1. С. 53.

lib.pushkinskijdom.ru

сюжета в «Концерте на вокзале», где противоположные правды о мире в конце концов тоже сохранили свои места и свои права? Мы можем признать, что полемическое отталкивание от лермонтовских поэтических решений обернулось у Мандельштама своеобразным «притяжением» к опыту предшественника.

* * *

В стихотворении «Жил Александр Герцевич» (оно появилось в 1931 году, через десять лет после «Концерта на вокзале») лермонтовская реминисценция тоже обнаруживается быстро и легко. И так же очевиден ее полемический смысл, в этом случае производящий впечатление чуть ли не кощунства:

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Очевидна прямая соотнесенность второй строфы с лермонтовской «Молитвой»:

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

И вот что получается: «чудная молитва» замещена сонатой, «заученной вхруст»; на место таинства, кажется, поставлен затверженный музыкальный номер. Каждый присоединившийся к этой интерпретации может солидаризироваться с комментарием Н.И. Харджиева, который характеризует стихотворение как «пародический перепев» Лермонтова.[12]

Сделать это тем более просто, что общее настроение, пронизывающее стихотворение Мандельштама, как будто бы противоположно настроению лермонтовской «Молитвы». У Лермонтова — ощущение благодати, надежда, вера и — как следствие всего этого — освобождающая душу легкость:

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

У Мандельштама то и дело звучат мотивы безнадежности, неверия, отчаяния:

Что́, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там? Все равно!
. . . . . .
Все, Александр Герцевич,
Заверчено давно.
Брось, Александр Скерцевич.
Чего там! Все равно.

[12] *Мандельштам О.* Стихотворения. Л., 1977. С. 288 (Библиотека поэта. Большая серия).

lib.pushkinskijdom.ru

Речь идет даже как будто об отказе от музыки, самой бесспорной из всех мандельштамовских ценностей. Но возможна и такая интерпретация смысловой роли лермонтовского мотива: «Соната Шуберта... наделена той же жизненной ценностью, что и „чудная молитва" Лермонтова... Музыка побеждает страх смерти».[13] Поэтому не будем спешить с выводами и опять проследим, как преобразуются в стихотворении Мандельштама отдельные мотивы и общие свойства стихотворения Лермонтова.

Прежде всего мы должны отметить, что образный строй стихотворения Мандельштама опять, как и в «Концерте на вокзале», оказывается значительно сложнее, чем образно-смысловая структура стихотворения его предшественника. Разнослойность образности и формируемого ею смысла заметна уже в первой строфе.

«Он Шуберта наверчивал, // Как чистый бриллиант» — создается впечатление сверкающей игры, одновременно напоминающее о блеске инструментальных пассажей и о сверкании граней драгоценного камня. Способно смутить лишь просторечно-бытовое, почти вульгарное «наверчивал», вклинившееся в самую сердцевину поэтического сравнения. Настораживающий оттенок усилен затем в следующей строфе. Слова «заученную вхруст» вызывают ощущение механичности, достигшей предела. Но каков контекст, обрамляющий эти сниженные и сами по себе даже несколько устрашающие образы? «И всласть с утра до вечера... Одну сонату вечную». В первоначальном чтении звучало: «Твердил он наизусть». Показательно, что «твердил» (в этом контексте усиливавшее «вхруст» и «наизусть») было заменено иным словом («Играл он наизусть»). Заметим далее, что здесь дважды в разных вариантах звучит тема вечности («с утра до вечера» — своеобразный эквивалент понятия «всегда» и тут же рядом — «одну сонату вечную»). И поскольку в этот ряд входит также слово «всласть», возникает парадоксальный смысл, близкий к представлению о вечном блаженстве. В общем же образуется сопряжение противоположностей, чреватое метаморфозой: механическое действие, достигнув предела своей механистичности, переходит в состояние, несущее упоение, свободу, блеск самоцельной игры.

Не таково ли все движение лирического сюжета в целом? На смену безотрадной третьей строфе, с ее темами мрака, безысходности и безнадежности («Чего там? Все равно!»), приходит четвертая:

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит...

На уровне очевидных значений «итальяночка» и «снег» образуют контраст, подобный традиционному трагическому сочетанию «роза в снегу».[14] Этот контраст соответствует уже прозвучавшей теме уличного мрака («На улице темно»), получившей в контексте третьей строфы глобальный масштаб. Кажется, что тема эта здесь, в четвертой строфе, подхвачена и продолжена. Но продолжению соответствует момент преодоления, происходит трансформация безнадежности в чувство полета (воспринятое пока еще отчасти «со стороны»). И все эти новые оттенки связаны с темой музыки, которая присутствует здесь то метонимически, то почти аллегорически.

---

[13] *Струве Н.* Указ. соч. С. 59—60.

[14] Аналогичный мотив развивается в более раннем стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена» (1920), где «горячий снег хрустит» и появляется роза, которую «кутают в меха», — итальянская певица, умирающая посреди русской студеной зимы.

lib.pushkinskijdom.ru

«Итальяночка» — это, вероятнее всего, скрипка (ведь лучшие скрипки всегда «итальяночки» — Страдивари, Амати, Гварнери). Протянутые параллельно скрипичные струны могут ассоциироваться со следами стремительно летящих саней, как и сама игра на этих струнах — со стремительным полетом вслед за уносящейся мелодией. А хруст снега становится частью атмосферы этого стремительного полета и отзвуком рождающегося в полете упоения. Вырисовывается уже знакомая нам тема торжества музыки над «страшным миром».

Н.А. Струве прав: чувство упоения музыкой действительно оказывается у Мандельштама сильнее страха смерти:

Нам с музыкой-голу́бою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть...

Но в дополнение к сказанному Струве важно отметить оттенки «одомашнивания» глобальной борьбы добра и зла.[15] Музыка приобретает интимно-человеческие черты (становится «голу́бою»), а виселица и труп висельника, оставленного на корм воронью, отождествляются с обиходно-бытовыми, привычными, домашними предметами — с шубой и вешалкой, которая помещается в прихожей. Жуткое смешивается с близким и нестрашным, поэтому преодоление страха смерти утрачивает патетический накал, превращаясь в нечто свойственное повседневности. И таким образом побеждается не только ужас — само отчаяние и сама безнадежность получают необычные качества, все более явственно представая формой духовного освобождения.

Эффект, о котором идет речь, создается разными средствами. Немалую роль, например, играет при этом строфический рисунок стихотворения. Его основа заимствована из той же лермонтовской «Молитвы», где строфа строилась на чередовании дактилических, напевных, и более жестких, мужских, окончаний. Мандельштам усиливает этот малозаметный у Лермонтова контраст (который у обоих поэтов сопровождается чередованием строк большей и меньшей длины). «Певческая» интонация нечетных строк теперь переламывается укороченностью и мужскими клаузулами четных — явное соответствие трагизму лирического сюжета. И все же общая инерция размера сохраняется, и сохраняется обеспеченная метром ритмическая легкость стиха. Сохраняясь, она в конце концов торжествует над контрастными чередованиями, включаясь в атмосферу освобождающей легкости, создаваемую всем стихотворением.

В создании главного эффекта участвует и непрерывная игра с отчеством героя. Переименование осуществляется то по этимологии (Сердцевич — своего рода перевод Герцевича), то по смежности (Скерцевич — от названия музыкальной пьесы, которая может составлять часть сонаты). При этом заключительная вариация как бы возлетает над безнадежно мрачным смыслом последних строк стихотворения («скерцо» буквально означает шутку, игривость, а как жанровая форма строится на смене образов, совершающейся в диапазоне от трагической иронии до беспечного юмора). И все это вместе действительно подобно игре бриллианта, его многоцветному мерцающему блеску.

Наконец, сам безнадежный рефрен («Чего там? Все равно!») во внутреннем движении стихотворения приобретает очевидную двойственность. Чувство безнадежности, превышая известный предел, оборачивается легкостью трагической

[15] Сходная тенденция сказывается в близком по времени стихотворении Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков» (1931). Об этом см.: *Эткинд Е.Г.* Осип Мандельштам — трилогия о веке // Слово и судьба. С. 245.

lib.pushkinskijdom.ru

свободы, когда теряет значение все, что пугало, сковывало или смущало, потому что самому человеку терять уже нечего. По своему конкретному содержанию такое состояние далеко от умиротворенного настроения лермонтовской «Молитвы». По своему же конечному результату оно, в сущности, ему аналогично. Констатируя это, приходится еще раз повторить ранее сделанный вывод: полемическое отталкивание от лермонтовских решений вновь оборачивается у Мандельштама «притяжением» к самому существенному, что в них заложено.

* * *

В «Стихах о неизвестном солдате» (1937) среди многочисленных литературных реминисценций самого различного рода [16] присутствуют реминисценции лермонтовские. Есть среди них несколько малозаметных,[17] которые мы обойдем, сосредоточив внимание на главной — самой очевидной и наиболее существенной по своему значению. Она появляется в первой части стихотворения:

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

До чего эти звезды изветливы!
Все им нужно глядеть — для чего?
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество.

Помнит дождь, неприветливый сеятель, —
Безымянная манна его, —
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

Лермонтов не только назван — звучит отчетливый намек на известные строки из поэмы «Демон»:

На воздушном океане
Без руля и без ветрил

[16] См. об этом: *Левин Ю.* Заметки о поэзии Мандельштама тридцатых годов («Стихи о неизвестном солдате») //Slavica Hierosolymitana. 1979. Vol. 4. P. 214—222; *Ронен О.* К сюжету «Стихов о неизвестном солдате» // Ibid. P. 185—213; *Семенко И.* Поэтика позднего Мандельштама. Рим, 1986. С. 102—126; *Иванов Вяч. Вс.* «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 356—366 и др.

[17] См.: *Ронен О.* Указ. соч. Р.216; *Семенко И.* Указ. соч. С. 125.

lib.pushkinskijdom.ru

Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил.

И вновь, в очередной уже раз, лермонтовский образ поначалу представляется разрушенным.

Н.А. Струве заметил, что Мандельштам «отделил прилагательное „воздушный" от существительного „океан", противопоставив их».[18] Противопоставление действительно намечается и получает далеко идущий смысл. «Воздух» с его «дальнобойным» (в данном случае, видимо, уязвимым для чего-то даже очень далекого) сердцем, с его мучительной ролью свидетеля и судьи, с какими-то скрытыми в нем же самом гибельными опасностями («воздушной могилой» и «воздушной ямой»), окружен возвышенным ореолом и наводит на мысль о поэте, о его трагической миссии в мире.[19] «Океан» же, всеядный и деятельный, беспредельно огромный, но при этом наглухо закрытый для иных миров («без окна»), обреченный всегда оставаться «веществом», символизирует людскую массу,чье существование в XX веке стало катастрофичным, но высшего смысла не приобрело. Такова антитеза, обозначенная в первых строфах «Стихов о неизвестном солдате».

Продолжив наблюдение Н.А. Струве, мы убедимся, что у Мандельштама разрушен весь построенный Лермонтовым образный ряд. «Руль» отделен от «ветрил» и объединен с «крылом»: возникает новое сочетание слов, обладающее новым ассоциативным смыслом. Это сочетание соотносится с «воздушной могилой», от которой ассоциативная нить тянется далее, к «воздушной яме», т.е. к опасности, угрожающей самолету. И выходит, что древний и издревле окруженный мифическими и сакральными смыслами образ корабля, а в конечном счете и соотнесенные с ним в составе скрытого сравнения «светила небесные» (вспомним «Хоры стройные светил») как бы замещены механическим летательным аппаратом. Что бы ни означала эта замена, традиционную образную систему и традиционную иерархию ценностей она нарушает.

Впрочем, и сами «светила небесные» лишены у Мандельштама своего традиционного ореола. Издревле присутствующий в поэзии символический образ звезд был многократно переосмыслен автором «Камня», «Tristia», стихов 1921—1925 годов, и очень часто образ этот приобретал у него значения резко отрицательные.[20] Но даже на таком фоне появление темы «изветливых звезд» может быть воспринято как радикальный семантический сдвиг: никогда еще способность всевидения, которая приписывалась звездам в европейской лирике, не была уподоблена соглядатайству, не ассоциировалась со шпионством и доносительством (легко представить себе актуализацию таких значений в обстановке 1937 года). Словом, лермонтовская картина мира опять преобразована, но опять мы со временем убеждаемся, что смысл преобразования не сводится к одной только полемике поэта-авангардиста с поэтом-классиком.

В пятой строфе отмежевание от поэтического опыта Лермонтова (шире — от всей классической поэзии) как будто бы достигает апогея. «Ласточка хилая, разучившаяся летать» оказывается у Мандельштама символом авангардной поэзии XX века, утратившей способность улавливать «гармонию сфер» и превращать ее в осязаемый факт искусства. Недаром именно в пятой строфе разрушение

---

[18] *Струве Н.* Указ. соч. С. 261.

[19] В круг «воздушных» ассоциаций включается и «ласточка» — устойчивый символ поэзии в лирике Мандельштама.

[20] См.: *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 379; *Левин Ю.И.* Разбор одного стихотворения Мандельштама // Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky. The Hague; Paris, 1973. P. 267—268 и др.

lib.pushkinskijdom.ru

гармонического образа мироздания, некогда созданного в «Демоне», становится почти демонстративным.

Но уже в следующей, шестой, строфе ясно обозначенная дистанция стремительно преодолевается:

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет...

Предлог «за» может быть здесь истолкован и в значении «вместо» и в значении «ради» (в некоторых записях Н.Я. Мандельштам, сделанных при попытках вспомнить текст стихотворения, появляется именно такой вариант — «Ради Лермонтова Михаила...» [21]). И вновь, как уже не раз бывало у Мандельштама, различные смыслы дополняют и усиливают друг друга. Лермонтов предстает впечатляющим примером трагической неуступчивости поэта (строка «как сутулого учит могила» явно восходит к поговорке «горбатого могила исправит»). И вместе с тем в Лермонтове угадана устремленность к гибельному подвигу, который ассоциативно сближен с головокружительным падением-полетом («И воздушная яма влечет»). В то же время лирический герой Мандельштама явно воспринимает поэтическую позицию и судьбу Лермонтова как родственные его собственной позиции и его собственной судьбе. Выражение «строгий отчет» звучит здесь декларацией о духовной связи с погибшим поэтом: о чем же свидетельствует готовность дать отчет «ради» и «вместо» него, как не о братской близости с ним?

Такой поворот лирического сюжета может показаться неожиданным. Между тем внимательный взгляд обнаружит, что предпосылки этого сближения с предметом отталкивания появляются в стихотворении Мандельштама уже с самого начала. Первая и вторая строфы «Стихов о неизвестном солдате» несут в себе мироощущение, во многом близкое к тому, которое исповедовал лирический герой Лермонтова.

Прежде всего бросаются в глаза признаки богоборчества, протестующе-враждебных отношений с небесами (темы «изветливых звезд» и «безымянной», безблагодатной «манны» уныло сеющего дождя достаточно красноречивы). В отношении к «океану» людской массы и «вещественному» ее существованию нет сколько-нибудь явного презрения, но все же отчетливо сказывается взгляд сверху вниз. Это похоже на «межмирную» позицию героя ранней лермонтовской лирики и не так уж далеко от позиции Демона. Затем намечается все нарастающее приближение лирического «я» к бытию массы: безликий «океан без окна» превращается в людей, не только убивающих, но и страдающих («холодающих», «голодающих»), а потому способных вызвать жалость и сочувствие. Далее в центре стихотворения оказывается неизвестный солдат — рядовой человек, которого особый характер погребения осеняет ореолом славы и величия, обычно окружающим гениев, великих полководцев, поэтов, пророков. В итоге, неустранимое, казалось бы, различие между исключительностью и заурядностью исчезает перед лицом парадокса, созданного самой жизнью или, точнее, смертью.

«Знаменитая могила» неизвестного солдата, уже сама по себе обладающая символическим значением, концентрирует в стихотворении Мандельштама некоторые дополнительные смыслы того же рода. В «Стихах о неизвестном солдате» могила эта становится зримым воплощением еще небывалой в истории трагической ситуации, когда обреченность на насильственную смерть стала

[21] *Семенко И.* Указ. соч. С. 124. Семенко считает такое написание неточностью, возникающей в процессе припоминания. Но даже если с этим согласиться, показательно, что такая неточность появляется неоднократно: видимо, она выявляет какой-то вполне реальный оттенок смысла.

lib.pushkinskijdom.ru

приобретать характер всеобщей человеческой судьбы. Такая ситуация (обстановка 1937 года придает и этому мотиву особую актуальность) уравнивает всех — от гения до ничем не примечательного обывателя, уравнивает не только в снижающем, но и в столь же бесспорном возвышающем смысле: ведь все люди оказываются в равной мере героями трагедии. И всех уравнивая, такая судьба всех объединяет: от «лесистых крестиков» («лесистых» означает здесь, одновременно, — деревянных и многочисленных, как деревья в лесу) смысловая связь тянется к «знаменитой могиле» неизвестного солдата, далее — через синонимию «воздушной могилы» — к гибельной «воздушной яме», которая привлекла и погубила Лермонтова.

Показательно, что, называя погибшего поэта, Мандельштам ставит его имя после фамилии. Это придает всему наименованию характер, близкий к официальному, — так именуют солдата, служащего, арестанта, вообще человека, включенного в какой-то официально установленный разряд. Нечто сходное появится и в последних строфах мандельштамовского стихотворения, где прозвучат формулы и интонации, характерные для переклички в казарме или в тюрьме:

Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом
— Я рожден в девяносто втором...
И в кулак зажимая истертый
Год рождения — с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Цепь сближений и метафорических уподоблений замыкается: оба — современный поэт и классик — оказываются братьями по судьбе, как и миллионы других людей, ставших, подобно им, жертвами истории. Оба поэта уподоблены неизвестному солдату, оба уподоблены безымянным узникам, а тем самым, — не минуя ни одного из этих посредствующих звеньев, — уподоблены также и один другому.

Здесь вновь дает о себе знать глубинная творческая связь двух поэтов. Логика развития лирического сюжета в «Стихах о неизвестном солдате» по-своему повторяет логику эволюции лирического героя в поэзии Лермонтова. Его отношения с миром претерпевали очень сходные внутренние изменения: с течением времени он лишался сверхчеловеческого ореола, начинал ощущать свое равенство со всеми остальными людьми, отходил от демонической мизантропии, от роли грозного свидетеля и судьи людских пороков. При всем том он открывал в своей, казалось бы, исключительной судьбе проявление всеобщей человеческой драмы, а в простом человеке, казалось бы безнадежно удаленном от него жизнью и строем своего сознания, — близкую и даже родную душу. И характерно, что такой родственной ему душой, собратом по судьбе, обычно становился солдат или узник («Бородино», «Завещание», «Узник», «Сосед», «Соседка»). Не таков ли духовный путь и лирического «я» в стихотворении Мандельштама?

Получается, что две глубоко различные духовные драмы обнаружили тяготение к одному и тому же разрешению. И у нас уже в третий раз появляется основание констатировать, что в отношении Мандельштама к Лермонтову полемика оборачивается притяжением к творческому опыту предшественника.

lib.pushkinskijdom.ru

* * *

Число текстов, привлекаемых для рассмотрения в интересующем нас плане, можно было бы и увеличить. Но представляется, что трех примеров, которые были рассмотрены выше, достаточно для некоторых существенных выводов.

Во всех трех случаях вырисовывается одна и та же отчетливая закономерность: в стихотворениях Мандельштама полемика с Лермонтовым оказывается особой формой связи с лермонтовским опытом, притом, что связь эта всякий раз способствует особой форме равновесия между лирическим «я» и миром. Такую форму равновесия уместнее всего было бы назвать трагедийной. С одной стороны, современный мир предстает у Мандельштама неодолимо страшным. Мандельштам не соблазняется открытой символистами возможностью развоплотить действительность, превратив ее в нечто призрачное. Как бы далеко ни простирались в мандельштамовских стихах деструктурированность и переструктурированность внешнего мира,[22] внешний мир всегда присутствует здесь как неотменимо грозная, осязаемая реальность. Мощь этой реальности уравновешена, однако, трагическим торжеством духа, пусть и не властным ее одолеть, но выражающим способность лирического «я» не подчиниться всесокрушающему злу, не разрушиться и не исказиться под его натиском. Духовность у Мандельштама не претендует на победу над злом, но оказывается по-своему равносильной ему — благодаря неистребимости своего достоинства и непреложности своего присутствия в составе бытия.

Такое равновесие обусловлено тем, что лирическое «я» не равно у Мандельштама отдельной человеческой индивидуальности, преходящей и зыбкой. Лирический субъект мандельштамовских стихов, как уже много раз отмечалось, включен в целостность мировой культуры и поддержан всей системой ее объективных ценностей. А эти ценности — огромная и важная составляющая реальности мира в целом. В той мере, в какой это становится очевидным, как раз и достигается равновесие «я» и мира, равновесие, ничего не разрешающее и ничего не облегчающее, но все же существующее несомненно. И как мы трижды убедились, живые и напряженные отношения Мандельштама с лермонтовским наследием помогают такому равновесию установиться.

Отмеченная закономерность интересна на фоне других, близких по времени и «местоположению» в общем строе русской поэтической культуры XX столетия. Отношения поэтов «серебряного» века с лермонтовской традицией были достаточно разнообразными. Авангардисты тянулись к опыту классики чаще всего в поисках источника духовной или эстетической гармонии. И тянулись не только к Пушкину, чья гармоничность была для них одновременно привлекательна и подозрительна своей «аполлонической» стройностью и катарсичностью. Не менее интересен был Лермонтов, который мог достигать совершенной художественной гармонии при бескомпромиссно трагическом мироощущении. Лермонтовский опыт нередко был ближе, в чем-то понятнее, поощрял к более активному и свободному использованию. Но к этим предпосылкам, собственно, и сводилась общность эпохального направления; дальше конкретные пути расходились и часто вели в противоположные стороны, приводя порой к потенциально опасным крайностям.

Одна из таких крайностей нашла выражение в поздней лирике Блока, вобравшей в себя и преобразившей ключевую для Лермонтова тему Демона. Блок использует волнующе-загадочное, амбивалентное содержание этой темы,

---

[22] Об этом см., напр.: *Левин Ю.И.* Заметки о поэтике О. Мандельштама // Слово и судьба. С. 350—370.

lib.pushkinskijdom.ru

чтобы укрепиться в позиции «демонического» противостояния окружающему миру. Сначала («Демон», 1910) миру противопоставлен индивидуализм декадентского толка — усталая отчужденность, отъединяющая в равной мере и от реальности и от мечты, порывы мстительной жестокости, «адресованной» обеим противоположностям, чувство бессилия и, наконец, усугубляющая этот конфликт с миром разрушительная работа воображения. Такое отпадение от мира, естественно, оборачивается иррациональным субъективизмом творческой манеры: композиция, основанная на принципе катахрезы,[23] совмещая принципиально разные типы образности, растворяет реальность в удвоенных и даже утроенных иносказаниях. Действительность начинает исчезать, поглощаемая агрессией художественной воли поэта. Еще шаг — и искусство станет для Блока абсолютной, сакрализованной ценностью.

Этот шаг сделан в более позднем стихотворении с тем же названием («Демон», 1916). Лирический герой (а он в обоих стихотворениях воплощает тему поэта и его судьбы в мире) и здесь отделен непреодолимой бездной от реальной жизни и всех остальных людей. Но теперь уже речь идет не о его, но об их бессилии: в стихотворении 1916 года строится элитарная концепция искусства, подкрепленная идеями героического пессимизма в духе Шопенгауэра и Ницше. Гений обречен на вечное непонимание, люди никогда не смогут последовать за ним в сотворенные искусством миры. Однако их творец неуязвим, он обретает опору в самом акте творчества, оставаясь верным себе, отказываясь от надежд и презирая человечество. Лермонтовская тема Демона помогает собрать отдельные мотивы стихотворения в такую именно комбинацию, но это достигается ценой односторонней трансформации лермонтовского поэтического решения: ведь в «Демоне» Лермонтова горькая правда демонического взгляда на людское прозябание, сочувствие опоэтизированной муке падшего ангела, его бесконечной неприкаянности и опьяняющей красоте его утопических мечтаний соединялись с любованием реальной красотой «божьего мира», с доброжелательно-сочувственным отношением к заурядной участи «толпы людской», к ее трудам и заботам.[24] Трансформация, в сущности, оказывается своеобразной деформацией классического наследия: равновесие противоположных правд, равновесие различных стилей, равновесие идеала и реальности, достигнутые и сохраняемые в поэме Лермонтова, в стихотворениях Блока резко нарушены.

Совсем иначе (но в конечном счете тоже односторонне) преобразует ту же лермонтовскую тему Борис Пастернак. В стихотворении «Памяти Демона», предпосланном книге «Сестра моя — жизнь» (1917—1922), лермонтовский образ лишается традиционных атрибутов и сюжетных связей, посредством двойного переноса значений превращается в прямое воплощение творческого духа Лермонтова, а вслед за тем растворяется в потоке метаморфоз, устраняющих границу между этим творящим духом и объективным миром («Спи, подруга, — лавиной вернуся»). Отмечая указанную выше трансформацию, В.Н. Альфонсов так характеризует соотношение между стихотворением «Памяти Демона» и посвящением, задающим тон всей книге Пастернака: «Бессмертный Демон в „Сестре" удостоен памяти, благодарной, — но памяти. А книга в целом посвящена Лермонтову, не памяти Лермонтова (подчеркивал Пастернак), а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас».[25] «Видя в Лермонтове „олицетворение

---

[23] Эта особенность подробно характеризуется в работе В.М. Жирмунского «Поэтика Александра Блока». См.: *Жирмунский В.М.* Указ. соч. С. 212—217.

[24] Подробнее об этом: *Роднянская И.* Демон ускользающий // Вопросы литературы. 1981. № 5. С. 154—155.

[25] *Альфонсов В.* Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990. С. 71.

lib.pushkinskijdom.ru

творческого поиска и откровения", —продолжает В.Н. Альфонсов, — Пастернак подчеркивал не разлад, а связь его с жизнью... Трактовка Лермонтова приближена к главной мысли статей о Шопене, Верлене, Шекспире: правдивый художник, по Пастернаку, всегда больше вбирает мир, наполняется миром, чем противостоит миру».[26]

Итак, по мысли Пастернака, Демон (лермонтовский, врубелевский, блоковский) умер, а творческий дух Лермонтова жив и способен открыть для новой поэзии еще неизвестные ей пути к «повседневному творческому постижению жизни»,[27] к ее безусловному приятию, к слиянию поэзии с ней. В пастернаковской трансформации образа Демона эта мысль получает осязаемое воплощение: Демон обещает вернуться лавиной, т.е. самой природой, самой жизнью (как и в стихотворении «Про эти стихи», где внутренняя жизнь души, «как губы в вермут», окунается в бушевание первозданных природных стихий, с которыми полностью сливается стихийное буйство романтических страстей). Такое обновление образа придает ему необычайную свежесть, но и одновременно (отметим это как нечто вполне очевидное) ставит его на грань исчезновения.

Приведенные примеры демонстрируют две тенденции, крайние, но при всем том достаточно типичные для поэзии «серебряного» века. Одна из них, связанная прежде всего с творчеством символистов, в кульминации приводит к тому, что искусство как бы поглощает и подменяет собою жизнь. Другая тенденция (она питается некоторыми течениями внутри постсимволизма) на пределе своем предполагает растворение искусства в самом бытии, отождествление искусства с бытием. В обоих случаях граница между поэзией и жизнью оказывается размытой, и в обоих случаях нарушается равновесие между поэтическим идеалом, который выражается искусством, и реальностью непосредственного бытия, с которой искусство по самой природе своей порвать не может. И в каждом случае нарушение равновесия приводит к тому, что порожденный этим нарушением тип искусства быстро исчерпывает себя.[28]

На фоне всех таких (кризисных в глубинном своем основании) устремлений модернистской лирики классика XIX века привлекала именно сохранением внутренне уравновешенного (даже в самых трагических вариантах) типа духовной и поэтической культуры. Как видим, к тому же стремился и «модернист» Мандельштам, движимый тоской, которая требовала восстановления связи с классическими ценностями.[29] Его поиски в этом направлении и вправду означали своеобразное возвращение к классике. В обретенном заново равновесии возрождалась одна из универсальных ее особенностей, а ее конкретные образы, идеи, мотивы, поэтические формы становились необходимыми и, главное, активными слагаемыми поэзии, по многим своим признакам сугубо неклассической. Разумеется, такую функцию выполняли в наш век не только искания и открытия Мандельштама, но именно они, быть может, осуществляли ее в наибольшей степени. Тем самым поэзия Мандельштама, неразрывно связанная с XX веком и обреченная существовать в рамках его тоталитарных режимов, социальных кризисов и идеологических распрей, возвышалась над ограниченностью эпох,

---

[26] Там же. С. 75.

[27] Из письма Пастернака Юджину М. Кейдену от 22 августа 1958 года. Цит. по: *Альфонсов В.* Указ. соч. С. 71.

[28] Интересное объяснение этих процессов предлагается в работе М.Н. Виролайнен «Типология культурных эпох русской истории». См.: Русская литература. 1991. № 1. С. 17—19.

[29] В одном из выступлений 1930-х годов Мандельштам назвал исходным побудительным стимулом своего творчества «тоску по мировой культуре» (см.: *Мандельштам О.* Соч. Т. 2. С. 438). «Тоска по мировой культуре» как раз и побеждала соблазн вырваться за пределы «литературного ряда», тот соблазн, которому Мандельштам вместе с другими постсимволистами нередко поддавался.

lib.pushkinskijdom.ru

систем и направлений, как идеологических, так и собственно литературных. И таким образом осуществлялась живущая в ней духовно-эстетическая потребность: она действительно уподоблялась классике, которую всегда отличала способность оказываться выше любых «рубрик», разделяющих мир во времени и в пространстве.

lib.pushkinskijdom.ru

ПИСЬМА Н.М. КАРАМЗИНА К В.М. КАРАМЗИНУ (1795—1798)

(ПУБЛИКАЦИЯ В.Э. ВАЦУРО)

Письма Карамзина к брату Василию Михайловичу, публикуемые ниже, хорошо известны исследователям Карамзина, но никогда не печатались полностью и не комментировались. После смерти корреспондента и адресата они перешли в семью «воспитанницы» В.М. Карамзина Ольги Васильевны Ниротморцевой, о которой нам придется еще упоминать. Об этих письмах знало симбирское окружение Карамзиных—Ниротморцевых, в частности семейство Языковых. В 1830 году Н.М. Языков просил брата, Александра Михайловича, добыть подлинники и переслать ему в Москву; 20 декабря 1830 года он напоминал ему: «Что же письма Карамзина?» [1] Можно думать, что Языков выполнял просьбу М.П. Погодина; по крайней мере, 26 февраля 1831 года последний сообщал С.П. Шевыреву: «Языков достал мне письма Карамзина от 95 до 25 года».[2] В руках Языкова подлинники писем находились еще в июне 1831 года; 14 июня он пишет брату из подмосковной, где проводил лето: «Письма Карамзина у меня взяла Миротворцева (так! — *В.В.*). А я было только собирался их переплесть!» [3] Может быть, Ниротморцева увезла их с собой; во всяком случае, к Погодину они попали уже после ее смерти, явно от мужа ее Д.М. Ниротморцева: на листах осталась его нумерация с заверяющей подписью. В 1836 году Погодин давал их читать А.И. Тургеневу; 3 ноября 1836 года Тургенев писал П.А. Вяземскому из Москвы: «Знаешь ли ты, что я теперь читаю? Девятнадцать связок писем оригинальных Н.М. Карамзина к брату его Василию Михайловичу. Письма начинаются с конца XVIII столетия, то есть с 178. (так в тексте. — *В.В.*) и продолжаются до его кончины. Как узнаешь милого ангела-человека, а иногда и писателя! Сколько знакомых имен встретишь, а иногда и мое имя мелькнет в строках его! Как он нежно любил *своих*! Как часто и как сердечно говорил о Катерине Андреевне, о *Сонюшке*, в ее детстве. Иногда с политическими вестями о Европе попадаются и его пророческие суждения. Может быть, удастся списать некоторые письма. Все перенумерованы. Они принадлежат Погодину».[4] Вяземский просил эти письма для задуманного им «исторического и литературного сборника» «Старина и новизна», и Тургенев отвечал ему: «Погодин согласен дать письма из своей коллекции Карамзина для печати, вероятно, и для твоей котомки».[5] В печатном объявлении о «Старине и новизне» Вяземский глухо упомянул о предполагаемой публикации «нескольких писем Карамзина», имея в виду письма к брату и к А.И. Тургеневу.[6] О существовании первых Вяземский знал и ранее; ему лишь не было известно их местонахождение. 9 ноября 1836 года он спрашивал Тургенева: «Как это письма Карамзина попались к Погодину? Помнится, они принадлежали поэту

---

[1] *Карпов А.А.* Эпоха 1830-х годов в письмах Н.М. Языкова // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 273.

[2] Русский архив. 1882. № 6. С. 182.

[3] *Языков Н.М.* Письма к родным / Публикация А.А. Карпова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 173.

[4] Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 3. С. 349 (далее в комментариях к письмам: ОА).

[5] Там же. С. 353.

[6] См.: *Гиллельсон М.И.* П.А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 254.

lib.pushkinskijdom.ru

Языкову. Это дело другое: они были бы в хороших руках. А то Погодин будет искать в них доказательств, почему Карамзин не понимал русской истории как он, Погодин, и прочие мыслители ее понимают, то есть никак, потому что ни один из них не в состоянии ничего создать, а только крохоборничать».[7] Недоверие к Погодину сохранялось у Вяземского еще со времен антикарамзинских статей «Московского вестника».

«Письма Карамзина, — отвечал Тургенев, — куплены Погодиным у самого Миротворцева, который перенумеровал их. Он давал их Языкову давно, и Языков сделал из них извлечение; но после, кажется, продал их, и теперь все они собственность Погодина. Вряд ли он даст мне списать? Разве некоторые».[8] Как мы теперь знаем, Тургенев не вполне ясно представлял себе историю писем. Тогда же, 16 ноября, он сообщил Вяземскому, что Погодин взял письма обратно.[9]

Новый прилив интереса к ним начался в связи с открытием памятника Карамзину в Симбирске в 1845 году; на церемонию был приглашен Погодин, произнесший «историческое похвальное слово», тогда же вышедшее отдельным изданием.[10] С особенным вниманием отнеслись к этому торжеству в московских славянофильских кружках: автор «Истории» и своего рода предшественник почвеннических теорий, Карамзин в середине 1840-х годов оказался вполне актуальной литературной и политической фигурой. Одновременно с брошюрой Погодина выходят отдельным изданием «Стихи на объявление памятника историографу Н.М. Карамзину» Н.М. Языкова, посвященные А.И. Тургеневу (1845). В следующем же году, преодолев сопротивление цензуры, они печатаются еще раз в «Московском литературном и ученом сборнике» на 1846 год.

Эта публикация симптоматична и почти эмблематична. Вторую половину 1845 года — последнего года своей жизни — А.И. Тургенев проводит в Москве и деятельно помогает московским литераторам в их занятиях Карамзиным. «Кое-что для биографии Карамзина» он сообщает Погодину для его «слова»; он разбирает архив отца и обнаруживает там также материалы о Карамзине, которые пока не обнародует.[11] Около него, друга и земляка Карамзина, собирается целый кружок литераторов, связанных родовыми корнями с Симбирском; некоторые из них хранили о Карамзине семейное предание. В их числе (не говоря уже о бывшем в это время в Москве семействе Карамзиных) Языков, Свербеевы, Аксаковы, Д.А. Валуев, племянник Языкова, подающий блестящие надежды молодой историк, издавший в 1845 году «Симбирский сборник» с ценнейшими материалами по истории края. Прямо или косвенно почти все эти люди были связаны с изданием двух «Московских литературных и ученых сборников» 1846-го и 1847 годов.

Во втором из них — уже после смерти Тургенева — и появляются «Выписки из писем Карамзина к его брату и 4 письма к А.И. Тургеневу», — вероятно, те самые, о которых шла речь в переписке Тургенева с Вяземским в 1836 году.

Не исключено, что Погодин, близко общавшийся с Тургеневым в его последние месяцы, имел какое-то отношение к этой публикации. В его руках был более или менее полный свод писем Карамзина к брату: среди фрагментов, приведенных им в его «материалах для биографии» в 1866 году, есть такие, которые не были напечатаны в «Московском сборнике» и восходили непосредственно к рукописи.

Публикация в сборнике включала отрывки из 71 письма за 1796—1826 годы. По этому источнику они и перепечатывались (в частности, в трехтомном «смирдинском» издании сочинений Карамзина 1848 года). Лишь через несколько лет стало известно, что подлинники приобретены императорской Публичной библиотекой и что сотрудник «Современника», журналист, беллетрист и автор исторических портретов литературных деятелей 1810—1820-х

---

[7] Остафьевский архив. Т. 3. С. 355.

[8] Там же. С. 362. (Письмо от 16 ноября 1836 года. В тексте ошибка: вместо «Миротворцева» — «миротворца»).

[9] Там же. С. 364.

[10] *Погодин М.П.* Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытии ему памятника в Симбирске 23 августа 1845 г. М., 1845.

[11] Письмо Вяземскому от 22 августа 1845 года // Остафьевский архив. Т. 4. С. 314—315.

lib.pushkinskijdom.ru

годов Е.Я. Колбасин получил от директора библиотеки М.А. Корфа разрешение на их полную публикацию. 27 октября 1857 года П.В. Анненков сообщал об этом Е.Ф. Коршу, только что добившемуся права издавать журнал «Атеней»: «Это драгоценность по отношению к Карамзину, а еще более по отношению к современной истории».[12] Сам Колбасин предполагал составить на основе этих писем биографию историографа, но вынужден был отказаться от непосильной задачи. По-видимому, по предложению Корша он опубликовал свои материалы в «Атенее» с минимальными и случайными комментариями, — и здесь обнаружилось, что в Публичную библиотеку поступила только часть обширного собрания: писем за 1795—1798 годы не было. Колбасин опубликовал письма начиная с 1799 года (опустив в них начала с обращением и ритуальные формулы конца); для полноты картины он перепечатал из «Московского сборника» фрагменты писем за 1795—1798 годы.

В 1893 году обнаружились четыре автографа из неизданной части собрания; один из них (от 17 декабря 1796 года) был в небольшом отрывке опубликован в «Московском сборнике»; об остальных ничего не было известно. Письма эти принадлежали профессору Новороссийского университета А.И. Маркевичу; по предложению Маркевича они были напечатаны в сборнике Отделения русского языка и словесности Академии наук; оригиналы Маркевич пожертвовал в Публичную библиотеку.[13]

Таковы основные известные нам данные по истории публикации этих писем. По сие время исследователи Карамзина вынуждены пользоваться выдержками из них за 1795—1798 годы, опубликованными почти полтораста лет назад. Между тем к настоящему времени уже доступны их оригиналы, собранные в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (бывшей ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина) в фонде Карамзина. Письма за 1795—1798 годы составляют одну единицу хранения (Ф. 336. Оп. 1. № 9), заключающую 34, точнее, 33 письма, ибо одно из них, датируемое сейчас 21 декабря 1797 года, по всем признакам относится к 1799 году (см. Приложение). Это далеко не все письма, которые существовали, и даже не все, какие были известны первым публикаторам: так, отсутствуют письма от 9 января 1796 года (№ 13 по нашей нумерации), 12 ноября 1796 года (№ 24), 29 июля 1797 года (№ 34), 26 августа 1797 года (№ 35), 28 января 1798 года (№ 39), отрывки из которых напечатаны в «Московском сборнике». С другой стороны, письма № 2, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 38, 40, 41, 43—49 и упомянутое письмо от 21 декабря 1799 года никогда в печати не появлялись.

Ценнейшие дополнения к этой коллекции автографов мы находим в фонде М.П. Погодина в Российской государственной библиотеке (бывшей ГБЛ. Шифр: Пог/III. 22. 2). Как мы уже упоминали, Погодин располагал оригиналами писем, находившимися в руках О.В. Ниротморцевой в середине 1830-х годов. Среди его бумаг сохранилась копия писем за 1789—1799 годы. Тетрадью копий из бумаг Погодина, на 28 листах, пользовались составители «Краткой летописи жизни и творчества Н.М. Карамзина» Н.И. Никитина и В.А. Сукайло, извлекшие из нее ряд неизвестных ранее сведений и дат.[14] Погодинская копия (далее: копия РГБ) позволяет восстановить полный текст упоминавшихся уже писем № 13, 34, 35, 39 и некоторые лакуны в других письмах, вызванные порчей текста в дошедших до нас автографах; помимо этого, она дает нам текст неизвестных в печати 13 писем — официального «верющего письма» от 27 февраля 1789 года (№ 1), одного письма за 1795 год (23 мая, № 3), шести — за 1796 год (6 февраля, 20 февраля, 14 марта, 28 мая, 28 августа, 17 октября — № 14, 16, 18, 21—23), трех — за 1797 год (19 февраля, 22 апреля, 1 июня — № 26, 30, 33), одного письма за 1798 год (16 ноября, № 50) и одного за 1799 год (3 марта). Напомним, что часть интересующего нас эпистолярного комплекса, опубликованная без существенных купюр в «Атенее» 1858 года, начинается

---

[12] *Бутина К.И.* К истории журнала «Атеней» // Записки отдела рукописей (ГБЛ). М., 1974. Вып. 35. С. 90.

[13] Сб. ОРЯС. 1895. Т. 58.

[14] См.: Н.М. Карамзин: Библиографический указатель / Сост. Н.И. Никитина, В.А. Сукайло. Ульяновск, 1990. С. 113—148.

lib.pushkinskijdom.ru

1799 годом, — и письмо от 3 марта 1799 года отделилось от нее, видимо, случайно; что же касается писем за 1795—1798 годы, то теперь мы можем представить их себе более или менее полно, хотя и не исчерпывающе: так, очень важное письмо от 12 ноября 1796 года — о смерти Екатерины II и воцарении Павла — отсутствует в обоих собраниях. Это единственное из писем «Московского сборника», которое пока мы не можем восстановить полностью. Очень вероятно, что какие-то письма остаются неразысканными; на это, между прочим, указывают оставшиеся временные промежутки в регулярной переписке.

Настоящая публикация включает все известные сейчас письма Карамзина к брату за 1795—1798 годы, как изданные ранее, так и неизданные. К ним мы присоединяем (в Приложении) и два неизданных письма за 1799 год — упоминавшиеся выше письма от 3 марта и 21 декабря. Тексты печатаются по автографам, что специально не оговаривается; оговаривается только копия, если она является единственным источником текста.

* * *

Письма Карамзина к брату вводят нас в родственный и дружеский семейный круг Карамзиных в Симбирске и Заволжье — круг, практически не изученный и требующий и заслуживающий самого пристального внимания.

Прежде всего нам следует присмотреться к самому адресату писем.

От первого брака с Екатериной Петровной Пазухиной капитан Михаил Егорович Карамзин имел дочь Екатерину и трех сыновей: старшего Василия, Федора и Николая. Последние были почти ровесниками; разница в возрасте между ними и старшими детьми была значительной. Мать их умерла в 1769 году, вскоре после рождения Николая, и в 1770 году Михаил Егорович женился вторично на Авдотье Гавриловне Дмитриевой, родной тетке И.И. Дмитриева, и имел от этого брака сына Александра и дочь Марфу. По некоторым еле улавливаемым интонациям в очень ровных и родственно лояльных письмах Карамзина мы можем ощутить, что степень близости к братьям и сестрам у него была различной, что он мало знал своих сводных брата и сестру и родную старшую сестру Екатерину, первенец которой Сергей Сергеевич Кушников, его племянник, был его ровесником. Вторая жена Михаила Егоровича скончалась в 1774 году, и тогда, по-видимому, Василий Михайлович взял на себя попечение над двумя младшими — Федором и восьмилетним Николаем, а после смерти отца в 1782 году официально стал опекуном «над малолетними детьми от первого брака».[15] Это попечение стало неотъемлемой частью детских воспоминаний будущего историографа; след их ощущается в письме от 28 января 1798 года и еще яснее — в признании уже стареющего и больного Карамзина, сделанном за год с лишним до смерти: «...я с самого детства был особенно к вам привязан».[16]

Биография Василия Михайловича известна нам мало и преимущественно с внешней стороны; так, мы знаем, что, когда Николаю минуло четыре года, в 1770 году, он был уже поручиком; в 1790-х годах он на статской службе, в чине коллежского асессора, и избирается на 1790—1792 годы предводителем дворянства Сенгилеевского уезда.[17] Впрочем, имя его встречается более всего в хозяйственных документах; он занят главным образом своим имением, которое старается приумножить и обустроить: еще в 1778 году он покупает землю в селе Троицком (Суринское тож) и Сергиевском (Ясашная Ташла) и в деревне Белом Гремячем Ключе (Рождественское, Солдатская Ташла). В 1787 году он делает новые покупки — у Н.М. Булгакова, в Бузулукской округе.[18] Позднее ему принадлежали земли

[15] *Сиверс А.А* Генеалогические разведки. СПб., 1913. Вып. I. С. 144 (далее в комментариях к письмам: Сиверс).

[16] Атеней. 1858. № 28. С. 117. (Письмо от 10 января 1825 года).

[17] *Руммель В.В., Голубцов В.В.* Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1886. Т. I. С. 365; *Поливанов В.Н.* Материалы к истории симбирского дворянства. 2-е изд., доп. Симбирск, 1909. С. 67. Далее в комментариях к письмам: Руммель и Голубцов. I; Поливанов.

[18] Материалы по истории Башкирской АССР. М., 1960. Т. 5. С. 208—209 (далее в комментариях к письмам: Материалы. Т. 5).

lib.pushkinskijdom.ru

в Знаменском (Карамзине) и Преображенском (Михайловке) — родовом имении Карамзиных, той самой «заволжской деревне», откуда, по-видимому, и уезжал вместе с ним маленький Николай, — зимой, среди вьюги и метели, о чем вспоминал в январском письме 1798 года (№ 39). В Михайловке, где он затем стал единоличным хозяином, он построил барский дом и второй дом — в самом Симбирске, на Смоленской горе, близ Петропавловского спуска, — тот самый «дом Карамзина», который зарисовал Пушкин, побывав в Симбирске в 1833 году, спустя шесть лет после смерти Василия Михайловича.[19] По письмам, публикуемым ниже, мы вправе предположить, что Николай Карамзин видел в старшем брате хозяина рачительного и надежного и в своих деловых взаимоотношениях с младшими братьями рассчитывал и полагался прежде всего на него.

Между тем, как это ни покажется странным, у рачительного хозяина не было семьи, —по крайней мере, семьи официальной. П. Мартынов, знаток старого Симбирска, сообщает, что Василий Михайлович был холост, но имел воспитанников, детей проживавшей у него в экономках девицы Рамзиной — Николая, Михаила, Ольгу и Анастасию Васильевых. Сведения Мартынова, кажется, требуют уточнений: Б.Л. Модзалевский обнаружил в «Сенатских ведомостях» за 1858 год упоминания о детях Василия Михайловича, носивших фамилию Рамзины, — Михаиле, коллежском регистраторе, Анфисе и Екатерине, замужем за поручиком Карповым.[20] Из всего этого семейства несомненно внебрачных детей Ольга была любимицей и наследницей холостяка; в письмах Н.М. Карамзина она прямо называется «дочерью». Ольга и муж ее Д.М. Ниротморцев унаследовали родовое гнездо Михайловку, несмотря на протесты дядюшки Александра Михайловича; здесь она и была похоронена рядом с прахом Василия Михайловича, скончавшегося 24 апреля 1827 года; дочь пережила его всего на десять лет с небольшим.

Все эти люди, связи и отношения составляли ту особую, интимную область духовного мира Карамзина, которую он — как можно думать, совершенно сознательно — скрыл от посторонних глаз. Это был его личный, частный мир, отделенный от мира его новых литературных и светских знакомых, но с которым он не терял внутренней связи. Не случайно «Рыцарь нашего времени» — повесть о детских годах, в которой сам Карамзин, а потом И.И. Дмитриев удостоверяли автобиографическую основу,[21] — почти не поддается реальному комментированию. Мы можем лишь предполагать, что среди людей, упомянутых в письмах Карамзина к брату, нужно искать более или менее близких прототипов персонажей этого «романа», основанного «на воспоминаниях молодости» и датированного самим автором 1799 годом;[22] что в бывшем воеводском товарище Прямодушине, заслуженном майоре Фаддее Громилове, некогда командовавшем ротой ландмилиции, ротмистре Бурилове, «простреленном насквозь башкирской стрелой в степях уфимских», отразились некоторые черты личности, биографии и самой ономастики Суровцовых, Бестужевых, Ермоловых — всех этих «матадоров провинции», от которых «рыцарь нашего времени» «заимствовал русское дружелюбие» и набирался «духу русского и благородной дворянской гордости, которой он после не находил даже и в знатных боярах».[23] Некоторым из этих связей суждено было сохраняться долгие годы; достаточно вспомнить здесь имя И.П. Тургенева, сыгравшего столь важную роль в биографии молодого Карамзина.

---

[19] См.: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 400.

[20] *Мартынов П.* Селения Симбирского уезда: (Материалы для истории симбирского дворянства и частного землевладения в Симбирском уезде). Симбирск, 1904. С. 99 (далее в комментариях к письмам: Мартынов). Ср. помету Б.Л. Модзалевского на экземпляре принадлежавшего ему родословного сборника В.В. Руммеля (Библиотека ИРЛИ, справочный отдел), со ссылкой: «Санктпетербургские сенатские ведомости о запрещениях на имения, 1858. № 54».

[21] См.: Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. М., 1866. Т. I. С. 6—7, 11—15 (далее в комментариях к письмам: Погодин. Т. I.).

[22] *Карамзин Н.М.* Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 668—669.

[23] Там же. С. 598.

lib.pushkinskijdom.ru

* * *

Повседневные бытовые, хозяйственные и родственные заботы — первое, что бросается в глаза читателю при просмотре этих семейных писем. Но они составляют лишь одну их сторону. Информация, заключенная в них, гораздо богаче и разнообразнее; однако уловить ее можно лишь поставив их в более широкий культурный, исторический и биографический контекст.

Расставшись с семьей почти ребенком (как вспоминал И.И. Дмитриев, «кажется, по 14-му году»),[24] учась в пансионе Шадена, а затем поступив на военную службу в Петербурге, Карамзин несколько раз побывал на родине. В 1781—1782 годах он был отпущен на год «Синбирского уезда в село Знаменское» и вернулся в Петербург к 10 сентября 1782 года. По-видимому, Михаил Егорович умер при нем, и Карамзин принял личное участие в разделе наследства. Три брата от первого брака — Василий, Федор, Николай — получили по части имения мачехи, которые были отданы им «людьми и крестьянами, не дробя земли». Село Знаменское было разделено между ними на три части; Преображенское получили Василий и Федор, деревню Ключевку — Николай.[25] В феврале 1783 года Карамзин берет отпуск на одиннадцать месяцев и уезжает в Симбирск, а 1 января 1784 года, как значилось в документах канцелярии Преображенского полка, подпрапорщик бомбардирской роты Николай Карамзин был выпущен в отставку в чине поручика.[26]

«По кончине отца своего, — рассказывал И.И. Дмитриев, — он вышел в отставку поручиком и уехал на родину. Там однажды мы сошлись на короткое время; я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в обществе: опытным за вистовым столом; любезным в дамском кругу и оратором пред отцами семейств, которые охотно его слушали. Такая жизнь не охладила, однако, в нем прежней любви его к словесности».[27]

Вероятно, к этому времени относится и дошедший до нас список членов симбирской масонской ложи Златого венца, где Карамзин записан как «товарищ»; в числе участников этой ложи упомянуты люди, которых затем Карамзин будет называть в своей переписке с братом (например, «2-й надзиратель» И.В. Колюбакин).[28] Это была та самая ложа «под надзиранием» вице-губернатора А.Ф. Голубцова (он числится в списке «великим мастером»), которую учредил И.П. Тургенев; и он же принял в нее Карамзина. Члены ложи занимались и распространением новиковских изданий; так, И.В. Колюбакин был комиссионером книжной торговли Новикова в Симбирске. По свидетельству И.И. Дмитриева, Тургенев же «уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву» и ввел его в новиковский кружок.[29] Первую половину 1785 года он, однако, опять проводит в Симбирске.

Никаких сведений об общении его в это время с братьями нет, хотя трудно сомневаться, что оно было. Примечательно, что первое же большое сочинение, вышедшее под именем Карамзина и явившееся результатом его сотрудничества с кругом Новикова — перевод поэмы А. Галлера «О происхождении зла» (1786), — оказывается посвященным Василию Михайловичу. Печатное посвящение это иногда учитывалось в числе писем Карамзина к брату, но это, конечно, качественно иной текст, хотя в самом деле стилизованный под письмо и содержащий формулы, которые мы находим и в подлинной переписке: «Родство и дружба соединяют сердца наши союзом неразрывным. Всегда почитаю я то время счастливейшим временем жизни моей, когда имею случай излить пред Вами ощущения

---

[24] *Погодин М.П.* Н.М. Карамзин... Т. I. С. 16.

[25] *Сиповский В.В.* О предках Н.М. Карамзина // Русская старина. 1898. № 2. С. 434.

[26] Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 463—464 (далее в комментариях к письмам: ПкД); Краткая летопись жизни и творчества Н.М. Карамзина // Н.М. Карамзин: Библиографический указатель / Сост. Н.И. Никитина, В.А. Сукайло. С. 116—117 (далее в комментариях к письмам: Кр. лет.).

[27] *Дмитриев И.И* Соч. СПб., 1895. Т. 2. С. 24—25.

[28] Осмнадцатый век. 1868. Кн. 2. С. 369.

[29] *Тарасов Е.И.* Декабрист Николай Иванович Тургенев в Александровскую эпоху. Самара, 1923. С. 31; *Мартынов И.Ф.* Книга в русской провинции 1760—1790 гг.; Зарождение провинциальной книжной торговли // Книга в России до середины XIX века. Л., 1978. С. 122.

lib.pushkinskijdom.ru

сердца моего; когда имею случай сказать Вам, что я Вас люблю и почитаю. Да внушит же Вам приношение сие оную истину и да послужит новым для Вас уверением, что я во всю жизнь свою буду

Вашим покорнейшим братом и слугою
Николай Карамзин».[30]

Было бы неосторожно делать по этому посвящению какие-то выводы об умонастроениях адресата и направлении его интеллектуальных интересов; оно не более чем публичная демонстрация дружбы и привязанности. Важно, однако, что вместе со знаками родственной приязни адресату предлагается и язык чувств, и самая система категорий философско-моралистической «чувствительной» литературы в расчете на понимание и приятие. Интереснейшее письмо от 29 июля 1797 года (№ 34) показывает, что делалось это совершенно сознательно. Все оно представляет собой литературный текст, с той же системой идей и образов, какие мы находим в сочинениях Карамзина середины 1790-х годов, как прозаических, так и поэтических (например, в «Послании к Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости», 1794).

В 1795—1798 годах Карамзин будет снабжать брата книгами по истории и естествознанию; вместе с ними он будет присылать ему вновь выходящие или переиздаваемые свои сочинения и интересоваться его мнением, а позднее, по его настоянию, — подробно сообщать, как движется работа над «Историей Государства Российского».

Заграничное путешествие Карамзина и интенсивная литературно-издательская деятельность по возвращении прерывают общение на несколько лет. Это время, которое неоднократно привлекало внимание исследователей, и мы довольно ясно представляем себе Карамзина в начале 1790-х годов. Революционные события во Франции, начало европейских войн, а затем и политические процессы над Радищевым, над Новиковым и масонами отражаются глубоким кризисом в мировоззрении Карамзина. Потеряв близких друзей, в первую очередь А.А. Петрова, разойдясь с прежним масонским кругом, не приобретя семьи, он находит себе пристанище в семье Плещеевых и подолгу живет в их орловском имении Знаменское. Этот «знаменский период» (июнь—ноябрь 1793 года, лето 1794 года, май—декабрь 1795 года), к которому относятся наиболее ранние из публикуемых писем, очень важен в истории формирования Карамзина и как личности, и как культурного деятеля. В 1975 году Л.В. Крестова тщательно собрала печатные сведения о друге Карамзина — Анастасии Ивановне Плещеевой; через десять лет Ю.М. Лотман разыскал новые материалы о жизни Карамзина в Знаменском и рассмотрел весь этот этап его биографии как историко-культурный факт.[31] Тем не менее в истории взаимоотношений Карамзина и Плещеевых далеко не все ясно. Даже внешняя ее, событийная часть изобилует зияющими лакунами. Так, неизвестны годы рождения этих старших друзей Карамзина, что весьма существенно для психологии отношений, неясны обстоятельства их раннего знакомства и т. д. Мы можем предполагать, что какие-то связи с семейством (или родней) А.А. Плещеева были у Карамзина еще в симбирский период. Так, среди знакомых М.Е. и В.М. Карамзиных в хозяйственных документах 1760-х годов упоминается симбирский и пензенский помещик Александр Федорович Плещеев, капитан-поручик Измайловского полка, племянник симбирского же землевладельца Б.И. Толстого, женатый на В.И. Нагаткиной; сын его, Сергей Александрович, был в 1787 году гвардии подпоручиком, в 1785—1786 годах — предводителем дворянства Сызранского уезда. С.А. Плещееву принадлежало село Насягай (по соседству с имением Аксаковых), которое перешло затем к А.М. Карамзину.[32] Если А.А. Плещеев сохранял с симбирскими Плещеевыми родственные связи, тогда становятся понятными упоминания об

---

[30] О происхождении зла. Поэма великого Галлера. М., 1786.

[31] См.: *Крестова Л.В.* А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина // Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л., 1975. С. 265—270. (XVIII век; Сб. 10); *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 242 и след.

[32] См.: *Мартынов П.* Указ. соч. С. 296, 313, 330; *Сиверс А.А.* Указ. соч. С. 124; *Поливанов В.Н.* Указ. соч. С. 73; *Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1986. Т. 1. С. 47 и прим.

lib.pushkinskijdom.ru

А.А. и А.И. Плещеевых в письмах В.М. Карамзину — лишенные всяких пояснительных определений, просто по имени и отчеству, как это обычно при коротком знакомстве.

Здесь мы подходим к одной из центральных тем переписки с В.М. Карамзиным за 1790-е годы. В 1794 году пошатнулось материальное положение Плещеевых; судя по обеспокоенным намекам в письмах, оно сделалось критическим. В этих обстоятельствах Карамзин жертвует своим и без того относительным материальным благополучием: он идет на раздел и продажу братьям своей части имения и отдает Плещеевым вырученные деньги. В середине февраля 1795 года он уезжает в Симбирск; 8 марта составляется «полюбовная запись» о разделе отцовского наследства. Обстоятельства и условия этой договоренности с братьями проясняются из текста писем. В.М. Карамзин берет на себя посредничество в денежных отношениях; судя по ответам Николая Михайловича, брат его испытывал некоторую тревогу за судьбу этой имущественной сделки и, кажется, пытался осторожно отговорить своего любимца; однако Николай был тверд в своем решении и строго следил, чтобы А.М. и Ф.М. Карамзины соблюдали точность в своих денежных обязательствах. М.П. Погодин передавал со слов И.И. Дмитриева, что Плещеевым он никогда о долге не напоминал.[33]

Накануне отъезда он несколько раз посетил в Москве Херасковых, замешанных в деле о масонах и живших почти под домашним арестом. В переписке Е.В. Херасковой с И.П. Тургеневым, высланным в свое имение под Симбирском, содержатся красноречивые свидетельства об этической позиции Карамзина в острый и опасный для него период. Разорвав идейные связи с масонскими кружками Москвы, став предметом их резкой критики, он счел необходимым почти демонстративно подчеркнуть неизменность своих личных отношений с жертвами политических преследований. 16 февраля Е.В. Хераскова пишет Тургеневу: «Сегодня едет в Синбирск Н.М. Карамзин и, конечно, увидится с вами, я ради того имею случай писать к тебе, но что писать, доброго нечего, приятного ничего... Мы, благодаря Бога, здоровы, в рассуждении горестей и старости нашей, здоровы довольно, но чувствую, однако, что разные неприятные и горькие обстоятельства меня съедают, и я мало-помалу разрушаюсь. Ах! мой друг, как тошно жить без отрады, а мы, к нещастию, ни с которой стороны ее не имеем. Завидно мне, что увидит тебя Н.М.; видно, нам уже не видаться, горькая мысль! но я как-то отчаялась дожить до свидания с моими друзьями. Н.М. часто бывал у нас, мы с ним гораздо больше прежнего спознакомились и более узнали цену его. Без лести сказать, что он редко хороший человек во всех отношениях; мы любим его много и очень, очень много; он же и тебя любит, то как мне не любить его». Карамзин действительно посетил И.П. Тургенева; 27 марта Хераскова писала ему: «Благодарю тебя за письмо, которое получила я с Ник. Мих.: ты мало пишешь, но я зато много расспрашивала его о вас; он любит тебя очень и, кажется, более, чем прежде любил».[34]

Все эти связи и события образуют контекст, в котором возникает переписка Карамзина с братом, начавшаяся сразу же по возвращении первого в Москву. Как и большинство писем Карамзина, письма к Василию Михайловичу скупы на прямую информацию; в них многое сказано намеком или даже полунамеком, едва заметным перемещением акцентов в эпистолярном рассказе. Братья, видимо, понимали друг друга с полуслова; к тому же Василий Михайлович был довольно хорошо осведомлен в жизни обеих столиц. Его интересуют не официальные новости, которые он черпает из газет; он ждет неофициальных известий, «слухов». Сведения, которые сообщает ему в письмах Карамзин, удивительно точно совпадают с теми, которые мы находим, например, в таком уникальном памятнике, как «исторические записки... о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах» А.Т. Болотова. Передавать такие слухи в последние годы екатерининского царствования и в особенности при Павле можно было лишь с величайшей осторожностью, учитывая возможность перлюстрации. Это и делает Карамзин, достигая почти виртуозной техники в искусстве «сказать все и не

---

[33] См.: *Сиверс А.А.* Указ. соч. С. 144; *Погодин М.П.* Н.М. Карамзин... Т. I. С. 251.

[34] ГАРФ. Ф. 1094. Оп. 1. № 25. Л. 83—83об., 87. Небольшие цитаты из этих писем приведены нами в статье «Возвращение Карамзина» (Лит. обозрение. 1989. № 11. С. 37).

lib.pushkinskijdom.ru

попасть в Бастилию в стране, где нельзя говорить ничего» (фраза Гальяни, на которую позднее ссылался Пушкин).[35] В 1795 году он систематически сообщает брату о событиях Французской революции, и эти скупые известия чрезвычайно интересны: в них явственно ощущается двойственный подход к событиям. Резкий противник якобинской диктатуры, Карамзин, кажется, более всего опасается победы роялистов (письмо № 10); зато первые шаги Наполеона, еще революционного генерала, приветствует с энтузиазмом. Освещение международных событий в этих письмах — формирующаяся концепция, которая через несколько лет ляжет в основу политической статьи, открывающей первый номер «Вестника Европы», — «Всеобщее обозрение» (1801). Самый материал ее уже содержится в письмах; перечисляя «великие политические изменения» на карте Европы, Карамзин упомянет как раз те, о которых он несколькими годами ранее писал брату: «Где Польша? Где Венеция? Где многие княжества в Германии и в Италии? Сего мало: надобно, чтобы в Африке отдались громы французской революции, — где славные египетские беи и древние мамелюки?» (ср. письма № 10, 32, 37, 48).[36] Сочувствие к Французской республике, освободившейся от «якобинских правил», звучит в статье с полной определенностью, уже не стесняемое цензурными условиями, и растет скептицизм к уважаемому прежде В. Питту; симпатии к Наполеону приобретают уже оттенок политических ожиданий. Заметим, что речь идет лишь о тех письмах, которые публикуются ниже, т.е. о первых четырех годах переписки; за два последующих года на политической арене произойдут новые события, но они лишь откорректируют, а не уничтожат политическую ориентацию, сложившуюся ранее.

Быть может, еще показательнее оценка в этих письмах внутренней жизни России. Конечно, она еще более завуалирована. Последние годы царствования Екатерины, отмеченные политическими репрессиями, распространяющейся роскошью и падением нравов в обществе и при дворе, расточительством, коррупцией и фаворитизмом, вызывали у Карамзина резко негативное отношение, отразившееся, в частности, в записке «О древней и новой России... ». Начало павловского царствования возродило его надежды на просвещенный абсолютизм; они нашли свое недвусмысленное выражение в «Оде на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому» (1796).

Ожидание конституционных реформ, упорядочения законодательства, прекращения изнурительных войн — все эти политические лейтмотивы оды мы находим и в публикуемых письмах; не значащие внешне факты, сообщаемые в них, отобраны не случайно: за ними открывается некая социальная перспектива. Так, сообщение об аресте Б.М. Салтыкова (письмо № 29, 8 апреля 1797 года) есть для Карамзина частный случай борьбы нового правительства с роскошью и лихоимством; не остаются незамеченными и намерения его прекратить войну и установить политические взаимоотношения в воюющей Европе. Но, может быть, более всего подкупает Карамзина возвращение Павлом Новикова, И. Тургенева, Трубецких, снятие опалы с И.В. Лопухина. Темой возвращения свободы узникам оканчивается «Ода на случай присяги...», которую Карамзин спешит послать брату в нескольких экземплярах, конечно, для раздачи общим знакомым. В.М. Карамзин знает всех «прощенных» или, по крайней мере, знает о судьбе каждого из них, — это совершенно очевидно по контексту письма от 17 декабря 1796 года (№ 25). Рассказ Карамзина об окончании опалы дышит энтузиазмом; известие о смерти императрицы, сухое, лишенное и тени скорбных эмоций, совершенно теряется на его фоне, и в бескрасочности этого сообщения заключается общественная позиция. Своеобразной параллелью к этому письму Карамзина служит письмо Е.В. Херасковой к И.П. Тургеневу от 18 ноября 1796 года: «Слава Богу, слава Богу, вы с нами! поздравляю тебя, мой сердечный друг Иван Петрович, поздравляю душевно с милосердием нашего монарха и отца; все вы возвращаетесь в объятия наши. Курьеры к вам

[35] См. письмо Пушкина П.А. Вяземскому от 10 июля 1826 года (*Пушкин.* Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937. Т. 13. С. 286).
[36] *Карамзин Н.М.* Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 207.

lib.pushkinskijdom.ru

отправлены, а вчерась мы и указ видели о возвращении вашем; к к⟨нязю⟩ Никол⟨аю⟩ Никит⟨ичу⟩ (Трубецкому. — *В.В.*) мы и своего курьера вчерась отправили; но они по болезням своим ранее декабря быть не могут, а вас ожидаю скоро, очень, очень скоро. Никол⟨ай⟩ И⟨ванович⟩ Новиков сегодня уже в Москве, остановился у Чулкова; мы еще не видали его, но наши друзья Лап⟨ухины?⟩ там; все имение Новикову возвращено. Ах! Боже мой! я вне себя от радости; уж третий день как мы получили сие радостное известие, но я не могу опомниться; рука дрожит, и кровь вся в волнении; милосердной наш отец, ангел-хранитель наш, император, каждую минуту изливает милости, рекою изливает на всех своих подданных. Мой М.М. пожалован, сказывают, тайным советником и старшинство отдано, но указу о сем еще не прислано. Жду обнять тебя, моего сердечного друга, слезы радости льются из глаз моих. Прощай».[37]

Разделяя эту радость, Карамзин, однако, не мог ощущать эйфории столь безотчетной. Уже письмо от 12 ноября 1796 года (№ 24) не оставляет сомнений, что и автор, и адресат его весьма осведомлены в деталях общественной и придворной жизни столицы. Беглые упоминания об удалении Павлом Барятинского, приближении Куракиных и Репнина, запечатании бумаг П. Зубова — штрихи некоей общей картины, уже определяющейся в своих основных чертах: освобождение от сторонников Екатерины, прежде всего участников «заговора 1762 года». Сочувствия к ним Карамзин не испытывает, однако он не может не видеть и тревожащих всех нововведений, начавшихся с первых дней царствования Павла: вторжения «гатчинцев», деспотического вмешательства Павла в частную жизнь — печально знаменитой борьбы с круглыми шляпами и фраками, милитаристской регламентации быта, — всего того, что он позднее и у Петра I станет считать «насилием беззаконным и для монарха самодержавного». Известна характеристика Павла в записке «О древней и новой России...»: «...он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти: считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг, отнял стыд у казни, у награды — прелесть; унизил чины и ленты расточительностию в оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериною, и заменил его духом капральства».[38] Эта характеристика суммарна и принадлежит уже более позднему времени; перелом в отношении к Павлу зреет исподволь на протяжении 1797—1798 годов и отражается в письмах Карамзина косвенными намеками. По ним мы можем видеть, насколько сложными путями шла эта эволюция; позиция Карамзина всегда индивидуальна и иногда кажется парадоксальной. Такой она предстает нам, например, в мартовских письмах 1797 года.

К марту 1797 года, к моменту коронационных торжеств, уже ясно обозначились контуры будущего конфликта нового императора с широкими кругами столичного дворянства. Именно к этому времени относится жалоба дворян на «строгость» самодержца, принесенная ему через митрополита Платона, и донесение прусского посланника Брюля: «Недовольны все, кроме городской черни и крестьян».[39]

Карамзин чутко улавливает общественные настроения и прекрасно осведомлен о сложившейся уже репутации Павла. Но он не спешит примкнуть к «недовольным». Внимательный аналитик, он стремится уяснить общее направление правительственной политики. Он мог бы повторить формулу Брюля, но в преобразованном виде: с акцентом не на первой, а на второй ее части.

Ориентация на социальные низы была существенной частью «консервативной утопии» Павла, равно как и ограничение дворянских вольностей. Существуют многочисленные

---

[37] ГАРФ. Ф. 1094. Оп. 1. № 25.

[38] *Карамзин Н.М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // Пыпин А.Н. Исторические очерки: Общественное движение в России при Александре I. 4-е изд. СПб., 1908. С. 489, 496.

[39] *Шильдер Н.К.* Павел I. Император. СПб., 1901. С. 357 (далее в комментариях к письмам: Шильдер. Павел I).

lib.pushkinskijdom.ru

мемуарные свидетельства о популярности Павла среди крестьян и солдат; социальный антагонизм между помещиком и крестьянином, солдатом и офицером поддерживал легенду о «народном царе», заступнике против дворян. Поддерживали ее и акции Павла, предпринятые в самом начале царствования: учреждение ящика для жалоб, указ о регулировании продажи крепостных и в особенности произведший сенсацию в обществе указ от 5 апреля 1797 года «о трехдневной барщине».[40] Именно об этом указе, который трактовался позднее (без достаточных оснований) в антикрепостническом духе, и сообщает Карамзин брату (письмо № 29, 8 апреля 1797 года), а несколько ранее замечает: «Народ не может нарадоваться государем» (17 марта, № 28). Он отбирает информацию, поддерживающую его убеждение, что новый самодержец «хочет счастья миллионов». Это убеждение остается пока доминантой его отношения к Павлу, а очевидные негативные стороны его политического поведения отходят в тень.

Разочарование, однако, накапливается и осознается окончательно, видимо, к лету 1797 года. Письмо от 22 апреля — последнее, где выражены симпатии к императору. Далее упоминания о нем становятся совершенно нейтральными и официальными, и на передний план выходит то, что вызывает у Карамзина и его адресата резкое неприятие, — указы о регламентации одежды (№ 35, 26 августа 1797 года, № 39, 28 января 1798 года) и о цензуре (№ 37, 17 ноября 1797 года). Приезд Павла в Москву в мае 1798 года и пышные торжества в его честь, на которых московское дворянство пыталось выразить ему свои верноподданнические чувства, благосклонный прием их императором — все это, казалось бы, давало Карамзину повод для развернутого рассказа. Но даже и здесь он ограничивается скупым уведомлением: «... весь город в большом движении» (№ 44). Столь же лаконичными становятся сообщения о новостях; формула «вы читаете газеты, следственно, все знаете» повторяется, как рефрен, в нескольких письмах.

Эта формула носит почти конспиративный характер; она — указание на вынужденное сужение информационной сферы писем. «Слухи», которых ждет Василий Михайлович, теперь уже не могут быть достоянием почты, равно как и не попадающие в газеты факты общественной жизни. Что мы имеем дело с автоцензурой — об этом свидетельствуют одновременные письма к Дмитриеву. В письме от 12 октября 1798 года, посланном не по почте, а с И.П. Бекетовым, Карамзин подводит печальный итог своих литературных мытарств за последние месяцы и намечает еще более безотрадные перспективы: «А я, как автор, могу исчезнуть заживо. Здешние цензоры при новой эдиции "Аонид" поставили х на моем *послании к женщинам*. Такая же участь ожидает и "Аглаю", и мои безделки, и письма Русск⟨ого⟩ Путеш⟨ественника⟩, то есть вероятно, что цензоры при новых изданиях захотят вымарывать и поправлять, а я лучше все брошу, нежели соглашусь на такую гнусную операцию; и таким образом через год не останется в продаже, может быть, ни одного из моих сочинений. Умирая авторски, восклицаю: да здравствует Российская Литература!»[41] Нет необходимости оговаривать специально, что это письмо — не жалоба на злую волю тех или иных «цензоров», а общая картина цензурного режима и что никаких иллюзий на этот счет Карамзин не питал.

По письмам Дмитриеву можно определить, о чем Карамзин *не рассказывал* брату в 1798 году.

Но цензурные притеснения были лишь одним из слагаемых в общей картине социального и индивидуального неустройства. В эту картину входило то, что Карамзин обобщил затем в записке «О древней и новой России...» и что для него самого оборачивалось очередным крушением социальных иллюзий. К этому добавлялись и переживаемые личные драмы, и материальные осложнения; все вместе создавало ту атмосферу душевной подавленности, из которой Карамзин пытался найти выход в работе над «Пантеоном иностранной словесности». О ней также Карамзин не рассказывал брату; исповедальные письма были не в

[40] Подробно об этом (с указанием на источники и литературу) см.: *Эйдельман Н.Я.* Грань веков. М., 1982. Гл. V—VI.

[41] Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. С. 104.

lib.pushkinskijdom.ru

его характере, и он тщательно оберегал свой интимный мир от глаз даже близких ему людей. Действительность реальная и действительность эпистолярная лишь отчасти совпадали друг с другом, но в самых несовпадениях своих были соотнесены, и «то, о чем не сказано» зачастую превращалось в «то, о чем умолчано».

20 августа 1801 года, сообщая брату о своих впечатлениях от первых месяцев царствования Александра I, Карамзин писал: «Государь расположен ко всякому добру, и мы при нем отдохнули. Главное то, что можем жить спокойно».[42]

Нечто подобное мы читали уже в письме от 17 декабря 1796 года: «Верно то, что государь хочет царствовать с правдою и милосердием и обещает подданным своим благополучие» — и далее шел подробный рассказ об оказанных «милостях» (№ 25). Проходит пять лет — и теперь уже Карамзину нужен не месяц, а полгода, чтобы присмотреться к новому правительству, и самое одобрение его поражает своей осторожностью и сдержанностью на фоне старого, почти восторженного письма. Четыре года жизни русского общества, отразившиеся в письмах Карамзина к брату, были годами стремительного накопления исторического и социально-философского опыта, опыта рождения, крушения и осмысления иллюзий, формировавшего художественное и историческое сознание уже зрелого Карамзина.

1

Милостивый государь братец
Василий Михайлович!

По случаю отъезда моего в чужие краи поручаю вам в совершенное владение часть мою в общем имении нашем, доставшемся нам после покойного отца нашего капитана Михайла Егоровича Карамзина, и прошу вас иметь хождение за тяжебными делами нашими, при решении оных подписывать удовольствие или неудовольствие и в последнем случае переносить их на апелляцию куда следует и смотря по надобности, и начинать дела новые, и потому подавать от общего имени нашего всякие прошения в судебные места; в чем вам верю, и что вы по сему учините, в том спорить и прекословить не буду.

Имею честь быть,
Милостивый государь братец!
вашим покорнейшим слугой и братом
Порутчик Николай Карамзин.

Москва, Февраля 27 числа
1789 года.[1]

Господину коллежскому асессору Карамзину

Сие верющее письмо писано и подписано рукою порутчика Николая Михайловича Карамзина, в чем свидетельствуя подписуюсь.

Секунд-майор Александр Сергеев сын Кушников.[2]

В вышеписанном свидетельствуя подписуюсь Пример-маер[3] Алексей Александров сын Плещеев.[4]

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] Карамзин выехал в заграничное путешествие 18 мая 1789 года. О его имуществе, поручаемом В.М. Карамзину, см. вступ. статью.

[2] Кушников Александр Сергеевич — племянник Карамзиных, брат С.С. Кушникова (см. прим. 2 к письму № 3). В письмах к брату Карамзин несколько раз упоминает об А.С. Кушникове (см. письмо от 9 марта 1801 года — о посылке, отправляемой ему в Симбирск; письмо от 25 февраля 1811 года — о его расстроенном здоровье: Атеней. 1858. № 19. С. 202; № 23. С. 480—481). В 1811 году он упрекал И.И. Дмитриева за невыполнение обещания определить Кушникова на должность

[42] Атеней. 1858. № 20. С. 244.

lib.pushkinskijdom.ru

прокурора в Симбирске; однако в августе того же года, повидавшись с Кушниковым, убедился, что болезнь его носит нервный или психический характер (ПкД. С. 145).

[3] Так в письме.

[4] Плещеев Алексей Александрович — офицер (в 1775 подпоручик, в 1778-м — секунд-майор), домовладелец в Москве, помещик с. Знаменское Орловской губернии; по воспоминаниям Д.П. Рунича, связанного с Плещеевыми семейным знакомством, «человек богатый, происходивший из старинного дворянского рода» (Русская старина. 1896. № 11. С. 314—315; 1901. № 1. С. 48—51); родная тетка его по отцу — кн. Мавра Александровна Голицына (некоторые генеалогические сведения — в хозяйственных документах Плещеевых: РГАЛИ. Ф. 1339. № 1211). В 1790-е годы служил в Московском казначействе (*Верховская Н.П.* Карамзин в Москве и Подмосковье. [М.], 1968. С. 25). Масон из круга Новикова, И.П. Тургенева, А.М. Кутузова. Один из ближайших друзей Карамзина. Муж Анастасии (Настасьи) Ивановны Плещеевой (урожд. Протасовой), с которой Карамзина связывало длительное взаимное чувство интимной дружбы-влюбленности. Знакомство и сближение Карамзина с Плещеевыми произошло, по-видимому, около 1785 года (в адресованном Плещеевой «Послании к женщинам» (1795) Карамзин вспоминал, что увидел ее впервые десять лет назад); к этому времени Плещеева была замужем не менее семи лет (она значится под фамилией мужа среди подписчиков на журнал «Утренний свет» 1778 года; см.: *Кочеткова Н.Д.* Немецкие писатели в журнале Новикова «Утренний свет» // XVIII век. Сб. 11. Л., 1978. С. 118) и имела трехлетнего ребенка (Александра, будущего «арзамасца» и друга Жуковского). По рассказу Рунича, Карамзин был введен в дом Плещеевых членами новиковского кружка как в дом «одного из членов братства»; у Плещеевых Рунич видел Карамзина еще будучи ребенком, «до его поездки за границу» (Русская старина. 1896. № 11. С. 314—315; 1901. № 1. С. 48—51). Посредником в этом знакомстве был И.П. Тургенев, уговоривший Карамзина ехать с ним из Симбирска в Москву и введший его в новиковский круг (*Дмитриев И.И.* Соч. Т. 2. С. 25—26). О возможных связях Тургенева и Карамзиных с симбирской родней Плещеевых см. вступ. статью. В 1801 году Карамзин женился на младшей сестре Плещеевой Елизавете Ивановне Протасовой (ок. 1771—1802), которую встретил в доме Плещеевых в 1788 году (ср. указание его в письме к брату от 24 апреля 1801 года на их тринадцатилетнее знакомство: Атеней. 1858. № 19. С. 203; дата рождения — без ссылки на источник: *Лобанов-Ростовский А.Б.* Русская родословная книга. 2-е изд. СПб., 1895. Т. 2. С. 143—145 (генеалогия Протасовых)). Плещеевы были в курсе приготовлений Карамзина к заграничному путешествию. А.И. Плещеевой принадлежит очень важное свидетельство о положении Карамзина накануне отъезда: по ее рассказу, он был вынужден «почти бежать» из Москвы, и Плещеевы, настроенные против его «вояжа», тем не менее умоляли его ехать (обстоятельства, о которых идет речь, во многом до сих пор остаются неясными). Переписка Н.И. Плещеевой с А.М. Кутузовым за 1790—1791 годы полна упоминаниями о Карамзине, анализами психологических перипетий их взаимоотношений и т.п. (*Барсков Я.Л.* Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915, по указ.). Плещеевым были посвящены «Письма русского путешественника» (в издании 1797—1801 годов печатное посвящение: «Семейству друзей моих ПЛЩВХ: К вам писанное — Вам же посвящаю. Н.К.»; см.: *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника / Изд. подг. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. Л., 1984. С. 393 и по указ., особенно с. 535). Прямо или иносказательно Плещеевы (и прежде всего Н.И. Плещеева — «Аглая») упоминаются во многих произведениях Карамзина 1790-х годов (см.: *Крестова Л.В.* Указ. соч.). По возвращении Карамзин жил у Плещеевых на правах члена семьи.

2

Милостивый государь братец Василий Михайлович!

Посылаю вам нотную бумагу, струны, пятую часть «Естественной истории»[1] и табакерку. Прочие книги для брата Федора Михайловича,[2] а пряжки — одни для брата Александра Михайловича,[3] а другие для Николая Фадеевича.[4] Башмаки не поспели;[5] кафтан готов, но боюсь послать его теперь. — Мне сказали, что я не могу здесь записать за собою людей, не имея дому: итак, сделайте милость, братец, запишите их за собою, где вам угодно; чем меня обяжете. Прошу меня об этом уведомить, чтобы люди мои не остались прописными. — О войне говорить переставали,[6] а теперь снова начинают. Важных новостей нет. — Вы наслаждаетесь теперь приятным временем в деревне. Я должен был проститься с многими любезнейшими мне людьми; иные поехали в Петербург, другие в деревню.[7] Простите, братец! Будьте благополучны и любите всегда

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Москва, 28 марта 1795.

lib.pushkinskijdom.ru

Публикуется впервые. Написано сразу после возвращения Карамзина из Симбирска.

[1] «Естественная история» — «Всеобщая и частная естественная история» Жоржа Луи Леклерка графа де Бюффона (Buffon, 1707—1788), выходившая в русском переводе (т. 1—10. СПб., 1789—1808). Том 5, переведенный И.И. Лепехиным, появился в 1792 году. Труд Бюффона пользовался широким признанием; несколько фрагментов из него Карамзин перевел для «Пантеона иностранной словесности» (1798). См.: *Разумовская М.В.* «Естественная история» Бюффона и Фонвизин // Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой. Л., 1986. С. 97—108 (XVIII век; Сб. 15); *Кафанова О.* Библиография переводов Н.М. Карамзина // Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1989. С. 333—334. № 137—139 (XVIII век; Сб. 16).

[2] Федор Михайлович (1768—до сент. 1839) — брат Н.М. Карамзина, сын Михаила Егоровича Карамзина (ум. 1782) от первого брака (с Екатериной Петровной Пазухиной, ум. 1769). В 1784 году был принят во 2 кадетский корпус (в 1785 году получил чин сержанта); в 1787 году выпущен поручиком в армию, с оставлением при корпусе и медалью (вместе с А.А. Аракчеевым; см.: Историческое обозрение 2 кадетского корпуса. СПб., 1862. Именной список выпущенных в офицеры. С. XIII). Служил в Софийском пехотном полку; 3 декабря 1790 года за болезнью уволен в отставку с награждением чином капитана. В 1802—1803 годах — Бузулукский предводитель дворянства. В 1808 году — коллежский асессор; по документам значится вдовцом, имеющим от роду 40 лет; как постоянное его местопребывание указывается село Преображенское Бузулукской округи (176 душ крестьян), т.е. Михайловское, куда на лето приезжал и В.М. Карамзин (см. ниже); по разделу 1795 года ему принадлежала и часть села Знаменского Сенгилеевской округи Симбирского наместничества. С Ф.М. Карамзиным Н.М. Карамзин позднее виделся в Москве (в 1815 году) и в Петербурге (в 1819 году; см.: Атеней, 1858. № 25. С. 599; № 27. С. 57). См. о нем: Руммель и Голубцов. I. С. 565, 566; Сиверс. С. 145—149; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. № 1270.

[3] Александр Михайлович Карамзин (род. ок. 1772, см. письмо № 36; ум. до июля 1850 года) — сын М.Е. Карамзина от второго брака (с Авдотьей Гавриловной Дмитриевой, 1770). Учился в Петербурге, в кадетском корпусе. Сохранился рассказ М.А. Дмитриева, согласно которому А.М. Карамзин, будучи кадетом, посещал по воскресеньям И.П. и П.П. Бекетовых, где виделся с И.И. Дмитриевым, А.Н. Бекетовым и Е.И. Костровым. «Подпоивши Кострова, Аполлон Николаевич ссорил его с молодым Карамзиным, которому самому это было забавно; а Костров принимал эту ссору не за шутку. Потом доводили их до дуэли; Карамзину давали в руки обнаженную шпагу, а Кострову ножны. Он не замечал этого и с трепетом сражался, боясь пролить кровь неповинную. Никогда не нападал, а только защищался» (*Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 26). В 1795 году А.М. Карамзин был гвардии прапорщиком. По-видимому, братья общались мало; в 1810 году, встретившись в Москве, они «едва могли узнать друг друга» (Атеней. 1858. № 23. С. 477). Характеристику А.М. Карамзина в конце 1790-х годов дал С.Т. Аксаков в «Детских годах Багрова внука» (после покупки имения Полибино на реке Насягай А.М. Карамзин стал соседом Аксаковых и любимым гостем троюродной бабки писателя Н.И. Куроедовой, владелицы села Чуфарово): «Карамзина все называли богатырем; и в самом деле редко можно было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень строен; грудь выдавалась у него вперед колесом, как говорится; нрав имел он горячий и веселый; нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гирями, как легкими шариками» (*Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 462; ср. там же, С. 47). Братья виделись также в 1812 году (Атеней. 1858. № 24. С. 486) и в Петербурге в 1816 году, когда Николай Михайлович принял участие в хлопотах брата за сына Михаила, поступавшего в студенты (Атеней. 1858. № 25. С. 606; № 26. С. 653); хлопоты оборвались болезнью и смертью мальчика, и Карамзин в декабре 1816 года проводил много времени с братом, убитым горем (Атеней. 1858. № 26. С. 254; см. также письмо Карамзина к П.А. Вяземскому от 21 декабря 1816 года: Старина и новизна. 1897. № 1. С. 20). Известно письмо Карамзина петербургскому почт-директору К.Я. Булгакову от 24 января 1817 года с просьбой оказать содействие А.М. Карамзину, возвращавшемуся через Москву в Уфимскую губернию (*Герасимова Ю.И.* Архив Булгаковых // Записки отдела рукописей (ГБЛ). М., 1969. Вып. 31. С. 43 (факсимиле)). В конце жизни Александру Михайловичу и жене его Н.Б. Карамзиной (см. прим. 3 к письму № 14) принадлежали имения в сельце Богоявленском-Семеновке и в деревне Ново-Заволжской Дмитриевке (Луговая Семеновка) в Сызранском уезде; в сельце Знаменском-Карамзине, в селе Ясашной Ташле и в сельце Петровском в Симбирском уезде; в сельце Александровке-Ключевке, в селе Покровском-Ружевке-Полибине, в деревне Бестужевке и в сельце Насягае Бугурусланского уезда (Сиверс. С. 146). Шесть писем Карамзина к А. М. Карамзину за 1817—1824 годы опубликованы А. К. Афанасьевым и О. В. Эдельман (Российский архив. II—III. М., 1992. С. 34—37).

[4] Николай Фадеевич — Суровцов, симбирский помещик, сосед Карамзиных; в 1795 году — поручик, стряпчий уголовных дел в 1 департаменте в губернском магистрате Симбирского наместничества (Месяцеслов... на 1796 год. СПб., [Б. г.]. С. 222). Семейство Суровцовых было в родстве с Карамзиными (прадед Николая Михайловича, Петр Васильевич Карамзин, был женат на Анне Васильевне Суровцовой; крестный отец Карамзина, А. Кудрявцев, был женат на Любови Фадеевне Суровцовой. См.: Сиверс. С. 141—142; Мартынов. С. 95, 98). Согласно купчей 1762 года, поручик «Фадей Григорьев сын

lib.pushkinskijdom.ru

Суровцов» продал капитану М.Е. Карамзину сенные покосы в селе Богородицком (Ельшанке тож) Симбирского уезда. У Ф.Г. Суровцова и жены его, поручицы Анны Ивановны (оба умерли до 1793 года), кроме Николая, было еще трое сыновей: Александр (в 1793 году майор), Григорий и Павел (в 1793 году подпоручики) — и дочь Анна, в замужестве Бардовская (Материалы. Т. 5. С. 324). В записи 1795 года упоминается земля, доставшаяся М.Е. Карамзину в деревне Ключевке Бугурусланской округи от «фурьера Григорья Фадеева сына Суровцова»; земля эта по полюбовному соглашению с братьями отошла к Н.М. Карамзину (Сиверс. С. 143—144). Александра Фадеевича Суровцова и жену его Екатерину Даниловну Карамзин упоминает в письме к брату от 12 октября 1807 года (Атеней. 1858. № 22. С. 416); контекст письма и денежная помощь, посылаемая жене, говорят о довольно тесном знакомстве семейств.

[5] Далее зачеркнуто: к празднику.

[6] В правительственных и дипломатических кругах в начале 1795 года ожидали резкого обострения международных разногласий, связанного с подавлением польского восстания и последующим разделом Польши; в качестве потенциального противника называли Францию, Швецию, Оттоманскую Порту и даже Пруссию. Летом 1795 года А.А. Безбородко писал С.Р. Воронцову: «Без войны с королем Прусским, по всем признакам, мы не обойдемся» (*Григорович Н.* Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени. М., 1881. Т. II. С. 307. (Сб. Русского исторического общества; Т. 29). Далее: Григорович. Сб.РИО).

[7] Речь идет в первую очередь об И.И. Дмитриеве, находившемся в Петербурге, и о семействе Плещеевых, уехавшем в деревню (ПкД. С. 53—54).

3

Село Знаменское, Мая 23, 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Так всегда буду начинать письма; сердце мое дает вам это имя. Название *Милостивый государь* оставляется; но любовь моя к вам, милый брат, будет вовеки соединена с душевным почтением. — Здесь в деревне получил я от вас три письма. Благодарю вас, братец, за исполнение моей просьбы, то есть за приписание людей моих к вашему дому; а я буду платить подушные деньги. Уведомьте, по чему в год? — Мне очень жаль, что второе письмо ваше не застало меня в Москве; я бы отдал 100 рублей Алексею Сергеевичу.[1] Теперь не знаю, где он. Сергей Сергеевич[2] вместе с ним хотел ехать в Казань. Однако ж я пишу в Москву, чтобы ему отдать 100 рублей, естьли он еще там; а вы пришлете мне осенью. — Я уже писал к сестре Марфе Михайловне и поздравлял ее с помолвкой. Философов мне знаком; кажется, он человек хороший.[3] — Получили ли вы фрак? я о(т)правил его к вам через почту. — Жаль будет, естьли надгробный камень для покойной жены брата Федора Михайловича пропадет.[4] Он отправлен еще прежде моего приезда в Москву: а так как Петрушки нет теперь самого, то я писал к нему, чтобы он уведомил меня, с каким извозчиком именно он послал его.[5] — Из Москвы пишут ко мне, что там открылось превеликое гонение на игроков и что некоторых взяли под караул.[6] Нового еще то, что наш флот, состоящий из двенадцати кораблей, посылается на помощь англичанам, под командою Хонькова.[7] — Я теперь живу в деревне у Алексея Александровича и думаю, что возвращусь в Москву не прежде августа месяца. Пишите, братец, ко мне по-прежнему, то есть в Москву, в дом Киселева. Там остался Петрушка, который пересылает ко мне письма. — Простите. Будьте благополучны и любите всегда

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] Алексей Сергеевич — Кушников, племянник Карамзина, брат С.С. Кушникова (см. след. прим.), в 1792 году — капитан (Сиверс. С. 117).

[2] Сергей Сергеевич — Кушников (1765—1839), племянник Карамзина, сын его старшей сестры Екатерины Михайловны и майора Сергея Александровича Кушникова, помещика Оренбургской и Симбирской губерний (Сиверс. С. 106, 145). У Кушниковых кроме Сергея, Александра и Алексея (см. выше) были также сыновья Григорий и Михаил (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. № 11309. Л.55—56, 83—84) и дочери Анна и Вера. С.С. Кушников окончил 1 кадетский корпус (1787) и был выпущен

lib.pushkinskijdom.ru

поручиком в Екатеринославский кирасирный полк; участвовал в турецкой войне 1788—1789 годов и в итальянском походе Суворова (1799), был его адъютантом и пользовался доверием полководца (см.: *Суворов А.В.* Письма / Изд. подг. В.С. Лопатин. М., 1986, по указ.; далее: Суворов. Письма). В 1800 году перешел на статскую службу; был московским вице-губернатором (1800—1802) и петербургским гражданским губернатором (1802—1804), с 1807 года — сенатор, впоследствии член Государственного совета, председатель комиссии прошений (см. его биографию: ОА. Т. 2. С. 578—579). Карамзин очень высоко отзывался о Кушникове («Россия может гордиться таким сенатором, а человечество — таким человеком», «герой благородства душевного» — см. письма к И.И. Дмитриеву от 19 ноября и 14 декабря 1822 года: ПкД. С. 341—342). В 1801 году он был сватом Кушникова, женившегося на Екатерине Петровне Бекетовой (1771—1827), двоюродной сестре И.И. Дмитриева (письмо В.М. Карамзину от 20 августа 1801 года: Атеней. 1858. № 20. С. 245). Письма Карамзина к С. С. Кушникову за 1817—1825 годы (публикация Д. Дэвидсона и Е. Е. Пастернак) см.: Исторический архив, 1993. № 2. С. 169—185.

[3] Марфа Михайловна (род. после 1770—ум. 1821) — сестра Карамзина, дочь М.Е. Карамзина от второго брака с А.Г. Дмитриевой, по матери двоюродная сестра И.И. Дмитриева. В письмах к Дмитриеву Карамзин постоянно упоминает «сестру Марфу Михайловну»; в конце 1791 года, предполагая ехать в Симбирск, он просит Дмитриева, чтобы он, А.И. Дмитриев и М.М. Карамзина приехали в город для свидания с ним (ПкД. С. 15; Кр. лет. С. 119—120). 13 мая 1795 года он сообщил Дмитриеву, что Марфа Михайловна помолвлена с Никитой Никитичем Философовым и что он этому «рад сердечно» (ПкД. С. 54). Н.Н. Философов — симбирский помещик, в 1808—1811 годах капитан, предводитель дворянства Корсунского уезда Симбирской губернии (в 1813—1814 годах был предводителем дворянства в Алатырском уезде). См.: Поливанов. С. 82. О супругах Философовых в 1790—1800-е годы рассказывает С.Т. Аксаков; они принадлежали, как и А.М. Карамзин, к числу любимых гостей Н.И. Куроедовой (см. прим. 3 к письму № 2). «Н.Н. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой: он шутил беспрестанно, и я часто слыхал выражение, что он "мертвого рассмешит"» (*Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 392, 462—463). В 1821 году, получив от В.М. Карамзина известие о смерти М.М. Философовой, Н.М. Карамзин писал ему: «Письмо ваше огорчило нас до глубины сердца известием о кончине милой сестры Марфы Михайловны. Хотя мы жили розно, но больно думать, что уже нам не видеться с нею в здешнем свете. Она была столь добра и нежна к родным своим. Уведомьте, любезнейший братец, как Никита Никитич сносит свое горе, и здоров ли он? Где их больший сын? Я давно ничего не слыхал об их семействе» (Атеней. 1858. № 27. С. 61). В письме к И.И. Дмитриеву от 2 августа 1821 года Карамзин справлялся о «меньшом» сыне Марфы Михайловны (ПкД. С. 312). Несомненно, это Николай Философов, в 1824 году исключенный из Артиллерийского училища за дурное поведение, о чем Карамзин писал Дмитриеву 31 октября 1824 года (там же. С. 382). Может быть, «больший сын» — Михаил, умерший бездетным (Сборник исторических и статистических сведений по Симбирской губернии. Симбирск, 1868. С. 194); тогда скорее всего о нем идет речь в письме брату от 23 декабря 1797 года (№ 38), где Карамзин справляется, благополучно ли прошли роды у Марфы Михайловны. Философовы имели также дочь Надежду, в замужествеОзнобишину.

[4] О жене Ф.М. Карамзина сведений не сохранилось. Судя по отсутствию упоминаний о ней в переписке, она умерла не позднее 1794 года, и в 1795 году Ф.М. Карамзин был озабочен сооружением надгробного памятника или даже семейного склепа. Несомненно с ее памятью связана табакерка с портретом, упоминаемая в письме № 5, и, возможно, «палатка» (термин, обозначавший место захоронения в стене при церкви; см., например: Григорович. Сб. РИО. Т. 29. С. 508—509).

[5] «Петрушка» — «служитель Петр Агеев», остававшийся на московской квартире Карамзина и ведший его хозяйственные дела; он упоминается в письмах к Дмитриеву (ПкД. С. 48, 53) и в деловых (в частности, цензурных) документах; так, в 1798 году он представлял в цензуру «Пантеон иностранной словесности» (*Рогожин В.Н.* Материалы для русской библиографии XVIII и первой четверти XIX столетия. Дела «московской» цензуры в царствование Павла I как новые материалы для русской библиографии и словаря русских писателей. Пг., 1922. Вып. II. С. 48, 61).

[6] См. прим. 2 к письму № 4.

[7] По союзному договору с Англией от 7 февраля 1795 года Россия должна была отправить в Северное море 12 линейных кораблей и 6 фрегатов для совместных действий против Франции. 21 июня эскадра из 13 линейных кораблей и 8 фрегатов под командованием вице-адмирала Петра Ивановича Ханыкова (1743—1813) вышла из Ревеля в Балтийское море и блокировала побережье Голландии; вернулась в Россию 14 октября 1796 года. См.: Материалы для истории русского флота. СПб., 1893. Т. 14. С. 483 и след.; 525 и след.; Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г. М., 1948. С. 144—145.

lib.pushkinskijdom.ru

4

Село Знаменское, Июня 24, 1795.

Любезнейший брат Василий Михайлович!

Думаю, что вы уже в заволжской деревне;[1] более месяца не имею об вас известия. Алексей Сергеевич в Москве; человек мой, по письму вашему, отдал ему 100 рублей и прислал ко мне расписку его. Я беспокоюсь теперь о Сергее Сергеевиче, который был болен и давно уже ко мне не пишет. — Может быть, вы слышали уже об истории игроков; они потерпели много неприятностей и почти все едут из Москвы; неизвестно, волею или неволею.[2] Игры запрещены весьма строго. — В Париже великий голод, и народ недоволен конвентом. Французская республика, несмотря на свои победы и завоевания, может разрушиться очень скоро.[3] Все на волоске; и английский министр Питт твердо стоит в том, что он рано или поздно усмирит французов.[4] — Я простудил руку и с трудом писать могу. Будьте вы здоровы, любезнейший брат! До августа месяца пробуду в деревне; а там опять на житье в Москву. Простите, братец! Желает вам всех возможных благ

ваш искренний и покорнейший брат

Н. Карамзин.

Прилагаю письмо к Александру Сергеевичу.[5]

Опубликовано: Сб. ОРЯС. 1895. Т. 58. С. VIII.

[1] «Заволжской» («оренбургской») деревней Карамзин называет село Михайловку (Преображенское тож), находившееся в Бузулукской округе Оренбургской губернии. Согласно полюбовной записи от 8 марта 1795 года, В.М. и Ф.М. Карамзины владели Михайловкой совместно (Сиверс. С. 144). Михайловка была, по-видимому, местом рождения Карамзина. См.: *Пекарский П.* Старинное известие об имении Карамзиных: селе Михайловка-Преображенское// ПкД. С. 451—457; *Булич Н.* Биографический очерк Н.М. Карамзина и развитие его литературной деятельности // Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. 1 декабря 1766—1866 года. Симбирск, 1867. С. 39.

[2] «История игроков» — шумный процесс, затронувший довольно широкие круги московского общества (см. упоминания о ней: *Болотов А.Т.* Памятник претекших времян... М., 1875. С. 29—30, 72, 95 (далее: Болотов. Памятник)); начался с разбора ссоры во время гулянья в мае 1795 года отставных коллежского асессора Павла Иевлева и подпоручика Афанасия Волжина, обвиненного Иевлевым в шулерстве. Следствие, наряженное генерал-губернатором М.М. Измайловым, выявило целую группу игроков, о чем Измайлов донес Екатерине II; в составленном списке принимавших участие в азартных играх значилось множество известных в Москве лиц (в том числе «подпоручик» Иван Крылов; см.: Исторический вестник. 1891. № 7. С. 117). 7 августа рескриптом Екатерины II было повелено Иевлева, Волжина и других, которые «не взирая на законную строгость, с какою запрещены в империи... всякие азартные и разорительные игры, не только продолжали таковые игры, но при оных употребляли все средства хитрости и обмана для вовлечения других в пагубные свои сети», «как людей, провождающих праздную и развратную жизнь и совершенно вредных обществу», выслать из столицы в уездные города Вологодской и Вятской губерний под надзор полиции; прочим участникам объявить серьезное предупреждение (Русский архив. 1872. № 5. С. 872—873). Выслано, однако, было лишь несколько «неимущих» (т.е. профессиональных) игроков, среди которых был, по-видимому, и И.А. Крылов, нашедший приют в имении В.Е. Татищева, также попавшего в список (см.: *Гордин М., Гордин Я.* Иван Крылов — сочинитель // Звезда. 1983. № 3. С. 131—133; *Гордин М.А.* Жизнь Ивана Крылова. М., 1985. С. 107—108). Из публикуемого письма очевидно, что Карамзин внимательно следил за ходом разбирательства и был осведомлен в его деталях; есть основание думать поэтому, что начавшееся вскоре (в период добровольной или вынужденной ссылки) участие Крылова в 1-й книжке «Аонид» Карамзина (собиралась на протяжении декабря 1795-го—мая 1796 года) было сознательным актом поддержки Карамзиным недавнего литературного противника в трудный момент его биографии.

[3] «Великий голод» — острая нехватка хлеба, возникшая с ослаблением, а отчасти и с коррумпированностью центральной власти во Франции после 9 термидора (хлеб расхищался, скрывался, становился предметом грандиозных спекуляций). В январе-феврале 1795 года начались голодные бунты в Париже и провинциях; ответственность за голод возлагали на «торговцев» и Конвент. 12 жерминаля толпы из предместий вторглись в зал заседаний; депутатам удалось успокоить демонстрантов, после чего начались аресты «якобинцев» и оживление явных и тайных роялистов. Новое восстание началось утром 1 прериаля (20 мая), после того как разнесся слух, что порция хлеба в

lib.pushkinskijdom.ru

Париже определена в две унции; только 4 прериаля правительственным войскам удалось разоружить Антуанское предместье. В официальном заявлении Конвента, переданном иностранным правительствам, объявлялось, что одержана трудная победа «над анархией четвертого прериаля». Вслед за тем началась новая волна репрессий, во время которых погиб, в частности, известный Карамзину Ж. Ромм. См. подробно: *Тарле Е.В.* Жерминаль и прериаль. М., 1957.

[4] Питт (Pitt, 1759—1806) Вильям (младший) — премьер-министр Великобритании в 1783—1801 годах, один из руководителей европейской антиреволюционной коалиции. Карамзин дал описание и характеристику Питта в «Письмах русского путешественника», в июльском письме 1790 года, где рассказывал о своем посещении Вестминстерского аббатства во время исполнения оратории Генделя «Мессия»: «Всех более занимал меня молодой человек в сереньком фраке, видом весьма обыкновенный, но умом своим редкий; человек, который в летах цветущей молодости живет единственно честолюбием, имея целию пользу своего отечества; родителя славного сын достойный, уважаемый всеми истинными патриотами — одним словом, Вильгельм Питт!» (*Карамзин Н.М.* Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 440). По-видимому, тогда же он разговаривал о Питте с С.Р. Воронцовым (там же. С. 443). Антифранцузская деятельность Питта с ее реставраторскими тенденциями не вызывала у Карамзина сочувствия (см. письмо № 10) и сказалась на сдержанной оценке Питта во «Всеобщем обозрении» («славен умом, а не мягким сердцем», «готов был целым миром жертвовать пользе своего отечества»; см.: Вестник Европы. 1802. № 1; *Карамзин Н.М.* Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 210).

[5] Это письмо не сохранилось.

5

Москва, 23 июля 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Я не писал к вам несколько почт, полагая, что вы в заволжской деревне. От вас также давно не имею писем. Вы, конечно, занимаетесь теперь всякого рода хозяйством и не завидуете городским жителям, которые глотают пыль на худо вымощенных улицах. — Беспокойные обстоятельства Алексея Александровича удерживают его здесь; а естьли бы они поехали отсюда, то и я оставил бы на некоторое время Москву.[1] — Наши войска в Персии теперь отдыхают; там бывают страшные жары в июле и в августе. Каково-то у вас лето; здесь оно хорошо; а в других местах, около Орла, были ужасные грозы и такие проливные дожди, что разнесло множество винокуренных заводов и целыми десятинами хлеб смыло. Между тем в Италии и в Германии гремят пушки.

Я давно уже послал табакерку с портретом к брату Федору Михайловичу. Получил ли он ее? Палатка его все еще не готова, да и Кушелев уехал в Петербург. Думаю возвратить деньги брату; но как их послать? брата нет в Симбирске.

Простите, любезнейший братец! Будьте здоровы, покойны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывок («Вы, конечно, занимаетесь... оставил бы на некоторое время Москву») опубликован: Погодин. Т. I. С. 253.

[1] О материальных затруднениях А.А. Плещеева Карамзин упомянул впервые в письме к Дмитриеву из Знаменского от 7 июня 1794 года: «Состояние друзей моих очень горестно. Алексей Александрович страдает в Москве, а мы здесь страдаем. Благополучен тот, кто живет хотя в хижине, но живет спокойно и никому не должен» (ПкД. С. 48). По возвращении из Симбирска он сообщал Дмитриеву о болезни Н.И. Плещеевой: «Завтра я скачу из Москвы в деревню к Настасье Ивановне, которая очень, очень больна и не встает с постели; что вместе с другими обстоятельствами раздирает мое сердце... Дай Бог, чтобы я к августу мог возвратиться в Москву с покойным сердцем» (апрель-май (до 13-го) 1795 года: ПкД. С. 53—54). В конце мая—начале июня Плещеева начала поправляться; однако еще 11 июля Карамзин был в Знаменском и предполагал остаться здесь до сентября (ПкД. С. 55—56). По-видимому, настоящее письмо написано в период кратковременного выезда в Москву всего семейства (на что указывают слова «они поехали»); 9 августа Карамзин и Плещеева были уже в Знаменском; А.А. Плещеев остался в Москве (там же. С. 57—58).

http://pushkinskijdom.ru

6

Село Знаменское, Ав(густа) 8, 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Сколько времени не имею от вас никакого известия! Мне это очень прискорбно. Ожидаю вашего возвращения в Симбирск; тогда чаще буду получать от вас письма.

Я все еще в деревне у Алексея Александровича. Слабое здоровье милой Настасьи Ивановны и вообще грустные их обстоятельства удерживают меня здесь. Сердечная моя привязанность к их дому не позволяет мне жалеть об удовольствиях московской рассеянной жизни.[1]

Я не знаю, когда будет свадьба сестры Марфы Михайловны; но думаю, что они дождутся вашего приезда. Жаль мне, что я вместе с вами не могу праздновать ее замужества.

Сергей Сергеевич отдал Веру Сергеевну в дом к госпоже Кавериной, молодой любезной женщине, которой муж, как слышно, будет в Москве полицемейстером.[2] Теперь она веселится светскими забавами и довольна, как царица. Хорошо, естьли бы нашелся для нее хороший жених, другого щастливого конца я не вижу.

Алексей Сергеевич принят в штат к Прозоровскому и едет с обозом в армию. Я уже писал к вам, что он получил от меня 100 рублей.[3]

Простите, любезнейший братец! почитаю и люблю вас всею душою. Надеюсь, что и вы будете всегда любить

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Привезли ли к брату Федору Михайловичу надгробный камень для покойной нашей невестки? Дворецкий того господина, чей крестьянин повез его, уверяет, что он доставлен.

Отрывок («Я все еще в деревне... об удовольствиях московской рассеянной жизни») опубликован: Погодин. Т. I. С. 253.

[1] На следующий день (9 августа) Карамзин писал Дмитриеву: «Я все еще в деревне... и едва ли в половине сентября буду в Москве. Не думай, чтобы я отменно любил деревню; нет, я люблю только друзей своих, и в Москве, и в Знаменском». Далее он сообщал, что Н.И. Плещеева «все еще слаба здоровьем», но очень желает познакомиться с Дмитриевым (ПкД. С. 57—58).

[2] Вера Сергеевна — Кушникова (в замужестве Татаринова), племянница Карамзина, старшая из дочерей его сестры Екатерины Михайловны. О помолвке ее с Александром Ильичом Татариновым Карамзин писал брату 1 января 1812 года, осведомляясь о женихе (Атеней. 1858. № 24. С. 534); в 1819 году хлопотал о ее муже (ПкД. С. 261—262, 0122). Госпожа Каверина — Анна Петровна (ум. 1808), воспитанница известного Карамзину семейства Архаровых, побочная дочь брата Е.А. Архаровой П.А. Корсакова, первая жена П.Н. Каверина. Характеристика Карамзина сходна с тем, что писал об А.П. Кавериной А.М. Тургенев: «Она была редкой красоты девица, отлично образованная, одаренная талантами, с большим умом... мила, любезна, как майское утро, свежа, как распускающаяся роза... прекрасная, как ангел. Она... действительно была ангелом по врожденному ее расположению к добру» (Русская старина. 1889. № 4. С. 197). Муж ее — Павел Никитич Каверин (1763—1853), впоследствии смоленский и калужский губернатор, сенатор, начал службу при Потемкине; в Месяцеслове на 1796 год он уже значится как полицеймейстер Москвы (Месяцеслов... на 1796 год. С. 143). Его расторопность и умение ладить с высшим начальством обеспечили ему затем и расположение Павла I; 31 марта 1797 года он был назначен обер-полициймейстером с пожалованием чина статского советника (Сенатский архив. СПб., 1888. Т. 1. Именные указы Павла I. С. 140. Далее: СА). Карамзин (как и его ближайший круг: семейство Вяземских, Дмитриев, Ф.В. Ростопчин) был в приятельских отношениях с Кавериным; в 1800 году он писал Дмитриеву, что Каверин «ветрен, но умен и добр» и что он «чистосердечно любит его» (ПкД. С. 122; ср. также: Старина и новизна. 1897. № 1. С. 26). Карамзину же принадлежит рассказ о бескорыстии Каверина, выразившего готовность уничтожить всю свою недвижимость в Москве (единственное его имущество), если в нее вступят французы (*Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. СПб., 1882. Т. 7. С. 99). О Каверине см.: *Щербачев Ю.Н.* Приятели Пушкина Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин. М., 1913. С. 37—40, 191—196.

[3] Князь Александр Александрович Прозоровский (1732—1809), в 1790—1795 годах главнокомандующий Москвы, известный преследованиями Новикова и масонов, был 21 марта 1795 года уволен от должности и назначен шефом Московского гренадерского полка.

lib.pushkinskijdom.ru

7

Село Знаменское, Октября 3, 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Наконец я получил от вас письмо и очень обрадовался. Около трех месяцев не имел я этого удовольствия; и хотя знал, отчего вы ко мне не писали, однако ж не менее того беспокоился. Теперь вижу, что и вы не получали от меня писем. Не вините меня, любезнейший брат! Я писал всякой месяц раза по два и по три через город Болхов.[1] Недавно открылось, что болховскому почтмейстеру угодно было жечь мои письма, а взятые за них деньги оставлять у себя в кармане. Везде есть воры; и по крайней мере около десяти писем моих, в Петербург и в Симбирск, пропало.[2] Теперь пишу вам через Москву.

Я все еще в деревне, любезнейший брат! Теперь и ехать нельзя; всякой день дожди и грязь превеликая. Думаю, что дождусь здесь первого снегу; но в конце ноября надеюсь непременно быть в Москве. Прошу вас, братец, отправить лошадей с ямщиком по первому пути, а не осенью; прикажите ехать с ними и Александре. Нельзя ли будет отправить с ними и возок, оставленный мною в Симбирске? Его могут везти две лошади. — Что принадлежит до денег, то для меня всего бы лучше было то, чтобы вы, любезнейший брат, остались на несколько лет моим должником и платили мне проценты с пяти тысяч пятисот рублей; это был бы мой верной и беззаботной доход. Но естьли вы непременно хотите уплатить мне нынешний год 2000 рублей, то я уже решусь отдать их в проценты в Москве, в том месте, где располагаюсь жить. От вас зависит, братец, прислать мне к марту месяцу или вексель на все 5500 рублей с процентами, или 2000 рублей денег и вексель на 3500 рублей. К брату Николаю Михайловичу прилагаю письмецо; а братьям Федору Михайловичу и Александру Михайловичу извольте сказать, что я рад буду получать с них проценты несколько лет, не требуя ничего в уплату. Вы, любезнейший брат, будете по любви своей моим поверенным.

Я писал к Петрушке, чтобы он купил для вас книги и на первой почте отправил к вам с запискою о цене. — Мне кажется, что за башмаки заплачено 3 рубля; а китайка куплена по 95 копеек аршин.

Простите, любезнейший брат! Люблю и почитаю вас всем сердцем. Надеюсь, что и вы никогда, никогда не перестанете любить

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Пишите ко мне в Москву по-прежнему, адресуя письма в дом Киселева. Там живет мой человек Петрушка, который принимает и письма и деньги, получаемые на мое имя в Московском почтамте. Письмо к брату Николаю Михайловичу извольте запечатать.[3] Простите, любезнейший братец! Будьте здоровы и со всех сторон благополучны!

Опубликовано: Сб. ОРЯС. 1895. Т. 58. С. IX—X.

[1] Болхов — уездный город Орловской губернии (54 версты от Орла, 290 — от Москвы); к Болховскому уезду принадлежало имение Плещеевых Знаменское.

[2] О пропаже нескольких своих писем (в том числе писем к Дмитриеву) Карамзин писал последнему 19 сентября 1795 года с тем же объяснением причин: «Болховской почтмейстер имеет привычку жечь по выбору некоторые письма и оставлять у себя взятые за них деньги; для того пишу теперь через Москву» (ПкД. С. 59). Подозрение это, впрочем, оказалось неосновательным (там же. С. 60; письмо от 17 октября).

[3] Вероятно, имеется в виду письмо, написанное Карамзиным к себе самому от имени брата и составленное как деловой (возможно, денежный) документ. Ср. ту же формулу в письме 1801 года: «...брат Николай Михайлович едет к вам после всех депутатских праздников» (Атеней. 1858. № 19. С. 204; речь идет о посылке «Писем русского путешественника»).

lib.pushkinskijdom.ru

8

Знаменское, 10 окт⟨ября⟩ 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Вчерашний день к сердечному моему удовольствию получил я от вас другое письмо; спешу отвечать на него.

Скажу об деньгах то же, что и в прежнем письме: для меня всего лучше, чтобы вы сами были моим должником во всей сумме; но естьли вам того не угодно, то я, получив от вас деньги, по долгу сердечной дружбы обязан отдать их Алексею Александровичу, который имеет в них нужду. Странно бы было для всех, знающих связь мою с его домом, естьли бы я поступил иначе. Я люблю сестру и зятя;[1] но они, конечно, не могут иметь такой нужды в деньгах, как Алексей Александрович. Вот мой ответ. Вы сделаете, что вам угодно: то есть перепишете вексель, в какой сумме за благо рассудите.

Содержание Анны Сергеевны[2] не может обременять Алексея Александровича; стол в деревне недорог, а все прочее есть мое дело. Но естьли обстоятельства переменятся, то я по воле вашей могу отправить ее и в Симбирск. — Сергей Сергеевич уехал в армию. Я не знаю, хорошо ли он сделал, отдав Веру Сергеевну в дом П.Н. Каверина. И муж и жена очень хорошие люди, любезные и добрые; но кто поручится, чтобы содержание Веры Сергеевны не сделалось для них когда-нибудь в тягость?[3]

Я уже писал к вам, любезнейший братец, чтобы вы изволили отправить в Москву лошадей и Александру в начале зимы. Мне самому нельзя быть там прежде как в исходе ноября.

Думаю, что вы уже получили из Москвы книги. Я велел Петрушке отправить их к вам на первой почте.

Что сказать нового? В Европе одни мирятся, другие дерутся; время покажет, кто из них лучше делает. Франция далека еще от спокойствия.[4]

Простите, любезнейший, милый брат! Люблю вас всею душою; любите и меня также. Вечно, вечно буду

вашим покорнейшим братом

Н. Карамзин⟨ым⟩.

Посылаю письмо к брату Николаю Михайловичу и к нашему зятю.

Отрывок («...для меня всего лучше... в какой сумме за благо рассудите») опубликован: Погодин. Т. I. С. 254.

[1] Сестра и зять — Е.М. и С.А. Кушниковы (см. прим. 2 к письму № 3) или (что менее вероятно) М.М. и Н.Н. Философовы (см. прим. 3 к письму № 3).

[2] Анна Сергеевна — Кушникова (в первом браке Порошина, во втором — Зиновьева), племянница Карамзина, сестра В.С. Кушниковой (см. прим. № 2 к письму № 6), которую С.С. Кушников привез в Знаменское к Плещеевым. В 1799 году она была уже в Симбирске (см. письмо Карамзина к брату от 28 сентября 1799 года: Атеней. 1858. № 19. С. 198). В 1802 году Карамзин виделся с ней в Москве (Атеней. 1858. № 20. С. 249); в 1817 году ходатайствовал о ее бракоразводном деле перед кн. А.Н. Голицыным (ПкД. С. 206, 207, 210, 090); Русский архив. 1993. № 2. С. 170.

[3] По-видимому, имеются в виду стесненные материальные обстоятельства Каверина, еще осложнявшиеся наклонностью его к мотовству и крупной карточной игре (*Щербачев Ю.Н.* Указ. соч. С. 39).

[4] В начале 1795 года мир с Французской республикой заключили Тоскана, Испания и Пруссия; выход последней из войны привел к дипломатическим осложнениям между Пруссией и Россией. Продолжали войну Австрия, южногерманские княжества, короли Сардинский и Неаполитанский, герцоги Моденский и Пармский и папа римский; однако Австрия уже начинала переговоры о перемирии.

lib.pushkinskijdom.ru

9

С. Знаменское, 31 окт⟨ября⟩ 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Я теперь жду только снегу, чтобы сесть в сани и ехать в Москву, где надеюсь чаще получать от вас письма.

О деньгах, Александре и лошадях я уже писал к вам, братец. Вы меня одолжите, естьли вместо двух лошадей пришлете четырех; я с благодарностию заплачу за них деньги, что вы положите. На паре ездить трудно в таком большом городе, как Москва. Хотя и дорого, но что делать? я решился иметь четырех. Нужен будет мне еще мальчик форрейтер, лет четырнадцати: нельзя ли, любезнейший братец, выбрать хотя из крестьян какого-нибудь способного к этому? Я бы также с радостию заплатил за него деньги. А крепости писать не нужно: пусть он считается вашим. Мне, право, совестно трудить вас такими просьбами; но естьли куплю лошадей в Москве, то могу ошибиться.

Петрушка пишет ко мне, что он купил для вас все книги и послал к вам вместе с запискою о цене.

Естьли увидите, братец, Петра Борисовича Бестужева, потрудитесь спросить у него, доставлены ли ему через почту те книги, о которых он ко мне писал?[1]

Простите, любезнейший брат! Я был несколько дней очень нездоров; теперь болезнь моя прошла. Будьте благополучны и покойны! Всем сердцем предан вам

покорнейший ваш брат

Н. Карамзин.

Отрывки («Я теперь жду только снегу... получать от вас письма» и «Вы меня одолжите... могу ошибиться») опубликованы: Погодин. Т. I. С. 255—256.

[1] Бестужев Петр Борисович (род. 1759) — сосед Карамзиных, помещик сел Кадыковка, Выры, деревни Григоровка, села Богородское-Репьевка, деревень Степная Репьевка, Марьевка, Садки Симбирского уезда (1799; Мартынов. Список). В 1786 году — прапорщик Семеновского полка (Материалы. Т. 5. С. 201). В 1788—1789 годах — предводитель дворянства Тагаевского уезда, в 1799 году — премьер-майор (Поливанов. С. 135). Сын помещика села Богородское-Репьевка, предводителя дворянства Сызранского уезда в 1782—1784 годах секунд-майора Бориса Макаровича Бестужева (ум. 1785) и Марии Григорьевны, урожденной Репьевой (1732—1778). Б.М. и М.Г. Бестужевы имели девятерых сыновей: Александр (род. 1749), Василий (см. прим. 1 к письму № 14), Михайла (род. 1750), Сергей (род. 1753), Петр, Михайла (род. 1760), Александр (род. 1761), Иван (род. 1762), Павел (род. 1768) — и восемь дочерей: Анна, в замужестве Нагаткина (1747—1777), Авдотья, в замужестве Елагина (род. 1755), Марья, в замужестве Олферьева (1757—1792), Дарья (род. и ум. 1764), Екатерина, в замужестве Львова (1765—1797), Надежда, в замужестве Пазухина (1766—1848), Наталья, в замужестве Карамзина (см. прим. 3 к письму № 14), Татьяна (род.1773). См.: *Пазухин А.А.* Родословная Пазухиных и родословные материалы Пазухинского архива. СПб., 1914. С. 68—70 (Летописи историко-родословного общества в Москве. 1914. Вып. 3 и 4 (39 и 40)). С Бестужевыми Карамзин был связан семейным знакомством и свойством: на Надежде Борисовне Бестужевой был женат его двоюродный брат по матери Сергей Петрович Пазухин (1765—1828), с 1784 года прапорщик в отставке Преображенского полка (помолвка произошла в 1785 году); Наталья Бестужева стала в 1797 году женой А.М. Карамзина. В доме Степана Алексеевича Львова, мужа Ек.Б. Бестужевой, в Нижнем Новгороде Карамзин жил в 1813 году. Вероятно, он знал и детей П.Б. Бестужева, в частности Бориса Петровича, лейтенанта в отставке (1799), владельца Репьевки (см. о нем: Русская старина. 1878. № 12. С. 639; 1903. № 5. С. 316).

10

Знаменское, 25 ноября 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Теперь пишу к вам последнее письмо из деревни; снег выпал, и я дни через три поеду в Москву.

lib.pushkinskijdom.ru

Естьли у вас две тысячи рублей готовы, то я прошу вас, братец, прислать их ко мне в Москву, за вычетом процентов за те месяцы, которые остаются еще до сроку. Мне очень хочется отдать сии деньги Алексею Александровичу, и я почту за одолжение, естьли вы их ко мне доставите.

Военные происшествия Европы известны вам по газетам. Французы вводят теперь у себя новое правление, или конституцию;[1] но спокойствия все еще нет в их республике. Король имеет партизанов во всех провинциях и в самом Париже, где недавно был бунт и где перестреляли множество людей.[2] Однако ж по сие время республиканцы сильнее и держут в узде своих неприятелей. Кажется, что республика устоит и что английской министр Питт, который имеет великое влияние на все европейские кабинеты, не достигнет до цели своей и не восстановит во Франции королевского трона. Впрочем, кому открыто будущее? Наше дело смотреть, а не угадывать. — Между тем почти во всей Европе, кроме нашего благословенного отечества, чувствуют недостаток в хлебе, и естьли война продолжится, то надобно ожидать голоду и во Франции, и в Германии, и в Англии. Две иностранные почты разбиты между Смоленска и Москвы, и мы, не получив пяти или шести нумеров немецких газет, давно уже не знаем, что делается на берегах Реина. Переход французов через сию реку был не весьма удачен; австрийцы ободрились и принудили их ретироваться.[3] — Что принадлежит до Польши, то судьба ее решена: Россия, Австрия и Пруссия разделили *полюбовно* сию нещастную землю.[4] Сказывают, что курляндцы, сделавшись подданными нашей императрицы, довольны своею участию. — Простите, любезнейший братец! Из Москвы буду писать к вам чаще. Будьте со всех сторон благополучны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Опубликовано: Сб. ОРЯС. 1895. Т. 58. С. X—XI.

[1] Речь идет о так называемой «конституции III года», отменившей всеобщее избирательное право и установившей систему цензов, учредившей Законодательный корпус и Директорию как исполнительную власть. Конституция, придавшая революции явственно буржуазный характер, была вотирована 5 фруктидора (22 августа) 1795 года. Подробное и сочувственное изложение ее было дано в «Политическом журнале» (1795. Т. XI. С. 74—78). Отражая настроения либеральной части общества, кн. А. Чарторижский писал, что Французская республика, «оправившись от террора... казалось, победоносно шла к удивительной будущности, полной благоденства и славы» (Мемуары кн. Адама Чарторижского. М., 1912. Т. I. С. 88). Полный текст конституции, по-видимому, распространялся в России в списках (*Штранге М.М.* Русское общество и Французская революция 1789—1794 гг. М., 1956. С. 176—177).

[2] Имеется в виду восстание 13 вандемьера (5 октября) 1795 года, в котором умеренные и роялисты выступили против Конвента. Восстание было подавлено войсками Конвента под руководством Наполеона Бонапарта, расстрелявшего собравшихся картечью. Это место письма свидетельствует о повышенном внимании Карамзина к французским событиям: несмотря на то что мятежники не выставляли прямо роялистских лозунгов, Карамзин очень точно ощутил роялистскую основу восстания; несомненно ему была известна активизация сторонников королевской власти, приведшая в 1795 году к «белому террору», в особенности на юго-востоке Франции. В связи с событиями 13 вандемьера Карамзин должен был услышать и имя Наполеона Бонапарта, которое было оглашено в Конвенте как имя одного из главных действующих лиц; вскоре он стал главнокомандующим внутренней армией Парижа. См.: *Олар А.* Политическая история Французской революции. 4-е изд. М., 1938. С. 639—642; *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. С. 245.

[3] Подробные сообщения о победе австрийских войск над французской армией под Майнцем 29 октября были помещены в «Московских ведомостях» (1795. 24 ноября. № 94. С. 1768—1771).

[4] Речь идет о третьем разделе Польши в 1795 году, в результате которого к России отошла Литва, к Пруссии — территории к западу от рек Пилица, Висла, Буг и Неман («южная Пруссия»), к Австрии — территории между Бугом, Вислой и Пилицей («западная Галиция»). Присоединенные к России земли были разделены на губернии Виленскую, Гродненскую и Курляндскую. В Курляндии с начала XVIII века было сильно русское влияние. Сочувственные ноты в отношении побежденной Польши сказались впоследствии в «Мнении русского гражданина» (1819), где Карамзин, высказывая Александру I «государственную» точку зрения, вместе с тем осторожно осудил самый акт раздела: «Скажут ли, что она (Екатерина II. — *В.В.*) беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечом: вот наше право, коему все государства обязаны бытием своим, ибо все составлены

lib.pushkinskijdom.ru

из завоеваний. Екатерина ответствует Богу, ответствует Истории за свое дело; но оно сделано, и для Вас уже свято: для Вас Польша есть законное российское владение» (*Карамзин Н.М.* Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Ч. I. С. 5).

11

Москва, 12 дек⟨абря⟩ 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Наконец я в Москве и нашел здесь ваше письмо от 29 ноября, по которому жду теперь Александру с лошадьми. Покорнейше благодарю вас, братец, за исполнение моей просьбы.

Я еще с немногими здесь виделся и мало слышал новостей; но могу уверить вас, что о войне нет слухов. Да и с кем воевать? С прусским королем мы развелись полюбовно в рассуждении Польши; а турки заняты теперь усмирением внутренних мятежей своих и, конечно, не захотят с нами драться. В Персии явился какой-то храбрый витязь, который завоевал несколько провинций и которого турки также очень боятся.[1]

Я писал к вам, братец, о двух тысячах рублей и теперь повторяю, что мне очень, очень хочется отдать их Алексею Александровичу. Вы меня крайне обяжете, естьли пришлете сию сумму в начале генваря с вычетом процентов за те месяцы, которые не дошли еще до сроку. Естьли же вы издержали деньги на покупку крестьян у Суровцова,[2] то не может ли брат Александр Михайлович уплатить мне двух тысяч?

На той почте пришлю к вам десять томов дополнения к «Деяниям Петра Великого».[3] — Простите, любезнейший мой братец! Люблю и почитаю вас всею душою. Будьте счастливее и покойнее вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывки («Наконец я в Москве» и «Я еще с немногими здесь виделся... уплатить мне двух тысяч?») опубликованы: Погодин. Т. I. С. 256.

[1] До В.М. Карамзина несомненно дошли слухи, о которых пишет Болотов в феврале 1796 года: рассказывали об опустошительном набеге на русские войска из Персии (т.е. о походе Ага Магомет-хана, см. ниже) и о приближении турецкой войны; предполагали, что «либо против турков, либо персов» будет направлен Суворов (Болотов. Памятник. С. 71). Информация Н.М. Карамзина, по-видимому, опирается и на печатные сообщения: в 1795 году «Московские ведомости» постоянно печатали известия из Константинополя о «мятежах»: восстании в Белграде (1795. 21 июля. № 58. С. 1173; 28 июля. № 60. С. 1205), распространившемся на Боснию, Албанию и Македонию; о восстании «Виддинского паши Пасван Огли» (5 дек. № 97. С. 1830—1831) и т.д. «Витязь» — Ага Магомет-хан (1742—1797), с 1796 года иранский шах, основатель династии Каджаров; в начале сентября он начал поход к границам Грузии, результатом которого было взятие и фактическое уничтожение Тбилиси. Экспансия Ага Магомет-хана вызвала тревогу при русском дворе, где обсуждался вопрос о возможной военной помощи Грузии в случае нападения; 18 октября были получены известия о нашествии и стали обсуждаться планы обширной военной операции (см.: *Кессельбреннер Г.Л.* Хроника одной дипломатической карьеры. М., 1987. С. 157—160). В то же время в газетных сообщениях подчеркивалась антитурецкая направленность политики Персии; 20 октября появилось сообщение, что Ага Магомет-хан «с многочисленною армиею идет к турецким границам» (Московские ведомости. 1795. № 84. С. 1580); 27 октября — известие о начале похода на Грузию, причинившего Порте «немалое беспокойство» (там же. 1795. № 86. С. 1616). Об ирано-турецких взаимоотношениях этого времени см.: *Гигинейшвили О.* Ага Мохаммед-хан и Турция // Вопросы новой и новейшей истории стран Ближнего Востока. Тбилиси, 1975. С. 145—180.

[2] О Суровцовых см. прим. 4 к письму № 2. О котором из братьев Суровцовых идет речь, неясно.

[3] «Дополнение к Деяниям Петра Великого» И.И. Голикова выходило с 1790 года (тт. 1—18. М., 1790—1797); первые 10 томов вышли в 1790—1792 годах. В 1860-е годы эти книги были переданы внуками Карамзина в Карамзинскую общественную библиотеку (Кр. лет. С. 124).

lib.pushkinskijdom.ru

12

Москва, 26 дек⟨абря⟩ 1795.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Сердечно благодарю вас за письмо от 6 декабря и за поздравление.[1] Желаю от всей души, чтобы и вы были здоровы, покойны и совершенно благополучны, любезнейший брат.

По сие время Александр еще не бывал. Мне жаль будет, естьли он приведет только двух лошадей; впрочем, беда невелика.

В рассуждении денег я буду всем доволен: и тем, что сделаете мне уплату, и тем, что отдадите всю сумму. Все, что получу, отдам Алексею Александровичу; и чем скорее, тем лучше. Естьли можете получить от Куроедова[2] обещанные им 5500 руб. прежде марта, то я прошу вас, братец, вычесть с меня проценты за то время, которое не дойдет еще до сроку, и прислать деньги ко мне, как скоро будут они в ваших руках.

На прошедшей почте отправлены к вам книги, первое дополнение к «Деяниям Петра Великого», которые с пересылкою стоят 16 рублей. — Не забудьте, братец, прислать ко мне грамоту дворянства, когда ее для меня возьмете.

Сказал бы вам что-нибудь новое, но, кажется, ничего не знаю. Говорят только, что в Европе будет скоро мир; между тем все еще дерутся.

Простите, любезнейший братец! и любите всегда совершенно преданного вам

покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывок («В рассуждении денег... как скоро будут они в ваших руках») опубликован: Погодин. Т. I. С. 256—257.

[1] Поздравление — с днем рождения (1 декабря).

[2] О каком Куроедове идет речь — неясно. Может быть, это поручик Иван Петрович Куроедов, помещик села Троицкого (Куроедова тож) Уфимского наместничества, в октябре 1795 года заключивший земельную сделку с А.Г. и И.Г. Ждановыми и, по-видимому, имевший свободные деньги (Материалы. Т. 5. С. 352—353). Об И.П. Куроедове, «богатом соседе тетушки Аксиньи Степановны» (т.е. А.С. Нагаткиной), сватавшемся к ее дочери, упоминает С.Т. Аксаков в «Детских годах Багрова внука» (*Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 445). Куроедовы были соседями Карамзиных; есть сведения о дружеских отношениях семейств (см. примечания к письмам № 2, 3). О Куроедовых см.: Мартынов. С. 162—166; *Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 61 и след.; *Гудков Г.Ф., Гудкова З.И.* С.Т. Аксаков: Краеведческие очерки. Уфа, 1981.

13

Москва, 9 генв⟨аря⟩ 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Поздравляю вас с наступившим 96 годом и желаю вам от всего сердца совершенного благополучия и всех возможных довольствий в жизни.

Наконец люди приехали и привели лошадей. Благодарю вас, братец, за исполнение моей просьбы. Теперь я езжу на своих лошадях. Кажется, что они очень хороши.

О цене трюмо я справлялся. Двустекольное такой меры, какой вам надобно, стоит 110 рублей каждое; а ежели в три стекла, то 80 рублей. Не думаю, чтобы можно было найти случай отправить их в Симбирск, естьли не нанять нарочного. К тому же их надобно везти бережно; итак, всего лучше отправить их с вашими людьми, когда они будут сюда.

В рассуждении денег, любезнейший брат, я уже писал, вы сделаете, что вам можно. Только мне хотелось бы отдать Алексею Александровичу нынешний год 2000 рублей.

Брату Александру Михайловичу кланяюсь и благодарю за письмо. Естьли он в срок доставит проценты, то я буду доволен.

Петербургские новости состоят в том, что ⟨Заемного⟩ банка кассир украл 600 000 руб.; он пойман, и деньги, как слышно, находятся.[1]

lib.pushkinskijdom.ru

Более недели мы не имеем иностранных ведомостей; по последним известиям французы все еще отступают назад на Рейне.

Я с радостию готов исполнить вашу комиссию, любезнейший брат, и, поговоря с архитектором, уведомлю вас, как по большей части отделываются здесь дома.

О себе скажу вам, что я живу по-прежнему, езжу из дому в дом, играю в бостон и проч. в ожидании Алексея Александровича и Настасии Ивановны, которые будут сюда недели через две.[2] Ни в какую зиму не бывало в Москве такого множества балов,[3] как ныне; все жалуются на недостаток в деньгах, но между тем всегда видна роскошь. — Простите, любезнейший брат, и любите меня так, как любит вас

покорнейший ваш брат

Н. Карамзин.

Отрывок («О себе скажу вам... видна роскошь») опубликован с неточностями и пропуском: Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. С. 363 (далее: Моск. сб.). Автограф неизвестен. Печатается по копии РГБ. Пропуск в копии («⟨Заемного⟩ банка») восстанавливается по смыслу.

[1] Карамзин передает неточные слухи о так называемом «банковском деле» — о расхищении 600 тысяч рублей из казны Заемного банка. Старший кассир 1-й экспедиции банка, коллежский асессор Андрей Иванович Кельберг, привлеченный к суду, был лишь одним из участников широко задуманной мошеннической операции, в которой были замешаны и весьма значительные чиновные и титулованные лица, вплоть до главного директора банка графа П.В. Завадовского (назначенного президентом комиссии по расследованию хищения). Расследование шло на протяжении 1795—1796 годов, ближайшее участие в нем принимал Г.Р. Державин, описавший его в своих «Записках» (*Державин Г.Р.* Соч. 2-е акад. изд. СПб., 1876. Т. 6. С. 655—663).

[2] Почти в тех же выражениях Карамзин сообщал о своем времяпрепровождении И.И. Дмитриеву: «Наконец я в Москве, опять по-старому езжу из дому в дом, играя в бостон и пр. и проч.» (письмо от 20 декабря 1795 года: ПкД. С. 62). И брат, и Дмитриев знали о пристрастии Карамзина к карточной игре; Дмитриев, встретивший его в Симбирске в 1784 году, называет его «опытным за вистовым столом» (*Дмитриев И.И.* Соч. Т. 2. С. 25); М.А. Дмитриев со слов самого Карамзина сообщал, что в Симбирске он «пристрастился было к картам», от чего его спас И.П. Тургенев (*Дмитриев М.А.* Указ. соч. С. 67). Об этом сам Карамзин вспоминал в письме к Лафатеру от 14 августа 1786 года: «Я сделался большим любителем светских развлечений, страстным картежником. Однако же благое Провидение не захотело допустить меня до конечной погибели: один достойный муж открыл мне глаза, и я сознал свое несчастное положение» (*Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. С. 465, 485. Подлинник по-немецки). Эти самообвинения (в духе масонских моральных схем) носили явно утрированный характер; речь шла о неазартных коммерческих играх, вполне допускавшихся в обществе (там же. С. 682. Комм. Ю.М. Лотмана). Позднее, по рассказу того же М.А. Дмитриева, Карамзин иронически относился к распространившейся в обществе страсти к картам. «Я сообщил некоторым дамам, — писал Дмитриев М.П. Погодину в 1849 году, — выражение Карамзина, который говаривал о сидящих за карточными столами: "сидят в станках!"» (*Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1897. Т. 10. С. 370). Уже в 1792 году Карамзин публикует в «Московском журнале» (Ч. V. Январь. Кн. 1) свой перевод из М.Г. Лихтвера «Странные люди» с сатирическим изображением картежников (см.: *Виноградов В.В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 324—338). Может быть, период, отразившийся в письме, имеет в виду П.А. Вяземский, рассказывавший: «В первые дни письменной деятельности его (Карамзина. — *В.В.*), да и позднее, литература наша не была выгодным промыслом. Цены на заработки стояли самые низкие. Журналы, сборники, им издаваемые («Аониды» и проч.), не представляли ему большого барыша и едва давали возможность сводить концы с концами. В молодости, в течение двух-трех лет, прибегал он как к пособию к карточной коммерческой игре. Играл он умеренно, но с расчетом и умением» (*Вяземский П.А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 89).

[3] Ср. с наблюдением Болотова в январе 1796 года: «Пышность и роскошь дворянства умножилась; шубы носили чрезмерно богатые» (Болотов. Памятник. С. 4).

14

Москва, 6 февраля 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Василий Борисович[1] отдал мне ваше письмо и денег 1000 рублей, за что покорнейше вас благодарю, братец. Что принадлежит до уплаты другой тысячи, то он наверно не

lib.pushkinskijdom.ru

обещает; а естьли отдаст мне, то я на первой почте о том вас уведомлю. Впрочем, я с своей стороны нимало не желаю, чтобы вы заплатили мне всю сумму; это зависит совершенно от вашей воли; мне надобны были только 2000 руб. — С братьев я ничего не требую; довольно, естьли в срок пришлют они мне проценты. — Я напишу на вашем векселе о получении 1000 руб.

В рассуждении внутренней отделки вашего дому всего лучше, кажется мне, обить комнаты хорошими бумажками, которые делают здесь наподобие французских; по крайней мере гостиные; а прочие можно и расписать или также обить. Сколько я приметил, то везде обивают горницы в бельэтаже или шелковою материею, или французскими бумажками, кроме залы, которую можно отделать под мрамор. — Трюмо куплю и пришлю с людьми.

Вчера был у меня г. Туузаков[2] и привез от вас другое письмецо, писанно(е) прежде полученного мною через Василья Борисовича. Кажется, что он очень хороший человек. —

Пусть дадут мне из дворянской комиссии какую-нибудь грамату. Естьли нет у них пергамину, то хотя на бумаге. Одним словом, какую вы себе возьмете, такую возьмите и для меня, братец. Дай Бог, чтобы наш любезный брат Александр был совершенно счастлив своею женитьбою! Я очень рад, что он женится на дочери нашего старинного знакомого и приятеля.[3] Я слышал, что она очень любезная девушка. — Поздравьте от меня нашего жениха, братец.

Сказал бы вам что-нибудь новое, но, право, ничего не знаю. Здесь все с радости или с печали танцуют: всякой день балы, иногда поединки и более ничего.

Простите, любезнейший братец! Люблю и почитаю вас всем сердцем; надеюсь, что и вы будете всегда любить

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

На той почте пришлю вам нечто из новых моих безделок. Буду присылать и другие новые книги.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] Василий Борисович — Бестужев (1752—1821), брат П.Б. Бестужева (см. прим. 1 к письму № 9), симбирский помещик, владелец имений в селах Богородское-Репьевка, Подлесное, Телешовка (Мартынов. С. 107, 276—277, 280; Список). В 1778—1785 годах служил в Семеновском полку; в 1785 году уволен из армии в отставку с чином полковника (*Дирин П.* История л.-гв. Семеновского полка. СПб., 1883. Т II. С. 40, 41; здесь же — сведения о его брате Александре, служившем в 1789—1796 годах и уволенном в отставку капитаном). На сестре Василия Борисовича, Надежде, был женат двоюродный брат Карамзина (сын его дяди по линии матери) С.П. Пазухин (помолвлен в 1784 году; см. прим. 1 к письму № 9). В 1796 году Бестужев был губернским предводителем при наместническом правлении Симбирского наместничества (Месяцеслов... на 1796 год. С. 222), в 1796—1798 годах — предводителем дворянства Симбирской губернии (Поливанов. С. 51; картотека Б.Л. Модзалевского в ИРЛИ).

[2] Фамилия в копии неясна (по-видимому, плохо разобрана). Н.И. Никитиной и В.А. Сукайло с большой степенью вероятности расшифрована как «Туузаков» (Кр. лет. С. 125). Яков Яковлевич Туузаков был соседом В.М. Карамзина, совладельцем села Репьевка-Космынка (Мартынов. С. 85).

[3] А.М. Карамзин женился на Наталье Борисовне Бестужевой (1770—ум. до 1850 года, погребена в сызранском имении Карамзиных Семеновке), сестре В.Б. и П.Б. Бестужевых (Сиверс. С. 146). Отец их («старинный знакомый и приятель» Карамзиных) — Борис Макарович Бестужев (см. прим. 1 к письму № 9). От брака с Бестужевой у А.М. Карамзина было шестеро сыновей и пять дочерей. Сыновья: Михаил (1801—1816); Василий (1802—1875; погребен в Москве на Ваганьковском кладбище; см.: В. к. Николай Михайлович. Московский некрополь. СПб., 1908. Т. II. С. 17; далее: Моск. некрополь), штаб-ротмистр (1826) лейб-гвардии Драгунского полка (уволен в 1827 году), умер холостым; Борис (род. 1806), воспитывался в Московском университетском Благородном пансионе (1821), умер холостым в Полибине; Федор (род. 1810), впоследствии владелец села Михайловки; Николай (1811—ум. не позднее 1864), ротмистр, в 1854—1856 годах самарский уездный предводитель дворянства, женат (с 1849 года) на Вере Васильевне Дворниковой, в первом замужестве Малиной; Александр (род. 1814), штаб-ротмистр (1841) Митавского гусарского полка (уволен в 1842 году), женат на Бахметьевой. Дочери: Мария (род. 1798), замужем за Иваном Ивановичем Еселевым (ум. до 1840); Евдокия (1799 — не ранее 1850), замужем за губернским секретарем Юматовым; Варвара, монахиня Дивеевского монастыря (1853); Софья (род. 1808); Вера (род. 1811, близнец Николая),

lib.pushkinskijdom.ru

замужем за коллежским секретарем Лазаревым. См.: Руммель и Голубцов. I. С. 365—367; Сиверс. С. 146, 149—151.

15

Москва, 13 февр⟨аля⟩ 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Я писал к вам на прошедшей почте; теперь посылаю к вам, братец, кисею для сестры Марфы Михайловны. Сделайте одолжение, перешлите ее к ней. Мне должно было подарить ее чем-нибудь; я не нашел ничего лучше.[1]

Василий Борисович уехал в Петербург, сказав мне, что у него нет денег; что он надеялся продать здешний дом, но не продал.[2]

Книжка моя еще не вышла; на следующей почте пришлю ее вместе с другими.[3]

Здесь нового то, что на всех от мала до велика пишут пасквили; хотя они глупы и скверны, однако ж Москва читает их с жадностию.[4]

Простите, любезнейший братец! Будьте здоровы, благополучны, спокойны и любите всегда преданного вам

покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывки («Книжка моя еще не вышла... вместе с другими» и «Здесь нового то... читает их с жадностию») опубликованы: Погодин. Т. I. С. 257; Моск. сб. С. 364.

[1] Карамзин посылал сестре подарок, вероятно, в связи с именинами (7 февраля).

[2] В московском доме В.Б. Бестужева в 1787 году жил И.И Дмитриев (Русский архив. 1880. Кн. III. С. 394; *Дмитриев И.И.* Соч. Т. 2. С. 178); его же упоминал Карамзин в письме к А.И. Дмитриеву 1787 года, адресованном в Петербург в дом «капитан-порутчика Семеновского полку Бестужева» (ПкД. С. 2; об отставке Бестужева ему, по-видимому, еще не было известно). Об этих двух домах Бестужева упоминается и в настоящем письме (адреса их неизвестны; среди московских домовладельцев начала 1790-х годов Бестужев не числится; см.: Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку имена владельцев домов сей столицы... Ч. I. М., 1793).

[3] «Книжка» — второе издание альманаха «Аглая» (кн. 1—2), поступившее в продажу к 16 февраля (Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. М., 1966. Т. IV. С. 115; далее: Св. кат.).

[4] Как свидетельствовал Болотов в феврале 1796 года, «никогда не было в народе и в Москве столько едких сатир и пасквилей, как ныне. Вошел и у нас манер осмеивать и ругать знатных картинами. Они были рисованные и с девизами карикатуры, но так, что по сходству лиц, стана, фигур и платья можно тотчас распознавать, о ком шло дело. Все и многие знатнейшие фамилии были перебраны...» Далее Болотов описывал карикатуры на М.М. Измайлова, Ю.В. Долгорукого, графа Орлова (Чесменского) и др. (Болотов. Памятник. С. 91—92). Особенно широкое распространение как раз в феврале 1796 года получает сатирическая литература, вызванная появлением «Гласа Невинности» П.С. Потемкина, обвиненного в лихоимстве и причастности к убийству брата персидского шаха в 1786 году; Болотов упоминает о нескольких сатирах «едких и дерзких», в том числе о «листке» с «возражением», который «летал всюду по Москве и читан был многими» (там же. С. 82, 91). Этот текст («Возражение на Глас Невинности»), с пасквильными выпадами против Г.А. Потемкина, П.А. Потемкиной и др., был несомненно известен Карамзину: он сохранился в бумагах П.П. Бекетова (Русский архив. 1880. Кн. III. С. 377—385). Возможно, его имеет в виду Карамзин в числе других «сатир», не поддающихся конкретизации.

16

Москва, 20 февр⟨аля⟩ 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Спешу уведомить вас о получении 3500 руб.: следственно, вы остаетесь мне должны вместе с процентами только 1000 руб.; извольте вычесть, что следует, за уплату до сроку. Я не помню, которого числа отдал мне Василий Борисович 1000 рублей; кажется, недели

lib.pushkinskijdom.ru

две назад; а 3500 получил я вчерашний день и писал на векселе, — не прикажете ли его прислать к вам? — Надеюсь, что братья пришлют мне к сроку проценты и новые векселя. Дай Бог, чтобы они были счастливы своею женитьбою; от доброго сердца их поздравляю, хотя они и не рассудили за благо уведомить меня о том.[1] Рисунок для ниши пришлю. Письмо надобно отправить на почту. Простите, любезнейший братец, и любите всегда преданного вам брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] О женитьбе А.М. Карамзина см. прим. 3 к письму № 14. О второй жене Ф.М. Карамзина (бывшего вдовцом в 1795 году; см. прим. 4 к письму № 3), как и о первой, сведений не сохранилось. Возможно, это «Анфиза Петровна», упоминаемая в письме № 27 (от 21 февраля 1797 года). От этого брака у Ф.М. Карамзина было семь человек детей — дочери: Александра (род. 1798); Екатерина (род. 1799), в замужестве Логинова (муж ее в 1839 году был подполковником Уральского войска); Юлия (1801—до сент. 1839), о ее помолвке Карамзин упоминает в письме к брату от 13 июня 1824 года (Атеней. 1858. № 28. С. 114); Серафима (1802—до сент. 1839); Анастасия (1805—до сент. 1839); Елизавета (род. 1806), в замужестве Племянникова (муж — Андрей Васильевич Племянников, в 1839 году отставной майор) — и сын Николай (1803—30 июля 1867; дата смерти — помета Б.Л. Модзалевского на экземпляре книги В.В. Руммеля и В.В. Голубцова, том I, в библиотеке ИРЛИ). Николай воспитывался в Пажеском корпусе, в 1822 году — подпоручик лейб-гвардии Гренадерского полка, камер-юнкер (см. о нем: Атеней. 1858. № 28. С. 111; Старина и новизна. 1897. № 1. С. 126, 128). Вторая жена Ф.М. Карамзина умерла не позднее 1808 года (Сиверс. С. 145).

17

Москва, 13 марта 1796.

Любезнейший брат Василий Михайлович!

Очень благодарю вас за письмо: более трех недель не получал я от вас ни строки.

Вы спрашиваете, не могу ли потерпеть убытка от облигаций? Должники мои не чужие. Главный из них Алексей Александрович, который заплатит мне тогда, как будет в хороших обстоятельствах, а не прежде. Братья также, думаю, не введут меня в убыток, потому более, что они взяли у меня не деньги в процент, а крестьян. Между тем, братец, напомните им или о переписке векселя, или о заплате; в конце марта мне будет нужда в деньгах, а срок, кажется, в половине.

Я переменил атлас для Василья Борисовича, а остальные 35 руб. отдал его человеку, который хотел прийти ко мне за каталогами и по сие время не бывал.

Простите, мысленно вас обнимаю. Поцелуйте нашу любезную племянницу.[1] К сестре я писал. Будьте благополучны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывок («Вы спрашиваете... кажется, в половине») опубликован: Погодин. Т. I. С. 259, с ошибкой в дате.

[1] Племянница — может быть, О.В. Карамзина (см. прим. 1 к письму № 47) или, что менее вероятно, дочь М.М. и Н.Н. Философовых Надежда (в замужестве Ознобишина; ум. после 1846 года, дата ее рождения неизвестна).

18

Москва, 14 марта 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Наконец, продержав человека шесть дней, отправляю его к вам обратно со всеми покупками по вашему реестру, который при сем возвращаю вам с означением цены всех

lib.pushkinskijdom.ru

вещей. Только вместо бочки англий(кого) пива купил я полбочки, и то с трудом мог найти хорошего. Оно же и чрезмерно дорого, как вы увидите по заплате. Нынешним летом прислали из Англии в Москву всего только 300 бочек пива. По крайней мере, вы будете довольны купленным мною. Оно очень хорошо. Вместо цибика чаю купил я 30 ф. Цибики бывают нередко подмоченные, и купцы за них не отвечают; а этот чай хорош и не очень дорог. По одному образцу не нашел обоев, а купил других. Желаю, братец, чтобы вы были довольны покупками, есть ли в чем ошибся, то, конечно, не от того, чтобы не хотел сам заняться выбором. Надобно было нанять 12 лошадей для отправления всего; для каждой бочки особливую лошадь. На пару взяли с меня по 20 рублей; следственно, наем лошадей стоит 120 рублей. Я отдал здесь ямщикам 60 р.; а 60 получат они от вас. Вы прислали на покупки 1500 руб., да денег Михайла Михайловича[1] по расчету за четвертую часть сахара, вина и пива прибавлено к ним 183 рубли 75 коп., что составляет вместе 1683 руб. 75 к. Покупки же стоят 1691 руб.; еще отдано мною извозчикам 60 рублей, да человеку на дорогу два рубли: итак, я издержал своих денег 70 рублей. — Теперь остается желать, чтобы человек доехал благополучно и чтобы на дороге не застала его распутица, особливо боюсь того, чтобы сахар не подмочили.

Возвращаю вам вексель; в рассуждении остальной тысячи, вы сделаете, что вам угодно: или пришлете мне ее, или останетесь мне должны еще на год. Только уведомьте. Напомните братьям о новых векселях и процентах; срок прошел 9 марта. За пересылку векселя через почту денег не плотят; а только надобно написать на пакете, что вексель посылается. Я им возвращу на обмен старые. Надобно, чтобы они исправны были в плате процентов; иначе я могу потерпеть нужду.

Получили ли вы, братец, кисею для сестры Марфы Михайловны? Также и книги с человеком Тургенева.[2] Посылаю вам рисунок для ниша и для расписания залы; еще несколько новых книг и Петербургский журнал, которого следующие книжки буду пересылать к вам через почту.[3]

Итак, брат Александр не женится? Жаль, очень жаль. Надеюсь, что в других случаях будет ему более удачи. К брату Федору Михайловичу пишу особливое письмо. — Анна Ивановна Теряева посылает к вам что-то в ящике.[4] Люди Михайла Максимовича еще не отправились: я не рассудил за благо держать для них вашего человека.

Простите, любезнейший братец! Желает вам от всего сердца здоровья и спокойствия

покорнейший брат ваш

Н. Карамзин.

Покупка не уложилась на 12 лошадях: надобно было еще нанять одну за 12 руб. Итак, отдайте ямщикам 72 рубли.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] Михаил Михайлович — возможно, М.М Куроедов, в 1793—1796 годах предводитель дворянства Котяковского уезда Симбирской губернии, коллежский асессор (Поливанов. С. 131), из близко знакомой Карамзиным семьи Куроедовых (см. прим. к письмам № 2, 3, 12). Может быть, «Михаил Максимович», чьи «люди» упоминаются далее в письме, — Михаил Максимович Куроедов (впрочем, умерший в 1792 году), майор, владелец имения Грачевка, муж Надежды Ивановны Куроедовой (Аксаковой, двоюродной сестры деда С.Т. Аксакова, близкой знакомой А.М. Карамзина; см. прим. 3 к письму № 2); прототип Михаила Максимовича Куролесова в «Семейной хронике» (*Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 61 и след.).

[2] И.П. Тургенев.

[3] О каком издании идет речь — не вполне ясно. Возможно, это ежемесячный журнал «Муза» И.И. Мартынова, начавший выходить в Петербурге в 1796 году.

[4] Теряева Анна Ивановна — вероятно, дальняя родственница Карамзиных по материнской линии, урожденная Мякинина, жена некоего Александра Теряева (*Пазухин А.А.* Указ. соч. С.53), возможно, «служившего в Сенате» Александра Ивановича Теряева (1720—1783) — статского советника, обер-прокурора Сената, «под покровительством» которого мальчик Карамзин был отправлен в Москву в пансион Шадена (Погодин. Т. I. С. 15—16; Кр. лет. С. 116; Моск. некрополь. Т. III. С. 199).

lib.pushkinskijdom.ru

19

Москва, 26 марта 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Я теперь в великом беспокойстве о человеке, отправленном с покупками. Боюсь, чтобы он не подмочил сахара и чаю. Жаль, что вы поздно его прислали. Чудно будет, естьли он доедет и довезет все благополучно. Снег почти весь растаял, и реки проходят.

Недавно говорили все о войне со шведами, и гвардия готова была идти в поход; но теперь кажется, что мир нарушен не будет.[1]

Брат Алекс⟨андр⟩ Михайлович прислал мне процентов 500, вместо 550 руб., да и нового векселя я не получил от него. Напомните ему, братец, о том.

К брату Федору прилагаю письмецо.

Рисунок ниша я послал с людьми.

Простите, любезнейший брат! Будьте здоровы и благополучны и любите всегда

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] Это место письма — отражение сложных и неустойчивых отношений русского и шведского дворов на протяжении первых месяцев 1796 года. Швеция была настроена недоброжелательно к внешней политике России, и русские дипломаты рассматривали ее как потенциального противника. В начале 1796 года, по свидетельству Болотова, прошел слух о наметившемся повороте во взаимоотношениях, связанном с возможным династическим браком короля Густава IV и великой княжны Александры Павловны; слух то исчезал, то возобновлялся, по временам сменяясь противоположным, «что якоб у нас неминуема будет война со шведами». 19 января 1796 года Болотов отмечает именно этот последний: «Слух, что война у нас со шведом неизбежна; но причины неизвестны». С начала весны возобладал слух о готовящемся бракосочетании, и Болотов отметил как отрадную новость перспективу примирения (записи, относящиеся к марту—началу апреля). См.: Болотов. Памятник. С. 17, 133, 136, 149. Этот этап взаимоотношений и имеет в виду Карамзин в письме, написанном в конце марта. В августе в Петербург прибыл сам Густав IV, и начались торжества и переговоры, расстроившиеся затем из-за вопроса о вероисповедании будущей королевы; обручение, назначенное на 11 сентября, было отложено. Этот неожиданный неуспех переговоров тяжело сказался на состоянии Екатерины II, вызвав у нее первый удар паралича; оправившись, она поспешила заняться изменением порядка престолонаследия (см. прим. 3 к письму № 29). О слухах, связанных с приездом шведского короля, см.: Болотов. Памятник. С. 149—160.

20

Москва, 16 апр⟨еля⟩ 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Вы беспокоились о человеке, отправленном отсюда с покупками: я также. Чудо, естьли он доехал благополучно и ничего не подмочил. Вы очень поздно прислали его, братец; а я не продержал его в Москве ни дня лишнего. Надобно было заказывать пиво и дожидаться его дней пять.

Сделайте одолжение, братец, отпишите к брату Александру Михайловичу, чтобы он не забыл прислать ко мне новый вексель; а старому давно срок прошел. Он не дослал еще пятидесяти рублей процентов.

Турки очень вооружаются; однако ж без крайней нужды не осмелятся объявить нам войну; у них много неустройств внутри государства.[1] Впрочем, здесь не слышно никаких интересных новостей.

Простите, любезнейший братец! Будьте здоровы, счастливы и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

lib.pushkinskijdom.ru

Публикуется впервые.

[1] Весной 1796 года в высших военных и дипломатических кругах и в обществе обсуждался вопрос о возможности войны с Турцией, а также со Швецией (см. письмо № 19) и с Персией. Ср. запись Болотова: «Турки делали страшные вооружения, и многие не сомневались почти, что и с ними вскоре начнется война и что армиею против их командовать будет Суворов» (Болотов. Памятник. С. 106—107, 120, 126, 135, 145—146). Характерен прогноз и самого Суворова, получавшего известия от полномочного посла в Турции графа В.П. Кочубея (он совпадает с тем, что пишет Карамзин): «В рассуждении же турецких приуготовляемых и собираемых войск, и сие полагаю не к важным намерениям, но действительно ради внутреннего спокойствия; но успехи карманьольцев в Италии и далее ежели распространятца, то, вероятно, и Порту побудят к войне».См.: Суворов. Письма. С. 306 (письмо П.А. Румянцеву от 10 июня 1796 года из Тульчина). О «неустройствах» см. прим. 1 к письму № 11.

21

Москва, Мая 28, 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Мне очень прискорбно, что в весе и в мере купленных в Москве вещей оказалась такая неверность. Кто виноват, не знаю. Можно подозревать и купцов, и человека моего. С другой стороны, они не могли, кажется, думать, чтобы такое воровство осталось неизвестным: как же на то отважиться? Теперь делать нечего. Я виноват в том, что сам всего не перевесил и не перемерил, и с радостью хотел бы заплатить убыток вашим товарищам. Уведомьте, братец, на сколько недостает кофе, вина и проч.? — Я уже писал к вам о получении 1070 руб. Портрет для брата Федора Михайловича готов, но только еще не вставлен в табакерку, на следующей почте он получит его. — Несколько раз посылал я к г. Кушелеву напомнить ему о палатке, ответ всегда один: *она скоро будет отделана.* Пожалуйста, скажите брату.

Посылаю при сем струны; я недавно отыскал у себя записку об них; при отправлении человека не мог ее найти. Где вы думаете провести лето, любезный братец, в Симбирске или в Заволжской деревне?

Кажется, что у нас войны не будет. Вероятно, что и с французами помирятся, особливо естьли и на берегу Рейна будут они так же счастливы, как и в Италии, где императорская армия несколько раз сряду была разбита. Газеты теперь очень интересны.

Простите, любезнейший братец! Будьте здоровы, благополучны и любите всегда покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

22

Москва, 28 авг(уста) 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Через несколько часов я еду в деревню, надеясь возвратиться в Москву до октября месяца.[1] Очень прискорбно, что вы должны хлопотать против воли вашей. Желаю от всего сердца, чтобы это как можно скорее кончилось и чтобы вы со всех сторон были спокойны. — Теперь в Петербурге и в Москве говорят об одном короле шведском, который и приехал в гости к нашей государыне[2] и которому все наши знатные дают великолепные праздники. Посылаю вам деньги брата Федора Михайловича, 100 рублей; палатки я не мог дождаться. Уведомьте, братец, получил он табакерку с портретом? Сердечно радуюсь его благополучию.

lib.pushkinskijdom.ru

Подивитесь хитрым выдумкам человеческого ума: во Франции изобрели способ переписываться со всеми нациями, не зная их языка; надобно только знать 12 правил и 12 знаков. Теперь я не имею об этом еще никакой идеи; но скоро выдет книга, в которой все это будет объяснено.[3]

Простите, любезнейший братец! Будьте здоровы и благополучны и любите вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] В тот же день Карамзин писал И.И. Дмитриеву: «Вообрази, что я еду в деревню, тогда как другие люди в город возвращаются! Однако ж надеюсь через месяц быть опять в Москве» (ПкД. С. 69).

[2] См. прим. 1 к письму № 19.

[3] Речь идет об одном из многочисленных проектов «искусственных» языков, возможно, о проекте З. Гурвица, чья книжка вышла позднее, в 1800 году, в Париже. См.: *Hourwitz Z.* Polygraphie ou l'art de correspondre: A l'aide d'un dictionnaire, dans toutes les langues, même dans celles dont on ne posséde pas seulement les lettres alph. Par Zalkind Hourwitz. Paris, Chez l'aut. 1800.

23

Москва, 17 окт⟨ября⟩ 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Я только что приехал в Москву, где нашел письмо от вас. Теперь скажу только, что путешествие мое было очень беспокойно; насилу мог добраться до места. Карету в назначенную вами сумму денег заказать можно, извольте описать все, чему в ней быть должно, и тогда закажем. Барбарики⟨?⟩ нет в Москве, он занемог во Владимире и там остался, я получил от него письмо.[1] — Почта отходит; не остается минуты времени. Простите, любезнейший братец, мысленно обнимаю вас. До другой почты! Будьте благополучны и любите всегда вашего

покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] В копии фамилия искажена; речь несомненно идет о ком-то из знакомого Карамзину семейства Боборыкиных (Баборыкиных). Кто именно имеется в виду — неясно. Из этого разветвленного рода известен, в частности, Лукьян Иванович Боборыкин, в 1796 году статский советник, тульский вице-губернатор, с 1797 года — исправляющий дела обер-прокурора 6 департамента Сената; с 1791 года женат на Е.Е. Кашкиной (1766—1843) (см.: *Кашкин Н.С.* Родословные разведки. СПб., 1913. Т. 2. С. 526—528); у него были братья Петр, Федор, Никита, Василий и Андрей. Другая возможная кандидатура — двоюродный брат Лукьяна Алексей Лукьянович, в 1778 году капитан, в 1797 году помещик Подольского, Даниловского и Рыбинского уездов Ярославской губернии; братья его — Дмитрий, адъютант Преображенского полка, и Василий, капитан-поручик Семеновского полка. В письме к И.И. Дмитриеву 1819 года Карамзин упоминал о «деле малолетних Боборыкиных» (ПкД. С. 253). М.Д. и Н.Д. Боборыкины посещали Карамзиных уже после смерти историографа (Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 256). О Боборыкиных см.: *Ельчанинов И.Н.* Материалы для генеалогии Ярославского дворянства. Ярославль, 1913. Вып. 2. С. 30—37; *Сабанеева Е.А.* Воспоминания о былом: Из семейной хроники: 1770—1838. СПб., 1914. С. 93—97.

24

⟨Отрывок⟩

12 ноября 1796.

Поздравляю вас с императором Павлом I. Императрица Екатерина скончалась 6-го числа. Теперь будут многие перемены в чиновниках. Император взял к себе в адъютанты

lib.pushkinskijdom.ru

Ростопчина и Шувалова;[1] место обер-гофмаршала Барятинского заступил граф Н.П. Шереметев.[2] Кн. А.Б. Куракин будет важным человеком.[3] Император любит очень фельдмаршала Румянцева и князя Репнина.[4] Говорят, что Зубов болен и что его бумаги запечатаны.[5] Нынешний день мы все присягали. — Народ кричит от доброго сердца: «да здравствует Император! Дай Бог ему счастия и славы!»

Опубликовано: Моск. сб. С. 365. Автограф неизвестен; среди копий РГБ это письмо также отсутствует. По характеру сообщаемых сведений письмо почти полностью совпадает с письмом Карамзина Дмитриеву, написанным в тот же день, 12 ноября (ПкД. С. 70—71).

[1] О назначении в адъютанты при императоре «генерал-майора Шувалова» и «бригадира Ростопчина» (а также генерал-майора С.И. Плещеева, полковника Г.Г. Кушелева, майора Н.О. Котлубицкого и камер-пажа А.И. Нелидова, пожалованного в майоры, а через несколько дней — в подполковники) было объявлено в приказе 7 ноября 1796 года. 8 ноября Ростопчин получил чин генерал-майора и анненскую ленту (Шильдер. Павел I. С. 289—290; СПб. ведомости. 1796. 14 ноября. № 92. С. 2185).

[2] Более определенно Карамзин писал Дмитриеву: «Барятинский отставлен, на его место Шереметев» (ПкД. С. 71). Это сообщение — указание на эпизод, получивший скандальную известность и воспринятый в обществе как начало репрессий против заговорщиков 1762 года. Князь Федор Сергеевич Барятинский (1742—1811), поручик Преображенского полка, был среди «главных заговорщиков» и находился в команде А.Г. Орлова, которой поручено было охранять Петра III в Ропше (*Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмонт из России. М., 1987. С. 63, 71; ср. также в записках Н.А. Саблукова: Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. 2-е изд., доп. СПб., 1908. С. 26). Отрешение его от функций обер-гофмаршала и передача их графу Николаю Петровичу Шереметеву (1751—1809) произошли еще до смерти императрицы, 6 ноября (СА. С. 1; СПб. ведомости. 1796. 18 ноября. № 93. С. 2201). 7 ноября последовал указ, согласно которому «по прошению действительного тайного советника и обер-гофмаршала князя Федора Барятинского» «за болезнями его» он «увольняется от всех дел» (СА. С. 1; СПб. ведомости. 1796. № 97. С. 2276). В донесениях иностранных дипломатов сообщалось, что Барятинский в свое время «сыграл неблаговидную роль», почему и был временно заменен Шереметевым, «пользующимся хорошей репутацией» (Шильдер. Павел I. С. 281). Болотов передает слух, искажавший сущность дела: Барятинский был отстранен как «негоднейший из всех придворных»; назначение Шереметева связывалось с его бескорыстием, гарантированным как личной честностью, так и богатством ([*Болотов А.Т.*]. Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты государя императора Павла Первого. Ч. I. М., 1875. С. 59—60; далее: Болотов. Анекдоты).

[3] Князь Александр Борисович Куракин (1752—1818) — товарищ детских игр Павла I; в декабре 1796 года прусский посланник Тауэнцин, сообщая о пожалованных ему наградах, называл его лицом, пользующимся особым доверием императора (*Шильдер Н.К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1897. С. 356; далее: Шильдер. Александр I). Куракин сопровождал Павла и Марию Федоровну в заграничном путешествии 1781—1782 годов; через него шла переписка Павла с прусским двором и, возможно, сношения с масонскими обществами, что послужило причиной удаления Куракина и высылки его в саратовские деревни в 1783 году; имя его упоминалось и на процессе Новикова. После воцарения Павла Куракин был назначен вице-канцлером (16 ноября: СА. С. 8), награжден орденом Андрея Первозванного и 150 000 рублей. Весной 1797 года Куракин, принадлежавший к «партии Нелидовой», попадает в опалу из-за усиления противной «партии Лопухиной»; 9 сентября 1798 года он был уволен от всех дел. 20 февраля 1801 года ему, однако, было возвращено звание вице-канцлера (см.: Шильдер. Павел I, по указ.).

[4] Особое внимание, оказанное Павлом знаменитому полководцу графу Петру Александровичу Румянцеву (1725—1796), во многом было связано с давней неприязнью к нему Екатерины II и холодными отношениями его с Г.А. Потемкиным. Сразу после смерти Екатерины Павел пожаловал Румянцеву очень почетный чин полковника конной гвардии и вызвал специальным курьером в Петербург; однако Румянцев не смог из-за болезни покинуть своего имения, где и скончался 8 декабря. В связи с его кончиной был объявлен трехдневный траур в армии. Карамзин не знал Румянцева лично и даже не видел его (*Карамзин Н.М.* Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 91). Подробную и в высшей степени положительную характеристику Румянцева как полководца и личности он дал в «Историческом похвальном слове Екатерине II» (1801). Князь Николай Васильевич Репнин (1734—1801) — военачальник и дипломат; к моменту смерти Екатерины II генерал-губернатор Лифляндии и Эстляндии. Женатый на племяннице Н.И. Панина, Репнин входил в тесный дружеский круг Панина и Павла. Репнин был ревностный масон и друг И.В. Лопухина; во время следствия над Н.И. Новиковым Екатерина II интересовалась его связями с заграничными мартинистами, и следователи усиленно искали следы этих связей (*Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 351 и по указ.). По делу масонов Репнин не пострадал, но был подвергнут негласной опале. С воцарением Павла он был вызван в Петербург и 9 ноября пожалован в фельдмаршалы (Шильдер. Павел I. С. 289, 294, 327; СПб. ведомости. 1796. 14 ноября. № 92. С. 2186); в 1798 году, однако, впал в немилость.

lib.pushkinskijdom.ru

[5] Об этом слухе Карамзин сообщил и Дмитриеву («Слышно, что бумаги Зубова опечатаны»: ПкД. С. 71). Платон Александрович Зубов (1767—1822), последний фаворит Екатерины II, имевший доступ к секретным бумагам кабинета, по некоторым сведениям, указал Павлу местонахождение манифеста об изменении престолонаследия (см. прим. 1 к письму № 29, а также: *Тучков С.А.* Записки. СПб., 1908. С. 120). Запечатаны были все бумаги, находившиеся в кабинете императрицы (Шильдер. Александр I. С. 137); часть их была уничтожена Павлом совместно с А.А. Безбородко. Как передает Ф.В. Ростопчин, были арестованы и бумаги А.И. Моркова (креатуры Зубова), ведавшего внешней политикой. Сохранилось датированное 15 ноября 1796 года описание состояния Зубова, сделанное недоброжелательствовавшим ему графом Ростопчиным: «Отчаяние сего временщика ни с чем сравниться не может... уверенность в падении и ничтожестве изображалась не только на лице, но и во всех его движениях. Проходя сквозь спальную комнату императрицы, он останавливался по нескольку раз пред телом государыни и выходил, рыдая». Далее Ростопчин рассказывал о всеобщем пренебрежении к Зубову: «...толпа придворных удалялась от него, как от зараженного, и он, терзаемый жаждою и жаром, не мог выпросить себе стакана воды» (*Растопчин Ф.* Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I // ЧОИДР. 1860. Кн. 3. С. 2, 9—10 (отд. оттиск)). Все эти рассказы трансформировались в слух, о котором говорит Карамзин и который был подробно передан в записках Болотова: «Не успела покойная императрица переселиться в вечность, как все россияне крайне любопытны были узнать, что учинит государь с последним ее любимцем и фаворитом... И как с известием о кончине императрицы пришло известие, что государь велел всю его канцелярию и все письменные его дела опечатать, то все почитали его уже погибшим и тотчас после того стали переговаривать шепотом, что якоб уже нет его и в живых и что он отравил себя ядом. Однако, к удивлению всех, молва сия скоро оказалась ложною; а напротив того, сделалось известно, что государь не оказал ему никакой жестокости... Иные уверяли, что он якоб оставлен при всех своих важных должностях и бывал ежедневно с государем при разводе. Но все сие было недостоверно, а все оставались с ожиданием, что будет впредь, по окончании печальной церемонии» (Болотов. Анекдоты. С. 45—46). Павел I действительно дал понять Зубову, что не намерен его преследовать, и 26 ноября назначил его инспектором артиллерии; 6 декабря, однако, Зубов получил предписание покинуть столицу и безвыездно находиться в литовских губерниях.

25

Москва, Дек⟨абря⟩ 17, 1796.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Наконец пишу о карете. Я приторговал две, которые обе были сделаны на заказ; за одну не хотят взять менее 625 рублей, а за другую 400. Первая гораздо красивее и лучше, но и другая очень недурна. Купим которую прикажете; не думаю, чтобы до получения вашего ответа их другим продали. Впрочем, когда приедут люди, то и карета будет готова, не та, так другая; каретник, у которого хочу купить ее, известен в городе и делает с равною прочностию на заказ и на продажу, отвечая и в том и в другом случае за полтора года починки или еще за два. Одним словом, присылайте людей. — Вы мне пеняете, братец, что не пишу к вам об новостях; но читая русские газеты, знаете все. Новости наши состоят в пожалованных, о которых всегда пишут в ведомостях; о других же неверных писать по слуху неловко; давно говорят в Петербурге о Москве, что она лжива.[1] Верно то, что государь хочет царствовать с правдою и милосердием и обещает подданным своим благополучие; намерен удаляться от войны и соблюдать нейтралитет в рассуждении воюющих держав.[2] Трубецкие, Иван Влад⟨имирович⟩ Лопухин, Новиков награждены за претерпение; первые пожалованы сенаторами, Лопухин сделан секретарем при императоре, а Новиков, как слышно, будет университетским директором. Вероятно, что Иван Петрович Тургенев будет также предметом государевой милости, когда приедет в Петербург.[3] — Простите, любезнейший братец! Посланы к вам ноты от Сергея Сергеевича и несколько экземпляров оды к императору.[4] Мысленно вас обнимаю. Будьте благополучны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

lib.pushkinskijdom.ru

Уведомьте, братец, где сестра Марфа Михайловна и зять наш, и здоровы ли они. О брате Федоре я также ничего не знаю, равно как и об Алекс⟨андре⟩ Михайловиче.

Отрывок («Вы мне пеняете... приедет в Петербург») впервые опубликован: Моск. сб. С. 365; полностью все письмо: Сб. ОРЯС. 1895. Т. 58. С. XI—XII.

[1] О многочисленных слухах, циркулировавших в Москве в первые месяцы царствования Павла, вспоминал И.И. Дмитриев: «Проезжая Москву (в ноябре 1796 года. — *В.В.*), слышу о разных переменах, последовавших в гвардии и по всем частям государственного управления; далее по петербургской дороге встречаю непрерывно гонцов, скачущих в разные стороны, или гвардейских сослуживцев, успевших выйти в отставку, и узнаю от них еще более» (*Дмитриев И.И.* Соч. Т. 2. С. 67). А.С. Шишков также писал о «беспрестанных слухах о новостях... иногда казавшихся... странными, иногда наводивших некоторый страх» (Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова. Берлин, 1870. Т. I. С. 16).

[2] Это место письма Карамзина, выражающее общественные надежды на изменения в правительственной политике, опирается на ряд деклараций первых месяцев царствования Павла. Так, намерение царствовать «к благоденствию верных подданных» выражено в манифесте 6 ноября; установка на «нейтралитет», т.е. неучастие в прямых военных действиях против Франции с целью дать отдых населению, находящемуся сорок лет в беспрерывной войне, была провозглашена в депеше, направленной канцлером Остерманом венскому, лондонскому и берлинскому дворам 24 ноября 1796 года (История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году... Т.I. Ч. I. Соч. генерал-лейтенанта Михайловского-Данилевского; Ч. II. Соч. полковника Милютина. СПб., 1852. С. 24; далее: Милютин. Т. I.). Эти же политические принципы нашли отражение в «Оде на случай присяги... » Карамзина (1796).

[3] Речь идет о демонстративной реабилитации масонов — жертв политических процессов 1792 года. Согласно указу Екатерины II от 1 августа 1792 года, Н.И. Новиков был осужден на 15-летнее заключение в Шлиссельбургской крепости; Николай Никитич Трубецкой (1744—1821) и И.П. Тургенев высланы «в отдаленные от столиц деревни» с запрещением выезжать из губерний (*Новиков Н.И.* Избр. соч. М.; Л., 1951. С. 672); в отношении И.В. Лопухина приговор был смягчен, и ему было разрешено остаться в Москве (см.: Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Записки сенатора И.В. Лопухина. Лондон, 1859 (репринтное воспроизведение: М., 1990. С. 62)). Об этом приговоре и обстоятельствах освобождения Новикова Павлом I упоминал Карамзин в «Записке о Н.И. Новикове», написанной для Александра I 20 декабря 1818 года: «...его (Новикова. — *В.В.*) взяли в Тайную канцелярию, допрашивали и заключили в Шлиссельбургской крепости, не уличенного действительно ни в каком государственном преступлении, но сильно подозреваемого в намерениях, вредных для благоустройства гражданских обществ... Были тайные допросы и другим главным московским мистикам: двух из них сослали в их деревни; третьего, И.В. Лопухина, который отвечал смелее своих товарищей, оставили в Москве на свободе. — Император Павел в самый первый день своего восшествия на престол освободил Новикова, сидевшего около четырех лет в душной темнице; призывал его к себе в кабинет, обещал ему свою милость, как невинному страдальцу, и приказал возвратить конфискованное имение, то есть остальные, несожженные книги» (*Карамзин Н.М.* Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 168). Одновременно был снят запрет на выезд Трубецких и Тургенева. Указом от 8 декабря Н.Н. Трубецкой был пожалован тайным советником и сенатором; второй Трубецкой, брат его Юрий Никитич (1736—1811), генерал-лейтенант, также был пожалован сенатором 8 декабря 1796 года (СА. С. 27). И.В. Лопухин по указу от 6 декабря был сделан статс-секретарем (СА. С. 25). Слух о назначении Новикова университетским директором оказался ложным; 15 декабря 1796 года на это место был назначен И.П. Тургенев, получивший одновременно чин действительного статского советника (СА. С. 36). О Тургеневе Карамзин упоминает особо как о давнем знакомом, с которым к тому же он и, по-видимому, В.М. Карамзин виделись в начале 1795 года (см. письмо Е.В. Херасковой И.П. Тургеневу от 27 марта 1795 года, цитированное во вступительной статье). И.П. Тургенев с семьей приехал в Москву утром на рождество (т.е. 25 декабря) 1796 года (Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 21). Представление Новикова императору, о чем упоминал Карамзин в «Записке...», произошло 5 декабря 1796 года, для чего Новиков был вызван из своего имения Авдотьино, куда уехал сразу же после освобождения; ему был оказан чрезвычайно благосклонный прием, не облегчивший, однако, его трудного материального положения; более того, Павел не приблизил его и не оказывал ему в дальнейшем знаков внимания (см. подробнее: *Лонгинов М.Н.* 1) Новиков и московские мартинисты. С. 363—366; 2) Сочинения. М., 1915. Т. I. С. 413). К середине декабря 1796 года (к моменту написания публикуемого письма) положение Новикова еще не определилось.

[4] Ода к императору — «Ода на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому» Карамзина, вышедшая отдельным изданием (М., 1796).

lib.pushkinskijdom.ru

26

Москва, 19 февраля 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Я отпускаю Александра[1] для свидания с его женою и прошу вас, братец, позволить ему жить в деревне, где он останется уже до той зимы. Будучи всегда очень доволен его верною службою, поручаю его в вашу милость. — Люди с каретою все еще не едут; боюсь, чтобы не испортилась дорога. Простите, любезнейший братец, живу и умру

вашим вернейшим и покорнейшим братом

Н. Карам⟨зиным⟩.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] Александр («Александра») — крепостной Карамзина, привозивший ему лошадей из Симбирска (см. письма № 7, 9, 11, 12) и прибывший в начале 1796 года в Москву (письмо № 13). Просьба о нем, высказанная в настоящем письме, повторяется и в письме № 48 (от 28 августа 1798 года). Судя по контексту писем, Александр (как и его родители) принадлежал к дворовым людям и пользовался особым доверием Карамзина. По-видимому, при отъезде его в Симбирск Карамзин дал ему вольную по завещанию; 26 мая 1801 года он писал брату: «Посылаю при сем отпускную человеку моему, Александру. Сделайте одолжение, братец, прикажите отдать ему ее, а у него взять ту, которую я дал ему прежде и по которой он был бы волен только по моей смерти. Я не хочу, чтобы он ждал конца моей жизни: пусть лучше будет совсем волен» (Атеней. 1858. № 19. С. 202—203).

27

Москва, Февр⟨аля⟩ 21, 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

В один день получил я от вас деньги и приехал человек, которого немедленно и отправляю с каретою, купив все по вашей записке. О цене трюма справлялся: оно будет стоить 120 рублей. Карету повезут извощики на четырех лошадях за 45 рублей; 25 рублей отдал я им здесь, а остальные 20 руб. отдаст им ваш человек в Симбирске. Эссенциального венгерского два сорта: одно по 4, а другое по 2 рубл⟨я⟩. Первого взял я 4 бутылки, а второго 2 бутылки. — Вот цена покупкам:

Табаку 15 картузов	—	18 руб.
Шляпа	—	9
Пуд штокфишу[1]	—	4
4 бутылки венгерского	—	16
2 бутылки другого венгерского	—	4
Ямщикам отдано	—	25
Сала	—	1
Человеку отдано	—	23
		100

Портрет Анфизы Петровны посылаю.[2] Свидетельствую ей мое почтение и кланяюсь брату Федору Михайловичу. — Что будет в Москве примечания достойного, вас уведомлю. Простите и любите меня за то, что я вас очень, очень люблю. Всех благ и удовольствий желает вам

покорнейший ваш брат

Н. Карамзин.

lib.pushkinskijdom.ru

Публикуется впервые по автографу. Испорченный текст в трех последних строках реестра восстанавливается по копии РГБ.

[1] См. прим. 1 к письму № 16.
[2] Штокфиш (нем. Stockfisch) — треска.

28

Москва, 17 марта 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Император уже три дня в Москве и живет за городом в Петровском дворце; всякой день раза по три бывает в городе, но не прежде как через две недели торжественно въедет в Москву.[1] Экзерциемю здешних полков был он не очень доволен и сделал, как сказывают, сильной выговор князю Долгорукову, московскому военному начальнику.[2] Народ не может нарадоваться государем. Простите, любезнейший братец! Я все не очень здоров, хотя и выезжаю. Мысленно обнимаю вас и буду вечно

вашим покорнейшим братом

Н. Карам⟨зиным⟩.

Отрывок («Император уже три дня в Москве... не может нарадоваться государем») опубликован: Моск. сб. С. 365—366.

[1] Павел I отправился в Москву для коронации 10 марта; торжественный въезд состоялся 28 марта, коронация — 5 апреля (Шильдер. Александр I. С. 150—151).
[2] Недовольство Павла I «потемкинским духом» в войсках, не успевших освоить новые уставные требования, неоднократно проявлялось как раз во время коронационных торжеств, что отмечено в целом ряде свидетельств (см. об этом: *Шумигорский Е.С.* Император Павел I: Жизнь и царствование. СПб., 1907. С. 123). Князь Долгоруков (Долгорукий) Юрий Владимирович (1740—1830) — в 1796—1797 годах главнокомандующий в Москве. В 1797 году Долгоруков еще раз навлек на себя нерасположение Павла и вскоре был уволен (см.: *Клочков М.В.* Очерки правительственной деятельности времени Павла I. Пг., 1916. С. 263—265). Об истории своей опалы Долгоруков рассказал в своих записках: после вступления Павла на престол он был назначен главнокомандующим в Москву и «в шесть недель одел все войско по новой форме», чем Павел I был «очень доволен и на другой день въехал в столицу верхом... Тут Н.П. А⟨рхаров⟩ распустил несодеянную ложь, будто я запретил народу выходить на встречу императора, — я!!! Я получил выговор, но, не будучи виноватым, знал, что государь возвратит мне свое расположение. Во все время коронации мне, что называется, было худо у Двора» (Отрывки из записок князя Юрия Владимировича Долгорукова // Долгоруков П. Сказания о роде князей Долгоруковых. СПб., 1842. С. 334—335). Впоследствии Карамзин поддерживал связи с Долгоруковым, помогавшим ему в разыскании редких печатных материалов по русской истории (см. письмо ему Карамзина от 20 июля 1809 года: Русская литература. 1991. № 4. С. 92).

29

Москва, 8 апреля 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Давно уже не имею от вас писем: здоровы ли вы? Здесь так шумно, так все заняты: в воскресенье Император короновался со всею пышностию Российского венценосца. Нынешний день публикуются в газетах все милости; многие получили деревни, чины и ленты; о других милостях не слышно. Вышел еще указ, чтобы господа не принуждали крестьян работать более трех дней в неделе[1] и чтобы воскресенье, по словам заповеди, *посвящалось Богу.*[2] Император все еще живет в Кремле, но дни через два переедет в слободу,

lib.pushkinskijdom.ru

в дом Безбородки, который пожалован Российским князем и получил еще 16 000 душ.[3] — Искал и не мог найти того письма, в котором вы писали ко мне о покупке книг. Уведомьте, братец, какие вам надобно. Между тем посылаю «Письма русск⟨ого⟩ путеш⟨ественника⟩».[4] — Сделайте одолжение, напомните братьям о присылке векселя с процентами. Мне очень нужны деньги. — Государь в начале мая поедет в Казань; может быть, и к вам заедет. Простите, братец! Будьте здоровы, покойны и любите меня,

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Борис Михайлович Салтыков, человек пребогатой, которой некогда послан был от нашего двора к Вольтеру и жил долго в Фернее, сидит теперь под караулом в уездном суде за то, что он брал по тридцати процентов.[5]

Публикуется впервые.

[1] Указ от 5 апреля 1797 года (день коронации) предписывал, чтобы «никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам, тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе 6 дней, по равному числу оных вообще разделяемые как для крестьян собственно, так и для работ их, в пользу помещиков следующих, при добром распоряжении достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям» (Полн. собр. законов Российской империи. Собр. 1-е. СПб., 1830. № 17909). Этот указ, регламентирующий произвол помещиков, возбудил много толков в обществе и позднее положительно оценивался русской антикрепостнической мыслью; так, М.А. Фонвизин, как и Карамзин в данном письме, интерпретировал его как запрещение заставлять крестьян работать более трех дней в неделю, в воскресенье и в церковные праздники (*Фонвизин М.А.* Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С. 86, 357); с другой стороны, ограничительные толкования в ближайшие же годы сузили сферу его действия (см. свод мнений о нем: *Клочков М.В.* Указ. соч. С. 528—569; *Эйдельман Н.Я.* Указ. соч. С. 118—121).

[2] Ср.: Исх., 31, 15. Парафраза начала манифеста: «Закон Божий в десятословии *нам* преподанный, научает *нас* седмый день посвящать Ему» и т.д.

[3] Дом Александра Андреевича Безбородко (1747—1799), одного из виднейших деятелей екатерининского царствования, с 1775 года секретаря Екатерины II, находился в Немецкой слободе (отсюда его позднейшее название «Слободской дворец»; сгорел в 1812 году); он был приобретен Павлом для коронации. По свидетельству польского короля Станислава-Августа Понятовского, по пышности и убранству дом Безбородко соперничал с лучшими дворцами Европы; в нем были собраны мебель, ковры и бронза необычайной художественной ценности (Григорович, Сб. РИО. Т. 29. С. 362—363). По рассказу Болотова, вначале предполагалось, что резиденцией Павла будет дом, купленный казной у графа З.Г. Чернышева на Тверской, «но вскоре потом сделалось известно, что назначен был дом для пребывания государя в Немецкой слободе, принадлежащий графу Безбородке и почитаемый, по величине и внутренним своим украшениям, первым и наилучшим домом во всей Москве. Но как оный был отчасти тесноват, а отчасти и не весь еще совсем отделан, да не было поблизости и церкви, то с великою поспешностью и начали его отделывать и пристроивать к нему деревянную церковь и все недостающее к оному. О сей пристройке говорили, что занимались ею целых 1600 человек, работающих денно и ночно со свечами, и что нужные к тому издержки повелел государь употреблять из почтовых денег, пропадавших до того без всякой пользы. Деяние сие в особливости всем нравилось, и все не могли довольно расхвалить оное» (Болотов. Анекдоты. С. 86—87). Совершенно исключительные отличия, полученные Безбородко в день коронации, о которых пишет Карамзин (титул светлейшего князя, 30 тысяч десятин земли, 16 000 душ крестьян; см.: ЧОИДР. 1867. Кн. 1. С. 137—140; СА. С. 141—143; 21 апреля 1797 года он был назначен канцлером: СА. С. 174), были предметом толков в обществе; намекали, что Безбородко в день смерти Екатерины помог новому императору в изъятии завещания Екатерины, лишавшего престола Павла в пользу Александра Павловича. Об изменении престолонаследия говорили еще в январе 1796 года; 23 января Болотов записал, что «великий князь Александр Павлович формально и почти на коленях от наследства отказался», что императрица гневается и готовит в наследники Константина (Болотов. Памятник. С. 22; ср.: Болотов. Анекдоты. С. 68—70). Слухи о выдаче Павлу этих бумаг отразились в записках Г.Р. Державина: «Догадываются некоторые тонкие царедворцы, что они (секретные бумаги. — *В.В.*) те самые были, за открытие которых, по вступлении на престол императора Павла I, осыпан он (Безбородко. — *В.В.*) от него благодеяниями и пожалован князем. Впрочем, с достоверностию о сем говорить здесь не можно; а иногда другие, имеющие лучшие основания, о том всю правду откроют свету» (*Державин Г.Р.* Соч. Т. 6. С. 608—609). Та же версия осталась в ряде мемуаров (Л.Н. Энгельгардта, А.М. Тургенева), в анонимном памфлете «Екатерина в полях Елисейских» и др. (Григорович. Сб. РИО. Т. 29. С. 350—354). Отклик на нее содержался в «Оде на случай присяги...» Карамзина, где утверждалось, что «венец российския Минервы» «давно назначен был» Павлу (*Лотман Ю.М.* Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (К генезису исторической концепции Карамзина) // Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII—

lib.pushkinskijdom.ru

начало XIX в. Л., 1981. С. 123 (XVIII век; Сб. 13)). Общую оценку деятельности и личности Безбородко Карамзин дал в письме к И.И. Дмитриеву от 3 июня 1825 года: «...он был хороший министр, если и не великой; такого теперь не имеем. Вижу в нем ум государственный, ревность, знание России — то, чего теперь не вижу. Жаль, что не было в Безбородке ни высокого духа, ни чистой нравственности. Заключим обыкновенною поговоркою: нет совершенного!» (ПкД. С. 397).

[4] Речь идет о первом отдельном издании «Писем русского путешественника»: части 1—4 вышли в январе 1797 года, части 5—6 были задержаны цензурой и вышли только в 1801 году (ч. 5 — в июле, ч. 6 — в ноябре). См.: Св. кат. Т. II. С. 19.

[5] Б.М. Салтыков (ум. 1808; принятая в литературе дата рождения «1723» несомненно ошибочна), питомец Московского университета, был в 1759—1762 годах посредником между И.И. Шуваловым и Вольтером, жил в Женеве и постоянно посещал Ферней (по его собственным рассказам, «жил два года... у г. Вольтера, напитался его мыслями и правилами»: Русский архив. 1879. Кн. III. С. 418). По возвращении жил в Москве; в 1783—1784 годах был судьей Московского уездного суда. При Павле I был обвинен (вместе с сестрой) в «лихоимстве» и «взятии лишних процентов» (там же); Сенатом был признан виновным; по указу Павла 25 февраля 1798 года был сослан в Тобольск, имение его было взято в опеку. Возвращен Александром I 29 декабря 1801 года; служил (вместе с А.Н. Радищевым) в Комиссии для составления полного собрания законов. См.: *Модзалевский Л.Б.* Собеседник Вольтера Б.М. Салтыков и два его новых письма 1760—1761 годов: (По материалам архива Академии наук СССР) // Вольтер: Статьи и материалы. Л., 1947. С. 174—184.

30

Москва, 22 апр⟨еля⟩ 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Человек не исполнил моего приказания, и для того не посылаю вам по сей почте новых указов; оставляю это до другой. — Еще не известно, когда именно Государь выедет и поедет ли в Казань. Его занимают теперь европейские дела. Обстоятельства венского двора крайне худы. Французы разбили австрийскую армию и должны быть в Вене, естьли римский император с ними еще не помирился. Генерал Бонапарте удивительно счастлив.[1] — Здесь часто бывают куртаги и балы. Через несколько дней будет великолепный праздник в саду, иллюминация и фейерверк. Император ко всем милостив и весел. Он был в Воскресенске и поедет дни на два в Троицкую Лавру.

Простите, любезнейший брат. Прилагаю два письмеца. Перешлите их.

Будьте здоровы, покойны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] См. прим. 2 к письму № 31.

31

Москва, 6 мая 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Теперь Москва начинает утихать. Император 3-го числа уехал в Смоленск, но ни в Казани, ни в Симбирске не будет — по крайней мере, так говорят, — а проедет в Польшу, откуда через Ригу возвратится в Петербург.[1] — Где вы теперь, братец? в городе или в деревне? играете в бостон или смотрите на сельские работы? — Десять дней тому, как из Вены приехал курьер с известием, что император Франц заключил мир с французами, которые под предводительством смелого и щастливого Бонапарте шли к нему в гости.[2] Кажется, что это известие верно; но странно, что в газетах по сию пору ни слова не говорят о мире. Естьли он подлинно заключен, то у французов остается теперь только один неприятель: Англия. — Простите, любезнейший брат. Я винился перед вами, что

lib.pushkinskijdom.ru

потерял вашу записку о книгах: ожидаю другой и на первой почте отправлю их. Потрудитесь переслать письмо к брату Алекс⟨андру⟩ Михайловичу. Будьте здоровы и спокойны! Любите меня; а я люблю вас всем сердцем.

Ваш покорнейший брат

Н. Карамзин.

Публикуется впервые.

[1] 3 мая Павел I начал поездку по России (Смоленск, Орша, Могилев, Минск, Вильно, Гродно, Ковно, Митава, Рига, Нарва); 2 июня возвратился в Павловск (Шильдер. Александр I. С. 153).

[2] Имеются в виду события января-апреля 1797 года. Французская армия под командованием Наполеона Бонапарта овладела Мантуей и, вступив в австрийские владения, угрожала Вене. Император Франц подписал условия четырехдневного перемирия, о чем сообщил Павлу I, прося его о военных демонстрациях с целью добиться благоприятных для Австрии условий мира, а также о посредничестве в мирных переговорах. Извещение было получено в Москве 14 апреля; в тот же день был отдан приказ о готовности к походу нескольких дивизий и 18 донских полков; для переговоров в Берлин и Вену предполагалось направить князя Н.В. Репнина с инструкциями содействовать примирению враждовавших австрийского и прусского дворов и выработать наиболее приемлемые условия мира с Францией. В этих инструкциях (15 и 19 апреля) указывалось, в частности, что «признание республики Французской не долженствует уже в нынешнем дел положении встречать ни малого от какой-либо державы затруднения» (Милютин. Т. I. С. 37). Посольство Репнина не состоялось, так как Павел получил донесение из Вены о заключении в Леобене предварительного мира между Австрией и Францией 7(18) апреля 1797 года. Депеша гр. Разумовского Безбородко об условиях договора датирована 18(29) апреля; рескрипт Павла Разумовскому по этому поводу был дан в Можайске 4 мая (там же. С. 43, 373—374). Курьер из Вены привез несомненно сообщение о Леобенском мире. По-видимому, в этом и предшествовавшем письме — первые документально засвидетельствованные отзывы Карамзина о Наполеоне, за деятельностью которого он следил со все возрастающим сочувствием. Уже 17 сентября 1796 года А.Р. Воронцов писал А.И. Вяземскому об укреплении мощи Наполеона, который «счастлив даже на море» и угрожает Англии; он осведомлялся, верно ли, что Карамзин занят его историей (Архив князя Вяземского. Андрей Иванович Вяземский. [СПб.], 1881. С. 175. Подлинник по-французски).

32

Москва, 27 маия 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Вам уже, без сомнения, давно известно, что государь переменил свой план и поехал, вместо Казани, в Смоленск и в Польшу. Вероятно, что теперь он уже в Петербурге.[1] — Австрийцы точно заключили мир с французами на следующих условиях: 1) Брабант или Нидерланды уступает император Римской французам; 2) Ломбардия в Италии будет независимою республикою; 3) Император получает в замену часть венециянского Фриуля и Дальмации. — Венециянцам худо; может быть, славной Бонапарте уничтожит навсегда их древнюю республику.[2] — Посылаю вам шпагу, которая стоит с портупеей 16 рублей; лучше и дороже не нашел; устав, указы, рисунок мундиров и проч. стоят 8 руб. Итак, ваших денег остается у меня 26 рублей: что прикажете купить? — Простите, братец! Будьте здоровы, благополучны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] См. прим. 1 к письму № 31.

[2] Пересказывая условия Леобенского мира (см. письмо № 31), Карамзин излагает и содержание секретных соглашений, ставших известными в России. Уже 25 апреля (6 мая) 1797 года русский дипломат И.М. Симолин сообщал в Петербург, что, по слухам, Венеция передается Австрии в качестве компенсации (*Манфред А.З.* Наполеон Бонапарт. М., 1971. С. 172).

lib.pushkinskijdom.ru

33

Москва, Июня 1, 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Наконец к сердечному моему удовольствию я получил от вас письмо, не имев около месяца никакого об вас известия. Посылаю 12 томов *деяний Короля Фридриха*;[1] естьли вы их никогда не читали, то найдете в них много интересного. Через несколько дней получите от меня вторую *аонид*.[2]

В ответ на письмо нашего любезного племянника скажу, что принятие в юнкеры не сопряжено ни с какими затруднениями для дворян. Разумеется, однако ж, что надобно иметь в Петербурге кого-нибудь, кто бы мог попросить представить и проч.: но для чего бы Мих⟨айле⟩ Сер⟨геевичу⟩[3] не служить в полку? Кажется, что он способнее к военной, нежели к штатской.

Простите, любезнейший братец! Европа ожидает общего мира; кровь уже не проливается. — Обнимаю всегда мысленно и прошу любить всегда

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Любезного брата Петра Ивановича Путилова[4] сердечно благодарю за приписание и за добрые желания; плачу ему такими же искренними добрыми желаниями.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] «Деяния короля Фридриха» — «Достопамятные сказания и деяния, изъявляющие свойство Фридриха Второго короля прусскаго, переведенные с немецкого подлинника, изданного в Берлине сего 1786—[1790] года.» Ч. 1—12. СПб., 1786—1793.

[2] См. прим. 1 к письму № 34.

[3] Михаил Сергеевич — Кушников, племянник Карамзина, брат С.С. и А.С. Кушниковых (см. прим. 1 и 2 к письму № 3). По-видимому, к нему относятся сохранившиеся сведения о штабс-капитане Михаиле Кушникове, служившем в 1808 году в Калужском мушкетерском полку и переведенном в Апшеронский (1808), а затем в чине капитана в Вятский (1810) мушкетерский полк; позднее М.С. Кушников был советником Нижегородской казенной палаты. Карамзин упоминает о нем в письме к А.И. Тургеневу от 5 июня 1820 года (Русская старина. 1899. № 3. С. 308). Был женат (с 1826 года) на Е.Н. Мухановой (см.: *Сиверс А.А.* Материалы к родословию Мухановых. СПб., 1909. С. 118—119).

[4] Петр Иванович Путилов — один из ближайших соседей Карамзиных по имению, совладелец (вместе с братьями Азарием и Иваном) деревни Путиловка, поручик (Мартынов, С. 104); имя его встречается, в частности, под генеалогическими и хозяйственными документами Булгаковых (в 1792-м и 1812 годах), где он выступал в числе свидетелей наряду с Ф.М. Карамзиным (Сиверс. С. 117, 129).

34

Москва, 29 июля 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Посылаю к вам вторую книжку *Аонид*, которая только что публикована.[1] Желаю, чтобы в ней многое полюбилось. Мне очень приятно будет знать, какие именно пиесы найдете вы лучше других. Посылаю и описание деяний Короля Прусского.

Я согласен с вами, братец, что лучше уступить иногда, нежели ссориться и тягаться. Естьли в свете нельзя быть счастливым, то по крайней мере надобно беречь спокойствие свое. Счастье есть, конечно, мечта, за которою, однако ж, чувствительное сердце долго, долго гоняется; когда же наконец все призраки в глазах наших исчезают, тогда должно будет прибегнуть к холодному рассудку, другу не очень веселому, однако ж не такому обманщику, как воображение; тогда построим себе хижинку, разведем садик, будем желать другим счастливого путешествия и попутных ветров, а сами уже не тронемся с места, до

lib.pushkinskijdom.ru

самой той минуты, как *плешивый* и курносый почтальон, называемый *смертью*, затрубит в рог, хлопнет бичом и велит нам ложиться в гробовую фуру, чтобы везти нас... он знает куда!

Простите, братец! мысленно обнимаю вас и прошу любить

вашего покорного брата

Н. Карамзина.

Писали ли вы, братец, к нашему любезному племяннику Александру Сергеевичу, что в юнкера определяют каждого дворянина без затруднения.

Отрывок («Посылаю к вам... лучше других») опубликован: Моск. сб. С. 366. Автограф неизвестен. Печатается по копии РГБ.

[1] Вторая книжка «Аонид, или Собрания разных новых стихотворений» вышла в конце июля (извещение о продаже: Московские ведомости. 1797. 29 июля. № 60; Св. кат. Т. IV. С. 118).

35

Москва, 26 августа 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Очень давно не имею от вас писем; разве не поехали ли вы в Заволжскую деревню? ожидаю с нетерпением почты.

Таково ли у вас начало осени, как здесь? не только дни, но и ночи прекрасные. Я сплю всегда с растворенными окнами. В июне месяце было не так жарко, как теперь; а из Петербурга пишут о холоде и ненастье.

Новость здесь та, что нам опять позволено носить фраки; но круглые шляпы под строгим остаются запрещением.[1]

Простите, братец! любите меня, пишите ко мне. Будьте здоровы и покойны.

Ваш покорнейший брат

Н. Карамзин.

Отрывок («Новость здесь та... под строгим остаются запрещением») опубликован: Моск. сб. С. 366. Автограф неизвестен. Печатается по копии РГБ.

[1] Регламентация гражданской одежды, о которой пишет Карамзин, была введена в первые же дни царствования Павла и рассматривалась современниками как одно из наиболее деспотических его распоряжений. Ср. в воспоминаниях Н.А. Саблукова: «...был издан ряд полицейских распоряжений, предписывавших всем обывателям носить пудру, косичку или гарбейтель и запрещавших ношение круглых шляп, сапог с отворотами, длинных панталон, а также завязок на башмаках и чулках, вместо которых предписывалось носить пряжки. Волосы должны были зачесываться назад, а отнюдь не на лоб... Утром 8 (20) ноября 1796 года, значительно ранее 9-ти часов утра, усердная столичная полиция успела уже обнародовать все эти правила» (Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 22). Ношение круглых шляп считалось «эмблемой якобинства» (Из записок майора фон Веделя // Там же. С. 160) и преследовалось с особой тщательностью; «полиция у всякого идущего по улице срывала их с головы и предавала истреблению. Необыкновенность сия производила вместе и смех, и роптание» (Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова. С. 12); А.М. Тургенев также с иронией вспоминал о «беспощадной войне», объявленной «круглым шляпам, фракам и жилетам» (Русская старина. 1885. № 12. С. 383); по свидетельству А. Коцебу, «запрещение носить круглые шляпы и отложные воротники на платье возбудило... всеобщую ненависть» против императора (Цареубийство 11 марта 1801 года. С. 343). Письмо Карамзина имеет в виду указ от 13 января 1797 года, подтверждающий запрещение круглых шляп, при «наистрожайшем» объявлении, «чтоб кроме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок никаких других никто не носил» (Коллекция указов в ОРК БАН СССР. Инв. № 35180д. Л. 15). 9 августа еще раз было повторено предписание о «неношении никому круглых шляп», исключая крестьян и матросов (там же. Л. 15, об.). Разрешение фраков, по-видимому, ложный слух; см. письмо № 39.

lib.pushkinskijdom.ru

36

Москва, 14 октября 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Мне самому очень больно, что я так давно не писал к вам. Не могу извиняться; виноват, виноват! Беспокойство ваше служит мне доказательством вашей любви: мысленно обнимаю вас, любезнейший братец, и благодарю с чувствительностию.

Радуюсь и поздравляю брата Александра Михайловича; новое родство для меня очень приятно.[1] Дай Бог, чтобы он был совершенно щастлив. Ему, кажется, не более 25 лет: вот самое лучшее время жениться! Для меня оно уже проходит, естьли еще не прошло. Нет, любезный брат! мне по всем вероятностям умереть холостым. Пусть женятся другие!

Теперь у меня в гостях Сергей Сергеевич; [2] он отпущен на четыре месяца и в начале зимы поедет к вам в Симбирск.

В Европе опять хотят драться. Австрийцы и французы снова выходят в поле.[3] Многое увидим, естьли не умрем еще года три.

Книги вам купил и пошлю на той почте; теперь уже не примут. — Простите, любезнейший брат! Сердечно люблю и почитаю вас. Любите всегда

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывок («Радуюсь и поздравляю... Пусть женятся другие!») опубликован: Погодин. Т. I. С. 288.

[1] См. прим. 3 к письму № 14.

[2] С.С. Кушников.

[3] По-видимому, речь идет о демарше Наполеона Бонапарта, в августе 1797 года потребовавшего от пьемонтского короля десяти тысяч солдат со ссылкой на «вероятность возобновления военных действий против Австрии». Об этом требовании стало сразу же известно в европейских столицах; 8 (19) августа русский посол в Турине граф Г.О. Стакельберг сообщил о нем Павлу I (*Манфред А.З.* Указ. соч. С. 184). Возможно, Карамзину были уже известны и более поздние события, имевшие непосредственное отношение к России: занятие французами венецианского острова Занте, арест русского консула и прекращение в связи с этим начавшихся в Берлине русско-французских переговоров (указ об этом подписан Павлом I 17 сентября. См.: Милютин. Т. I. С. 45, 378). Ситуация изменилась с началом переговоров Наполеона с представителем австрийского правительства графом Л. Кобенцлем (27 сентября), завершившихся в ночь с 17 на 18 октября подписанием Кампо-Формийского мира.

37

Москва, 17 ноября 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Наконец и я давно не получал от вас писем. Здоровы ли вы? Несколько из новейших книг я послал к вам и еще пошлю. Мало выходит хорошего. Ныне даже и все иностранные книги отдаются в ценсуру.[1] — Что вам сказать нового? Австрийцы, как известно, помирились: надолго ли? Может ли император быть искренним другом французов? Истрия и Далмация не наградят его за Нидерланды.[2] Что думаете о Бонапарте? Вот редкой человек! — В Москве все еще мало людей. В клобе не бывает более как человек 200. Впрочем, нечего сказать о здешних новостях. — Простите, любезнейший брат мой! Будьте здоровы, покойны и веселы. Любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывок («Несколько из новейших книг... отдаются в ценсуру») опубликован: Моск. сб. С. 366.

[1] По указу от 16 сентября 1796 года были учреждены портовые цензуры в Риге, Одессе и при таможне Радзивилловской под наблюдением губернских начальств; в Москве и Петербурге — под

lib.pushkinskijdom.ru

ведением Сената; привоз иностранных книг подлежал строгому контролю. Частные типографии были запрещены. Этот указ был подтвержден и расширен 16 февраля 1797 года. См.: Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. С. 33—40. 6 июля 1797 года Карамзин сообщал И.И. Дмитриеву: «Книгопродавцы наши не получили еще ни одной книжки нынешним летом. Слышно, что нынешние цензоры тому причиною и что все присланные из чужих краев книги лежат в Рижской и Петербургской таможне» (ПкД. С. 79).

[2] По Кампо-Формийскому договору (см. прим. 3 к письму № 36) Австрия лишалась большей части своих владений в Италии, а также на левом берегу Рейна; взамен она получила несколько областей в Германии и Швейцарии и часть прежней Венецианской республики с Далмацией и Иллирией. Кампо-Формийский мир Австрия расценивала как крайне невыгодный и уже при заключении предполагала вскоре его расторгнуть (депеша графа Кобенцля Безбородко от 2 ноября 1797 года). Павел I, однако, рекомендовал императору Францу не прерывать мира до Раштатского конгресса; в рескрипте графу Разумовскому от 28 ноября содержалось общее указание на возможность более активных действий России в поддержку Австрии (Милютин. Т. I. С. 45—47, 379—380).

38

Москва, 23 дек⟨абря⟩ 1797.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Думаю, что вы уже возвратились в Симбирск, к нашим родным. Часто бывает мне очень жаль, что я живу далеко от вас, и завидую, что вы вместе. Благополучно ли родила сестра Марфа Михайловна?[1] Поздравьте ее от меня с именем матери, а любезного нашего зятя с именем отца. — Книги Василью Борисовичу я купил и отправил через почту.

Вы читаете газеты: следственно, знаете все наши новости. Что сказать о Москве? разве то, что здесь бал за балом; что везде много дам и мало кавалеров; что благородное наше собрание упадает и что хитрец Пинетти показывает такие штуки, которые удивляют простых людей.[2]

Потрудитесь, братец, отдать приложенное письмо Александру Федоровичу Ермолову.[3]

Простите, Будьте здоровы и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] См. прим. 3 к письму № 3.

[2] Пинетти де Мерси (наст. имя Жан-Жозеф де Вильдаль) — знаменитый иллюзионист, гастролировавший в Западной Европе и в России (Москва, Петербург). Карамзин был на представлениях Пинетти в апреле 1798 года (см. письмо № 43). О фокусах, показанных Пинетти в Москве, см.: *Космann И.В.* Кавалера Пинетти де Мерси физические увеселения, или Изъяснение в Париже, Лондоне, Берлине и во многих других столичных и европейских городах, а напоследок также в Петербурге и Москве показанных им удивительных штук. Смоленск, 1801 (второе издание: Орел, 1830).

[3] Ермолов Александр Федорович (1743—1824) — симбирский помещик, владелец села Елань Сенгилеевского уезда и имений в Пензенской и Нижегородской губерниях. Сын Федора Ивановича Ермолова, богатого помещика, по рассказу Д.Н. Свербеева (его правнука), до глубокой старости бывшего «в нетех» (т.е. уклонявшегося от службы) и прощенного Екатериной II. Об А.Ф. Ермолове и его брате сохранилось воспоминание того же Свербеева: «У него было два сына, Александр и Нил; первый, прослужив где-то недолго, за свое богатство, простоту и доброту был выбран в симбирские губернские предводители и чуть ли не 15 трехлетий пробыл в этом звании, отличаясь широким и неприхотливым хлебосольством и великим искусством удить рыбу. Я его как теперь вижу и маленькую бойкую его супругу, урожденную Янову, которая и в 1818 году не терпела чепцов, а повязывалась, как наши купчихи и попадьи, платочком. Брата его Нила Федоровича (1756—1820; см.: Языковский архив. СПб., 1913. Т. I. С. 407; прапорщик гвардии, в 1793—1795 годах — губернский предводитель Симбирского наместничества. — *В.В.*) помню я только потому, что он носил какой-то рыжий парик и все рассказывал о своей курьезной куда-то поездке. Кроме моей родной бабки, Обресковой (Анны Федоровны. — *В.В.*), была у них еще одна сестра, Марья Федоровна Кикина (род. 1754; муж — секунд-майор Андрей Иванович Кикин (1747—1790). — *В.В.*), мать статс-секретаря, первого моего начальника по службе. Многочисленное потомство обоих братьев Ермоловых населило всю Симбирскую губернию...» (*Свербеев Д.Н.* Записки. 1799—1826. М., 1899. Т. I. С. 22—23).

lib.pushkinskijdom.ru

А.Ф. Ермолов вступил в службу в 1754 году, номинально (в гвардию, в Семеновский полк, солдатом); отставлен гвардии поручиком; в 1774 году определен воеводским товарищем в Алаторскую провинцию Нижегородского наместничества; с 1778 года — прокурор в Симбирской провинции, коллежский асессор; в 1780 году — прокурор губернского магистрата; с 1781 года — советник Симбирского наместнического правления. В 1789—1792 годах был председателем 2 департамента Верхнего земского суда Симбирского наместничества, затем председателем Симбирской палаты суда и расправы 2 департамента; 24 октября 1797 года уволен «за болезненными припадками». В 1802—1819 годах — Симбирский губернский предводитель дворянства, действительный статский советник; пользовался большим уважением в губернии. Женат на Фроловой-Багреевой (убитой во время пугачевского восстания); вторая жена — Пелагея Ивановна Янова (*Ермолов А.* Род Ермоловых. М., 1912. С. 34—35). Дед (по матери) поэта Н.М. Языкова.

39

Москва, 28 генв⟨аря⟩ 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Читая ваше письмо, я мысленно представлял себе заволжские вьюги и мятели. Хотя темно, однако ж помню тамошние места; помню, как мы с вами возвращались оттуда в начале зимы. Старые воспоминания бывают приятны.

Сергей Сергеевич еще в Москве; мы часто и много говорим об вас, любезнейший брат. Не имея удовольствия жить с вами вместе, переселяюсь хотя мысленно к моим милым родным.

На газеты для вас подписался, и думаю, что вы на этой же почте их получите; и на той отправлю к вам вторую часть Мармонтеля. — Получил ли Василий Борисович книги и ландкарты? и что мне делать с оставшимися деньгами?

Простите, любезнейший брат! Новостей у нас немного. С месяц говорили все о банке,[1] а теперь говорят о запрещении фраков. Летом по улице надобно ходить в французском кафтане или в мундире со шпагою, однако ж это узаконение еще не публиковано в Москве.[2] — Мысленно вас обнимаю. Будьте здоровы и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывок («Читая ваше письмо... в мундире со шпагою») опубликован (с пропусками и неточностями, в виде монтажа текста): Моск. сб. С. 366. Автограф неизвестен. Печатается по копии РГБ.

[1] Манифест Павла I (по проекту Алексея Куракина) об учреждении государственного вспомогательного банка для дворянства (18 декабря 1797 года) ставил своей целью оградить дворян от «алчных корыстолюбцев и ростовщиков»; были определены ссуды, сроки и размеры платежей и порядок хождения банковских билетов. Это нововведение возбудило, однако, недовольство, так как билеты, имевшие принудительный курс, упали в цене и увеличили массу бумажных денег (см.: *Шумигорский Е.С.* Указ. соч. С. 135—136, 140—141; *Боровой С.Я.* Вспомогательный банк // Исторические записки. 1953. Т. 44. С. 206—230).

[2] Карамзин имеет в виду указ от 20 января 1798 года о воспрещении всем ношения фраков, вместо которых позволялось «иметь немецкое платье с одинаким стоячим воротником, шириною не более как в три четверти вершка, а обшлага иметь того же цвету, как и воротники»; по этому указу запрещалось также носить «всякого рода жилеты», которые заменялись «обыкновенными немецкими камзолами», и башмаки с лентами («а иметь оные с пряжками»), равно как и «увертывать шею безмерно платками» (последние пункты подлежали немедленному исполнению). См.: Коллекция указов ОРК БАН СССР. Инв. № 35180д. Л. 16.

40

Москва, 17 февр⟨аля⟩ 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Давно уже не имел от вас писем; а вам, кажется, надобно быть в Симбирске. Здоровы ли вы?

lib.pushkinskijdom.ru

Газеты к вам и к брату Федору Мих⟨айловичу⟩ давно уже отправлены; теперь посылаю ему две книжки.

Я слышал, что наш любезный племянник Александр Сергеевич[1] женится. Естьли это правда и естьли увидите его, то поздравьте от меня.

Что вам сказать нового, любезнейший брат? Вы читаете газеты, следственно, все знаете.

Я здоров, но ожидаю с нетерпением весны, чтобы дышать в поле чистым воздухом и быть еще здоровее. Мысленно вас обнимаю. Любите всегда вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по автографу. Край листа с указанием месяца и года оборван. Дата восстанавливается по копии РГБ.

[1] А.С. Кушников.

41

Москва, 31 марта 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Деньги и вексель от брата Федора Мих⟨айловича⟩ получил. Сделайте одолжение, перешлите к нему поскорее мое письмо. Думаю, что он все еще в заволжской деревне.

Нового у нас то, что наш Двор посылает 22 линейных корабля и 250 галер для защищения коммерции.[1] — Вам уже известно, что древняя Римская республика воскресла и что Папа выехал из Рима.[2]

Простите. Будьте здоровы, покойны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] Отправление флотилии к берегам Англии было предпринято по просьбе английского двора, ожидавшего начала морских военных действий с Францией. Карамзин пользуется неофициальными сведениями: приказ об отправке был дан 22 апреля (первые корабли снялись с Кронштадтского рейда 22 мая). Флотилия (под командованием контр-адмирала М.К. Макарова) состояла из трех эскадр и насчитывала 15 линейных кораблей, 4 фрегата и катера; кроме того, было учреждено крейсерство в Балтийском море. Павел I имел в виду соблюсти вооруженный нейтралитет и не допустить в Балтийское море чужие военные суда (Милютин. Т. I. С. 69—71, 400—403).

[2] Папа Пий VI был низложен после занятия Рима французскими войсками 9 февраля 1798 года; в Папской области была провозглашена Римская республика. Папа был вынужден выехать из Ватикана в Сиену, затем во Флоренцию; позднее был вывезен во Францию.

42

Москва, 7 апреля 1798.

Любезнейший брат Василий Михайлович!

Насилу мог я сыскать серебренника, который берется сделать пуговицы. Оне будут стоить на всю пару шестьдесят пять рублей.

Я очень рад, что почта учреждена теперь прямо в Симбирск и что мы скорее можем получать письма друг от друга.

Насилу пришла весна, то есть хорошее время; другой день прекрасной; иду прогуливаться и мысленно вас обнимаю. Будьте благополучны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Отрывок («Я очень рад... письма друг от друга») опубликован: Моск. сб. С. 366.

lib.pushkinskijdom.ru

43

Москва, 20 апреля 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Словарь натурального волшебства к вам посылаю.[1] Найдете в нем довольно любопытного; впрочем, чудесностей нет. Недавно видел в этом роде славного чудесника Пинетти: только он не удивил меня.

В Москву ожидают императора к десятому мая. Говорят, что он поедет в Казань, а здесь пробудет недели две.[2]

Простите, любезнейший брат. Нового то, что князь Репнин поехал в Берлин; следственно, идут какие-нибудь важные переговоры между нашим двором и берлинским.[3] Будьте покойны, здоровы и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] Речь идет о кн.: Onomatologia curiosa artificosa et magica, или Словарь натурального волшебства, в котором много полезного и приятного из естественной истории, естественной науки и магии азбучным порядком предложено / Перевод с немецкого [В.А. Левшина]. М., 1795. Ч. 1—2.

[2] См. прим. 1 к письму № 44.

[3] Н.В. Репнин был отправлен из Петербурга в Берлин в качестве уполномоченного русского двора на переговорах между Австрией и Пруссией. В задачу Репнина входило содействие объединению европейских государств для поддержания стабильного мира и, с другой стороны, для противодействия распространению революционных настроений в Европе (Милютин. Т. I. С. 59 и след.).

44

Москва, 12 мая 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Третьего дни приехал в Москву Император,[1] и с того часа весь город в большом движении. Нынешний день начались маневры, на которые пришло сюда около 30 000 войска и которые продолжатся около недели. После чего Император отправится в Казань; но к вам, я думаю, не заедет.

Я ожидал вашего приказания о пуговицах; оне не были заказаны; теперь, следственно, и не закажу. — Перешлите, братец, поскорее это письмецо к брату Александру Михайловичу. Я прошу его прислать мне тысячу рублей, которая на нем осталась. Более двух месяцев прошло за срок векселя, а от него не имею никакого известия. Мне же теперь крайняя нужда в деньгах.

Думаю, что вы теперь покойно живете в деревне. Будьте здоровы и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] Павел I, совершавший путешествие по России, прибыл (в сопровождении великих князей Александра и Константина) в Москву 10 мая в 11 часов утра и провел здесь 6 дней. В первый же день в Слободском дворце был устроен бал для дворянства. О «восторженном» приеме императора, который был «тронут этими изъявлениями преданности, восторга и любви», писал в своих воспоминаниях барон Гейкинг. Маневры, о которых упоминает Карамзин, под руководством фельдмаршала кн. И.П. Салтыкова, начались со смотра 12 мая и продолжались три дня. 16 мая Павел I выехал из Москвы, посетил Владимир, Нижний Новгород, Казань (24—30 мая), 11 июня вернулся в Павловск (Шильдер. Павел I. С. 383—388).

lib.pushkinskijdom.ru

45

Москва, 3 июня 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Очень давно не получаю от вас писем; сделайте одолжение, пишите ко мне хоть раза два в месяц. Я сам пишу иногда редко; но вы, конечно, не захотите мне мстить.

От брата Александра Михайловича не имею никакого известия. На нем, после перевода брата Федора, осталась только тысяча; три месяца прошло за срок, а он не присылает денег. Постарайтесь, братец, чтобы он скорее заплатил мне эту тысячу. Я надеялся на нее, и теперь имею большую нужду в деньгах.

Князь Безбородко собирается дать праздник, самый великолепной: вот здешние новости![1]

Простите. Будьте здоровы, покойны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] А.А. Безбородко собирался 7 июня устроить бал «в построенных из досок и палаток галереях и залах» по случаю закладки нового дома в Москве (письмо его А.Р. Воронцову от 29 мая 1798 года). Праздник этот отличался большой пышностью и окончился фейерверком (Григорович. Сб. РИО. Т. 29. С. 399—400).

46

Москва, 16 июня 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Письмо ваше меня очень обрадовало: так давно не имел я от вас никакого известия. Вместе с вашим письмом получил я вексель с процентами от брата Алек⟨сандра⟩ Мих⟨айловича⟩; но мне хочется, чтобы он заплатил мне всю тысячу, и для того прилагаю к нему письмо, которое прошу вас, братец, доставить ему.

К Декиндлеину[1] посылал: увидите его подписку. Он приказывал еще на словах, что будет уступлено рублей 50 на душу. Извольте меня уведомить, за какую цену вы согласитесь купить и крестьян, и пустошь.

Простите, любезнейший братец! Будьте здоровы, покойны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по автографу. Край листа оборван; дата и недостающие части текста восстанавливаются по копии РГБ.

[1] Декиндлейны — московская дворянская семья, по-видимому владевшая землей в Симбирской губернии. Может быть, упоминаемое лицо — коллежский асессор Константин Николаевич Декиндлейн (1751—1806; см.: Моск. некрополь. Т. I. С. 365—366).

47

Москва, 25 авг⟨уста⟩ 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Чрезмерно обрадовался я письму вашему, быв от вас в великом беспокойстве. Прошу вас, братец, не оставлять меня впредь так долго в безвестности о вашем здоровье.

lib.pushkinskijdom.ru

Спешу уведомить вас о мехах. Медвежьи стали гораздо дороже, так что за хороший надобно дать не менее 350 рублей. Есть генотовые и волчьи, которые не так дороги; можно иметь хороший мех рублей за 200.

Простите, любезнейший братец. Пора отослать письмо на почту. Любезную племянницу мысленно целую.[1] Будьте здоровы и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] Племянница — воспитанница В.М. Карамзина Ольга, дочь его экономки, затем им удочеренная (см. о ней во вступ. статье). В письмах Н.М. Карамзина 1804—1805 годов она упоминается как «дочь» В.М. Карамзина (Атеней. 1858. № 21. С. 339; № 26. С. 659). По-видимому со слов знавших ее, Е. Колбасин сообщал в примечаниях к своей публикации, что «она знала в совершенстве многие литературы... изучала потом латинский язык и страстно предалась положительным наукам. Ей хотелось хоть раз в жизни видеть историографа, славой которого она гордилась как своей собственной, даже преподавала частным образом исторические лекции для *дам*, придерживаясь его манеры изложения. Употребив все средства, она прибыла, наконец, из Симбирска в Петербург, собственно затем, чтобы познакомиться лично с Карамзиным. Но Карамзина уже не было на свете» (Атеней. 1858. № 20. С. 250). Сведения эти неточны; из писем, опубликованных Колбасиным, явствует, что в июне—июле 1812 года Ольга вместе с В.М. Карамзиным гостила в Москве и виделась со своим дядюшкой (ср. записку Карамзина к брату от 5 июля 1812 года: Атеней. 1858. № 23. С. 484—485). В 1818 году она вышла замуж за штабс-капитана Дмитрия Михайловича Ниротморцева. По завещанию В.М. Карамзина О.В. Ниротморцева получила принадлежавшую ему часть села Карамзинки (Знаменского) с барским домом, другой дом, построенный им в Симбирске (у Театральной площади). Завещание было опротестовано А.М. Карамзиным, возражавшим против передачи родового имения лицам, не состоявшим с Карамзиными в кровном родстве; тяжба была окончена в 1836 году (после смерти О.В. Ниротморцевой) в пользу Ниротморцевых. См.: Мартынов. С. 99; *Старчевский А.* Н.М. Карамзин. СПб., 1849. С. 10—11.

48

Москва, 27 авг(уста) 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Вчера писал я к вам через почту. Теперь пишу с Александром, которого отпускаю в Симбирск к матери и жене. Сделайте одолжение, братец, позвольте старушке, жене покойного Спиридона, жить у вас в деревне, естьли она не найдет для себя другова места; позвольте также и Александру прожить с нею несколько времени.[1]

Я писал к вам, что славной французской генерал Бонапарте пришел в Египет; теперь имеем известие, что он имел уже там сражение с беями и что турки объявляют войну французам. Французы хотят пройти оттуда через Красное море в Ост-Индию, чтобы отнять у англичан тамошние их владения.[2]

Простите, милый брат! Будьте благополучны и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

[1] См. прим. 1 к письму № 26.

[2] Карамзин описывает первые этапы египетского похода Наполеона Бонапарта. 2 июля 1798 года французская армия достигла Северной Африки и вошла в Александрию; тем же днем датировано воззвание Наполеона к египетскому народу, направленное против «беев», господствовавших над Египтом; оно было переслано послом России в Австрии А.К. Разумовским Павлу I 28 августа. Сражение, о котором идет речь, — вероятно, разгром мамелюков Мурад-бея у подножья пирамид 21 июля 1798 года (в связи с этой победой была произнесена ставшая затем знаменитой фраза: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас!»). В момент написания письма Карамзину еще неизвестно о происшедшей 2 августа морской битве при Абукире, где адмирал Нельсон уничтожил французский флот (*Манфред А.З.* Указ. соч. С. 208, 211—215); достоверные сведения об этом были получены в

lib.pushkinskijdom.ru

конце сентября или в октябре (СПб. ведомости. 1798. 15 окт.; Суворов. Письма. С. 327, 699; Григорович. Сб. РИО. Т. 29. С. 408).

49

Москва, 5 окт⟨ября⟩ 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Спешу отправить к вам посылку. Купил вам шубу медвежью ровно в 300 рублей; кажется, что не тяжела, не подкрашена и вся из одинаких медведей. Желаю, чтобы вы были ею довольны. По нашему климату всего лучше медвежья шуба; волчья не надолго, а генотовая не так тепла. Казимир 11 аршин по 4 руб. 50 коп., итак, ваших денег остается у меня 50 1/2 рубл., из которых рублей пять, как думаю, надобно будет заплатить за пересылку на почте.

Простите, любезнейший братец. Мне кажется, что вы живете очень хорошо и покойно. Может быть, и я когда-нибудь приеду жить к вам. Обнимаю вас мысленно и прошу любить

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые.

50

Москва, 16 ноября 1798.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Виноват перед вами, что давно не писал и не отправлял покупки. Два раза забывал середу и теперь спешу. Немецкие кафтаны делаются как фраки без подкладки; одна разница, что нет отложного воротника, а делают стоячие, так, что они заворачиваются назад, как будто бы отложные. Пуговицы носят только или под цвет, или аглицкие метальные, а камзолы с лацканом.

	Цена	
Сукна 2 арш. с полов	—	20 р.
На камз⟨ол?⟩	—	7
Пуговицы	—	2-50
Книги в переплете	—	6-10
Пересылка	—	1
		36-60

Пишу мало, чтобы не пропустить и этой середы. Через неделю получите от меня три или четыре книжки, собрание разных моих переводов.[1] вас всем сердцем и прошу, чтобы вы[2]

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Ваших денег осталось у меня еще руб. 10.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

[1] Пропуск в копии.
[2] Пропуск в копии.

lib.pushkinskijdom.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Неизданные письма 1799 года

1

Москва, 3 марта 1799 г.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Вчера я писал к вам через почту, теперь пишу с вашим человеком. С ним посылаю:

		Цена
Бочка лучшего аглиц⟨кого⟩ пива	—	260 р.
4 бочки русского, 2 померанц⟨евого⟩ и 2 миндал.	—	50
4 бочки для сего пива стоят	—	10
20 бутыл⟨ок⟩ рейн вейну	—	40
10 венгерского	—	30
10 мадеры	—	10
10 шато-марго	—	15
Струн и курительного табаку на	—	25
		440

Следственно, я прибавил к вашим деньгам 40 р. Все бочки полны; прикажите осмотреть, так ли они привезены. Пиво аглицкое дорого, но зато очень хорошо. — Простите, любезнейший братец! Мысленно вас обнимаю. Будьте здоровы и любите

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по копии РГБ. Автограф неизвестен.

2

Москва, 21 дек⟨абря⟩ 1799.

Любезнейший братец Василий Михайлович!

Наконец посылаю справку, или выписку, о нашем роде, взятую из Вотчинного департамента. Она стоит нам вместе с другою из архива 120 рублей; за исключением моих 30, из денег брата издержано 90 рублей. Эта бумага пригодится и кроме наследства. Между тем другую выписку пошлю в Петербург. Жаль, что гербовники уже не в руках Козодавлева, который мне знаком. Впрочем, и другой позже сделает. О поваре буду смотреть в газетах и естьли найду изрядного, то куплю и вас уведомлю. Впрочем, братец, редко продают не воров и не пьяниц. Спешу отправить письмо на почту и мысленно вас обнимаю, прошу любить

вашего покорнейшего брата

Н. Карамзина.

Публикуется впервые по автографу; находится среди писем 1797 года. Дата написана нечетко; последняя цифра в годе может читаться и как «7» (так она и была прочитана, по-видимому, еще Ниротморцевым), и как «9», что правильно. Письмо связано по содержанию с письмами от 29 ноября 1799 года, где речь идет об обращении Карамзина в Вотчинный департамент по поводу копий жалованных грамот на имения Карамзиных в Симбирской губернии (см.: Сиверс. С. 138—142), и от 7 марта 1800 года, в котором говорится о покупке крепостного повара (Атеней. 1858. № 19. С. 198—199), и не имеет никакой связи с письмами 1797 года, в том числе и с письмом от 23

lib.pushkinskijdom.ru

декабря этого года. Документальным дополнением к настоящему письму, а также к материалам, приведенным у А.А. Сиверса, является письмо неизвестного лица к О.П. Козодавлеву (1754—1819), с 1800 года директору Герольдии, где шла начатая еще в 1797 году работа над составлением «Общего гербовника дворянских родов». Письмо сохранилось в деле о дворянстве Карамзина в архиве департамента Герольдии (РГИА. Ф 1343. Оп. 23. № 1270. Л. 6). Приводим этот текст: «Милостивый государь Осип Петрович! Как герб рода Карамзиных внесен уже в Гербовник, порутчик же Николай Михайлович Карамзин желает иметь со оного копию, то я, зная, как, думаю, и Вашему превосходительству известно, что он принадлежит к тому роду и происходит от жалованных поместь(ями) предков, покорнейше прошу Ваше превосходительство приказать выдать ему г-ну порутчику Карамзину с родового его герба копию. Пребываю с истинным почтением и совершенною преданностию Вашего пр-ва М.Г.». Подпись отсутствует; письмо — черновик. Помета: «Слуш(али) 4 декабря 1800».

И. З. Серман (Израиль)

ПУШКИН И НОВАЯ ШКОЛА ФРАНЦУЗСКИХ ИСТОРИКОВ

(ПУШКИН И П. ДЕ БАРАНТ)

Мне уже приходилось писать о той странной и совершенно неисторической оценке, которую получила в науке пушкинская историческая трагедия «Борис Годунов», — оценке, которая превращает историзм Пушкина 1825—1826 годов в очень близкое подобие собственных представлений данного исследователя.[1] Психологически понятное стремление найти у Пушкина объяснение новому историческому опыту приводит к тому, что автор «Бориса Годунова», старательно избегавший в своей трагедии аллюзий, превращается в одного из создателей теории «народности», с 1930-х годов получившей аксиоматическое признание в советской науке. Как и тридцать лет тому назад, мы и сегодня не располагаем прямыми указаниями на интерес Пушкина к новой школе историков во Франции; школе, заявившей о себе к 1824 году в работах Тьерри, Минье, Баранта, Тьера, по сравнению с которыми Лемонте, восхищавший Пушкина в том же 1824 году, воспринимается как эпигон Вольтера.

Для определения сути исторических взглядов Пушкина 1825 года мы располагаем его суждениями о Карамзине-историке и, что нас особенно занимает, о карамзинской методологии анализа исторических фактов. Если мы при этом отделим пушкинские суждения о Карамзине-историке от пушкинских оценок Карамзина-политика, то мы сможем представить себе, в чем Пушкин видел значение «Истории государства Российского» для своей исторической трагедии. Уже в конце 1827 года Пушкин в статье «Письмо к издателю “Московского вестника”» писал о своих надеждах, что «трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов...».[2] В начале 1830 года умение Карамзина «постигнуть» «добродушие» древних летописцев стало у Пушкина характеристикой методологии Карамзина-историка: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике... Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи» (с.36).

Заметим, что о своем старшем современнике, знаменитом писателе и виднейшем русском политическом мыслителе, Пушкин говорит как о монахе XVI века, современнике Ивана Грозного и Бориса Годунова. Ученик Вольтера-историка не мог бы восхититься «иноческим простодушием летописцев», он увидел бы в летописях только невежество и суеверие средних веков. Для того чтобы посмотреть на летописцев иначе, надо было отказаться от абстрактности социально-политических идей XVIII века и воспринять инос

[1] См.: *Serman I.Z.* Paradoxes of the Popular Mind in Pushkin's «Boris Godunov». SEER. 1986. January. Vol. 64. № 1. P. 25—39.

[2] *Пушкин А.С.* Собр.соч.: В 10 т./ Под общей ред. Ю.Г.Оксмана и др. М., 1962. Т.6. С.283. Далее ссылки на т.6 в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

представление об истории. Можем ли мы предположить, что уже во время работы над трагедией Пушкин ознакомился с некоторыми образцами новой исторической методологии?

О книге Проспера де Баранта «История герцогов Бургундских» (1824) как о возможном источнике исторических представлений Пушкина мы, тогда студенты филологического факультета Ленинградского университета, впервые услышали в середине 30-х годов от профессора Г.А.Гуковского. Он предполагал, что в трагедии «Скупой рыцарь» Пушкин для воссоздания атмосферы эпохи воспользовался книгой Баранта.

Через несколько лет, в 1940 году, вышла фундаментальная монография Б.Г.Реизова о французской романтической историографии, тогда из-за вскоре начавшейся войны оставшаяся незамеченной.[3] С тех пор к Баранту ни историки, ни литературоведы-пушкинисты не обращались. Между тем, как мы предполагаем, для анализа исторических представлений Пушкина в его трагедии «Борис Годунов» именно нашумевшая в 1824 году во Франции книга Баранта может иметь немалое значение.

Первое известное нам суждение Пушкина о новой исторической школе было им высказано в отзыве об «Истории русского народа» Николая Полевого (статья вторая) в марте 1830 года: «Г-н Полевой сильно почувствовал достоинства Баранта и Тьерри и принял их образ мнений с неограниченным энтузиазмом молодого неофита. Пленяясь романической живостью истины, выведенной перед нас в простодушной наготе летописи, он фанатически отвергнул существование всякой другой истории» (с.37). Характерно, что, не разделяя увлечения Полевого «мнениями» Баранта и Тьерри, Пушкин характеризует их манеру изложения почти теми же словами, что и манеру Карамзина.

К этому времени Пушкин этих историков, конечно, прочел, но, может быть, у него была возможность ознакомиться с ними и раньше? Обратимся к русским журналам 1825 года, которые были для ссыльного поэта основным источником информации. В июле 1825 года в журнале Николая Полевого «Московский телеграф» сообщалось «о блестящем успехе сочиненной г-м Барантом "Истории герцогов Бургундских"», а в августе журнал поместил перевод отрывка из II тома этой «Истории», предварив его общей оценкой историографической манеры Баранта: «Мы упоминали (Тел. № X. 169) о блестящем успехе сочиненной г-м Барантом "Истории герцогов Бургундских". Она печатается уже 2-м изданием и обратила на себя общее внимание. Французы говорят что г. Барант создал новый род истории, доныне неизвестный, и надобно признаться, что он показал новую сторону в искусстве писать Историю. Он собственно разсказывает события, а не пишет истории; оживляет пред глазами читателей прошедшие поколения и заставляет их говорить. Читая его книгу, забываете, что это не роман, и кажется, В.Скотт подал Баранту мысль, писать историю таким образом. Надобно прибавить, что г. Барант отличный критик, и что рассказ его чрезвычайно верен. ⟨...⟩ Предлагаем отрывок из II тома "Ист. герцогов Бургундских": описание Крестового похода французов въ Венгрию — одно из лучших мест в сочинении г. Баранта. Мы старались, сколько возможно, приближиться к слогу и выражению, какие дал своей Истории г. Барант: старались передать ихъ в точности».[4]

Манера изложения у Баранта действительно должна была удивить Пушкина своей новизной. Историк совершенно устранился, он как бы разрушил временную дистанцию между читателем 1820-х годов и событиями начала XIV века. Но, разрушив дистанцию хронологическую, историк заставил читателя почувствовать с необыкновенной силой дистанцию психологическую между нравами, обычаями и представлениями о жизни людей XIV и XIX веков. Как странно было для читателей Баранта то отношение к немногим солдатам, участникам Крестового похода, которые сумели спастись и добраться до Франции! Пушкин мог прочесть у Баранта (в переводе), например, следующее сообщение: «В начале декабря показались во Франции люди, полунагие и умирающие с голода, холода и изнурения: они разсказывали печальные новости. Это были воины, убежавшие с кровавого побоища, где погибло французское воинство. Они появились и в Париже. Народ не верил им, называл

[3] *Реизов Б.Г.* Французская романтическая историография. Л., 1940.
[4] Московский телеграф. 1825. Ч.IV. № 15. Август. С.181—182.

lib.pushkinskijdom.ru

их злонамеренными бродягами. "Надобно вешать или топить злодеев, разсевающих ложные известия" — так говорили все. Между тем с каждым днем появлялись новые беглецы и приносили одинакия известия. Король, замечая смятение, ими, возбуждаемое, запретил говорить о них и о том, что они разсказывали; мнимых злодеев хватали и запирали в тюрьмы».[5]

В этих несчастных современники событий видели не жертв неудачного похода, к которым надо было проявить сострадание, а вестников зла, которых засылают некие бесовские силы. Такая вера во всемогущество злых сил видна и в другом отрывке: «Безпокойства умножились, когда повсюду начали разсказывать о страшных чудесах. Буря опрокинула королевский шатер при Ардре; молва носилась о необыкновенных бурях, все опустошивших в Лангедоке. Там же, люди видели большую звезду, окруженную пятью небольшими звездами. Потом было видение человека, ударяющего копьем в большую звезду; в то же время в небе раздавались страшные крики. На пределах гвианских слышали звуки оружия, шум битвы и видели сражающихся людей. Такие разсказы опечалили и устрашили всех: о них вспомнили и еще более увидели их вновь, когда получили неопределенное известие о несчастных событиях».[6]

Карамзин, если приводил подобные сообщения современников, обычно сопровождал их строгими критическими замечаниями.[7] Барант, как видно из приведенных текстов, своего отношения к этим сообщениям не заявляет совершенно. Они для него голос эпохи и потому интересны и важны.

Эпоха у Баранта и тогда, когда он пересказывает хроникеров, осуждавших поведение французских рыцарей во время их длительного похода по немецким землям: «Войско прошло Баварию и Австрию, везде дружески принятое, особенно герцогомъ Австрийским, зятем герцога Бургундскаго. Все рыцари показали себя в блестящем виде. Можно было почесть их государями: так велики были их обозы и расходы! Юный начальник воинства окружил себя знатнейшими юношами; безпрестанно давали пиры и увеселения, жили в неге дворской, а не в порядке воинском. На Дунае нагрузили суда лучшими винами и запасами. Многие везли с собою женщин развратнаго поведения, другие вели безпорядочную жизнь в тех землях, где проходили; в то же время, простые воины обижали и грабили жителей. Напрасно служители церкви употребляли все усилия извлечь из бездны разврата и буйства христианское воинство: они угрожали небесным мщением, но их не слушали».[8]

Как Пушкин писал в незаконченном предисловии к «Борису Годунову»: «... в летописях старался я угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени» (с.300). Более того, как известно, он ввел в свою трагедию одного из тех, кто этот «образ мыслей» и «язык» выражал литературно — русского летописца, и создал Пимена. «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия...» (с.283).

«Характер» Пимена на самом деле целиком принадлежит Пушкину, конечно, и создан его творческой фантазией. У Карамзина он нашел только это имя. Работа над «Сценой в Чудовом монастыре», где появляется Пимен, по неясным для нас причинам приостановилась в январе 1825 года. Судя по черновой редакции половины этой сцены, у Пушкина были сомнения и по поводу самого характера летописца, и по поводу распределения реплик между Пименом и Григорием. Возобновлена была работа над трагедией летом, но когда «Сцена в Чудовом монастыре» получила окончательную отделку, мы не знаем. Позволю себе высказать догадку, что работа над этой сценой, как и вообще над трагедией, происходила

---

[5] Там же. С.191.
[6] Там же. С.190.
[7] См.: *Serman I.Z.* Op. cit. P.31.
[8] Московский телеграф. 1825. Ч.IV. № 15. С.192.

lib.pushkinskijdom.ru

уже после того, как Пушкин получил представление о книге Баранта по «Московскому телеграфу».

Новизна книги Баранта заключалась не только в манере изложения, но и в стремлении показать эпоху через ее собственное самосознание, совершенно несходное с самосознанием людей XIX века. В этом принципиальное отличие Баранта от Карамзина. Последний не ставил перед собой задачи воспроизвести самосознание эпохи, дать ей возможность говорить о самой себе. У Карамзина это если и получалось, то как бы независимо от его намерений, — главным образом за счет обильного цитирования летописей и других документов прошлого. Поэтому, кстати сказать, Пушкин так ценил примечания к «Истории государства Российского»: именно там были сосредоточены документальные цитации. Карамзин, как человек XVIII столетия, не мог отказаться от «апофегм» и нравственных сентенций; он хотел и, более того, считал себя обязанным высказать свою точку зрения на людей и события прошлого. Насколько такое отношение к историческому материалу, для Карамзина естественное, было для Пушкина неприемлемым, видно из сохраненного Денисом Давыдовым рассказа Ермолова: «Ермолов сказал ему однажды: "Хотя Карамзин есть историк-дилетант, но нельзя не удивляться тому терпению, с каким он собирал все факты и создал из них рассказ, полный жизни". В ответ на это Пушкин сказал ему: "Читая его труд я был поражен тем детским, невинным удивлением, с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как будто для государей это не есть дело весьма обыкновенное"».[9]

Необходимость «придумать» Пимена говорит о том, что Пушкину нужен был персонаж, сознательно осмысляющий прошлое. В рассказе Пимена Григорию Иван Грозный появляется как смиренно верующий и кающийся в своих грехах «уставший от гневных дум и казней» человек. Но это не единственная точка зрения на Ивана Грозного в трагедии Пушкина. Афанасий Пушкин в разговоре с Шуйским вспоминает иное: как жгли на площадях людей, а царь Иван (и тут же суеверно: «не к ночи будь помянут!») своим жезлом подгребает угли. И хоть он утверждает, что Борис правит так же, в перечислении ужасов слышится незабытый страх.

Свое суждение об Иване высказывает еще один, придуманный Пушкиным (история о нем ничего не знает!) персонаж — сын князя Курбского, сторонник Самозванца. Разговор между ним и Самозванцем дает Пушкину повод ввести упоминание о Курбском-отце и поставить перед историей «на равных» гонителя и гонимого. В ответ на сообщение о его смерти Самозванец говорит:

Великий ум! Муж битвы и совета!
...Несчастный вождь! Как ярко просиял
Восход его шумящей, бурной жизни.
Я радуюсь, великородный витязь,
Что кровь его с отечеством мирится,
Вины отцов не должно вспоминать.

Таким образом, и «изменник» Андрей Курбский вводится в трагедию как внесценический персонаж.

Настойчиво вводимые внесценические персонажи — Иван Грозный, Андрей Курбский и среди них, разумеется, убитый царевич Дмитрий — создают в трагедии Пушкина необходимую ему историческую перспективу, дают зрителю возможность понять предысторию того, что происходит или должно произойти на сцене. Зритель в конце 1820-х годов (если бы Борис Годунов был допущен на сцену) мог бы сопоставить то, что в трагедии происходит, с тем, что этим событиям предшествовало и их подготовило. Но это только одна и, может быть, не самая главная функция припоминаний о несценических персонажах. У них есть еще и другое назначение. В отличие от Баранта, ставившего себе целью воспроизвести строй сознания и образ мыслей эпохи, по его убеждению не обладавшей полнотой самосознания, Пушкин в исторической памяти людей начала XVII века увидел особую форму

[9] *Давыдов Денис.* Военные записки. М., 1940. С.381—382.

lib.pushkinskijdom.ru

политической мысли, свойственной тому времени в России, их тип сознания и самосознания. Без насилия над историческим материалом, без перелицовки его в духе каких-либо модных политических теорий XIX века Пушкин нашел у людей Смутного времени то, что знал в себе и в своих друзьях — интерес к истории, стремление ее понять и объяснить себе ход событий.

Самосознание эпохи Пушкин сделал центральной темой и содержанием своей трагедии, воспользовавшись для этого методологическим опытом новой историографии и в первую очередь «Историей герцогов Бургундских». Интенсивная умственная работа персонажей трагедии по припоминанию и объяснению прошлого создает в трагедии Пушкина внутреннюю историческую дистанцию. Трагедия о начале XVII столетия переносит зрителей еще на полстолетия вглубь — в середину XVI века.

Теперь следует вернуться к той характеристике Пимена, которую дает сам Пушкин и которую мы привели выше, — вернуться для того, чтобы проверить, насколько Пимен, мыслящий и действующий у Пушкина, отвечает тому образу, который предлагал Пушкин читателям задуманного им предисловия к «Борису Годунову». Ведь слова Григория о том, что Пимен «добру и злу внимает равнодушно», очень скоро опровергаются суждениями и отзывами самого Пимена. Весь большой монолог Пимена проникнут откровенными симпатиями и антипатиями. Прощая Грозному все ужасы его правления за стремление покаяться, восхваляя Федора за его смиренномудрие, Пимен безоговорочно осуждает Бориса. Для того чтобы сделать его убежденным обвинителем Бориса, Пушкин сделал своего вымышленного Пимена свидетелем и очевидцем Угличской драмы. Более того, чудо, свидетелем которого (по его словам) стал Пимен, придумано Пушкиным; его нет ни у Карамзина, ни в других доступных Пушкину источниках.

Сила политических страстей и ригоризм нравственных оценок в русских сценах «Бориса Годунова» показаны контрастно тому вечному празднику жизни, который мы видим в польских сценах трагедии. Этих сцен по первоначальному плану трагедии не было совсем. Они понадобились Пушкину для создания еще одной, внутренней на этот раз, культурно-исторической дистанции.

Мне приходилось об этом писать, и я показал, как это сделано у Пушкина в эпизоде с польским поэтом, которого так радостно и с таким пониманием принимает Самозванец (и сам поэт!), тогда как русские люди, окружающие Самозванца, не знают слова «поэт» и не представляют себе, кто это может быть. Вся стилистика польских сцен непохожа на стилистику русских сцен «Бориса Годунова». В разговоре с польским поэтом Самозванец ему отвечает:

Я верую в пророчества пиитов.
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Его ж они прославили заране!

Пожалуй, нет необходимости доказывать, что стилистически эта реплика Самозванца воспроизводит стилистику русской поэзии XVIII—начала XIX века. В сценах в замке Мнишка в Самборе персонажи (поляки и Самозванец) говорят языком пушкинской поэзии, а не языком летописей. Монолог Мнишка мог бы, если переменить имена, свободно войти в поэму или драму из русской жизни 20-х годов XIX века:

Мы, старики, уж нынче не танцуем,
Музыки гром не призывает нас,
Прелестных рук не жмем и не целуем —
Ох, не забыл старинных я проказ!

В польских сценах говорит европеизированная культура Польши и контраст этих сцен с русскими сценами трагедии создает ту самую дистанцию, о которой мы говорили выше. Обе группы сцен оттеняют друг друга, а польские сцены, в которых автор говорит языком своего времени, должны были дать зрителю живое ощущение исторической дистанции

lib.pushkinskijdom.ru

между русской жизнью начала XVII века, так непохожей внешне на русскую жизнь пушкинского времени, но внутренне более ему близкой, чем похожая на XIX век изящная и нарядная Польша.

И в русских, и в польских сценах Пушкин, в полном согласии с Барантом, «оживляет перед глазами читателей прошедшие поколения и заставляет их говорить».[10] Конечно, Пушкин в Михайловском еще не прочел многотомного сочинения Баранта, его знакомство с «Историей герцогов Бургундских» ограничилось, по-видимому, немногими страницами перевода, данного в «Московском телеграфе». Для Пушкина, однако, этого было достаточно, чтобы уловить суть нового подхода к историческому материалу и воспользоваться им в своей трагедии.

Позволю себе отметить еще одно принципиально важное сходство между исторической философией Баранта и Пушкина. Уговаривая Басманова, главнокомандующего правительственными войсками, перейти на сторону Самозванца, Гаврила Пушкин говорит:

> Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
> Не войском, нет, не польскою помогой,
> А мнением; да! мнением народным.

Весь ход трагедии подтверждает справедливость этих слов. Барант же писал свою книгу именно как историю общественного мнения; более того, он называл общественное мнение главным действующим ее лицом.[11]

В отрывке, опубликованном Полевым в «Московском телеграфе», сделана попытка проникнуть в мысли и мнения людей эпохи крестовых походов. Такая задача была близка Пушкину.

Н.Н. Мостовская

ПОВЕСТЬ ТУРГЕНЕВА «ПОСЛЕ СМЕРТИ (КЛАРА МИЛИЧ)» В ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Последняя повесть умирающего Тургенева, завершающая цикл его «таинственных» штудий, принадлежит, пожалуй, к самым загадочным в его творчестве.

Природа этой загадочности кроется, по-видимому, как в сложной философско-этической проблематике (раздумья о жизни и смерти, вере и безверии, идеальной любви и бессмертии, заземленно-реальном и мистическом, сложно вплетенном в человеческое существование), так и в поэтике повести, построенной как замкнутое целое, с прозрачным сюжетом, и вместе с тем исполненной метафорической символики, обилием реалий и реминисценций, многие из которых остались вне поля зрения исследователей. Между тем осмысление наиболее существенных элементов художественной структуры повести позволит уяснить ее связь с другими тургеневскими замыслами, с общественно-литературным контекстом; объяснит и своеобразие художественного метода позднего Тургенева, выбивающегося из привычного представления о нем как о завзятом реалисте.

Разумеется, вопрос о художественном методе позднего Тургенева не может решаться в изоляции от всего творчества писателя, и тем более цикла «таинственных повестей», но некоторые суждения о нем возможны и на более локальном материале — сопоставительном и стилистическом анализе поэтики одной повести, стоящей в его творчестве особняком.

---

[10] Московский телеграф. 1825. Ч.IV. № 15. С.181.
[11] См.: *Реизов Б.Г.* Указ.соч. С.146—148.

lib.pushkinskijdom.ru

Вне поля зрения тургеневедов (о «После смерти» писали многие[1]) осталась такая существенная особенность поэтики повести, как ее литературность, обильная насыщенность текста скрытыми и явными источниками, умело используемыми Тургеневым и для усиления своей художественной концепции, и в полемических целях.

И современники, и последующие критики, интерпретаторы тургеневского шедевра, обращались преимущественно к поискам прототипов. Основное достоинство писателя усматривалось в том, что он, как всегда, шел по следам реальных событий: самоубийство Евлалии Кадминой во время спектакля в Харьковском драматическом театре в 1881 году и «посмертная влюбленность» в нее петербуржца В.Д.Аленицына (влюбленность, которая приобрела форму психоза).[2] Тургенев действительно живо интересовался подробностями этого трагического происшествия. Подтверждение тому содержится в его переписке с Ж.А.Полонской, М.Г.Савиной, в воспоминаниях А.Н.Луканиной, Л.Ф.Нелидовой. В то же время писатель заботился и о том, чтобы повесть не воспринималась слишком узко и прямолинейно.

Так, в письме к доктору А.Б.Бертенсону (от 19 (31) января 1883 года) речь шла о ее внутреннем, скрытом смысле. «История Кадминой (лично с которой, т.е. с Кадминой, я знаком не был), — писал Тургенев, — послужила мне только толчком к написанию моей повести. Биография Клары мною вымышлена, а также и ее отношения к Аратову, типу, сохранившемуся в моей памяти еще со времен молодости».[3] Известно, что Тургенев назвал «После смерти» «психологическим этюдом». Об этом вспоминает писательница А.Н.Луканина, мемуаристка, заслуживающая доверия. Она же рассказывает о недовольстве Тургенева переменой заглавия повести, состоявшейся по инициативе М.М.Стасюлевича, который нашел тургеневское заглавие «После смерти» «слишком lugubre (мрачным. — *Н.М.*) и изменил — назвал рассказ именем этой женщины («Клара Милич»), а оно и не идет вовсе, потому что она тут лицо вполне второстепенное».[4] В рукописи и корректурных гранках первого номера «Вестника Европы» за 1883 год повесть называлась «После смерти» (С, 13, с.*575*).

Самый проницательный читатель Тургенева, П.В.Анненков, первым возмутился ошибкой Стасюлевича. Он же по существу выделил и главный трудно уловимый мотив в художественной тональности повести. «Не подумал *осле*, — писал он Тургеневу в одном из неопубликованных писем, — что *именные* заглавия выражают намерения автора представить тот или иной *тип*, а тут не в типе дело, а в редком и замечательном психическом явлении».[5] Спустя некоторое время после выхода повести в свет Анненков разъяснил свою мысль: «Дело совсем не в разительном сходстве портрета с несчастной Кадминой, чем, кажется, всего более занята публика, а в психическом процессе, вызванном ее страстью у человека, не распознавшего ее при жизни».[6] Сказано, как всегда у Анненкова, сложно, но необычность предмета повествования, в котором переплетаются и объясняют друг друга

---

[1] См.: *Родзевич С.И.* Тургенев: К столетию со дня рождения. 1818—1918: Статьи. Киев, 1908. С.128—135; *Петровский М.* Таинственное у Тургенева // Творчество Тургенева. М., 1920. С.70—97; *Пумпянский В.* Группа «таинственных повестей» // Тургенев И.С. Соч. М.; Л., 1929. Т.8. С.V—XX; *Курляндская Г.Б.* «Таинственные повести» И.С.Тургенева: (Проблема метода и мировоззрения) // Учен. зап. Курск. пед. ин-та. Т.74 (Третий межвуз. тургеневский сб.). Орел, 1971. С.51—70; *Анненский И.Ф.* Книги отражений. М., 1979. С.36—43; *Муратов А.Б.* Тургенев-новеллист. Л., 1985. С.95—102; *Натова Н.* Мистические повести Тургенева // Записки рус. акад. группы в США. New-York. 1983. Т. XVI. С. 126—149.

[2] См.: *С.У.[Уманец С.]* Мозаика (Из старых записных книжек) // Исторический вестник. 1912. № 12. С.1029—1030; *Кауфман А.Е.* Портреты и силуэты (Из записной книжки старого журналиста) // Наша старина. 1917. № 2. С.92; *Поляк Л.М.* История повести «Клара Милич» // Творческая история: Исследования по русской литературе. М., 1927. С.237; *Назарова Л.Н.* Комментарий к «Кларе Милич» (С. 13, С. 579—581).

[3] *Тургенев И.С.* Полн.собр.соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Л., 1968. Т.13. Кн.2. С.157. Далее ссылки в тексте с указанием: П (Письма), С (Сочинения).

[4] А.Н. Луканина почти дословно воспроизводит сказанное писателем во время встречи с ним в Париже в декабре 1882 года. См.: И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969. Т. 2. С. 228. Хотя, судя по письмам к Стасюлевичу, Тургенев дал согласие на изменение заглавия повести (П, 13, кн. 2, с. 99, 103).

[5] ИРЛИ. Ф.7. № 13. Л.89, об.

[6] Там же. Л.95—96.

lib.pushkinskijdom.ru

повседневное и таинственное, обозначена емко. С ним связаны и «бесконечный лабиринт сцеплений» (выражение Л.Толстого) — глубинный подтекст, и его поэтическая оранжировка.

В то же время в таком странном сюжете для Тургенева не было ничего неожиданного. С одной стороны, в нем ощутимо продолжение извечной тургеневской темы — беспомощность человека перед лицом непонятных, таинственных и властных сил природы, подавляющих волю, угрожающих неизбежным уничтожением.[7] С другой — здесь сказался неизменный интерес писателя к важнейшим явлениям эпохи, в том числе к позитивистским воззрениям на природу и человека, распространенным в науке конца века.[8]

Известно, что Тургенев знал об увлечениях спиритизмом, гипнозом, внушением химика А.М.Бутлерова и литератора и зоолога Н.П.Вагнера. В 1871 году писатель присутствовал на публичных лекциях физиолога И.М.Сеченова и принимал участие в его опытах, о чем он сообщал П.Виардо (П, 9, с.41). Он был в курсе полемики Сеченова с К.Д.Кавелиным по поводу книги последнего «Задачи психологии. Соображения о методах и программе психологических исследований» (издававшейся в России в 1872 и 1883 годы).[9] Тургенев назвал ее «солидным и оригинальным философским сочинением» и рекомендовал своему другу Ю.Шмидту для перевода и издания в Германии (П, 9, с.279—280). При этом он сравнивал ее с известной монографией Э.Гартмана «Philosophie des Unbewussten» («Философия бессознательного») (1869), иронически замечая К.Д.Кавелину: «Философ Гартман только потому и имеет успех, что всякую философию отрицает» (П, 9, с.316). То, что внимание Тургенева привлекала философская основа специальной литературы, подтверждается и другими наблюдениями. В 1879 году писатель с восторгом сообщал Стасюлевичу о только что прочитанной статье ученика И.М.Сеченова И.Р.Тарханова «Психомоторные центры у человека и животных» (опубликованной в № 1 «Вестника Европы» за 1879 год): «...просто прелесть. Какая ясность и красивость изложения. Я прочел ее за один присест» (П, 12, кн.2, с.8). Едва ли вне поля его зрения остались и публикация известного психиатра В.Х.Кандинского «К вопросу о галлюцинациях» и его же рецензия на книгу К.Окса «Физиология сна и сновидений» (напечатанные в № 6 и 11 «Медицинского обозрения» за 1880 год), так же как и труды лечившего Тургенева врача-невропатолога Ж.М.Шарко. По-видимому, Тургенев был знаком и с книгой французского писателя (профессора истории и этики в Collège de France) Альфреда Мори «Сон и сновидения», изданной в России в 1867 году и неоднократно переиздававшейся в Париже.[10]

Книга А.Мори (на нее, кстати, много ссылок в работах В.Х.Кандинского, З.Фрейда и др.) посвящена выяснению природы подсознательного, зрительным и слуховым галлюцинациям, навязчивым идеям, основой которых, по мнению ученого, является сосредоточенность мысли (не обязательно безумной) на определенном предмете. А.Мори развивал, в частности, тезис И.Канта о родстве между сновидением и душевным расстройством: сумасшедший все равно, что видящий сны наяву.[11] Аналогичное наблюдение есть и у

---

[7] Исследователи уже обращали внимание на отдельные точки соприкосновения повести с «Вешними водами», с «Перепиской», с романом «Дым», с «Песней торжествующей любви» (тема «стихийности чувства», «торжества в нем какой-то враждебной человеку силы») и с повестями «История лейтенанта Ергунова», «Рассказ отца Алексея» (тема странных и загадочных сил) (см.: *Родзевич С.И.* Указ.соч. С.130; *Муратов А.Б.* Указ.соч. С.101).

[8] См.: *Бялый Г.А.* Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962. С.208.

[9] См. критические отклики И.М.Сеченова в «Вестнике Европы» на первую публикацию книги К.Д.Кавелина в этом же журнале (1872, № 1—4): «Замечания на книгу г.Кавелина "Задачи психологии"» (1872, № 11); «Кому и как разрабатывать психологию?» (1873, № 4); «Несколько слов в ответ на письма Кавелина» (1874, № 7). Полемизируя с К.Д.Кавелиным Сеченов неоднократно возвращался к вопросу о так называемых смутных, неосознанных ощущениях и писал о неправомерности сведения «психического» только к «сознательному» (см.: *Сеченов И.М.* Избр.произв. М., 1952, Т.1. С.208).

[10] Об А.Мори и его трудах см.: *Кандинский В.Х.* О псевдогаллюцинациях. М., 1952. С.86—89. Сопоставления с книгой А.Мори «Сон и сновидения» в связи с анализом «Песни торжествующей любви» см.: *Муратов А.Б.* Указ.соч. С.77—78, 86—88.

[11] Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. С.422, 456; ср.: *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление. СПб., 1891. С.217.

lib.pushkinskijdom.ru

А.Шопенгауэра, называвшего сновидение кратковременным безумием, а безумие продолжительным сновидением. Природа «бессознательного» была также в центре внимания хорошо известных Тургеневу философских штудий Гердера, Шеллинга, Гегеля.

Число специальных трудов, на которые мог опираться Тургенев, можно было бы легко увеличить. И дело не в их количестве, тем более что художник во многом опережал современную науку.[12] По-видимому, внимание к названным работам не имело целью документально точно истолковать мистические мотивы, а связано с глубоким интересом к вечным темам, к непознанному, загадочному в человеческой психике и человеческой судьбе как феномену.

Проблемы подсознательного, таинственного в психической жизни, возможностей человеческой воли звучали в литературе и ранее, в пору расцвета романтизма. Повышенный интерес к вопросам сверхчувственного нашел отражение в творчестве Гофмана, в повестях В.Ф.Одоевского («Саламандра», «Сильфида», «Косморама»), в его «Письмах к графине Е.П.Ростопчиной о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, кабалистике, алхимии и других таинственных науках», в последней повести М.Ю.Лермонтова «Штосс», в поэзии В.А.Жуковского. Тем более естественным представляется внешнее соприкосновение повести Тургенева «Клара Милич» (так же как и других его «таинственных» штудий) с фантастическими повестями начала века.[13] Нетрадиционность тургеневского «психологического этюда» кроется в другом: в его поэтике, в самом методе анализа таинственного, темы подсознательного, открывающего неожиданные возможности психологической фантастики.

В связи с этим особый интерес представляет мозаика литературных реалий, аллюзий, реминисценций самого широкого диапазона, которыми изобилует текст: от библейских, мифологических, фольклорных до классики. Одни из них завуалированы, например Э.По, Кальдерон, Гоголь. Другие, как правило, точно цитируются, свободно переосмысляются, выполняя роль символов или эпических сравнений, усложняющих и обогащающих поэтическую нюансировку.

В числе отсылок к чужому тексту, составляющих содержательно значимые компоненты тургеневской повести, выделяются роман В.Скотта «Сен-ронанские воды» (в повести назван русский перевод романа 1828 года под таким названием) и стихотворение второстепенного поэта 1840-х годов В.И.Красова «Клара Моврай» (1839), написанное после чтения романа В.Скотта; строка из стихотворения Ф.Шиллера «Siegesfest» (1803) «Мертвецы продолжают жить», в переводе Жуковского звучащая как «Жизнь отживших неизменна», и роман Ф.Шиллера «Духовидец» (1789), в котором речь идет о неизъяснимых тайнах природы; лирическая трагедия В.Шекспира «Ромео и Джульетта»; романс Чайковского на слова Гете в переводе Л.А.Мея «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду...» (1857) и романс Глинки «Только узнал я тебя» (на слова «Романса» А.А.Дельвига, 1823); строки из стихотворения А.Мицкевича «Разговор» (1825) «Я буду любить до скончания века... и по скончании века»; пьесы А.Н.Островского, «Евгений Онегин» Пушкина.

Свободная апелляция к «чужому слову» (и в этом Тургенева можно сравнить с Пушкиным) художественно вполне оправдана. Сама онтологическая тема любви и смерти (центральная в повести) предполагала соотношение с классическими вехами и поэтическими знаками разных эпох. Оставляя в стороне выяснение эстетических функций всех аллюзий, реминисценций (это самостоятельная проблема), остановимся лишь на некоторых наблюдениях (не привлекавших внимания исследователей), связанных с поэтической системой повести и стилистическими исканиями позднего Тургенева.

---

[12] В частности, повесть «Странная история» (1869), в которой речь идет о гипнозе и внушении, написана в то время, когда даже специалисты имели о гипнозе весьма превратное представление (см.: *Чиж В.Ф.* Тургенев как психопатолог. М., 1899. С. 89). А сновидения Аратова («Клара Милич»), если их трактовать по З.Фрейду, вполне укладываются в рамки истории болезни человека, страдающего навязчивой идеей, подсознательным чувством вины, неосуществленным желанием и т.д.

[13] См. об этом: *Зельдхейи-Деак Ж.* «Таинственные повести» Тургенева и русская литература XIX века // Studia Slavica. 1973. Budapest. T.XIX, fasc. 1—3. С. 353—354; ср.: *Турьян М.А.* Странная моя судьба: О жизни Владимира Федоровича Одоевского. М., 1991. С.321.

lib.pushkinskijdom.ru

Роман В.Скотта «Сен-ронанские воды» в повести только назван. На первый взгляд он лишь характеризует круг чтения героя (Аратова), его духовный мир. «Полное собрание сочинений Вальтера Скотта находилось в библиотеке его отца, который уважал в английском романисте серьезного, чуть не научного писателя» (С, 13, с.90). Вот и все, что сказано у Тургенева по этому поводу. Но обращение к английскому романтику и просветителю, автору поэм и исторических романов, в которых органически сочетались эпохальное и бытовое, частная жизнь с мотивами таинственного, иррационального, имеет и более глубокий смысл.

«Сен-ронанские воды» — роман о трагической любви. Его героиня — Клара Мобрай — натура незаурядная, независимая («характер и образ мыслей ее были слишком тверды, чтобы кто-нибудь мог по своей воле располагать ими»[14]) и не лишенная странностей. Эпитет «странная» по отношению к ней упоминается в романе Вальтера Скотта неоднократно.[15] (Звучит он и в повести Тургенева). Клара кончает безумием и смертью.

Роман был прочитан Аратовым накануне случайной встречи на литературном утре с совершенно незнакомой молодой актрисой Кларой Милич (ее артистический псевдоним). Чтение и пение ее ему не понравилось, но вызвало в душе беспокойство, «странное ему самому неясное волнение», «закорючка засела ему в душу», и девушка показалась «странной» (С, 13, с.83, 89).

На память Аратову беспрестанно и навязчиво приходят стихи В.И.Красова, навеянные романом В.Скотта:

> Несчастная Клара! безумная Клара!
> Несчастная Клара Мобрай!
>
> (С, 13, с.90).

При этом в сознании героя не возникает никаких определенных ассоциаций. Эти строки вспоминаются противувольно. Тургенев нигде не обмолвился о сходстве коллизий, облика героинь, хотя объективно оно безусловно есть.[16]

Важно другое. В «Кларе Милич» только одно упоминание романа В.Скотта вместе с двумя стихотворными строками Красова (последние превращаются позднее в рефрен) обрело значение важного поэтического штриха, намека. Эти литературные реалии как бы выполняют функцию своеобразной экспозиции, предопределившей тревожный настрой повести и в известной степени ее завязку. Еще ничто не предвещало трагедии, но «неладная», «негармоничная» нота уже слышна.

Кроме того, они обусловили еще одну особенность художественной структуры повести: совершенно очевидное и, по-видимому, преднамеренное несоответствие между временем действия, означенным в тексте 1878 годом, и литературными интересами Аратова и его друга Купфера, возможными в более раннюю эпоху, в 40-е годы. Ведь и чтение В.Скотта и тем более забытого еще при жизни Красова для 70-х годов явный анахронизм. (Напомним, что Лиза и Лаврецкий, так же как и Сусанна в повести «Несчастная», читали английского романиста значительно раньше: «романы В.Скотта были тогда в славе...» — С, 10, с.127).

---

[14] «Сен-ронанские воды» сира Вальтера Скотта. В шести частях. Перевел с французского М.Воскресенский. М., 1828. Ч.1. С.218. Цитируется издание, упоминаемое в повести Тургенева. Имя героини дается по русскому переводу М.Воскресенского; правильнее Моубрей.

[15] «Рассудок у Клары имел в себе много странностей» (ч.1, с.218); «...нашлось бы много женихов, которые совершенно не заметили ее странностей» (ч.2, с.76); «Несчастная Клара, рассудок которой по-видимому был в совершенном беспорядке» (ч.2, с.43) и т.д.

[16] Иной прием — явное сравнение — используется Тургеневым в повестях «Бригадир», «Наталия Карповна», «Несчастная» в связи с включением в текст романов В.Скотта. Чтение Сусанной романа «Айвенго» («Несчастная») усиливает очевидную близость трагических судеб героинь (см. С, 10, с.127—128). Кстати, здесь назван и поэт Красов. С ним сравнивался другой герой — энтузиаст Цилиндров: «...он был поэт ... и декламировал свои стихи чуть не захлебываясь и замирая — ни дать ни взять покойный писатель Красов» (С, 10, с.455).

lib.pushkinskijdom.ru

Таким же «решительно не подходящим к обществу и образу жизни» своего времени, «нетронутым» представлен в повести и Аратов. Не случайно Тургенев (в письме к Л.Б.Бертенсону) относит этот «тип» к эпохе своей молодости. А проницательный И.Анненский замечает, что многими своими чертами тургеневский герой напоминает идеалиста 40-х годов.[17]

В связи с этим возникает еще одна аналогия. Трагическая судьба Аратова ассоциируется и с судьбой гоголевского мечтателя-романтика художника Пискарева и, как это ни парадоксально, некоторыми чертами своего буднично-заземленного облика (таким он рисуется в начале повести) Аратов сближается с героем другой гоголевской повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Приведу тургеневский текст: «дичился своих товарищей», «ни с кем не знакомился», чуждался женщин; трогательно опекаем тетушкой Платошей с ее неизменной атрибутикой, выдержанной в гоголевском стилевом ключе: «Помози Господи», липовый чай, «Началось! А ему всего двадцать пятый год... Ах, рано, рано!» (С, 13, с.97). Сравним у Гоголя (в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»): «Воно еще молода дытына!» — обыкновенно говаривала тетушка, «несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого сорок лет».[18] Кстати, Шпонька ведь тоже видит сны... про жену «с гусиным лицом», но не таинственные, а по-гоголевски гротескные, «кикиморные» (слово А.М.Ремизова).

По-видимому, подобные «странные сближения» возможны потому, что Тургенев в своем позднем творчестве прибегал к приему «символических характеров», к символам-обобщениям, выражающим безграничность мысли.[19] Эту функцию завуалированно выполняли и литературные реалии повести (в частности, «Сен-ронанские воды» В.Скотта, строки стихотворения Красова). Так прикровенная символика, смешение времени — приметы поэтики — подготавливали самую существенную стилистически-композиционную особенность повести: включение в ее художественную ткань эстетической и философской категории «сон-явь».

О художественной функции снов у Тургенева написано немало и разноречиво, чаще всего в связи с истолкованием мотивов иррационального в его позднем творчестве.[20] А.М.Ремизов назвал Тургенева «сновидцем», подсчитав обилие снов (более тридцати), живущих в его романах и повестях. Он же определил и характер онейрических эпизодов у писателя: «его занимали сны и в рассказах своих он связывал их с реальной жизнью».[21] По сути, здесь обозначена известная особенность поэтики «таинственных» повестей (в том числе и повести «Клара Милич»): сочетание таинственного с прозаически обыденным, фантастического с реальным. В специальной литературе уже отмечалось, что это свойство тургеневского письма (принцип двойной мотивировки) сближало его повести с рассказами Одоевского, Гоголя и других писателей романтиков; восходило к предшественнику Гофману. Действительно, это не собственно тургеневская находка.

Но ведь и тургеневская философская концепция, воплощенная в его «таинственных» повестях в многозначной антитезе: сон-явь, сон-наваждение, сон и сновидения — память,

---

[17] См.: *Анненский И.* Книги отражений. М., 1979. С.39.

[18] *Гоголь Н.В.* Полн.собр.соч. М., 1940. Т.1. С.294. Гоголевская стилевая тональность ощутима и в описании литературного утра, на котором завязываются события повести. Гротескные характеристики «флейтиста чахоточного вида, престарательно прошипевшего... то бишь! просвиставшего пьеску тоже чахоточного свойства», фортепьяниста, «пробарабанившего» листовскую фантазию и «после каждого поклона, взмахивающего волосами совсем как Лист», «толстого человека в очках», прочитавшего басом щедринский очерк («Хлопали очерку, не ему»; он же «воображал себя комиком и прочел сцену из Гоголя, не вызвавши на этот раз ни единого знака одобрения» — С, 13, с.85, 88), создают иронический будничный фон, на котором неожиданно контрастно выглядят «идеальность» Аратова и «как намагнетизированная, как сомнамбула» Клара Милич с ее таинственным загадочным настроем.

[19] Термин Д.С.Мережковского в статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (Полн.собр.соч. М., 1912. Т.15. С. 250); см.также: *Лосев А.Ф.* Логика символа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 258.

[20] См.: *Родзевич С.И.* Указ.соч. С. 128—135; *Петровский М.* Указ.соч. С.81—84; *Улыбина О.Б.* Мотив сна и его художественной функции в повести И.С.Тургенева «После смерти» // Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1982. С. 65—68.

[21] *Ремизов А.* Огонь вещей. М., 1989. С. 174; ср.: *Зельдхейи-Деак Ж.* Указ.соч. С.354.

lib.pushkinskijdom.ru

скрытая, нереализованная энергия мысли и душевных устремлений и, наконец, сон-смерть — генетически связана с античной философией, с фольклорными источниками, с древнерусскими летописями (в которых понятия мечта-наваждение-сон тождественны), с «Диалогами» Платона, с поэмой Лукреция Кара «О природе вещей», с «Размышлениями» Марка Аврелия и всей предшествующей и современной Тургеневу естественнонаучной и философской мыслью. Соприкасается она и с философской драмой П.Кальдерона «Жизнь есть сон» (1632—1635), прочитанной Тургеневым в 1847 году.

В период увлечения испанским драматургом (1847—1848) Тургенев основательно прочитал (на испанском языке) все его крупные философские сочинения: «Поклонение кресту», «Жизнь есть сон», «Чудного мага», «Любовь после смерти», о которых подробно сообщал П.Виардо. В одном из писем к ней сказано, что он совсем «окальдеронизован» (П, 1, с.451). Особенно сильное впечатление произвела на Тургенева философская притча «Жизнь есть сон». Ей посвящено специальное письмо (тому же адресату от 25 декабря 1847 года). «Это один из самых грандиозных замыслов, какие я знаю. В этой драме царствует какая-то дикая энергия, мрачное и глубокое презрение к жизни, удивительная смелость мысли рядом с самым непреклонным католическим фанатизмом». Сопоставляя далее героя драмы принца Сихисмундо с шекспировским принцем Гамлетом, Тургенев особо выделил поразившее его наблюдение: в отличие от нерешительного и бездействующего Гамлета герой Кальдерона «действует... но действуя, он вполне сознает, что жизнь не более как сновидение» (П, 1, с.451).[22]

М.П.Алексеев давно обнаружил, что чтение Кальдерона не прошло для Тургенева бесследно. В частности, сравнение Кальдерона с Шекспиром, параллели между Гамлетом и Сихисмундо расцениваются исследователем «как зародыш одного из сопоставлений, которые получили законченную форму много лет спустя в известной речи Тургенева "Гамлет и Дон-Кихот" (1860)».[23] Это наблюдение можно было бы продолжить. Отблеск философской мысли Кальдерона косвенно преломлен и в повести «Клара Милич». По-видимому, Тургенева привлекла вечная тема непознаваемости, зыбкости, иллюзорности земного бытия, обретшая форму яркого поэтического афоризма («жизнь есть сон»), переосмысление которого встречается у Шекспира («Буря», «Гамлет» — слова «умереть», «уснуть», «видеть сны» звучат в монологе Гамлета как синонимы), у Шопенгауэра, в русской поэзии (Пушкин, Лермонтов, Тютчев и др.).

Было бы ошибочным предпринимать поиски явных реминисценций у Тургенева из Кальдерона (несмотря на некоторое сходство названий — «Любовь после смерти» Кальдерона и «После смерти» Тургенева). Однако, забегая вперед, заметим: финал «Клары Милич» представляется в известной мере прикровенной художественно-философской парафразой лаконичной и емкой метафоры испанского классика, усиливающей таинственный и загадочный подтекст повести.

---

[22] Ср. строки из монолога Сихисмундо, в которых заключена центральная идея философской драмы Кальдерона:

Ведь мы, быть может, только спим
Да только спим, пока мы в мире
Столь необычном, что для нас —
Жить значит спать, быть в этой жизни —
Жить сновиденьем каждый час.
. . . . . .
Что жизнь? Безумие, ошибка.
Что жизнь? Обманность пелены.
И лучший миг есть заблужденье,
Раз жизнь есть только сновиденье,
А сновиденье только сны.

(*Кальдерон П.* Драмы: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 89—90).

[23] *Алексеев М.П.* Тургенев и испанские писатели // Алексеев М.П. Русская культура и романский мир. Л., 1985. С.217. В сохранившемся плане задуманной М.П.Алексеевым (и неосуществленной) работы «Испано-русские литературные взаимоотношения» значится тема «Тургенев и Кальдерон» (там же, с.513).

lib.pushkinskijdom.ru

Антитеза сон-явь выполняла в поэтике тургеневского «психологического этюда» сложную концептуальную функцию, в которой, по выражению Одоевского, сочетались «фантастизм и анализ».[24] «Таинственное», преломленное в снах Аратова, проникнутых аллегорией и символикой, противопоставлено серому будничному однообразию человеческой жизни, с ее «драматизмом, присущим... обычному ходу жизни в его буднично-обыкновенном длящемся обиходе».[25]

Трагизм заурядного, «заземленного» в человеческой судьбе — излюбленная тургеневская тема («...в судьбе почти каждого человека есть что-то трагическое, только это трагическое закрыто от самого человека пошлою поверхностью жизни» — П, 3, с.354) — раскрывается как в повествовании о мертвящей повседневности («...может быть замечательное существо прошло так близко мимо, и я ...оттолкнул» — С, 13, с.104), так и в снах героя. Во сне «чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: "А! ты думал, это все комедией кончится? Нет, это трагедия! трагедия!"» (С, 13, с.128). Композиционно «Клара Милич» построена так, что все в ней разъяснено и взаимосвязано, в том числе и сны, овеянные романтической дымкой ирреального. Вместе с тем оба сна, которые видит Аратов (после того как он случайно узнал из газетного сообщения о самоубийстве Клары Милич), по своей метафорической символике, особой ритмике и философскому подтексту близки (порой даже текстуально) к «Стихотворениям в прозе» — таким, как «Встреча. Сон», «Старуха», «Воробей», «Любовь». Внутренне законченные, они вполне могли бы существовать самостоятельно.

«Облачко, ставшее женщиной в белом платье... с венком из алых роз», повеление следовать за ней, «плоский камень, подобный могильной плите», преградивший дорогу (С, 13, с.106) — атрибутика первого сна, аналогичная поэтической структуре стихотворения в прозе «Встреча. Сон». «Узкая тропинка», «тонкое облачко», ставшее женщиной «в белом платье», «с венком из маленьких роз», «могильная плита» (С, 13, с.199—200) — символика этого стихотворения. «Лодочка золотая», «озеро синее, да гладкое», «громадные лошади... скверно скалят зубы», сад с «чудесными яблоками» (как взглянет на них Аратов, «они морщатся и падают»), «какое-то маленькое существо (на дне лодочки. — *Н.М.*), похожее на обезьяну; оно держит в лапе стклянку с темной жидкостью»; «черный, страшный, воющий вихрь», «крутящаяся мгла», трижды повторенный мотив предупреждения, дурного предзнаменования: «Хорошо, теперь хорошо, а быть худу!» (С, 13, с.127—128) — все это элементы семантики сказочного фольклора, мифологии, использованные Тургеневым во втором сне героя.[26]

В процессе анализа поэтической условности, иносказаний в снах тургеневской повести обнаруживаются и литературные параллели. Известно, что мотивы с мифологическими значениями звучали в «чудном» сне пушкинской Татьяны:[27] «тьма морозная», «страшно тени сгустились; нестерпимый крик раздался... хижина шатнулась...» и др. В двадцать четвертой строфе главы пятой сон Татьяны назван «зловещим».[28] Совсем по-пушкински звучит определение второго сна Аратова, с его погребальной тональностью: «необычайный, угрожающий» (С, 13, с.127).

---

[24] См.: *Одоевский В.Ф.* Запись в дневнике от 30 марта 1865 г. // Лит.наследство. М., 1935. Т.22—24. С.196.

[25] *Скафтымов А.П.* О единстве формы и содержания в «Вишневом саде» А.П.Чехова. М., 1972. С.357.

[26] См.: *Анучин Д.Н.* Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда // Древности. Труды Моск. археологического общества. 1890. Т.XIV. С.81—226; *Потебня А.* Переправа через реку как представление брака // Моск. археологический вестник. 1867—1868. Т.1. С.12; *Пропп В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С.202, 211—214.

[27] См. об этом: *Маркович В.М.* 1) Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения Онегина» // Болдинские чтения. Горький, 1980. С.25—47; 2) О мифологическом подтексте сна Татьяны // Болдинские чтения. Горький, 1981. С.69—81.

[28] *Пушкин А.С.* Собр.соч.: В 10 т. М., 1975. Т.4. С.88, 92, 94. Далее ссылки на этот том — в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

Ассоциации со «зловещим» сном Татьяны возникают не случайно. По-своему преломленное в разных модификациях пушкинское присутствует во всем творчестве Тургенева как характерная примета его поэтики. В «Кларе Милич» пушкинские аллюзии почти на поверхности, хотя они остались по существу вне поля зрения исследователей. А.Б.Муратов лишь мимоходом заметил, что «ситуация "Клары Милич" определенным образом "накладывается" на сюжет "Евгения Онегина"».[29] Это проницательное наблюдение нуждается в разъяснении, существенно важном для выявления особенностей поэтики повести. Обратимся к тексту.

На литературном утре Клара Милич выходит на сцену с томиком стихов Пушкина, она читает «письмо Татьяны», которое у Тургенева обретает символический смысл. Им означено непонятое тургеневским героем то, от чего он боязливо и равнодушно отмахнулся и за что понес кару. Текст письма-исповеди неоднократно обыгрывается в повести. Дома Аратов перечитал Пушкина и «убедился, что та "цыганка" совсем не поняла настоящего смысла этого письма» (С, 13, с.92). Затем «письмо Татьяны» и связанная с ним поэтическая коллизия (центральная у Пушкина) используется Тургеневым и как своеобразный композиционный прием. Пушкинская высокая коллизия воспроизводится в повести кратко, нарочито буднично, с травестийными интонациями. Тем самым усложняется художественный мир повести, акцентируется возможность двойной мотивировки событий, намечается как бы внешняя канва повествования, исполненного намеками, знаками, штрихами, и глубинный подтекст.

Получив записку Клары Милич с приглашением прийти на Тверской бульвар, Аратов боится показаться смешным («с озлоблением размышляет об этой записке, о "цыганке", о назначенном свидании, на которое он наверное не пойдет!» — С, 13, с.93). Затем «внезапно», противувольно, исполненный смущения и сомнения (в стиле героя «Двойника» Достоевского), оказывается на бульваре; Аратов «гневается» и читает прописную мораль, в которой вместо пушкинского изящного, но тоже нравоучительного «учитесь властвовать собой» (с.71) звучат деревянно-казенные штампы типа «милостивая государыня», «вследствие какого странного недоразумения», «мне даже удивительно», «если могу быть вам чем-нибудь полезен» и т.д. (С, 13, с.95, 96). Пушкинские аллюзии здесь едва уловимы, но потенциально существуют в форме намека, осложненного иронической дистанцией, прозаизмом.

В другом месте пушкинское слово (как скрытая цитата и по смыслу оно выделено курсивом) обнаруживается в коротенькой дневниковой записи Клары Милич: «*Он должен решить мою участь*» (С, 13, с.116). Сравним в письме Татьяны: «Судьбу мою отныне я тебе вручаю» (с.62).

Отзвуки пушкинских строк ощутимы и в описании мучительных раздумий Аратова после злополучного свидания с Кларой: «Точно ли он оказал Кларе презрение?» (С, 13, с.104). У Пушкина читаем: «Теперь я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать» (с.60).

В тургеневском тексте просматривается и ряд сюжетных деталей, словно перенесенных из «Евгения Онегина», но при этом заведомо переиначенных: «странность» героини и «идеальность» Аратова (у Пушкина «идеальна» Татьяна, чертами «странности» отмечен Онегин), внушенная Аратову «в ночном кошемаре» поездка в Казань («Коли хочешь знать, кто я, поезжай туда!...» — С, 13, с.107). Пушкинская Татьяна случайно оказывается в господском доме с желанием понять «Того, по ком она вздыхать Осуждена судьбою властной» (с.127).[30] Сцена свидания на Тверском бульваре образует очевидную параллель «объяснению» Онегина с Татьяной в саду (в четвертой главе). Поиски отдельных перекличек можно было бы продолжить. В частности, доминирующий в «Кларе Милич» мотив духовного прозрения, вины, звучащий у Тургенева в сложном переплетении иррационального и сознательного

[29] *Муратов А.Б.* Указ.соч. С.96.

[30] Приведем и другое совпадение, текстуально близкое. Вначале Аратову «казалось, что эта странная девушка интересовала его с психологической точки зрения, как нечто вроде *загадки, над разрешением которой* стоило бы поломать голову» (С, 13, с.103—104; Курсив мой. — *Н.М.*). Ср. с состоянием Татьяны после пребывания в «келье модной» и чтения книг Онегина: «Ужель загадку разрешила? Ужели *слово* найдено?» (с.128).

lib.pushkinskijdom.ru

(сны Аратова), соотносится, в известной мере, с гармонически ясной, но все-таки покаянной темой исповеди Онегина: «Как я ошибся, как наказан» (с.153).[31]

Пушкинские аллюзии, очевидные, иногда едва уловимые и возможно непроизвольные, выполняли функции своеобразных поэтических знаков. Погруженные в другое время, художественно переосмысленные, они усиливали символический смысл повести. Так ассоциации с «Евгением Онегиным» углубляли тему трагизма человеческой судьбы («А счастье было так возможно, так близко!..» — с. 160), раскрываемой Тургеневым в неуловимо причудливом сближении обыденного и таинственного, реального и фантастического. В этой связи особенно характерна аналогия «чудного» (или «зловещего») сна Татьяны (трагическая нота в нем «приобретает сложное звучание, оборачиваясь чувством приближения к "последним" тайнам бытия»[32]) с «необычайным, угрожающим» сном Аратова, окрашенным почти в мистериальные тона.

В финале повести, построенном на взаимопроникновении сна-яви (сознательного и подсознательного), на тождестве сна-смерти (особенность мифологического мышления, согласно которому смерть та же жизнь, но в ином облике), герой не только «приближается к "последним" тайнам бытия», но как бы «проникает» в них. Именно в последних главах в связи с соприкосновениями с таинственными силами (сны Аратова) героя начинают занимать мысли о вечности, о бессмертии души. Пытаясь разгадать, почему он оказался во власти Клары, Аратов размышляет: «А душа, разве она не бессмертна... разве ей нужны земные органы, чтобы проявить свою власть? Вон магнетизм нам доказал влияние живой человеческой души на другую живую человеческую душу... Отчего же это влияние не продолжится и после смерти — коли душа остается живой? Но разве мы — вообще — постигаем, какая цель, что совершается вокруг нас?» (С, 13, с.118—119).[33] На эту тему

---

[31] Узнав о самоубийстве Клары Милич, Аратов ощущает чувство вины, убеждая себя в противном: «Я тут ни при чем... я не виноват! Было бы даже смешно думать, что я виноват» (С, 13, с.104). Внутренний монолог героя выдержан в стилистике «Двойника» Достоевского. Этот же покаянный мотив в совершенно иной тональности звучит в «угрожающем» сне героя и после его «пробуждения». «С торжественной медленностью, как произносятся заклинания», он заговорил: «Если ты понимаешь, как горько я раскаиваюсь в том, что не понял, что оттолкнул тебя — явись!» (С, 13, с.129). Трижды повторенное «явись!», торжественно-приподнятый стиль, музыкальная ритмика, поэтичность монолога — все это ассоциируется с высокой эмоциональной настроенностью стихотворения Пушкина «Заклинание»:

О, если правда, что в ночи
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!
Явись возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук, иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!...
(т.2, с.245)

[32] Маркович В.М. Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения Онегина». С.34.

[33] Мысль о «вечной проблеме смерти», о тщете всего земного, о невозможности осуществления мечты присутствует во всем творчестве Тургенева («Живые мощи», «Фауст», «Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Стихотворения в прозе»), в его письмах, в том числе к Е.Е.Ламберт, П.Виардо. В одном из них (к Е.Е.Ламберт 12/24 декабря 1859 года), написанном в период работы над статьей «Гамлет и Дон-Кихот», Тургенев размышлял о преследующей его «постоянной мысли о тщете всего земного, о близости *чего-то*, что я теперь назвать не умею. Слово: смерть — вполне не выражает этого *чего-то*, а потому обращение к Богу — рядом с порывом на заповедные, зеленые луга. Но должно быть лампа вспыхивает в последний раз перед концом» (П, 3, с.385). Ср. с письмом к П.Виардо (от 9/21 марта 1871 года), где речь идет о неразгаданной тайне смерти (П, 5, с.279).

lib.pushkinskijdom.ru

Аратов ведет разговор и с тетушкой Платошей (верит ли она в бессмертие души), обращается к Библии в связи с поразившим его изречением: «Смерть, где жало твое?».

Тургенев редко апеллировал к реминисценциям из Священного писания. В «Кларе Милич» они повторяются многократно. «Смерть, где жало твое?» представляет собой изречение из «Слова Иоанна Златоуста», почерпнутого из Библии (Кн. пр. Осии, гл.13, ст.14). «Любовь сильнее смерти» — несколько измененная цитата из Книги Песни Песней Соломона: «Ибо крепка, как смерть, любовь» (гл.8, ст.6). «Больше сея любве никто же имать, да кто душу положит за други своя...» — цитата из Евангелия (от Иоанна, гл.15, ст.13).

Последнее изречение Аратов поправляет. «Не так сказано. Надо было сказать: Больше сея власти никто же имать...» (С, 13, с.121). Тем самым усиливается мотив вины и возмездия. Все эти библейские изречения выполняют многозначную смысловую нагрузку. Они как бы цементируют и углубляют содержание повести, насыщая его символикой до предела.

Давно установилась традиция истолковывать библейское изречение «Любовь сильнее смерти» и соответственно философский смысл повести преимущественно в мажорном ключе как символ бессмертия, веры в нетленную силу человеческого духа и его высшее проявление — любовь.[34] Согласно этой традиции, на первый взгляд, возможна и аналогия с заключительными словами статьи «Гамлет и Дон-Кихот»: «Все минется, — сказал апостол, — одна любовь останется» (С, 8, с.191) и стихотворения в прозе «Воробей»: «Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь» (С, 13, с.163). Но ведь повесть заканчивается не только изречениями из Книги Песни Песней Соломона и «Слова Иоанна Златоуста», но и трагической нотой: «блаженной» улыбкой на лице умирающего, «от которой так жутко становилось бедной старухе» (С, 13, с.134). При этом библейские цитаты звучат здесь без какой-либо дидактической интонации (как это было в «Гамлете и Дон-Кихоте» и в стихотворении в прозе «Воробей»), напротив, они снабжены риторическими вопросами, усиливающими их многозначность: «Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти? Смерть! Смерть, где жало твое?» (С, 13, с.134).

Очевидная недосказанность, двойственность финала создавалась переплетением высоких библейских мотивов, фольклорной символики в сочетании с бытовыми зарисовками. Авторский комментарий в повести полностью отсутствует. Текст соткан из намеков, символов, штрихов, снов, иносказаний. В таинственных снах и «видениях» Аратова воспроизводится символика фольклорного обряда соумирания,[35] согласно которому умерший до брака начинает преследовать оставшегося в живых (оба героя «нетронутые», и в этом Аратов видит «власть» над собой Клары); прядь волос Клары, оказавшаяся в руке умирающего Аратова — символическая замена участницы «посмертного» брака; таинственный поцелуй Клары в «видении» героя соотносится с одним из народных поверий: смерть «зацеловывает» человека. Вся эта символика (так же как и сказочная символика снов, о которой речь шла выше) создавала чувство тайны, иносказательный язык, присущий высокому романтизму, соответствующий идеальной любви, созданной в воображении героя-мечтателя. Не случайно в предсмертном бреду Аратов сравнивает себя с Ромео.

Вместе с тем таинственное, фантастическое, сопряженное с подчеркнуто прозаическими сценками, вызывает и комический эффект. Таинственный свет как предвестие ночного посещения Клары оказывается светом от свечи, поставленной тетушкой Платошей; появление тетушки в кофте и ночном чепце с красным бантом вместо ночного «видения» (Клары — на голове у ней «венок из алых роз» — С, 13, с.123) заставило героя расхохотаться и заметить на следующий день по поводу этой «замены»: «Экие романтические затеи, подумаешь» (С, 13, с.124).

Не все в поэтике и стилистике последней «таинственной» повести поддается разъяснению, многое остается загадочным и требует специального исследования (в частности, очевидное,

---

[34] См.: *Муратов А.Б.* Указ.соч. С.99—100.

[35] См.: *Еремина В.И.* Ритуал и фольклор. Л., 1991. С.166—168; *Юдин И.Ю.* Фольклорно-этнографические истоки сюжета повести И.С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)» / Литература и фольклорная традиция. Волгоград, 1993. С. 41—44.

lib.pushkinskijdom.ru

но скрытое соприкосновение с психологической фантастикой Достоевского). Но и обнаруженные особенности поэтики «Клары Милич», в том числе соположение в ней библейских, мифологических, фольклорных и литературных мотивов и реминисценций, аллюзий, углубляющих символическую энергию повести и ее многозначный философски-медитативный подтекст, представляются характерными для творческих поисков позднего Тургенева, открывающего своими «таинственными» повестями, «Стихотворениями в прозе» новые пути в развитии искусства конца века.

ПЕРЕПИСКА К. Р. с Н. Н. СТРАХОВЫМ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА, ПУБЛИКАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ Л.И.КУЗЬМИНОЙ)

К.Р. — литературный псевдоним великого князя Константина Константиновича; из этого явствует, отчего это имя было вычеркнуто из истории нашей культуры.

Между тем имя поэта К.Р. в свое время было широко известно. Появившись в восьмой книжке «Вестника Европы» за 1882 год под стихотворением «Псалмопевец Давид», эти две буквы вошли в русскую поэзию более чем на три десятилетия. Ими были подписаны сотни лирических стихотворений, поэмы «Возрожденный Манфред» и «Севастиан-Мученик», переводы «Гамлета» В.Шекспира и «Мессинской невесты» Ф.Шиллера. Поэзия К.Р. составила трехтомник сочинений, выпущенный в свет в год его смерти, в 1915 году.

Некоторые из стихотворений стали хрестоматийными уже при жизни поэта; большою популярностью пользовались и пользуются до сих пор (правда, утратив имя автора стихов) написанные на слова К.Р. романсы П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.К.Глазунова и других русских композиторов.

Псевдонимом К.Р. Константин Константинович вынужден был пользоваться, сообразуясь с понятиями о долге и престиже члена царской фамилии. В его дневнике осталось объяснение этому факту биографии: осенью 1882 года, обсуждая с отцом свои первые появившиеся в печати произведения, К.Р. услышал от великого князя Константина Николаевича рассказ о том, что дед его, император Николай I, на аналогичные попытки сына сказал: «Mon fils — mort plus tot que poete» («Мой сын — пусть лучше мертв, чем поэт»), ибо, по словам генерал-адмирала, он «не допускал, чтобы великий князь мог и подумать о каком-либо занятии вне службы государству».[1]

Константин Константинович всю жизнь был военным, никогда не позволяя себе манкировать обязательными занятиями. Однако очень рано он осознал себя поэтом. В 1883 году К.Р. писал:

Но пусть не тем, что знатного я рода,
Что царская во мне струится кровь,
Родного православного народа
Я заслужу доверье и любовь,
Но тем, что песни русские, родные
Я буду петь немолчно, до конца,
И что во славу матушки России
Священный подвиг совершу певца.

---

[1] Константин Константинович был президентом Императорской Академии наук (с 1889 по 1915 год), а также одним из главных инициаторов создания Пушкинского Дома в ее системе. Этому научному заведению он и завещал, вместе со всем прочим литературным наследием, свои дневники: 64 объемистые тетради за 1874—1915 годы. Однако в 1938 году эти бесценные исторические документы были изъяты из Пушкинского Дома и переданы в специально созданный фонд Романовых в Центральном Государственном Архиве Октябрьской революции в Москве (ныне — Государственный Архив Российской Федерации: ГАРФ. Ф.660). Цит. дневниковая запись К.Р. от 29 октября 1882 года (ГАРФ. Ф.660. Оп.1. Ед.хр.20. Л.9).

lib.pushkinskijdom.ru

Переписка с Николаем Николаевичем Страховым возникла по инициативе К.Р. в связи с выходом в свет в 1886 году первого сборника его стихотворений.[2] Книга была издана небольшим тиражом (1000 экземпляров) и в продажу не поступила. Весь тираж автор роздал по своему усмотрению.

Хотя К.Р. и был, по собственному выражению, «баловнем судьбы», его литературная участь складывалась не так уж просто. Мнение непосредственного окружения, а также прессы не удовлетворяло начинающего поэта, серьезная критика предпочитала умолчание, дабы не быть обвиненной в искательстве. О своей творческой атмосфере К.Р. должен был заботиться сам, и он старался заручиться мнением корифеев литературы.

К.Р. разослал сборники своих стихотворений А.А.Фету, А.Н.Майкову, Я.П.Полонскому, И.А.Гончарову и Н.Н.Страхову, которого особенно чтил как критика. Он ждал от Страхова «пристрастного, строгого и даже придирчивого отзыва».[3] Его рецензирование должно было стать залогом дальнейшего пребывания К.Р. в литературе.

В архиве К.Р. в Пушкинском Доме хранится 25 писем к Н.Н.Страхову и 23 ответных письма Страхова к К.Р.[4] По хронологии и содержанию вся переписка отчетливо делится на две части. Первая ограничена датами: 3 февраля 1887 года — 13 октября 1889 года; в ней преобладает тема взаимоотношений начинающего поэта со своим критиком. На суд Страхова К.Р. направляет новые сборники своих стихов: «Новые стихотворения К.Р. (1886—1888)» (СПб., 1889) и «Стихотворения К.Р. (1879—1885)» (СПб., 1889), с которыми он знакомит критика еще в рукописи. Заручился К.Р. и мнением Страхова о поэме «Севастиан-Мученик».

После зимы 1889 года их переписка прервалась на целых три года и возобновилась лишь зимой 1893 года. Интенсивный обмен письмами в этот период был вызван общим делом по подготовке посмертного издания стихотворений А.А.Фета. 9 мая 1894 года К.Р. писал Я.П.Полонскому: «Видели ли вы новое издание "Лирические стихотворения" Фета, плод трудов Н.Н.Страхова и моих? Мы всю зиму работали над этими двумя книжками».[5]

С предложением о посмертном издании стихотворений Фета его вдова Мария Петровна[6] обратилась к великому князю Константину Константиновичу, как к наиболее влиятельному среди людей, с которыми в последние годы своей жизни поэт был связан дружескими узами. По свидетельству Н.Н.Страхова, отношения с К.Р. «составляли большую радость его (Фета. — *Л.К.*) последних дней».[7] Как и со Страховым, их отношения начинались с переписки. К.Р. ценил Фета, поэзия которого затрагивала в его душе «самые заветные струны»,[8] выше всех современных поэтов. Фет одобрил присланные ему на отзыв стихотворения К.Р., увидев в дебютанте «прирожденного поэта».[9] Он посвятил К.Р. несколько стихотворений; в первом из них говорилось:

Трепетный факел, — с вечерним мерцанием,
Сна непробудного чуя истому, —
Немощен силой, но горд упованием
Вестнику света сдаю молодому.

---

[2] Стихотворения К.Р. СПб., 1886.

[3] Письмо К.Р. к Н.Н.Страхову от 28 марта 1888 года // ИРЛИ. Ф.137. Ед.хр.74.

[4] В фонде К.Р. в Пушкинском Доме хранится также его переписка с А.А.Фетом, И.А.Гончаровым, А.Н.Майковым, П.И.Чайковским, Я.П.Полонским и другими.

[5] ИРЛИ. Ф. 137. Ед. хр. 71. Л. 21.

[6] Фет Мария Петровна (урожд. Боткина; 1828—1899).

[7] *Страхов Н.Н.* Предисловие // Лирические стихотворения А.Фета. В двух частях. СПб., 1894. С.XIII. Далее это издание будет обозначаться нами «ЛС» с указанием номера части и страницы.

[8] Письмо К.Р. А.А.Фету от 6 июля 1887 года // ИРЛИ. Ф.137. Ед.хр.75. Л.33.

[9] Письмо А.А.Фета К.Р. от 14 апреля 1889 года // Там же. Л.134.

lib.pushkinskijdom.ru

Между поэтами завязалась обширная и интересная переписка. Письма К.Р. внушали Фету «отрадное сознание духовной близости».[10]

Через год после начала переписки состоялось их личное знакомство. Фет приехал в Петербург, и 16 декабря 1887 года К.Р. записал в дневнике: «Сейчас был у меня Афанасий Афанасьевич Шеншин-Фет ⟨...⟩ У меня даже сердце билось: я хорошо знаю его по письмам, душа у меня лежит к нему, но мы еще ни разу не встречались. Я ждал его в первой красной комнате рядом с прихожей (Мраморного дворца. — *Л.К.*) и волновался. Наконец он вошел, и я увидел перед собой старика с большой седой бородою, немного сгорбленного, с лысиной, во фраке, застегнутом на несколько пуговиц, и с Аннинским крестом на шее, сбившимся на сторону, и торчащими сзади тесемочками... Я заметил его произношение на московский лад с "не токмо" вместо "не только", правильную русскую речь и тоненький голосок. Он говорил медленно, с расстановкой, часто задумываясь ⟨...⟩ я ⟨...⟩ вслушивался в слова и всматривался ему в лицо ⟨...⟩ Мне казалось, передо мной старый знакомый».[11]

Фет писал К.Р. до последних дней своей жизни. 15 ноября 1892 года датировано его письмо о предсмертных муках; в тот же день в Москве на Плющихе узнали из телеграммы К.Р. о рождении его четвертого сына — Олега. 21 ноября Афанасий Афанасьевич Фет скончался. 24 декабря К.Р. писал вдове поэта, что, перечитывая его письма, он плачет как дитя.

Очевидно, что характером отношений Фета с К.Р. объясняется и тот факт, что именно к нему обратилась вдова поэта с предложением об издании его стихотворений. Не было случайным и то, что, получив это предложение, К.Р. сразу же подумал о Страхове. Он, конечно, знал, что критик был не только автором нескольких статей о Фете, но и участвовал в подготовке выпусков «Вечерних огней»,[12] уже с 1870-х годов фактически являясь редактором поэта. Как это явствует из публикуемой ниже переписки, основная часть труда по изданию «Лирических стихотворений А.Фета» (СПб., 1894) выпала на долю Страхова.

Общий труд по подготовке (в завидно короткие сроки) этого издания определил и преобладание в их письмах 1893—1894 годов редакционно-текстологических вопросов. Это не исключило, однако, наличия в них и некоторых других сюжетов: например, полемика Страхова с В.С.Соловьевым по поводу книг Н.Я.Данилевского, студенческие беспорядки в Москве в декабре 1894 года, болезнь и смерть Марии Петровны Фет.

Переписка К.Р. с Н.Н.Страховым публикуется по автографам, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Ф.137. Ед.хр.74).

---

[10] Письмо А.А.Фета К.Р. от 6 июля 1887 года // Там же. Л.31.
[11] ГАРФ. Ф.660. Оп.1. Ед.хр.32.
[12] *Фет А.* Вечерние огни. М., 1883—1891. Вып.1—4.

1

Н. Н. Страхов — К.Р.

Ваше Высочество, Константин Константинович,

Прошу усердно извинения за мою мешкотность, за то, что мысли так медленно складываются в моей голове. Впрочем, я того мнения, что вообще торопиться не нужно, — в чем никак не мог убедить ни Случевского, ни Фета.

Книжка Ваша[1] доставила мне истинное удовольствие. Так много свежести, искренности, наивности в самом лучшем смысле этого слова. Конечно, почти вся книжка есть только обещание, но очень решительное обещание. У Вас есть три свойства, которые показывают действительное дарование. Во-первых, Ваша мысль не тянется, не расплывается, а легко складывается в законченную форму. Почти все стихотворения коротки, как и следует.

lib.pushkinskijdom.ru

Во-вторых, не мало встречается звучных стихов, показывающих истинное чутье стихотворной речи. Безмолвна мраморная арка, напр⟨имер⟩, или Умолкли рыдания бури кипучей, и пр⟨очее⟩.

В-третьих, есть своеобразие в стихе, есть *свой звук*,[2] своя манера. Ее трудно определить, но я чувствую Ваше *пение*, какую-то особую плавность языка. Эта плавность приводит Вас и к кой-каким недостаткам. Так у Вас много пятистопных стихов, которые я забраковал бы за то, что они без цезуры. Вы помните:

Признаться Вам, я в пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стопе,
Иначе стих то в яме, то на кочке...[3]

Цезура хороша и на половине третьей стопы; стихи же вовсе без цезуры конечно правильны, но требуют особых условий. Такие стихи *выдаются* из других и потому должны быть особенным образом обставлены.

Еще прибавилось воспоминанье (стр⟨аница⟩ 163) и пр⟨очее⟩ — совершенно прозаический стих; ведь ни на *прибавилось*, ни на *воспоминание* невозможно сделать никакой остановки, упора.

Заметил я также неправильные ударения: *две ду́ши* вместо *две души́*, *одо́лженной* вместо *одолже́нной* и пр⟨очее⟩.

Но все это пустяки. Так как у Вас есть чувство истинной и своеобразной гармонии стиха (вернее — мелодии), то оно, развиваясь, ото всего этого освободится.

А что же содержание? Содержание очень меня тронуло. Оно не надуманное, а естественное, прямо из души. Оно состоит из очень чистых, молодых, добросердечных чувств и мыслей. Дай Бог Вам сохранить навсегда такое прекрасное настроение! Ваша любовь к Измайловскому полку,[4] Ваши приветствия и прощания, обращенные к близким людям и дышащие нежной лаской, все это возбуждает очень отрадное впечатление.

Перед Вами еще далекий путь. Если Вы не торопитесь, то хорошо делаете. Ваш стих может достигнуть полного развития той силы и красоты, которых зачатки в нем есть, и Ваши образы и чувства могут созреть до полной яркости и глубины. Будьте только верны самому себе, и Вам поможет та сила, которая помогает всему хорошему.

Приношу Вам душевную благодарность за честь, которую Вы мне сделали, и с глубочайшим почтением и преданностью остаюсь

Ваш покорный слуга

Н.Страхов.

1887
3 февр⟨аля⟩
СПб.

[1] Стихотворения К.Р. СПб., 1886.
[2] Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты в письмах.
[3] Страхов приводит в пример шестую строфу поэмы А.С.Пушкина «Домик в Коломне». Судя по переписке К.Р. (особенно с П.И.Чайковским), он много занимался теорией стиха. Но о цезуре он писал тому же Чайковскому 6 июня 1888 года: «Употребление цезуры мне мало знакомо, вместо правил я руководствуюсь в этих случаях слухом (и потому, быть может, часто погрешаю против цезуры)» (ИРЛИ. Ф.137. Ед.хр.78. Л.41).
[4] В течение семи с половиной лет (1883—1891) Константин Константинович командовал ротой Лейб-гвардии Измайловского полка. Во взаимоотношениях с подчиненными у августейшего полковника не было ни тени пренебрежения или высокомерия, их смысл состоял в благотворном влиянии высокообразованного человека на военное окружение, в уважении к армии, в осознанной ответственности перед солдатом. Только в таком издании, как «Красный архив», можно было уничижительно заметить, что «его умственный кругозор сложился в гвардейской казарме» (Красный архив. 1931. № 43. С.93). В Измайловском полку по инициативе К.Р. были организованы так называемые «Измайловские досуги», имевшие просветительские цели. Кроме офицеров полка в них участвовали поэты и писатели: И.А.Гончаров, А.Н.Майков, Я.П.Полонский и др. Полку К.Р. посвятил ряд стихотворений. В первом сборнике это были: «Измайловские досуги», «12 октября 1877 года», «Письмо из-за границы», «Из лагерных заметок», «Умер» («Умер бедняга в больнице военной») и «12 октября 1885».

lib.pushkinskijdom.ru

2

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный дворец.
4 февраля 1887 г⟨ода⟩

Многоуважаемый Николай Николаевич, ваше письмо доставило мне большое удовольствие. Вы совершенно напрасно извиняетесь за мешкотность, она-то именно и радует меня, доказывая как внимательно вы отнеслись к моей книжке. Я читал и перечитывал ваши отзывы о моих стихотворениях и спешу выразить искреннюю благодарность за ваше сочувствие к моим первым опытам и, в особенности, за беспристрастное и строгое мнение, так откровенно вами высказанное. В обществе, в котором я вращаюсь, мои стихи произвели впечатление; похвалы им я слышу со всех сторон; прекрасный пол особенно щедр на них. Это хотя и ласкает мое самолюбие, но нисколько меня не удовлетворяет. Мне нужно более осмысленное суждение, а не одна пустая похвала лиц, ничего в деле поэзии не понимающих. Я не хочу быть дилетантом в словесности; я смотрю на свое дарование как на талант, ниспосланный мне свыше, и не желал бы уподобиться исключимому рабу. Я убедился опытом, что только посредством неутомимого труда можно достигнуть чего-нибудь, и надеюсь с Божьей помощью совершенствоваться, терпеливо стремясь к заветной цели. Вот почему мне дороги ваши замечания, поощрение, одобрения и порицания. Я совершенно с вами согласен, что торопиться не следует. Да я и не мог бы торопиться: писать я могу только когда меня посещает вдохновение, этот сладостно-мучительный недуг. Когда оно нахлынет, я и пишу, но всегда медленно и с большим трудом. Благодаря многим отзывам, слышанным мной о моих стихах с разных сторон, я теперь более зрело и строго отделываю то, что выливается из-под пера. Но нередко впадаешь в уныние, и руки опускаются, когда хочется писать и не можешь.

Еще раз от всей души благодарю вас за теплое, дорогое мне сочувствие и надеюсь, что вы не откажете мне в своем совете, если я и впредь буду обращаться к вам со своими произведениями.

Искренно вас уважающий

Константин.

3

К.Р. — Н.Н.Страхову

28 марта 1888
Мраморный дворец.

Глубокоуважаемый Николай Николаевич, прежде, чем обратиться к вам с просьбою, смею высказать надежду, что вы не посетуете на меня за нескромность и навязчивость.

Решаюсь представить на ваше рассмотрение прилагаемый стихотворный труд, над которым я проработал чуть ли не целый год, несмотря на то, что по своему довольно ограниченному размеру, он мог бы потребовать и не так много времени.[1] Зная вашу доброту и помня внимание и снисходительность, с которыми вы отнеслись и к прежним моим произведениям, беру на себя смелость просить вас просмотреть и последнюю мою работу. Может быть время позволит вам письменно высказать ваше мнение; в таком случае я буду искренно вам благодарен, и мне останется ждать от вас беспристрастного, строгого и даже придирчивого отзыва. Мне бы хотелось довести это сочинение до последнего доступного моим силам совершенства, и потому я справлялся с взглядами и И.А.Гончарова, и А.А.Шеншина, и А.Н.Майкова, и Я.П.Полонского, и многих других, чтобы напоследок обратиться к вам, как к самому строгому судье и верному ценителю стихотворных произве-

lib.pushkinskijdom.ru

дений. Простите же мне это непрошенное письмо и мою навязчивость. В ожидании благосклонного ответа, прошу вас верить моему совершенному уважению

Константин.

[1] Имеется в виду поэма К.Р. «Севастиан-Мученик», которая была написана в августе 1887 года и вышла в свет в 1888 году в издательстве «Общественная польза».

4

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Высочество!

Приношу Вам глубочайшую благодарность за честь, которой Вы меня опять удостоили, а также за удовольствие, которое доставила мне Ваша поэма. Много в ней прекрасных стихов и совершенно картинных описаний, не говорю уже о святости сюжета, развитого ясно и правильно. Из всех описаний не могу не указать на строфы 37-ю и 38-ую первой части; по-моему, это лучшие строфы поэмы, и они превосходны.[1]

Мне кажется только, что в заключение можно бы прибавить еще одну строфу. Правда, все само собою разумеется; но так и можно написать: свершилась казнь, Рим пирует по-прежнему, и т⟨ак⟩ д⟨алее⟩. Словом, так, чтобы поэма не останавливалась на высокой ноте, а имела финал, быстро затихающий. Однако, не смею считать свое предположение за непременно правильное и выражаю его только в таком виде: «хорошо и без финала, но не лучше ли с финалом»?

Позволю себе прибавить еще некоторые замечания на отдельные стихи и выражения.

Строфа I. «Пыль клубится облаком густым» мне кажется неверною чертою. Вероятно, были принимаемы меры от пыли.

Строфа V. «Человека, цезарь, недостойно». Мне кажется лучше — *человеку*. Что недостойно? Почитать. Кому почитать? Человеку. Кого почитать? Бездушный истукан.

XV. «Ни оков земных ему не жаль». Оковы — тяжесть, горе. Не лучше ли: *ни даров*, или *ни блаженств*. Вы сами лучше придумаете.

XXVIII. «Вот ветерка Предрассветного прохладой веет». Не будет ли проще и яснее: *предрассветная прохлада*?

XL. «В алом блеске утренних лучей» — мне кажется это лишний стих, мешающий описанию. Нужно что-нибудь вроде: *ярко грудь белеет средь ветвей*, или подобное.

XLII. «Не видал... как мчалась» и пр⟨очее⟩. Нельзя и видеть, как стрела мчится. *Не видал, как стрела исчезла в воздухе* — было бы правильнее.

XLVI. Вся эта строфа прерывает действие. Можно ее выпустить, но жаль. Нельзя ли изменить или переставить на другое место?

Часть вторая.

Строфа I. «Христиан сегодня ждет охота». Неясно. *Сегодня будет охота на христиан* — конечно, такова Ваша мысль.

V. «Скиптр его *весь выточен* из кости». Не лучше ли заменить подчеркнутые слова другими? Скиптр его *из драгоценной* кости? Тут невольно делается ненужный напор на слово *весь*.

Строфа VII. «Красотой небесной, бесподобной». Слово *бесподобный* употребляется обыкновенно с фамильярным оттенком и, мне кажется, неловко рядом со словом *небесный*.

XII. «Я их доброй, ласковой средой». Слово *средой* прозаично; не лучше ли *рукой*? В следующем стихе есть также рука, но таких повторений, по моему мнению, не нужно бояться: яснее выражена противоположность между одной рукой и другой рукой.

lib.pushkinskijdom.ru

XIII. «Ждал — В небесах очнуться» — это галлицизм. Не сказать ли: *что умчусь*, или *вот умчусь на небо чрез мгновенье.*

XVI. «Ты ль над мной» — и пр⟨очее⟩. Это сокращение неясно. Если поставить просто: *Надо мной дерзаешь издеваться!* — то, кажется, тон речи не утратится.[2]

Вот замечания, сделанные мною с полным усердием, хотя, может быть, и не с полным вкусом; в таком случае усердно прошу Вашего извинения. Вы уже советовались с отличными мастерами дела, с которыми я никак не решусь соперничать во вкусе и понимании языка и творчества.

Еще раз позвольте выразить мою глубокую благодарность за честь и удовольствие, которыми Вы меня удостоили.

Вашего Высочества
искренно преданный и покорный слуга

Н.Страхов.

9 Апр⟨еля⟩ 1888
СПб.

[1] Понравившиеся Страхову строфы звучали так:

И пришла пора освобожденья:
Только ночь прожить еще одну,
И настанет час успокоенья.
С упованьем глядя в вышину,
Он привет читает в блеске ночи:
Звезд лучи, пронизывая тьму,
С глубины небес, как Божьи очи
Светят радостно ему.

* * *

Небо залито лазурью нежной,
Закатился месяц в облака;
Медленно, неслышно, безмятежно
Уплывает ночь. Вот ветерка
Предрассветная прохлада веет,
Край небес, светяся и горя
Заалел с востока...Тьма редеет, —
И зарделася заря.

[2] К замечаниям и советам Н.Н.Страхова (как и А.А.Фета) К.Р. относился с большим вниманием. Обычно поэт либо полностью принимал его рекомендацию, либо как-то по-иному изменял не понравившееся критику слово. В данном случае он оставил без изменения лишь строфы XII («Красотой небесной бесподобной»), XL («В алом блеске утренних лучей») и XVI.

5

К.Р. — Н.Н.Страхову

Лагерь под Красным Селом
10 июня 1888 г⟨ода⟩

Глубокоуважаемый Николай Николаевич, я чувствую душевную потребность выразить вам благодарность за отрадное и утешительное впечатление после чтения вашей статьи в ответ Вл.Соловьеву.[1]

Его мрачный и как будто недоброжелательный взгляд на будущность нашей русской науки и искусства[2] поверг меня в уныние; теперь же, с жадностью пробежав ваш ответ, я снова могу верить, во что веровал, и по-прежнему любить то, что мне дорого и свято. Я не мог не высказать вам своей задушевной признательности за такую нравственную

lib.pushkinskijdom.ru

поддержку. Вам конечно должно быть совершенно безразлично, читал ли я вашу статью, и подействовала ли она на мою душу, а потому не попеняйте на меня за такие непрошенные излияния: от избытка сердца глаголют уста.

Искренне уважающий вас

Константин.

[1] Имеется в виду напечатанная в «Русском вестнике» (1888. № 6. С.200—256) статья Н.Н.Страхова «Наша культура и всемирное единство (Замечания на статью г. Влад.Соловьева «Россия и Европа» («Вестник Европы», 1888, февраль и апрель))».

[2] Статья В.Соловьева «Россия и Европа» была своего рода рецензией на книгу Н.Я.Данилевского с тем же названием, но одновременно — ответом на работу Страхова «Борьба с Западом в русской литературе». Находя, что Данилевский по своим взглядам стоит на «почве племенного и национального раздора» (Вестник Европы. 1888. № 2. С.744), Соловьев выступает против этого. Он рассматривает многие злободневные проблемы русской жизни конца XIX века (социальные, экономические, нравственные) и приходит, в частности, к отрицанию русской философской науки как таковой. Заканчивается статья словами: «Самый существенный, даже единственно существенный вопрос для истинного зрячего патриотизма есть вопрос не о силе и призвании, а о "грехах России"» (Там же. № 4. С.767).

6

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Высочество
Константин Константинович,

Ваше письмо от 10 июня было для меня истинной отрадою и наградою. Ведь искреннее сочувствие — вот чего ищет писатель прежде всего, по крайней мере, искренний писатель. Вы пишете, что для меня безразлично Ваше внимание; но, так как я, хотя отчасти, понимаю чистоту Вашей души, благородство Ваших чувств, то, даже не говоря о Вашем высоком положении, я не мог не почувствовать живого душевного наслаждения от выраженного Вами сочувствия.

Примите мою глубокую благодарность и простите меня, Бога ради, за то, что, по обыкновению, я запоздал с своим ответом.

Честь имею быть
Вашего Высочества
покорным и преданным слугою

Н.Страхов.

1888
16 июня
СПб.

7

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный дворец.
9 декабря 1888.

Скоро будет два года, что вы так сочувственно отозвались о книжке моих стихотворений.[1] Теперь я собираюсь издать вторую[2] и думаю поступить осмотрительнее, вручив вам эти стихи до напечатания. Может быть вы сочтете нескромною мою просьбу просмотреть их и высказать беспристрастное мнение.

Но мне, из любви к нашему искусству, так хочется, чтобы новая моя книжка достигла возможного для меня совершенства, что я решаюсь докучать и быть назойливым. Вы увидите, что моя рукопись испещрена замечаниями, поправками, черточками, вопроситель-

lib.pushkinskijdom.ru

ными знаками различных почерков и цветов карандаша: тетрадь[3] побывала в руках нескольких знатоков: И.А.Гончарова, А.Н.Майкова и Я.К.Грота. Но в их суждениях я встречал постоянные противоречия. Одобренное А.А.Фетом подвергалось порицанию Гончарова, исправленное Майковым не нравилось Я.П.Полонскому и так далее. Многое я перечеркнул красным карандашом, раздумав печатать — и тут некоторые из названных знатоков жалели об выкинутом и советовали не исключать. Теперь я обращаюсь к вам и ласкаю себя надеждою, что, по доброте вашей, у вас хватит терпения прочитать мою тетрадь, сделать замечания и указать, что по-вашему следовало бы исключить и что оставить.

Извините меня за самонадеянность: вам, избалованному великими поэтами, не по душе современные стихи.[4] И все же я решаюсь просить Вас подарить мне несколько минут терпеливого внимания.

Жму вам руку и прошу верить моему душевному почитанию.

Константин.

[1] См. прим.1 к п.1.
[2] Речь идет о сборнике «Новые стихотворения К.Р. (1886—1888)», который вышел в 1889 году.
[3] Где находится эта тетрадь в настоящее время, установить не удалось.
[4] К.Р. имеет в виду приверженность Страхова к классической поэзии XIX века и прежде всего к поэзии А.С.Пушкина. См. об этом вступительную статью Н.Н.Скатова в кн.: *Страхов Н.Н.* Литературная критика. М., 1984. С.31—35.

8

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович!

Прежде всего, позвольте душевно поблагодарить Вас за великое удовольствие, которое мне доставила новая тетрадь Ваших стихов. Как заметно Вы идете вперед! Эта тетрадь по многим своим стихотворениям гораздо выше «Севастиана».[1] Мне следовало бы теперь сейчас и указать, какие именно стихотворения я считаю лучшими; но тут меня совершенно предупредил Аполлон Николаевич.[2] Все его оценки я должен вполне подтвердить; я только радуюсь, что мои впечатления совпадают с суждениями такого тонкого знатока дела. Да и все его замечания чрезвычайно верны и важны, и только в некоторых случаях *чересчур строги*. Он — величайший пурист, а я напротив, очень либерален в литературном отношении, вот почему мы иногда с ним расходимся. Так, по-моему, на стр(анице) 68 эпитет *несравненный* очень годится; он просто выражает похвалу, ласку, без определенности, зато сильно. Точно так на странице 77 меня ничуть не пугает двусмысленность слова *недоходна*, *недоходна* часто употребляется, когда дело идет о молитве.[3]

Но вообще, после Майкова мне мало что остается сделать. Решаюсь представить Вам следующие замечания:

Стр(аница) 8. «Я сижу под *дежурной* палаткою». Слово *дежурный* мне кажется тут прозаичным; в заглавии оно уместно, но в стихах, т(о) е(сть) в описании не лучше ли поставить *открытой*, *широкой*, или что-нибудь подобное.[4]

Стр(аница) 26. Прекрасное стихотворение; но в стихе: «Прими причастника меня» лучше поставить *причастником* — тогда смысл будет точнее выражен.[5]

Стр(аница) 27. Во втором куплете течение речи будет, кажется, проще и яснее, если поставить так:

В чутких душах будила волшебные звуки
Вдохновенная песня твоя,
То врачуя сердец сокровенные муки,
То веселье и радость лия.[6]

lib.pushkinskijdom.ru

Стр⟨аница⟩ 59. Вместо: «Во всем собравшемся комплекте» не лучше ли сказать: «Собравшимся в полном комплекте». Конечно, стихи будут хуже, но выиграют в ясности.[7]

Стр⟨аница⟩ 83. Вместо *Не все ли грешны*, кажется, лучше поставить *Не все ль мы грешны* и пр⟨очее⟩. Повторение *мы* усилит тон речи, придаст ей напор.[8]

Стр⟨аница⟩ 84. Вместе с А.Н.Майковым, я стоял бы за сохранение слова *несбыточное*. Ведь сказал же Гете:

Das Unzulängliche
Hier wird's Ereigniss.[9]

Стр⟨аница⟩ 89. Это стихотворение никоим образом не подлежит исключению и очень хорошо.

Стр⟨аница⟩ 107. Последний стих вполне сохранится и не будет вызывать никаких замечаний, если его изменить так:

Тем вы чище блестите нетленным узором.[10]

Стр⟨аница⟩ 108. Второй и четвертый стих, кажется, требуют поправки.

Во втором нужно яснее сказать: зачем нам унывать, *когда* душа полна надежды.

В четвертом выражение *чаруя плененные вежды* несколько изысканно и не вполне точно: вежды, то есть веки, не могут играть той роли, которая им тут дается.[11]

В заключение прошу позволения принести Вашему Высочеству усерднейшую благодарность за честь, которой Вы меня удостоили, и остаюсь

С глубочайшим почтением и преданностью
Вашим покорным слугой

Н.Страхов

1888
23 Декабря
СПб.

[1] Страхов сравнивает стихотворения К.Р., подготовленные ко второму изданию, с его поэмой «Севастиан-Мученик».

[2] С той же просьбой, что и к Страхову, К.Р. обратился к А.Н.Майкову. Несколько раньше, 16 ноября 1888 года, К.Р. писал ему: «Посылаю вам тетрадь своих стихотворений, готовых к напечатанию нового сборника. Готовы они только в той степени, в какой вы и некоторые знатоки нашего искусства, оказавшие внимание моим произведениям, признаете их пригодными к появлению в печати» (ИРЛИ. Ф.137. Ед.хр.66. Л.53). См. об этом прим.1 к п.7.

[3] К.Р. оставил текст без изменения.

[4] К.Р. изменил текст по совету Страхова. Ср. в печатном варианте: «Гаснет день. Я сижу под палаткою...»

[5] Строка из стихотворения «На страстной неделе». К.Р. оставил текст без изменения.

[6] Имеется в виду стихотворение «Я.П.Полонскому, на пятидесятилетие его писательской деятельности. 10-го апреля 1887». К.Р. не принял предложение Страхова и оставил здесь следующие строки: «В чутких *струнах* будила волшебные звуки Вдохновенная песня твоя...».

[7] Из «Письма к дежурному по полку» (1887). К.Р. учел замечание Страхова и внес следующее изменение: «Развод бывает должностным В полнейшем собранном комплекте».

[8] К.Р. воспринял мысль Страхова о необходимости «напора», но несколько по-своему. Ср. в окончательном варианте: «Не все ль виновны мы во многом, Не все ли братья во Христе...».

[9] «Несбыточное здесь становится событием» (нем.).

[10] Речь идет об окончании стихотворения «Звезды», которое было изменено К.Р. следующим образом: «Чем мрачней, чем ничтожней мы и преступней, Тем светлей вы и чище огнистым узором».

[11] К.Р. изменил это выражение. Ср. в окончательном варианте: «Тем плененным следить вас отраднее взглядом».

lib.pushkinskijdom.ru

9

Н.Н.Страхов — К.Р.

Стихотворение Вашего Императорского Высочества на мой взгляд не только безукоризненно, но и очень звучно и выражает прекрасную характеристику таланта Афанасия Афанасьевича.[1] Сам я написал ему похвалу, которая, надеюсь, явится в *Новом Времени*;[2] мне очень лестно, что я другими словами выразил там то, что у Вас сказано. Никаких замечаний к лучшей форме или звуку Ваших стихов я не нахожу. Душевно благодарю Вас за новую честь, которую Вы мне сделали.

Глубоко преданный

Н.Страхов

1889
24 января
СПб.

[1] См. прим.1 и 2 к п.10.
[2] *Страхов Н.Н.* Юбилей поэзии Фета // Новое время. 1889. 28 янв. № 4640.

10

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный дворец.
25 января 1889.

Второпях посылаю вам, любезнейший Николай Николаевич, сонет, только что написанный мною к юбилею нашего милого Афанасия Афанасьевича.[1] Любя его и ценя как лирика выше остальных наших современных поэтов, я бы желал, чтобы мои поздравительные стихи были как можно лучше. Вот почему я спешу поделиться с вами этим сонетом в надежде, что вы черкнете мне два слова в одобрение или в порицание. Будьте добры не задержать посланного и, если возможно, пришлите коротенький ответ. Извините за такую торопливость; но я бы хотел, чтобы стихи, если вы найдете их не слишком слабыми, поспели в Московские ведомости[2] к субботе, а потому терять времени мне нельзя.

Пользуюсь случаем, чтобы еще раз от души поблагодарить вас за доброе внимание к моей Музе.

Искренно почитающий вас

Константин.

[1] Имеется в виду стихотворение «А.А.Фету. На пятидесятилетие его писательской деятельности. 28-го января 1889», под которым действительно стоит дата «25 января 1889». Оно было прочитано на юбилейном торжестве Фета. К.Р. в Москву приехать не смог, но в его дневнике 29 января 1889 года записано: «Вчерашнего дня я ждал чуть не с замиранием сердца, как будто не Фету наступило 50-летие писательской деятельности, а мне самому. Я так дорожу им, так ценю его малопризнанную поэзию, он так близок моему сердцу» (ГАРФ. Ф.660. Ед.хр.36. Л.20).
[2] 28 января 1889 года, в день юбилея Фета, это стихотворение было опубликовано в «Московских ведомостях» (№ 28).

lib.pushkinskijdom.ru

11

К.Р. — Н.Н.Страхову

Павловск.
26 сентября 1889

Многоуважаемый Николай Николаевич, посылаю вам мои новые стихотворения,[1] прося принять их снисходительно. Они, равно как и 2-е издание прежней моей книги [2] поступили в продажу, и если будут покупаться успешно, то этим обязаны вам. Ваши добрые советы оказали мне немало пользы; и я надеюсь, что вы и вперед мне в них отказывать не будете.

Константин.

[1] Новые стихотворения К.Р. (1886—1888). СПб., 1889.
[2] Стихотворения К.Р. (1879—1885). СПб., 1889. Это были первые сборники стихотворений К.Р., которые поступили в продажу.

12

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество!

У стариков вообще, у меня же в особенности, время идет удивительно быстро; на самый короткий срок отложил я чтение Вашей новой книжки, но, когда взялся за нее, тогда только, к великому моему огорчению, заметил, что запоздал почти непростительно. Принимаю смелость, однако, сказать, что был истинно растроган и присылкою книги и милостивым письмом, в котором Ваша безмерная доброта приписывает мне больше, чем я могу, по совести, признать за собою. Если мои советы и были в чем-нибудь ничтожном полезны Вашим стихотворениям, то эта польза ограничивалась только мелкими подробностями; тогда как то действительное восхищение, которое возбуждают Ваши книги, вызывается, как доводится мне слышать, именно содержанием их, поэтическим веянием задушевности, сердечной теплоты и чистоты. Невольно вспомнилось мне изречение Гете (в разговорах Эккермана):

Überhaupt, der persönliche Charakter des Schriftstellers bringt seine Bedeutung begin Publikum hervor, nicht die Künste seines Talents.[1]

Глубокое замечание! Таланта одного мало.

Я тоже стал очень пристращаться к Вашим стихам. С восхищением читаю такие стихотворения как

Когда, предвидя близкую разлуку, Когда с зарей над сонною землею — Измученный в жизни тревоги и зол — Озеро светлое, озеро чистое — Твоей любуясь красотой и т⟨ак⟩ д⟨алее⟩. Это не самые лучшие стихотворения, но они так просты и искренни, чувство, в них выразившееся, так несомненно верит в себя, что я не налюбуюсь.

Прекрасное поприще Вам предстоит и как поэту, и как деятелю русского просвещения!

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов

1889
13 Октября
СПб.

[1] «Вообще публика придает значение писателю за его личный характер, а не за искусство его таланта» (Разговоры Гете, собранные Эккерманом. СПб., 1891. Ч.I. С.114).

lib.pushkinskijdom.ru

13

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный дворец.
22 января 1893.

Многоуважаемый Николай Николаевич, надеюсь, вы не посетуете на меня за то, что, не испросив вашего согласия, я предложил Марье Петровне Шеншиной поручить издание стихотворений незабвенного Афанасия Афанасьевича не мне одному, но и вам. Я знал, насколько дорогой усопший ценил ваше мнение, и не мог сомневаться в том, что вы охотно согласитесь разделить со мною заботы по предстоящему изданию.[1] Я собирался сам к вам заехать, зная, что вы нездоровы, но мне помешал сегодняшний отъезд в Москву, откуда я вернусь в среду, 27-го января. По возвращении оттуда надо будет с вами сговориться. Я так рад действовать с вами сообща, трудясь в память милого покойника.

Простите за эту небрежную записку: я очень тороплюсь.

Мне так совестно, что я до сих пор не поблагодарил вас за книгу.[2]

Жму вам руку.

Константин.

[1] Лирические стихотворения А.Фета. В двух частях. СПб., 1894. Далее — ЛС. 27 декабря 1886 года Фет писал К.Р.: «В настоящее время я не решаюсь ничего печатать без одобрения Вл.Соловьева и Ник⟨олая⟩ Ник⟨олаевича⟩ Страхова. Последний особенно строг и не пропускает мне ни малейшего изъяна» (ИРЛИ. Ф.137. Ед.хр.75. Л.6). Свои стихотворения Фет пересылал Страхову по почте. Нередко также критик бывал в летние месяцы в имении поэта Воробьевке.

[2] Очевидно, речь идет о книге Н.Н.Страхова «Воспоминания и отрывки» (СПб., 1892).

14

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество!

Вы удостоиваете меня великой чести трудиться под Вашим руководством. С величайшей радостию и благодарностию готов исполнять всякие труды по изданию стихотворений Афанасия Афанасьевича, которого я и лично очень любил и которого поэзию ставлю даже гораздо выше, чем успел высказать в своих печатных заметках.[1]

Теперь мне уже можно выходить, и потому предоставляю себя в Ваше полное распоряжение.

Будет очень приятно увидеть стихи Фета в хорошем издании; большую отраду обещает мне и предстоящее перечитывание бесподобных стихотворений.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Николай Страхов.

27 января
1893
СПб.

[1] См.: *Страхов Н.Н.* «Вечерние огни». Собрание неизданных стихотворений А.Фета (М., 1883) // Русь. 1883. № 24. С.57—58; *Страхов Н.Н.* Юбилей поэзии Фета // Новое время. 1889. 28 янв. № 4640.

lib.pushkinskijdom.ru

15

К.Р. — Н.Н.Страхову

20 мая 1893.
Петербург.

Глубокоуважаемый Николай Николаевич, посылаю вам все имеющиеся у меня письма покойного Афанасия Афанасьевича.[1] Они будут не бесполезны вам при издании полного собрания его стихотворений. Я уверен, что у вас это сокровище будет сохранно.

Вот четверостишие Фета, собственноручно им вписанное в присланный мне в январе 1888 года (15 числа) 3-й выпуск Вечерних огней:

Трепетный факел с вечерним мерцанием,
Сна непробудного чуя истому,
Немощен силой, но горд упованием
Вестнику света сдаю молодому

На днях я переселился в Красное Село. Очень был бы вам благодарен, если бы в слу⟨чае⟩ надобности вы обращались ко мне письменно.

Искренно преданный вам

Константин.

[1] Обширная и интересная переписка Фета с К.Р., продолжавшаяся с 1886 по 1892 год, хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Ф.137. Ед.хр.75). Два тома в красных сафьяновых переплетах содержат 118 писем Фета и 92 письма К.Р. Только два письма Фета написаны его рукой; остальные под диктовку — его секретарем Екатериной Владимировной Федоровой, а Фету принадлежит только подпись. После смерти мужа Мария Петровна Фет хотела сразу же переслать К.Р. подлинники его писем. Однако К.Р. просил ее оставить до времени письма у себя, оговорив в завещании условие вернуть их корреспонденту. После кончины Марии Петровны М.П.Боткин привез К.Р. «завещательный пакет», а также перо Фета, которое хранится в настоящее время в музее Пушкинского Дома.

16

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество!

Глубочайшую признательность возбудило во мне доверие, которым Вы меня удостоили, позволив познакомиться с перепиской Афанасия Афанасьевича. Со всяческим старанием извлечено мною все, что может быть полезно для издания, — мелкие наброски и некоторые указания. Но не могу умолчать, — больше всего меня занял и поразил внутренний смысл этой трогательной переписки. Она трогательна с обеих сторон. Живо воскресал передо мной Афанасий Афанасьевич, и мне было ясно, сколько радости, сколько глубокого утешения доставляли ему и Ваша поэзия и Ваше сердечное участие.[1] Он прав: Вы одни свободно касаетесь *простых предметов*, и оказались в этом верным учеником Пушкина.[2] И мне вполне понятна та живая и нежная признательность, которою за все платил Вам Афанасий Афанасьевич.

В Вашей судьбе есть одна черта, которая вместе и прекрасна, и печальна. Вы стоите во главе целой толпы стариков,[3] и Вы расположены относиться к иным из них не с простым, а с сердечным чувством. И вот им придется постоянно печалить Вас: на Ваших глазах они будут один за другим сходить в землю,

И чей-нибудь уж близок час.

Невольно пришли мне эти грустные мысли, когда видел Вас за гробом незабвенного Якова Карловича.[4] И я от всей души пожелал, чтобы Бог утешил Вас и наградил за всю любовь, которую Вы расточаете.

lib.pushkinskijdom.ru

Считаю долгом представить отчет о том, что сделано мною по изданию стихотворений Афанасия Афанасьевича.

1. Собраны библиографические справки — где каждое стихотворение явилось в печати и где потом было перепечатано.

2. Выписаны из старых журналов все стихотворения, которые потом не перепечатывались в отдельных изданиях. Их набралось до 60-ти, хотя все довольно слабы, но сохранить их необходимо.

3. Собираются варианты всех напечатанных стихотворений. Летом работа эта будет кончена; она делается в Публичной Библиотеке одним молодым человеком.[5]

В Сентябре можно будет окончательно установить план и приступить к печатанию.

Письмо это будет мною доставлено в Мраморный дворец вместе с перепискою Афанасия Афанасьевича, которую, как большую драгоценность, не смею дальше оставлять у себя.

Вашего Императорского Высочества
всепреданный

Н.Страхов.

2 июня
1893
СПб.

[1] Шестилетняя переписка с великим князем Константином Константиновичем, обширная и искренняя, не могла не утешать Фета, не избалованного вниманием и в последние годы его жизни в достаточной мере забытого. Кроме человеческого тепла и заботы, Фет получал от К.Р. и заслуженное признание: тот видел в поэте «одного из наших немногих маститых стихотворцев Пушкинской школы» (Письмо К.Р. А.А.Фету от 2 декабря 1886 года // ИРЛИ. Ф.137. Ед.хр.75. Л.3).

[2] В военных сонетах К.Р. Фет отмечал поэтическое отношение к прозаическим предметам; в этом он видел подлинное следование пушкинской традиции. О стихотворении «В дежурной палатке» Фет писал К.Р. 12 октября 1889 года: «Как у Пушкина, — "с пармезаном макарони", а у Вас "Дежурная палатка" и т.д. — вещи, к которым мы, грешные, и подступиться боимся» (ИРЛИ. Ф.137. Ед.хр.75. Л.152).

[3] «Искать хорошего общества дело весьма похвальное», — писал К.Р. Фету 27 февраля 1890 года (Там же. Л.7). Великий князь Константин Константинович последовательно и целенаправленно создавал свое окружение. Он общался с Ф.М.Достоевским, И.А.Гончаровым, А.А.Фетом, П.И.Чайковским, А.Н.Майковым, Я.П.Полонским, А.Г.Рубинштейном, а после 1889 года — со всеми работавшими в те годы академиками. Все они, действительно, были старше К.Р.

[4] Грот Яков Карлович (1812—1893) — филолог, академик, вице-президент Академии наук с 1889 года; скончался 24 мая 1893 года.

[5] О ком именно идет речь, установить не удалось.

17

К.Р. — Н.Н.Страхову

Стрельна.
20 августа 1893.

Глубокоуважаемый Николай Николаевич, на маневрах,[1] где-то в глуши отыскало меня письмо Марьи Петровны Шеншиной; она прислала мне в нем два неизданные стихотворения покойного Афанасия Афанасьевича и сообщила, что вы пьете воды в Эмсе. Не знаю, вернулись ли вы восвояси или нет, и наудачу отправляю вам упомянутые стихи на вашу зимнюю квартиру.[2]

Большое сердечное удовольствие доставили мне ваши милые строки от 2 июня; теперь, по окончании полускитальческой лагерной жизни, я рад случаю с вами побеседовать. — Встретившись с вами у гроба нашего дорогого Якова Карловича, я чувствовал, что простая учтивость требовала от меня заговорить об общем нашем деле, но — простите — я был не в силах это сделать,

lib.pushkinskijdom.ru

подавленный столь чувствительной утратой, и только молча пожал вам руку. Но из вашего письма я увидел, что вы поняли меня и ощутили, как велика была моя скорбь.

Теперь, среди тишины дачной жизни я часто вас вспоминаю и причиной этого — чтение «России и Европы».[3] Еще весною прочитал я ваши предисловия к 4-му изданию,[4] а чтение самой книги отложил до осени, самого спокойного и безмятежного у меня времени. Кто-то говорил мне, что генерал Куропаткин[5] отзывается об этом сочинении, как о книге, которой должно быть настольной у каждого русского; нельзя не согласиться с таким мнением сподвижника Скобелева.[6] И я глубоко наслаждаюсь этой чудесной книгой, понимая, почему она вам дорога. Не могу не выразить удивления и удовольствия той скорости и удаче, с которыми идет издание стихов Фета.

До октября думаю прожить в Стрельне; бываю в городе по середам, если бы вам понадобилось меня видеть, черкните лишь словечко или пришлите телеграмму, чтобы можно было условиться о дне и часе встречи.

Сердечно вам преданный

Константин.

[1] К.Р. всю жизнь был связан с армией: сначала служил во флоте, затем более семи лет командовал ротой Измайловского полка. Участвовал в русско-турецкой войне и получил за отличие орден Св.Георгия. С 1891 года с чином полковника занял пост командира Преображенского гвардейского полка, где под его началом служил наследник Николай Александрович. К 1907 году К.Р. дослужился до генерала от инфантерии. Каждое лето он находился на маневрах в Гатчине или в Красном Селе. Бивуачная лагерная жизнь привлекала К.Р. и была им опоэтизирована.

[2] Страхов жил тогда у Торгового моста на Ново-Петергофской улице, в доме № 16, принадлежавшем Петру Егоровичу Стерлигову.

[3] *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. СПб., 1889.

[4] *Страхов Н.Н.* Жизнь и труды Н.Я.Данилевского // Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1889. С.IX—XXXIV.

[5] Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — генерал, с 1898 года военный министр.

[6] Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

18

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Высочество
Константин Константинович,

Вернувшись в Петербург в последних числах августа, я был очень тронут, найдя у себя письмо, которым Вы меня удостоили и в котором выражено столько внимания ко мне. Но чувствую себя очень виноватым; до сих пор, среди первых хлопот, я не сумел и не успел приняться за прерванные работы по изданию стихотворений Афанасия Афанасьевича. Между тем, еще за границею мне пришли мысли насчет этого дела, которые все больше и больше во мне укрепляются и которые осмелюсь теперь представить на ваше усмотрение и решение. Мне кажется всего лучше сделать два издания: одно — простое собрание всех стихотворений, стоящих чтения, с исключением всего явно слабого, без всякого библиографического и другого аппарата; другое — совершенно полное, со всеми подробностями, которые можно добыть, с вариантами и т⟨ому⟩ п⟨одобное⟩. Первое издание можно сделать в одном томе, напечатать его в значительном числе экземпляров и пустить не очень дорого; другое издание напечатать для изыскателей в нескольких сотнях экземпляров. Мне думается, что таким образом в двух зайцев будут пущены два камня, и следовательно, даже с материальной стороны вернее будет удача. Первое издание можно бы приготовить довольно скоро и притом довольно исправно, тогда как второе, если с ним торопиться, едва ли обойдется без ошибок и пропусков.[1]

lib.pushkinskijdom.ru

На днях Марья Петровна прислала мне целую тетрадь отысканных ею стихотворений, 61 пьеса, в числе их и те два, которые вложены в Ваше письмо ко мне.[2] Но придется, вероятно, просить присылки первоначальных рукописей, так как я заметил две-три явные ошибки переписчицы.[3] Впрочем хорошего мало в этих стихах, хотя везде след несравненного языка и поэтического полета, и за этот след можно отдать самые умные и законченные стихотворения других певцов.

Отдаю себя в полное Ваше распоряжение и усердно прошу всякого извинения.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1893
7 сентября
СПб.

Приложение:

Другу.

Когда в груди твоей страданье
Проснувшись к сердцу подойдет
И жадный червь воспоминанья
Его неведомо грызет, —

Борьбой с наитием недуга
Души напрасно не томи,
Без слез, без ропота, на друга
С надеждой очи подыми.

Пусть свет клянет и негодует,
Он на слова прощенья нем,
Пойми, что сердце только чует
Невыразимое ничем.

То, что в явленьи незаметном
Дрожит, гармонией дыша,
И в тайнике своем заветном
Хранит бессмертная душа,

Одним лучем из ока в око,
Одной улыбкой уст немых
Со всем, что мучило жестоко
Единый примиряет миг.

1857 года
15 мая. Москва.

К бюсту Ртищева в Воробьевке.

Прости меня, почтенный лик
Здесь дней минувших властелина,
Что медной головой поник,
Взирая на меня с камина.

Прости, ты видишь сам, я чту
Тебя покорно, без ошибки,
Но не дождусь, когда прочту
Значенье бронзовой улыбки.

Поник ты старой головой,
Смеяся, может быть, утратам.

lib.pushkinskijdom.ru

Да, я ворвался в угол твой,
Наперекор твоим пенатам.

Ты жил и пышно, и умно,
Как подобало истым барам,
Упрочил ригой ты гумно,
Восполнив дом и сад амбаром.

Дневных забот и платья бич,
Твоих волос не знала пудра,
Ты каждый складывал кирпич
И каждый гвоздь вбивал премудро.

Не бойся, не к тому я вел,
Чтоб уколоть тебя сатирой;
Не улыбайся, что вошел
К тебе поэт с болтливой лирой.

«Поэт! Легко сказать, поэт,
Еще лирический к тому же;
Вот мой преемник и сосед,
Каких не выдумаешь хуже.

Поэт безумствовать лишь рад,
Он смел для ежедневных терний...»
— «Не продолжай на этот лад,
Тебе не кстати толки черни.

Не по годам такая прыть,
Уж мы ее бросаем с веком,
И я надеюсь сговорить
С тобой, как с дельным человеком.

Тупым оставим храбрецам
Все их нахальство, все капризы,
Ты видишь, как я чищу сам
Твои замки, твои карнизы.

Простим друг другу все грехи;
И я у гробового входа, —
Порукой в том мои стихи
Из дидактического сброда».

[1] Страхов не успел осуществить этих планов по изданиям сочинений Фета, так как умер в 1896 году. Следующее — полное — собрание стихотворений поэта издавал уже Б.В.Никольский (см.: *Фет А.А.* Полное собрание стихотворений. СПб., 1901. Т.1—3). Исследователи литературного наследия Фета считают единственным достоинством этого издания полноту и по многим признакам предпочитают ему собрание, подготовленное Страховым и К.Р., которые ориентировались на предварительную редакторскую работу, проделанную самим Фетом в мае 1892 года в Воробьевке. Эти материалы и оглавление были переданы Марией Петровной, вдовой Фета, К.Р. См. об этом обзор Б.Бухштаба «Судьба литературного наследства А.А.Фета» (Лит.наследство. 1935. Т.22—24. С.582—585).

[2] См. приложение к наст.п. Эти два стихотворения не были включены в ЛС.

[3] Имеется в виду секретарь Фета — Екатерина Владимировна Федорова.

lib.pushkinskijdom.ru

19

К.Р. — Н.Н.Страхову

Стрельна.
9 сентября 1893.

Многоуважаемый Николай Николаевич, не могу не согласиться с вашей мыслью о двух изданиях стихотворений Афанасия Афанасьевича: одном для большинства читающих и другом для немногих любителей и изыскателей с примечаниями, вариантами и т⟨ак⟩ д⟨алее⟩. Полагаю, что чем менее спешить с этим последним изданием, тем оно будет обстоятельнее и лучше.

Я все еще под впечатлением «России и Европы», прочитанной с великим наслаждением. Редко попадалось мне такое упоительное чтение. Но и на солнце бывают пятна: в главе о европейничаньи меня огорчили страницы, где обвиняется Петр Великий за искоренение наших древних родных обычаев и введение чужих. Не справедливее ли историку объяснять все это неизбежною, хотя и печальною необходимостью, каковою была обязанность Петра «в Европу прорубить окно»?[1] Так же точно не могу я согласиться с нападками на французскую литературу, прозванную (по-моему, несправедливо) псевдоклассическою.[2] Но все это мелочи, а в общем «Россия и Европа» всем книгам книга. Читаешь и испытываешь то, что евангелист Лука выразил словами: «не сердце ли горя бе в нас»,[3] если только позволительно применить их в этом случае.

Тружусь над переводом Гамлета,[4] а своих стихов писать не могу.

Будьте здоровы, крепко жму вам руку.

Константин.

[1] У Н.Я.Данилевского о Петре Великом сказано: «Познакомившись с Европой он, так сказать, влюбился в нее и захотел во что бы то ни стало сделать Россию Европой. Видя плоды, которые приносило европейское дерево, он заключил о превосходстве самого растения, их приносившего, над русским, еще бесплодным дичком ... и потому захотел срубить его под самый корень и заменить другим. Такой замен возможен в предметах мертвых, образовавшихся под влиянием внешней, чуждой им идеи» (*Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романским. СПб , 1888. С.285).

[2] В главе «Историческое воспитание» Данилевский развивает мысль о ведущей роли Франции в истории Европы, начиная со времени Людовика XIV, считая, однако, при этом удивительным тот факт, что «французская литература ставится образцом для всей Европы». По мнению Данилевского, она «не оправдывает этого преобладания своим внутренним достоинством», и он определяет характер французской литературы как псевдоклассический (Там же. С.258).

[3] Очевидно, К.Р. имел в виду слова из Евангелия от Луки: «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лук. 24, 32).

[4] «Трагедию о Гамлете принце Датском» Шекспира К.Р. переводил с 1889 по 1898 год (первое издание вышло в свет лишь в 1901 году). Перевод был снабжен обширным (в двух томах) комментарием, включавшим текстологию и источниковедение, сценическую историю драмы, сведения о различных переводах и критике «Гамлета» и многое другое. Столь фундаментальное приложение — единственное в своем роде среди русских переводов «Гамлета».

20

К.Р. — Н.Н.Страхову

Стрельна.
27 октября 1893.

Милый Николай Николаевич, благодарю вас за доставленное наслаждение. С пятницы я не переставал упиваться стихами Фета и снова, уж в который раз, почувствовал себя в его волшебной, чарующей власти. Перечитал все с начала и до конца, впечатление получилось полное, цельное, чудесное.

lib.pushkinskijdom.ru

Имею заметить следующее: в Элегиях и думах на стр⟨анице⟩ 50-й (красн⟨ый⟩ каранд⟨аш⟩) в третьей строфе озадачило меня слово *старе*. Не поставить ли *старей*?[1] На стр⟨анице⟩ 72: «на скалы мечет океан твою серебряную ризу». Вряд ли представлялся поэту в этой ризе «Дух всюду сущий и единый», поставленный в эпиграфе. Полагал бы, что вместо *твою* следует поставить *свою*, что относило бы ризу к океану.[2]

Не отнести ли «Теплым ветром потянуло» и «Если зимнее небо звездами горит» (Мелодии, стр⟨аницы⟩ 5 и 21) в Вечера и ночи: мне кажется, там эти стихотворения были бы более на своем месте;[3] «В нескольких стах фолиантах» (Вечера и ночи, 6), думаю, что правильнее «фолиан*тов*».[4] В том же отделе на стр⟨анице⟩ 35 помещено стихотворение 1866 года, а на следующей 1863-го; надо переставить.[5]

Так бы хотелось поместить «Какая ночь!» (Весна, 16) в Вечера и ночи, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ в этом несравненном стихотворении обаяние ночи преобладает над очарованием весны; в четырех строфах слово ночь повторено три раза.[6] Я помню, что про «Майскую ночь» (Весна, 26) пишет Афанасию Афанасьевичу Лев Толстой; это письмо приведено в Воспоминаниях Фета, которых у меня нет под рукою. На основании этого письма можно бы найти год написания стихотворения.[7]

В отделе Весна пропущена 32-я страница.

Во всех выпусках Вечерних огней, кроме пятого, не соблюдена хронологическая последовательность, строго выдержанная в других отделах и весьма желательная. На стр⟨анице⟩ 8-й первого выпуска в третьей строфе вместо «ни един*ой*» и «соловьин*ой*» следует ли читать «ни един*ый*» и «соловьин*ый*».[8]

В Посланиях, посвящениях и т⟨ак⟩ д⟨алее⟩ на стр⟨анице⟩ 19 под стихами Тютчеву не выставлен год.[9] В этом отделе, так же как и в Вечерних огнях, надо бы, по-моему, восстановить хронологический порядок. Напр⟨имер⟩, стихи, посвященные мне, написаны в марте 1887 г⟨ода⟩, а помещены после обращения к сестре, относящегося к апрелю того же года (стр⟨аницы⟩ 37 и 36). В этом отделе я не нашел ни стихотворения «К ней», ни посвящения моей жене под заглавием «Она» (Вечерние огни. Москва. 1891. Стр⟨аницы⟩ 27 и 13).[10]

Я позволил себе во всем собрании переправить слово хмѣль на хмель, согласно с требованиями современного правописания.

Не думаете ли вы, что следовало бы везде все собственные имена, отчества и фамилии выписать целиком, не ограничиваясь одними заглавными буквами. Я мог бы обратиться к Марье Петровне, которая наверно все это хорошо знает.

Благодаря исправленным вами знакам препинания многие стихотворения, которых я просто не понимал, получили для меня свою надлежащую прелесть. Как я вам благодарен за это собрание стихов, приготовленных к печати! Попрошу вас присылать мне и корректуры.

Теперь напомню вам ваши же слова, написанные 2 июня; вы писали мне, что в моей судьбе есть одна черта, которая вместе и прекрасна, и печальна: я стою в толпе стариков и расположен относительно к иным из них не с простым, а с сердечным чувством. И вот им придется постоянно печалить меня: на моих глазах они будут один за другим сходить в землю,

«И чей-нибудь уж близок час».

Слова ваши — увы! слишком рано сбываются. Умер П.И.Чайковский,[11] которого я очень любил и теперь храню целую пачку его милых писем, к которым уже ни одно более не прибавится.[12] И я дрожу за остающихся мне дорогих людей.

Простите мне растянутость этих строк и верьте моему искреннему почитанию.

Константин.

P.S. Из присланных вами образчиков бумаги мне более нравится № 444, хотя она и дешевле на полтора рубля.

lib.pushkinskijdom.ru

[1] Имеется в виду стихотворение «Alter ego» (ЛС1, 53). Изменения в текст внесены не были.
[2] Стихотворение без заглавия в отделе «Элегии и думы» под № VIII — «Я потрясен, когда кругом...». Издатели не тронули авторского текста. См.об этом приписку в письме Страхова к К.Р. от 10 декабря 1893 года (п.22 в наст. публикации).
[3] Совет К.Р. был принят Страховым.
[4] Стихотворение «Скучно мне вечно болтать...». Исправлено на «фолиантов».
[5] Очевидно, имеются в виду стихотворения «С какой я негою желанья» и «Блеском вечерним овеяны горы», которые в ЛС помещены в хронологическом порядке.
[6] Стихотворение «Какая ночь! На всем такая нега» находится в разделе «Вечера и ночи».
[7] Стихотворение «Майская ночь» было датировано 1870-м годом по подсказке К.Р. 11 мая 1870 года Л.Н.Толстой писал А.А.Фету: «Развернув письмо (А.А.Фета. — *Л.К.*) я — первое — прочел стихотворение, и у меня защипало в носу: я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение одно из тех редких, в котором ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно... "Ты нежная", да и все прелестно, я не знаю у вас лучшего» (цит.по: *Толстой Л.Н.* Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т.1. С.402—403). К.Р. ошибочно полагает, что это письмо было опубликовано в кн.: *Фет А.А.* Мои воспоминания. 1848—1889. М., 1890. Ч.I и II. Очевидно, оно было известно ему из другого источника.
[8] Поправка К.Р. к стихотворению «Ключ» была принята. См.: ЛС 2, 129.
[9] ЛС 2, 224. Дата была введена в текст.
[10] Оба стихотворения: «К ней» («Кто постигнет улыбку твою...») и «Она» («Две незабудки, два сапфира...») в ЛС были напечатаны под названием «Великой Княгине Елисавете Маврикиевне».
[11] П.И.Чайковский скончался 25 октября 1893 года в Петербурге после непродолжительной, но тяжелой болезни.
[12] К.Р. переписывался с Чайковским с 1880 по 1893 год (см.: ИРЛИ. Ф.137. Ед.хр.78). Композитор написал на стихи К.Р. несколько романсов. Среди них: «Растворил я окно», «Серенада», «Вот миновала...», «Уж гасли в комнате огни» и другие.

21

К.Р. — Н.Н.Страхову

4 декабря 1893.
Петербург

Многоуважаемый Николай Николаевич, возвращаю вам просмотренную корректуру Элегий и дум. Я кое-какие ошибки заметил, но очень прошу вас не считать меня хорошим корректором: я легко пропускаю самые грубые опечатки. Что же касается знаков препинания, то я в них ничего не смыслю и постоянно ставлю запятые там, где не нужно, и опускаю их, где им следует быть.

Марья Петровна писала мне, что ею посланы вам два портрета Афанасия Афанасьевича еще юношей; полагаю, что недурно было бы прибавить к ним и третий, в старые годы. Это и facsimile покойного очень украсило бы наше издание, которое, как мне кажется, будет очень удачно.[1]

23-го ноября мы переехали в город, и я готов видеть вас всякий раз, что (Так. — *Л.К.*) это будет вам угодно. Но попрошу вас, если вам меня нужно, посылать спрашивать просто на словах, когда можно застать меня дома, так как я часто бываю в разъездах, и, не осведомившись, вы легко можете не застать меня и только даром потерять время.

Крепко жму вам руку.

Константин.

[1] К первому тому ЛС приложены две фотографии Фета: в военной форме (1857) и снимок работы А.И.Деньера (1861). Второй том украшен портретом Фета работы И.Е.Репина (1882; ГТГ).

lib.pushkinskijdom.ru

22

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

Никак не смел я думать, что Вы возьмете на себя корректурный труд в такой мере, как Вам угодно это делать. Ваши поправки истинно драгоценны, особенно в буквенных ошибках, составляющих мое горе и слабость. Но, конечно, полную и окончательную ответственность за корректуру принимаю я и постараюсь приложить все свое старание. Знаки препинания, кажется, самая сильная моя сторона. Эти стихи и в корректуре читать — великая прелесть. Вникая в смысл и в тон, я все больше влюбляюсь в них, и весь труд дает мне много наслаждения. Портреты — два молодых и один старый — все три превосходные — уже сданы мною племяннику Марьи Петровны.[1] Остается выбрать факсимиле почерка; попробую сделать выбор из того, что у меня есть, и явлюсь к Вашему Высочеству для решения.

Для краткой биографии [2] мною начаты извлечения из документов, присланных Марьею Петровною; но на праздники думаю поехать в Москву, чтобы добыть и исправить всякие сведения. Радуюсь всею душою, что успел заслужить Ваше одобрение за то, что до сих пор сделано. Меня сокрушает только одно — моя медлительность, которой Вы оказываете такое милостивое снисхождение. Мне должно постоянно просить Вас великодушно прощать меня. Но и я надеюсь, что дело будет сделано недурно; забочусь об нем от всего сердца.

Лист, который здесь прилагается, есть уже отпечатанный лист, и такие листы будут Вам доставляемы по мере печатания. Поправка *никем* вместо *ни кем*, конечно, правильная; но, мне кажется, беда еще небольшая, по правилу: если то, что пишется слитно, можно написать раздельно, то раздельность всегда допускается.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов

1893
10 дек⟨абря⟩
СПб.

P.S. Поправку *Свою* вместо *Твою* (лист 5, стр⟨аница⟩ 76) я сам предлагал Афанасию Афанасьевичу; но он возразил, что именно хотел сказать о Боге. Тогда я заметил, что необходимо впереди какое-нибудь обращение: *о*, *Ты*, или *к Тебе* и т⟨ому⟩ п⟨одобное⟩. Аф⟨анасий⟩ Аф⟨анасьевич⟩, чтобы чем-нибудь заменить это обращение, придумал поставить эпиграф: *Дух всюду сущий* [3] и пр⟨очее⟩. Переделывать свои стихи он был не мастер; побившись немножко, я часто должен был мириться со всеми неисправностями и оставлять большие пятна и трещины на его алмазах.

15 дек⟨абря⟩

[1] Очевидно, имеется в виду Владимир Николаевич Семенкович — племянник Фета; его дед был женат на тетке Фета Анне Неофитовне Шеншиной. Автор статьи «О происхождении Фета» (Русский архив. 1901. Кн.1. С.165—173).
[2] См.: ЛС 1, V—XVI.
[3] См. п.20.

lib.pushkinskijdom.ru

23

К.Р. — Н.Н.Страхову

16 декабря ⟨18⟩93.

На прилагаемой корректуре (стр⟨аницы⟩ 65—80) Элегий и дум я заметил лишь два места, и только карандашом, т⟨а⟩к к⟨ак⟩ не уверен в своей правоте. Это: запятая на стр⟨анице⟩ 73 и С вместо Т на стр⟨анице⟩ 76.

Уверяю вас, я никакой причины не имею упрекать вас в медлительности. Напротив того, мне кажется, что поспешность шла бы в ущерб нашему изданию.

Вы тысячу раз правы: перечитывать Фета, вникая в каждое слово, каждую мысль — настоящее наслаждение.

Я был бы очень рад, если б вы пожелали меня видеть до поездки в Москву.

До свидания, многоуважаемый Николай Николаевич. Искренно вам преданный

Константин.

24

Н.Н.Страхов — К.Р.

Москва,
Плющиха, соб⟨ственный⟩ дом
(М.П.Шеншиной)

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

В настоящую минуту можно сказать, что биографический очерк Афанасия Афанасьевича уже готов в том виде, как он мною задуман.

По возвращении в Петербург он будет переписан, и буду иметь честь представить его на Ваше суждение. Это составит 6 или 7 страниц, наполненных датами и фактами, лишь кое-где характеризованными, но, по возможности, выразительно.[1] Каждый день мы с Марьей Петровной и Катериной Владимировной[2] пускаемся в эти воспоминания и припоминания.

Мы посмотрели все портреты Афанасия Афанасьевича, и один из них так типично изображает его в старые его годы, что этот портрет я привезу показать Вашему Высочеству; мне думается, хорошо бы его приложить к изданию.[3]

Необыкновенно приятно чувствовать себя в этом доме, с которым сблизился по какому-то естественному сродству и сблизился поздно очень тесно. Конечно, беспрестанно разговор касается и Вашего Высочества. Как моих хозяек, так и меня глубоко тронул милостивейший Ваш привет.

С душевной признательностью позволяю себе принести Вашему Высочеству мое искреннейшее поздравление с наступающим новым годом.

Вашего Императорского Высочества
препреданнейший

Н.Страхов.

30 дек⟨абря⟩ 1893.

[1] См.прим.2 к п.22.
[2] См.прим.3 к п.18.
[3] См.прим.1 к п.21.

lib.pushkinskijdom.ru

25

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

В прилагаемых корректурах мною сделана перемена, на которую покорнейше прошу Вашего разрешения. В *Лето* мною перенесены два стихотворения — IX и X — из *Осени*.[1]

Под ними подписаны летние числа, и содержание их летнее — дожди и бури. Мне помнится даже, как было написано стихотворение IX; я был в Воробьевке, и мы все ждали хорошей погоды.[2]

Предполагаю, что *Осенью* можно кончить первую часть, и вторую начать *Снегами* — тогда величина частей будет почти одинакова.

Через два или три дня будет готова рукопись предисловия, которое мною пополнено и доведено до конца. Поспешу представить ее на Ваше усмотрение.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов

1894 г⟨од⟩
4 февр⟨аля⟩
СПб.

[1] Речь идет о стихотворениях «Вот и летние дни убавляются...» и «Задрожали листы, облетая». Под первым стоит дата: «19 июня 1887», под вторым: «13 июля 1887». Н.Н.Страхов и К.Р. бережно отнеслись к замыслу самого А.А.Фета. В предисловии к ЛС Страхов писал: «План этого издания составлен был самим поэтом в мае 1892 в Воробьевке... Его план сохранен в главных чертах, и только разработан... Вообще, сколько можно было, удержана старая группировка; перемены в расположении сделаны лишь сообразно с ее значением» (ЛС 1, XV—XVI).

[2] Летом 1876 года Л.Толстой привез Страхова к Фету в Степановку. В 1878 году поэт купил новую усадьбу Воробьевку, где он и провел все оставшиеся годы своей жизни, ежегодно — с мая по октябрь. Страхов, частый гость новой обители Фета, писал: «Деревня Воробьевка стоит на левом берегу реки, а господская усадьба на правом берегу, очень высоком. Каменный дом окружен с востока каменными же службами, а с юга и запада огромным парком на 18-ти десятинах, состоящим большей частью из вековых дубов. Место так высоко, что из парка ясно видны церкви Коренной Пустыни. Множество соловьев, грачи и цапли, гнездящиеся в саду, цветники, разбитые по скату к реке, фонтан, устроенный в самом низу против балкона, — все это отразилось в стихах владельца, писанных в этот последний период его жизни» (ЛС 1, XXXIII—XXXIV).

26

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный дворец.
6 февраля 1894.

Многоуважаемый

Николай Николаевич, я совершенно с вами согласен насчет перенесения двух стихотворений из Осени в Лето. По этому поводу мне вспомнилось, что в конце отдела Весна есть стихотворение, не помню какое именно, помеченное каким-то числом сентября, это несоответствие мне бросилось в глаза, и я не могу вам об этом не сообщить.

Просматривая уже отпечатанные листы, я заметил следующие опечатки: В Мелодиях на стр⟨анице⟩ 141 вместо XXXVI стоит XXXV, на стр⟨анице⟩ 152 вместо XLVII—XLXII, а на 167 стр⟨анице⟩ вместо LXII—LXI. Не знаю, возможно ли это исправить.

С нетерпением буду ожидать рукописи предисловия.

Искренно вам преданный

Константин.

lib.pushkinskijdom.ru

27

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

Усердно прошу извинения за опечатки. По счастью, они незначительны, не искажают самих стихотворений, и в общей нумерации нет путаницы. Обращусь, однако, в типографию,[1] — нельзя ли чего исправить.

Стихотворение

Сплю я. Тучки дружные

может быть лучше было бы поместить в *Мелодии*. Но тут произвол почти неизбежен. Это — впечатление сна, и сон, без сомнения, относится к весне.[2]

Прилагаю *Предисловие*, которое постарался несколько скрасить и оживить. В конце, может быть, не дурно будет прибавить еще одну или две фразы. Такой же список предисловия отправляю Марье Петровне, чтобы она могла все проверить.

Еще раз прошу извинить меня за все.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший
Н.Страхов.

1894
7 февр⟨аля⟩
СПб.

[1] Имеется в виду типография братьев Пантелеевых, находившаяся в Петербурге на Верейской улице, дом 16.

[2] Стихотворение «Сплю я. Тучки дружные...» вошло в раздел «Весна» (ЛС 2, 283).

28

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный.
9 февраля 1894.

Многоуважаемый

Николай Николаевич, мне кажется, ваше предисловие вполне отвечает цели; оно сжато, точно и ясно; не знаю, что надо бы еще прибавить.

Мне так совестно, когда вы, — убеленный сединами, извиняетесь передо мною — годящимся вам в сыновья. Мне не в чем вас винить.

Я уверен, что и Марья Петровна вполне останется довольна предисловием.

Спешу возвратить вам рукопись, прося верить моему искреннему расположению.

Константин.

lib.pushkinskijdom.ru

29

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

Относительно «Вечерних Огней», мне кажется, лучше всего сделать так:

1. На заглавном листе вместо *Стихотворения последних годов* поставить *Издание последних годов.*[1]

2. Удержать порядок, в котором расположены были стихотворения, потому что этот порядок и сохранился в памяти читателей, и имел некоторое значение у автора. Напр⟨имер⟩, в третьем выпуске *Муза* прямо примыкает к предисловию.[2] Если же расположить строго хронологически, то придется перетасовать стихотворения и поставить впереди то, что писано гораздо раньше *Вечерних Огней.*

3. Подписать дату только под теми стихотворениями, которые писаны раньше Вечерних Огней. Для остальных дату составляет дата самого выпуска.[3]

Хотя таким образом выйдут отступления от ясного порядка, но по внутреннему смыслу все будет правильно, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ читателю будет предоставлен тот вид, в котором поэт являлся перед публикою в последние годы.

Еще прошу Вашего разрешения на то, как устроить общее заглавие. Мне делали замечание, что слово *лирический* — лишнее; но я стою за него хотя бы для того, чтобы отличить это издание от предыдущих. Затем, — не нужно ли обозначить, кто отвечает за издание? [4]

В остальном предлагаю так:

Лирические стихотворения
А.Фета
1840—1892
часть первая.

I Элегии и думы
II Мелодии
III К Офелии
IV Вечера и ночи
V Весна
VI Лето
VII Осень[5]

Типография теперь работает быстро; портреты, вероятно, не запоздают, и потому можно надеяться, что недели через полторы книга будет готова.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший
Н.Страхов

1894
5 марта
СПб.

[1] Это исправление было сделано, но не на титульном листе, а в оглавлении.
[2] Порядок расположения стихотворений был сохранен в ЛС.
[3] Именно так в ЛС.
[4] Страхов указал в предисловии: «Остается сказать о том издании, которое предлагается читателям. Оно исполнено, по желанию и на иждивении вдовы поэта, Великим князем Константиновичем и составителем настоящего предисловия» (ЛС 1, XV).
[5] В ЛС напечатано с небольшим изменением:
Лирические стихотворения
А.Фета
В двух частях
Часть I
и далее — по проекту Страхова.

lib.pushkinskijdom.ru

30

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный дворец.
7 марта 1894.

Многоуважаемый Николай Николаевич, с радостью узнал от вас, что новое издание Фета может скоро выйти в свет. Кстати, читали ли вы статью о Фете в Русской Мысли?[1] Она читается с раздражением.

Я совершенно с вами согласен насчет общего заглавия и заголовка перед Вечерними Огнями. Но не лучше ли сказать не «Издание», а «Издания последних годов», т⟨а⟩к к⟨ак⟩ этих изданий было несколько? Согласен также, что порядок можно сохранить тот же, что и ⟨в⟩ существующих выпусках Вечерних Огней, хотя некоторые из этих стихотворений распределены по соответствующим отделам. — Что же касается подписания дат, то я думаю, что следовало бы и в отделе Вечерних Огней сохранить все факты, выставленные самим поэтом в его последних изданиях, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ начиная с третьего выпуска. — В отделе же стихотворений на разные случаи, мне кажется, надо бы держаться хронологического порядка, поставив рядом только пьесы, обращенные к одному и тому же лицу.[2]

Слово Лирические по-моему безусловно следует сохранить в общем заглавии, а то мы могли бы подвергнуться справедливому обвинению за произвольный выбор стихов.

Не упомянуть ли в конце вашего предисловия об ответчиках за издание, предпринятое вдовою поэта? Думаю, что выставлять наши имена на заглавном листе неудобно. А предисловие можно бы заключить, сказав, что по желанию Марьи Петровны мы с вами взяли на себя хлопоты по изданию, сортировку пьес, корректуру и т⟨ак⟩ д⟨алее⟩.

Дружески жму вам руку и искренно благодарю за внимание, с каким вы обращаетесь ко мне во всех спорных вопросах.

Искренно вам преданный

Константин.

P.S. Отпечатанных уже листов 1-го тома мне прислано всего 20, за исключением одного, 19-го.

Не посетуете ли вы на меня за вставку определения Сонет на стр⟨анице⟩ 148 (II том) и за корректурные пометки в этом сонете? Мне кажется, что слова дева и царица надо начинать с прописной буквы, как относящиеся к Богородице; может быть надо и большое Т в обращении «ты»?[3] А ударения Иегóва и Рафáэль я считаю нужными для тех, кто не одарен музыкальным слухом, а также и потому, что эти слова произносятся двояко. Простите за долгую болтовню. К.

[1] Очевидно, имеется в виду следующая статья: *Л-ий* [*Лазурский В.Ф.*] А.А.Фет (Шеншин) как поэт, переводчик и мыслитель // Русская мысль. 1894. № 2. Отд.II. С.28—40.

[2] Этот раздел во втором томе ЛС был назван «Послания, посвящения и стихотворения на случай»; в нем соблюдена точная хронология.

[3] Эта вставка и поправка К.Р. были учтены в ЛС.

31

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный.
8 марта 1894.

В предисловии к III-му выпуску Вечерних Огней упоминается о Соловье и розе, которые в нашем издании перенесены в Восточные мотивы. А потому мне кажется, что если и не надо объяснять почему это стихотворение исключено нами из Вечерних Огней, то непременно

lib.pushkinskijdom.ru

следует в предисловии сделать выноску, в которой и указать страницу, где помещена пьеса.[1] Я сделал пометку карандашом на тот случай, если бы вы сочли ее излишней и захотели стереть.

Искренно почитающий вас

Константин.

[1] Этот раздел II тома назван «Подражания восточному». Под стихотворением «Соловей и роза» (ЛС 2, 107—113) поставлена дата — «1850» — в соответствии с установлением Страхова в предисловии: «Если точной даты нельзя было найти, взят год первого появления в печати и поставлен в *скобках*» (ЛС 1, XVI).

32

К.Р. — Н.Н.Страхову

14 марта 1894.

Многоуважаемый Николай Николаевич, в виду того, что пятый выпуск Вечерних Огней, хоть и был приготовлен к печати, но на свет еще не появлялся,[1] я полагаю, что в нем следовало бы расположить стихотворения в хронологическом порядке. Для этого следовало бы IX стихотворение (стр⟨аница⟩ 211) поставить на место IV-го, (перенеся его на стр⟨аницу⟩ 206), а от IV-го вплоть до VIII-го включительно все пять пьес в том же порядке поместить под цифрами V, VI, VII, VIII и IX.

Простите, если я плохо и неясно выражаюсь: у меня сильно болит голова, и я худо соображаю.

Примите от меня оттиск переведенного мною отрывка из Генриха IV. Он помещен в Русском Обозрении за март месяц.[2]

Искренно вам преданный

Константин.

[1] См.прим.12 к вступительной статье.

[2] См.: Из Шекспира. Король Генрих IV. Часть II. Акт IV. Сцена IV. Отрывок [Пер. К.Р.] // Русское обозрение. 1894. Март. Т.26.

33

К.Р. — Н.Н.Страхову

Гатчина.
11 апреля 1894.

Многоуважаемый Николай Николаевич, теперь, кажется, все в порядке, корректуру я продержал, нашел несколько ошибок, но не много, и думаю, что главные хлопоты кончены. Обращу ваше внимание на «За горами, песками, морями», стр⟨аница⟩ 210. Стихотворение помечено 4 мая; если это не ошибка, то его надо поменять место⟨м⟩ с предыдущим — «Роящимся мечтам», под которым выставлено 14 мая.[1] Во всем остальном хронологический порядок соблюден правильно.

Простите, что долго задержал корректуру. Искренно вам преданный

Константин.

[1] В ЛС стихотворение «За горами, песками, морями...» (ЛС 2, 209) помещено перед стихотворением «Роящимся мечтам лететь дав волю...» (ЛС 2, 210).

lib.pushkinskijdom.ru

34

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество,
Константин Константинович,

Приложу все старания исполнить все по Вашим указаниям. Прошу только разрешить мне в отделе *Послания* и пр⟨очее⟩ соблюсти строго хронологический порядок, как в некоторой летописи поэта. В конце второй части будет сверх оглавления приложен *алфавитный список* всех стихотворений, и там все обращения к одному лицу будут стоять рядом — последовательно.

В одном случае я поступил самовольно и прошу Вашего извинения. Названия месяцев под стихами везде у меня поставлены сокращенно: *авг.*, *янв.*, и т⟨ак⟩ д⟨алее⟩. Ясности это не мешает нисколько; между тем дата всегда должна несколько скрадываться.

Портреты еще не пришли. Из Москвы мне пишут, что Марья Петровна серьезно больна бронхитом. Под конец с печатаньем набралось столько хлопот, что дай Бог управиться на следующей неделе. Я буду всячески стараться не замедлить.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов

1894
15 марта
СПб.

35

К.Р. — Н.Н.Страхову

16 марта 1894.

Многоуважаемый Николай Николаевич, я начал было писать вам вчера, продолжал сегодня утром, но многое напутал, изорвал письмо и пишу снова. Очень радуюсь предположенному вами алфавитному указателю стихотворений; это большое удобство.

Просмотрел всю прилагаемую корректуру. Думаю, что надо бы на стр⟨анице⟩ 261 прибавить имя и отчество Якову Петровичу,[1] как и сделано ниже на стр⟨анице⟩ 394. — В послании Майкову (стр⟨аница⟩ 264) не правильнее было бы «руки», а не «руку», хотя единственное число находится и в существующем издании «Вечерних Огней»?[2] В посланиях за 1890 год не соблюден хронологический порядок. Одно из них LV, на бракосочетание и т⟨ак⟩ д⟨алее⟩ (стр⟨аница⟩ 293) ошибочно помечено 90-м г⟨одом⟩, тогда как было написано в 1889, как и обозначено в Вечерних Огнях, и след⟨овательно⟩ должно быть перенесено на стр⟨аницу⟩ 297, с номером LIV. Затем вот каков должен быть порядок: LV. Гр. С.А.Толстой, «Где, средь иного поколенья», LVI. М.Н.К-ной, (жаль, что полного имени не выставлено), LVII. стихи, посвященные мне, «Пред вами правда несомненно», LVIII. В.К. Елисавете Маврикиевне (особенно настаиваю на букве с в имени моей жены), LIX. послание ко мне «Когда, колеблем треволненьем», LX. в альбом Н.Я.Полонской и LXI. Полонскому.

Не следует ⟨ли⟩ отметить под последним стихотворением LXIX (стр⟨аница⟩ 316), что оно предсмертное?[3]

Искренно вам преданный
Константин.

[1] То есть Я.П.Полонскому. Осталось, как было у Фета: «Полонскому» (ЛС 2, 267).

lib.pushkinskijdom.ru

[2] В послании «Аполлону Николаевичу Майкову (На сочувственный отзыв о переводе Горация)» последняя строка была исправлена: «Но вам обоим руки жму».

[3] № LXIX относится к стихотворному посланию «Петру Ильичу Чайковскому», датированному 18 августа 1891 года. Предсмертным было стихотворение Фета «Великой княгине Елисавете Маврикиевне и великому князю Константину Константиновичу» (№ LXXIII). В ЛС под этим стихотворением указано: «Предсмертное стихотворение» (см.: ЛС 2, 324).

36

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный.
21 марта 1894.

Я только что получил печальное, глубоко огорчившее меня известие: Петр Петрович Боткин [1] сообщает мне, что сегодня, ровно через 16 месяцев после кончины нашего дорогого Афанасия Афанасьевича, скончалась Марья Петровна. Я знаю, что вы тоже искренно опечалитесь и чувствую потребность поделиться с вами своей скорбью.

Царство Небесное дорогой почившей!

Какая судьба постигнет теперь издание, с такой любовью и заботливостью задуманное милой покойницей? Куда денется Екатерина Владимировна?[2] А укромный уголок обоих усопших на Плющихе? Что-то с ним станется! Так грустно...

Полагаю, что Боткины из уважения к желанию умершей захотят почтить ее память, доведя предложенное ею дело до конца. Если же нет, я возьму на себя издержки по изданию.[3]

Мне бы очень хотелось узнать про последние минуты Марьи Петровны; не сомневаюсь, что если вы получите об этом сведения, то не откажетесь поделиться ими со мной.

Крепко жму вам руку.

Константин.

[1] Боткин Петр Петрович (1831—1907) — брат М.П.Фет; возглавлял правление торгового дома «П.К.Боткин и сыновья».

[2] Е.В.Федорова. См.прим.1 к п.15.

[3] См. п.41.

37

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество,
Константин Константинович,

Смерть Марьи Петровны для меня большое горе, как будто умерла близкая и дорогая родная. Когда-то, при первом знакомстве, я питал против нее предубеждения и не ценил ее. Но она давно победила и обезоружила меня своею неистощимою добротою. И еще недавно она так обласкала и обогрела меня, так щедро одарила меня за труды по изданию! Нет, нехорошо долго жить! Всей душою желаю умереть раньше не только друзей, но и моих добрых знакомых!

Вчера утром я получил телеграмму от Екатерины Владимировны,[1] что надежды нет, а вечером, после Вашего письма, пришла телеграмма Боткина о смерти. Боткина Петра Петровича[2] я видел один раз, у Марьи Петровны, нынче на Рождестве. Великолепный образчик купца, ума и доброты — без конца, в движениях — бодрость и ловкость, в словах — вечная шутка и ласка. Таково мое впечатление, и не думаю, чтобы в нем было много идеализации.

lib.pushkinskijdom.ru

Портреты и факсимиле пришли, и ничто не мешает окончанию издания, о чем я и продолжаю хлопотать. Подписал к печати 16-й лист. Задержка за оглавлениями. Ваши указания будут исполнены в точности. В одном месте вместо *мая* было набрано *янв.*, и только потому казалась нужною перестановка.

Мне радостно вспомнить, что Марья Петровна была очень довольна изданием и хвалилась им перед всеми. Жизнь ее не была несчастна, если судить по тому правилу, что мы тем счастливее, чем добрее.

Приношу мою глубочайшую благодарность за Ваше письмо.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1894
22 марта
СПб.

[1] Е.В.Федорова.
[2] См. прим.1 к п.36.

38

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество,

Графиня Толстая (жена Л.Н.Толстого) мне пишет:

«Похоронила я на днях Марью Петровну, и очень было грустно, что с ней рушилось еще одно гнездо друзей. Очень она, бедная, страдала; кончилось все параличом мозга, — ей втянуло язык в горло, она три дня хрипела. Не дай Бог такой смерти! На другой день она уже совсем разложилась, и это растлевшее жалкое человеческое подобие положили в роскошнейший цинковый гроб, разукрасили большим количеством венков, но никто слезы не пролил, никто ей в гроб цветка не положил, чтобы хоть что-нибудь коснулось ее, что была природа и жизнь. Жутко просто, какое проклятие на богатых! Она даже землей никогда не будет, а пролежит *вечно* в жестянке и в подвале, как и ее муж».[1]

Вот все вести, какие мною получены. Пишу теперь графине, чтобы она узнала, как быть с изданием и к кому обратиться в этом деле.

Прилагаю несколько последних листов — не для поправок, а чтобы показать, соблюден ли тот порядок и сделаны ли перемены, какие Вами указаны.

Наградит Вас Боже за Ваше участие к людям.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1894
28 марта
СПб.

[1] М.П.Фет похоронили рядом с мужем в склепе на кладбище села Клейменова — родового имения Шеншиных в Мценском уезде, в 25 километрах от Орла.

lib.pushkinskijdom.ru

39

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный.
28 марта 1894.

Милый Николай Николаевич, душевно благодарю вас за выписку из письма Графини Толстой.

Хотя вы и прислали мне последние листы издания не для поправок, но я все-таки некоторые сделал (стр⟨аницы⟩ 290, 306, 311 и 320). Не лучше ли выпустить букву *п* в слове сапфира?[1] Это устарелое произношение. Теперь хронологический порядок соблюден верно; только два стихотворения ⟨—⟩ А.Л.Бржесской и Графине Толстой (озаглавленное: Ей же, стр⟨аницы⟩ 262 и 263) надо бы поменять местами.[2]

Просматривая письма ко мне покойного Афанасия Афанасьевича, я только что с испугом заметил, что в новое издание не вошли два стихотворения, вот они:

За горами, песками, морями
Вечный край благовонных цветов,
Где, овеяны яркими снами,
Дремлют розы, не зная снегов.

Но красы истомленной молчанье
Так на все налагает печать,
И палящего солнца лобзанье
Призывает не петь, а дышать.

Восприяв опьянения долю
Задремавших лесов и полей,
Где же вырваться птичке на волю
С затаенною песнью своей?

И сюда я, где сумрак короче,
Где заря любит зорю будить,
В холодок Вашей северной ночи
Прилетаю и петь и любить.

Эти стихи принадлежат к письму № 87 от 4 мая 1891 с Плющихи, следовательно им следует войти в 5-й выпуск Веч⟨ерних⟩ Огней, но не знаю, возможно ли это теперь. А жаль было бы их пропустить.[3]

А вот и другое стихотворение:

В⟨еликому⟩ К⟨нязю⟩ Конст⟨антину⟩ Конст⟨антинови⟩чу и В⟨еликой⟩ К⟨нягине⟩ Елисавете Маврикиевне.

Давно познав, как ранят больно
Иные тернии венков,
Нередко с грустию невольной
Гляжу на юношей певцов.

Но пред Высокою Четою
В душе моей всегда светло:
За вдохновенной головою
Белеет Ангела крыло

Оно поэту в миг сомнений,
В минуту затаенных слез
Навеет райских сновидений
И чистоты нагорных роз.

Стихотворение помечено 30 января 1889; ему место в Посланиях, под числом L, между «На утре дней» и «Пора! По влаге...».[4]

lib.pushkinskijdom.ru

В эту минуту напал еще на стихотворение, посвященное тоже мне с женой и не вошедшее в новое издание. Не озаглавить ли его: «В.К. К-у К-вичу и В.К. Е-вете М-не при взгляде на их портреты»?[5]

Сердце желанием встречи томимо,
Тайные слезы стыдятся улики,
Смотрят вослед проходящему мимо
Ваши прелестные, кроткие лики.

Эти два снимка начерчены Фебом,
Горе при них исчезает мгновенно;
Как суждено расцвести ей под небом,
Юная их красота неизменна.

Вижу сиянье и вижу участье,
Нежные помыслов светлых владыки!
В душу вселяют и радость, и счастье
Ваши Высокие кроткие лики.

4 июня 1889.

Стало быть эти стихи надо поместить между «На бракосочетание» и «Гр.Толстой (Где, средь иного поколенья)».[6] Только теперь в смущении замечаю, что стих⟨отворение⟩ «Людские так грубы слова», уже напечатанное в IV выпуске Вечерних Огней (стр⟨аница⟩ 14) и посвященное моей жене, что видно из письма ко мне от 2 октября ⟨18⟩89 г⟨ода⟩, опущено в нашем печатаемом издании. Ему место в Посланиях между «Сердце желанием встречи томимо» и «Где средь иного поколенья».

На случай, если б вам понадобились справки по подлинным письмам, посылаю вам две пачки.[7]

Чувствую, что раздражаю вас своими замечаниями и тем невольно затягиваю появление в свет издания. Простите мне это длинное, сбивчивое и бестолковое письмо; меня несколько раз перерывали, и я спешу.

Будьте здоровы, глубокоуважаемый Николай Николаевич; очень прошу вас на меня не сердиться и искренно благодарю за добрые заключительные слова вашего сегоднешнего письма.

Сердечно вам преданный

Константин.

Я внимательно просмотрел все письма Афанасия Афанасьевича и больше не буду гневить вас неприятными сюрпризами.

[1] В.И.Даль отдавал предпочтение написанию: *сафир* (см.: *Даль В.* Толковый словарь великорусского языка. М., 1935. Т.IV. С.141).
[2] Стихотворения «Александре Львовне Бржесской» (№ XVII) и «Ей же» (№ XVIII) см.: ЛС 2, 257—259.
[3] Стихотворение «Графине Софье Андреевне Толстой» см.: ЛС 2, 265.
[4] Оба стихотворения вошли в раздел «Пятый выпуск Вечерних огней» (см.: ЛС 2, 209).
[5] См. раздел «Послания, посвящения и стихотворения на случай» (ЛС 2, 298).
[6] Именно под таким названием стихотворение было напечатано (см.: ЛС 2, 306).
[7] См.: ЛС 2, 307.
[8] См. прим.1 к п.15.

40

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество,

Случилось то, чего я от себя ожидал: путаница, пропуски, опечатки. Очень я огорчился и принялся все поправлять. Теперь я знаю, что не пропущено ни одно стихотворение

lib.pushkinskijdom.ru

издания 1863 года и «Вечерних Огней». Особенно меня поразило, что чуть было не был выпущен великолепный *Оброчник*, выражение того, как сильно чувствовал поэт свое призвание и как верно служил ему. Теперь, кажется, все исправно.[1]

Если Вам угодно будет просмотреть прилагаемые корректуры (их выправлять не нужно), то Вы увидите, как я распорядился; буду ждать Вашего одобрения или какой-нибудь отмены. Сапфир, мне кажется, можно сохранить: узнаю здесь особую манеру Фета употреблять возвышенные слова и обороты.

Особенно много пришлось хлопотать с оглавлением и указателем. Вообще, я не думал, что дело это такое сложное.

Прошу извинения, что посылаю столько корректур разом. Их нельзя было иначе изготовить, как все вместе.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1894
7 апреля
СПб.

[1] Стихотворение «Оброчник» вошло в раздел «Из четвертого выпуска Вечерних огней» (см.: ЛС 2, 189).

41

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

В прилагаемом листе прибавлено несколько строк на стр⟨анице⟩ XV и XVI. Кроме того представляю на Ваше разрешение заглавный лист в той форме, которая мне показалась удовлетворительною.

Посылая этот *последний* лист корректуры, осмелюсь высказать, что участие в трудах Вашего Высочества по этому изданию постоянно наполняло меня чувством глубокой признательности и радости. Вы запрещаете мне просить прощения, но я не могу не чувствовать Вашей великой снисходительности и моих вин. Без Ваших указаний не было бы в издании надлежащего порядка и полноты, и, конечно, на мне должна лежать ответственность за все могущие в нем найтись недостатки, за которыми Вам невозможно было уследить при Ваших многосложных занятиях.

Все корректуры с Вашими пометками я бережно сохранил и передам их наследникам Афанасия Афанасьевича как памятник Ваших трудов. Полным и единственным наследником литературных прав покойного поэта оказался отставной моряк Владимир Николаевич Семенкович, живущий в Москве.[1] Мы с ним списались, и вот что он мне отвечал на мои вопросы:

«Заболела Марья Петровна и умерла так неожиданно, что мы все не успели и опомниться. Она простудилась в одно из воскресений, проездив почти целый день в открытых санях. До среды ничего особенного не было заметно. В среду, по обыкновению, собрались человек 5—6 к обеду, и она, не дождавшись конца обеда, пошла прилечь, говоря, что чувствует боль в левом боку. Вечером был доктор, который не нашел ничего особенного. Утром стало хуже; послали за Остроумовым,[2] который нашел начало крупозного воспаления легких. Дня через три-четыре доктора стали надеяться на скорое выздоровление, как вдруг воспаление перешло в правое легкое, которое у нее было всегда слабо, и болезнь пошла необыкновенно скоро — через 1 1/2 недели Марии Петровны не стало, причем последние 4 дня она была без памяти!»

lib.pushkinskijdom.ru

«Причастить и исповедать ее успели раньше».

«Похоронили мы ее рядом с дядей в Клейменове,[3] несмотря на препятствия, которые делала нам и природа — в лице разлившейся Оки, и люди — в лице О.В.Галаховой,[4] считающей себя обиженной покойной».

«Относительно издания покойная перед смертью неоднократно говорила, что надеется вполне на Вас и на неоцененное сочувствие и участие Его Высочества. Что же касается материальной части, то все расходы покрою я, так как по завещанию я единственный наследник литературного права».

Остается теперь — скорее окончивать печатание, — о чем и буду стараться со всяческим усердием.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1894.
22 апр⟨еля⟩
СПб.

[1] См. прим.1 к п.22.
[2] Остроумов Алексей Александрович (1844—1908) — врач-клиницист, профессор клиники госпитальной терапии Московского университета.
[3] См. прим.1 к п.38.
[4] Галахова Ольга Васильевна (рожд. Шеншина; 1858—1942) — племянница А.А.Фета, хозяйка Клейменова, ставшая после смерти И.С.Тургенева также владелицей Спасского-Лутовинова.

42

К.Р. — Н.Н.Страхову

23 апреля 1894.

Христос воскресе!

Милый и глубокоуважаемый Николай Николаевич, ваши добрые строки много обрадовали меня и усугубляют мою благодарность вашему постоянному снисходительному вниманию.

Не думаете ли вы, что на XV-й странице предисловия следовало бы сказать, что мы позволили себе некоторые стихотворения перенести из отдела в отдел, как напр⟨имер⟩ «Добро и зло» из второго выпуска Вечерних Огней в Элегии и думы, или «Барашков буря шлет своих» из пятого выпуска Вечерних Огней в Море. Мне кажется, что такая оговорка застраховала бы нас от нареканий за произвольное перенесение пьес с места на место.[1]

Во второй строчке снизу напечатано: отдел Разные стихотворения. Не лучше ли сказать, что стихи, входившие в состав этого отдела, разбросаны по всем другим.

Я не настаиваю на этих замечаниях, но высказываю их только для очистки совести, под влиянием впечатления, произведенного на меня чтением этой страницы предисловия.

Что касается выпуска в свет нового издания, полагаю, что следовало бы задержать его до осени. В теперешнее время года не выгодно пускать в продажу новые книги. Но опять же вполне доверяюсь вашему решению, так как в этого рода делах вы гораздо опытнее меня.

Очень благодарю вас за выписку из письма В.Н.Семенковича, отрадно видеть, что он так тепло относится к памяти дорогих покойников.

Спешу отослать вам это письмо вместе с корректурой.

Искренно преданный вам

Константин.

[1] См. прим.1 к п.25.

lib.pushkinskijdom.ru

43

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

Все готово, и вчера *Лирические стихотворения* представлены в цензуру. О выпуске их в продажу мне случилось поговорить с книгопродавцами, и они дают совет выпускать теперь же. Суворин [1] не только советовал, а настаивал с величайшим жаром, ссылаясь на свою долгую практику и упирая на то, что выход стихов Фета не может никак быть *событием*, что этой книге предстоит медленно, но постоянно расходиться, и отложить ее выход на несколько месяцев — чистая невыгода. Осенью же, если ждать наилучшего времени, пришлось бы откладывать до ноября.

Вчера один даровитый юноша читал мне прекрасную оценку Фета. Он приготовил эту статью на случай выхода книги и поместит ее в *Новом времени*, о чем уже уговорился с Сувориным.[2]

Для меня выход книги представляется желательным. Но все зависит от желания Вашего, как Вам будет угодно, так и сделаем.

Ваше милостивое письмо очень меня тронуло, и только укрепляет во мне давнишнее чувство признательности.

В предисловии я вставил еще две строчки для пояснения перемен в распределении стихотворений (стран⟨ица⟩ XVI); впрочем читатели всего яснее поймут дело по самой книге.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1894
29 апреля
СПб.

[1] Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — публицист, книгоиздатель, с 1876 года — издатель газеты «Новое время».

[2] Рецензия на ЛС появилась в «Северном вестнике» (1894. № 7. Отд.II. С.33—40). Ее автором был А.Л.Волынский.

44

К.Р. — Н.Н.Страхову

Мраморный дворец.
30 апреля 1894.

Дорогой Николай Николаевич,

с радостью поздравляю вас с окончанием издания, этого для обоих нас дорогого труда. Мне очень приятно было узнать, что книгопродавцы советуют теперь же выпустить книгу: ждать до осени было бы так скучно, и я рад, что в этом не представляется надобности.

Мне остается дополучить из типографии один заглавный листок ко II тому; прибавлю еще просьбу, но, если она нескромна или почему-либо неисполнима, попрошу вас оставить ее без последствий: мне бы хотелось чистым листом (Так. — *Л.К.*) прилагаемый 1-й лист I тома, который я по ошибке испортил корректурными помарками. Все начисто отпечатанные листы я переплету и у меня будет редкий экземпляр без цензурной пометы.

Вставка в предисловие оправдает нас от каких бы то ни было порицаний.

Крепко жму вам руку.

Искренно преданный и привязанный

Константин.

lib.pushkinskijdom.ru

45

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

Марья Петровна писала мне в своем последнем письме; чтобы по выходе книг я сейчас заказал хорошие переплеты на несколько экземпляров. Она хотела поднести свое издание Вашему Высочеству, Государю Императору и Королеве Греческой.[1] Исполняя ее волю, честь имею здесь представить три экземпляра издания, которым она старалась почтить память своего мужа.

Не скрою, что разные неисправности, открывающиеся при пересмотре этого издания, все еще меня огорчают. Я составляю тщательный список их, в надежде, что все будет исправлено в следующем издании, в котором мне едва ли придется участвовать.[2]

Дай Боже Вам долго жить и здравствовать и пробуждать во всех те чувства любви и признательности, которые для меня теперь неразрывно связаны с этою книгою Фета!

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1894.
18 мая
СПб.

[1] Имеется в виду великая княгиня Ольга Николаевна, сестра К.Р.
[2] См. прим.1 к п.18.

46

К.Р. — Н.Н.Страхову

Стрельна.
23 мая 1894.

Добрейший Николай Николаевич, я получил ваше милое письмо и книги 20-го числа, но не мог тотчас ответить и прошу извинения за эту невольную проволочку. С удовольствием берусь передать Государю Императору Лирические стихотворения, как посмертный дар Афанасия Афанасьевича и Марьи Петровны, и с благодарностью принимаю книги, предназначенные мне. Что же касается сестры, то я немедленно по выходе нового издания переслал ей в Афины экземпляр. А потому я полагал бы остающиеся книги вручить В⟨еликому⟩ Кн⟨язю⟩ Сергею Александровичу,[1] которому покойный А⟨фанасий⟩ А⟨фанасьевич⟩ как-то подносил свои сочинения.

Я очень надеюсь, что если придется приступать ко второму изданию, вы будете в нем участвовать и пожелаете принять меня в сотрудники. Я тоже постараюсь внимательно просмотреть обе книжки и все замеченные неисправности запишу и препровожу к вам. А вам был бы благодарен, если б, подобно этому, вы сообщили мне ваши замечания. Таким образом один из нас двоих мог ⟨бы⟩ заняться следующим изданием, если б не суждено было это сделать нам вместе.[2]

Где думаете провести лето? Я проведу его частью в Стрельне,[3] частью в Красносельском лагере; но постоянный мой адрес: Петербург.

Искренно вам преданный

Константин.

[1] Сергей Александрович, сын Александра II, кузен К.Р., с которым поэт был в большой дружбе.

lib.pushkinskijdom.ru

[2] Страхову не довелось участвовать в следующем издании произведений Фета: он скончался в 1896 году. В предисловии «От издателя» Б.В.Никольский писал о К.Р.: «В наблюдении за настоящим изданием, как и за первым посмертным, приготовленным к печати покойным Н.Н.Страховым, соблаговолил по-прежнему принять участие Великий Князь Константин Константинович, отвечая тем предсмертному желанию самого поэта» (Полное собрание стихотворений А.А.Фета. Второе издание. СПб., 1910. Т.1. С.IV).

[3] Стрельнинский дворец, построенный по проекту архитектора Руска в 1804 году, особенно любила мать К.Р. — Александра Иосифовна; он был одной из летних резиденций их семьи.

47

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

С глубокой радостью приношу усерднейшее поздравление с новым счастием Вашей семьи.[1] Дай Бог, чтобы Ваш сын был Вам подобен!

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1894
30 мая
СПб.

[1] 29 мая 1894 года родился пятый сын Константина Константиновича — Игорь, который погиб вместе с братьями Иоанном и Константином в 1918 году в Алапаевской шахте.

48

Н.Н.Страхов — К.Р.

Ваше Императорское Высочество
Константин Константинович,

Сегодня были у меня мои два студента, и я был у графа Делянова.[1] Студенты виделись с разными лицами, не знавшими, как им помочь, не были, по робости, у министра и собрались, наконец, воротиться в Москву, что я очень одобрил и настоятельно советовал откинуть мысль просить Государя, а думать лишь о том, чтобы просить Сергея Александровича.[2] При этом я сказал им о милостивом участии Вашего Высочества и о том, что внимание Истомина[3] к этому делу[4] будет возбуждено отсюда, из Петербурга. Это их очень утешило. Граф Делянов выслушал письмо Л.Н.Толстого[5] очень спокойно и удивил меня своими разъяснениями: он говорит, что исключен из университета один только студент, граф Мамуна, поляк, причем даже не лишен права поступить в другой университет, что Ключевский просил не исключать и Мамуны, но университетский суд отказал профессору. При этом Иван Давыдович напомнил мне статьи Ключевского последних лет, писанные в наилучшем духе. Действительно, они таковы, я их вспомнил.

Аресты же и высылки производит полиция, и он, министр народного просвещения, до сих пор еще не имеет о них официального уведомления, а знает со стороны, что выслано 48 лиц, бывших на самом худом счету у полиции. Граф утверждал, однако, что несомненно существует шайка, возбуждающая волнения, что из Москвы подсылались люди в Дерпт и сюда в Петербург. Я стал говорить о том, как дурны бывают сведения у полиции и как учебное начальство могло бы судить лучше и вступиться за своих. «Ну да, получил я в ответ; иных придется вернуть; там мы посмотрим, поразберем». Граф отпустил меня со словами: «О дальнейшем я Вам дам знать. Вероятно, и дальше что-нибудь будет».

lib.pushkinskijdom.ru

Итак, министр смотрит на дело, как на что-то еще далекое от решения и окончания. Вот полный отчет за сегодняшний день. Мне остается только сказать об искренних чувствах глубочайшей признательности за Ваше милостивое внимание и о том умилении, которое столько раз возбуждала и теперь возбудила во мне Ваша доброта.

Вашего Императорского Высочества
всепреданнейший

Н.Страхов.

1894
16 декабря
СПб.

[1] Делянов Иван Давыдович (1818—1897) — министр народного просвещения с 1882 года; имел репутацию реакционера.

[2] См.прим.1 к п.46.

[3] Истомин Владимир Константинович (1847—1914) — правитель канцелярии московского губернатора.

[4] В начале декабря 1894 года на лекции В.О.Ключевского об Александре III в Московском университете взбунтовались студенты. После вмешательства полиции 53 студента были приговорены к административной ссылке на три года без права проживания в столичных и университетских городах.

[5] Делегация студентов побывала у Л.Н.Толстого, который снабдил их письмом к А.Ф.Кони (от 11 декабря 1894 года). Прося адресата помочь студентам, он, в частности, писал: «Сущность дела в том, что администрация без суда и независимо от университетского начальства хватает и высылает из Москвы, без права въезда в продолжение 3-х лет не только в столицы и университетские города, но и лучшие губернские города студентов, часто ни в чем неповинных, и все это делается тотчас же вслед за вторжением жандармов и полиции в университет для того, чтобы разогнать (мнимую) сходку, кот(орой) не было, а были только несколько десятков студентов, дожидавшихся ответа ректора на их просьбу о пересмотре дела об исключении 3-х их товарищей. Студенты спокойно расходились, когда влетели жандармы и полиция, и студентов не выпускали, а переписывали» (*Толстой Л.Н.* Полн.собр.соч.: В 90 т. М., 1955. Т.67. С.284).

49

К.Р. — Н.Н.Страхову

29 декабря 1894.

Многоуважаемый Николай Николаевич, мне очень совестно, что я почти целую неделю не отвечал на ваше любезное письмо: не мог удосужиться. Как хорошо вы сделали, что отговорили московских студентов от подачи просьбы Государю.

Хотя нельзя не сочувствовать безвинно наказанным, нельзя также упускать из виду, что на лекции профессора Ключевского раздавались свистки, а потом состоялась сходка. Следовательно студентам нечего просить, а надо покорно терпеть последствия за бывший в их среде неприличный случай.[1]

Что же касается начальства, то оно, конечно, должно постараться, чтобы наказаны были только виновные. Л.Н.Майков[2] написал в Москву В.К.Истомину,[3] который, наверно, примет меры, чтобы безвинно пострадавшие были удовлетворены.

Я радуюсь, что сведения, сообщенные вам добрейшим Графом Иваном Давыдовичем,[4] гораздо утешительнее распространившихся слухов.

Еще раз от души благодарю за милые строки и прошу вас верить моему искренному расположению и глубокому уважению.

Константин.

Если вы приметесь за полное издание сочинений Афанасия Афанасьевича, пожалуйста рассчитывайте на мое сотрудничество.[5] Сердечно желаю вам радостно встретить праздники и новый год.

lib.pushkinskijdom.ru

[1]К студенческим беспорядкам К.Р. относился отрицательно, считая делом студентов не политику, а просвещение. «Уличные беспорядки, — писал К.Р., — хотя бы производимые учащеюся или вернее *не* учащеюся молодежью, ни в коем случае не допустимы, и противодействия им должны встретить поддержку всех благомыслящих членов общества» (Архив РАН. Ф.36. Оп.2. Ед.хр.54).

[2]Майков Леонид Николаевич (1839—1900) — с 1893 по 1900 год был вице-президентом Академии наук.

[3]См.прим.3 к п.48.

[4]И.Д.Делянов. См. прим.1 к п.48.

[5]См. прим.2 к п.46.

ПИСЬМА К.Д. БАЛЬМОНТА к Н.М. МИНСКОМУ

(ПУБЛИКАЦИЯ П.В. КУПРИЯНОВСКОГО и Н.А. МОЛЧАНОВОЙ)

Публикуемые письма Константина Дмитриевича Бальмонта (1867—1942), одного из крупнейших представителей символизма в России, адресованы Николаю Максимовичу Минскому (наст. фам. — Виленкин; 1855—1937) — поэту-символисту, переводчику, критику, автору нашумевшего философского трактата «При свете совести: Мысли и мечты о смысле жизни» (СПб., 1890).

Количество писем невелико: всего пять. Три из них датируются 1893 годом — временем, когда начинается самоопределение Бальмонта как поэта и выбор им собственной литературной позиции. Именно тогда он сближается с редакцией журнала «Северный вестник», который дал приют ранним символистам и вскоре стал по существу первым органом декадентов. Минский был ближайшим сотрудником «Северного вестника», а одно время — секретарем редакции.

Из писем Бальмонта к своей первой жене Ларисе Михайловне (урожд. Гарелиной) видно, что его знакомство с Д.С.Мережковским и Н.М.Минским, а также с фактическим редактором «Северного вестника» А.Л.Волынским состоялось в январе 1893 года в Петербурге. 31 января Бальмонт писал: «Мое сотрудничество в “Северном вестнике” ... — факт решенный».[1] Уже в майском номере журнала были опубликованы бальмонтовские переводы двух стихотворений Шелли, а в октябре — стихотворение «Фантазия» («Как живые изваянья, в блеске лунного сиянья...»), столь характерное для «нового Бальмонта» с его установкой на музыкальное звучание слова.

В феврале 1894 года в Петербурге вышел сборник Бальмонта «Под северным небом», о котором он сообщал Минскому 29 декабря 1893 года: «Написал я целую серию стихов (своих) и в январе приступаю к печатанию их отдельной книжкой. Предчувствую, что мои либеральные друзья будут очень меня ругать, ибо либерализма в них нет, а “растлевающих” настроений достаточно». Нельзя сказать, что либерализм в надсоновском духе, свойственный ранним гражданским стихам Бальмонта, совсем отсутствует в этой книге, но в ней появляются новые для поэта онтологические темы любви, природы, смерти, а также мотивы меланхолии, неприятия действительности и ухода в мир мечты. В этих стихах нет еще «дерзостей», свойственных «стихийному гению» — автору сборников «Горящие здания» (1900) и «Будем как солнце» (1903), но они уже окрашены в романтические тона.

В определенной мере стихи книги «Под северным небом» создавались под воздействием атмосферы в кружке князя А.И.Урусова. Александр Иванович Урусов был известным московским адвокатом, знатоком и любителем литературы и театра. Он переводил Флобера и Бодлера, выступал в печати как критик. Бальмонт познакомился с Урусовым в 1892 году и впоследствии с чувством большой благодарности вспоминал об оказанной ему поддержке в мемуарном очерке «Князь Урусов (Страницы любви и памяти)», вошедшем в книгу «Горные вершины» (М., 1904). Позднее, в автобиографическом очерке «На заре» (1929), называя Урусова другом своих «первых шагов в литературе», Бальмонт писал: «Он напечатал мой перевод “Таинственных рассказов” Эдгара По и громко восхвалил мои первые стихи, составившие книжки “Под северным небом” и “В безбрежности” (...)».[2] Урусов одобрил

lib.pushkinskijdom.ru

попытку поэта «создать стих, основанный на музыке».[3] В его кружке культивировался интерес к новейшей поэзии и философии, но осуждались крайности декадентства. Этим объясняются выпады Бальмонта против декадентов во втором из публикуемых писем к Минскому. Пройдет некоторое время — и эпитет «декадент» будет сопровождать самого Бальмонта... Как реагировал Минский на нелестную оценку его сонетов в кружке Урусова, нам неизвестно, так как неизвестны письма Минского к Бальмонту, но нельзя не заметить, что последующие письма Бальмонта носят более сдержанный характер.

Апелляция к «вечному и чистому», провозглашенная Минским еще в 1884 году в статье «Старинный спор» и подтвержденная затем в стихах 1890-х годов, а также интерес к творчеству Г.Ибсена, П.Б.Шелли и Э.По способствовали его сближению с Бальмонтом. Однако их переписка была, вероятнее всего, эпизодической. Вместе с тем публикуемые ниже письма позволяют лучше представить круг культурных интересов и литературные контакты Бальмонта в переломный для него период.

Так, например, в первых двух письмах упоминается Николай Иванович Стороженко (1826—1906), профессор Московского университета, известный специалист по западноевропейской литературе, который, наряду с А.И.Урусовым, принял в судьбе Бальмонта самое живое участие как раз в тот момент, когда поэт особенно нуждался в поддержке: помогал материально, руководил его занятиями в области европейских литератур, снабжал книгами. По настойчивой рекомендации Стороженко московский издатель и меценат Козьма Терентьевич Солдатенков (1818—1901) заказал Бальмонту перевод книги Ф.Горна «История скандинавской литературы от древнейших времен до наших дней» (вышла в 1894 году) и двухтомника А.Гаспари «История итальянской литературы» (первый том издан в 1895 году, а второй — в 1897 году). Именно это имел в виду поэт, когда сообщал Минскому, что «устроился порядочно насчет литературных "доходов"». «Эти работы, — писал Бальмонт позднее в очерке «Видящие глаза», — были моим насущным хлебом целых три года и дали мне возможности желанные осуществить свои поэтические мечты».[4] А в очерке «На заре» признавался в том, что он на всю жизнь сохранил к профессору Стороженко «сыновью любовь и признательность», «ибо он поистине ⟨...⟩ спас от голода и, как отец сыну, бросил верный мост», выхлопотав у Солдатенкова заказ на переводы.[5]

Публикуемые ниже письма Бальмонта к Минскому хранятся в архиве З.А.Венгеровой и Н.М.Минского в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Ф.39. Ед.хр.157).

[1] См.: ЦГАЛИ. Ф.57 (К.Д.Бальмонта). Цит. по: *Куприяновский П.В.* Поэты-символисты в журнале «Северный вестник» // Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969. С.130. Сотрудничество Бальмонта в этом журнале продолжалось вплоть до его закрытия в 1898 году.
[2] *Бальмонт К.* Избранное. М., 1983. С.556.
[3] Там же.
[4] *Бальмонт К.* Видящие глаза // Последние известия (Ревель). 1922. 17 марта.
[5] *Бальмонт К.* Избранное. С.556.

1

Москва. ⟨18⟩93.II.27.[1]

Многоуважаемый Николай Максимович, простите, что я не тотчас отвечаю Вам. Я занимаюсь теперь целые дни напролет и никуда даже не выхожу, исключая одного дня в неделю, именно воскресенья, когда я хожу к Стороженкам[2] (где, кстати, каждый раз приходится говорить о Вас). Взялся опять за Шелли, перевожу «Прометея»,[3] перевел, кроме того, кое-что из мелких его стихотворений. Посылаю сейчас два из них Волынскому. Не побудите ли Вы его напечатать, если это может зависеть от Вас![4] Книга моя[5] идет у книгопродавцев великолепно. Я уже выписал другую партию экземпляров от Стасюлевича.[6] Не знаю, покупают ли ее в Петербурге. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы

lib.pushkinskijdom.ru

были добры зайти в магазин Суворина и Вольфа и спросить, есть ли на нее спрос. Мне это крайне интересно. В мае я выпущу второй выпуск,[7] который будет значительно объемистее 1-го.

Жена[8] кланяется Вам и бранит за то, что Вы не уехали заграницу. По свойственной женщинам практичности и дальнозоркости, она предполагает, что Вы «растранжирили деньжонки». Оставляю на ее ответственности подлинность сего.

Что это значит, что Вы пишете: «может быть, скоро увидимся». Не думаете ли Вы, правда, приехать в Москву совсем или Вы будете проезжать через нее, когда отправитесь на юг? Во всяком случае желаю поскорее увидеться с Вами.

У меня приближается стихотворный жар, уж чувствую, что придется много испортить бумаги и чернил. Нужно, черт возьми, и мне свою поэму написать. Вошел в возраст. — Можете ли Вы представить, насколько я счастлив в своих мизантропических порывах: не вижусь ни с кем! Целуюсь с Одиночеством, а эта особа столь занятна! Право, я нахожу, что человек умнеет, когда он — один. Несколько странный психологический закон, но несомненно справедливый. — Что Вы поделываете? Обитаете среди эллинов?[9] Пишете ли Вы стихи? Как поживает г.Тагарната (Ваш, стихотворный)?[10]

Напишите мне, пожалуйста. Жму руку.

Ваш К.Бальмонт.

Прошу передать мой поклон Мережковскому, если Вы его видите.
Я познакомился с баронессой Ик.[11]

[1] Здесь же находится конверт с карандашной пометой «27 фев⟨раля⟩ ⟨18⟩93». Письмо отправлено из Москвы 1 марта 1893 года по адресу: Пушкинская ⟨10⟩, гостиница «Пале-Рояль», № 60, Николаю Максимовичу Виленкину. Получено в Петербурге 2 марта 1893 года.

[2] Имеется в виду семья Н.И.Стороженко. Подробнее о его взаимоотношениях с Бальмонтом в этот период см. во вступительной заметке к наст.публикации.

[3] Этот перевод лирической драмы П.Б.Шелли «Освобожденный Прометей» был опубликован в журнале «Русская мысль» в 1897 году (№ 1, 2, 5, 9).

[4] Бальмонт подразумевает здесь причастность Минского к редакции «Северного вестника», фактическим руководителем которого был в это время А.Л.Волынский. Сам Минский тоже занимался переводом произведений Шелли. В № 3 «Северного вестника» за 1893 год он опубликовал пять стихотворений под общим заглавием «Облако (Из Шелли)».

[5] См.: *Шелли.* Сочинения. Пер. с англ. К.Бальмонта. СПб., 1893. Вып.1.

[6] Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — профессор-историк, общественный деятель либерального направления, редактор и издатель журнала «Вестник Европы». Занимался книгоиздательской деятельностью, опубликовал семь выпусков бальмонтовских переводов из Шелли.

[7] См.: *Шелли.* Сочинения. СПб., 1893. Вып.2.

[8] Бальмонт Лариса Михайловна (в девичестве Гарелина; 1864—?) — первая жена поэта, дочь ивановского фабриканта. Бальмонт развелся с ней в 1894 году, после чего Л.М.Бальмонт стала женой поэта, историка и литературоведа Н.А.Энгельгардта, сына известного публициста А.Н.Энгельгардта. Их дочь, Анна Николаевна Энгельгардт, стала второй женой Н.С.Гумилева.

[9] В это время Н.М.Минский работал над переводом «Илиады» Гомера. Позднее он опубликовал статью «Идея "Илиады"» (Северный вестник. 1896. № 5).

[10] Очевидно, речь идет о каком-то поэтическом замысле Минского, который, вероятнее всего, не был осуществлен.

[11] Икскуль Варвара Ивановна (1854—1929) — меценатка, либеральная общественная деятельница.

2

⟨До 28 июля 1893⟩[1]

Многоуважаемый Николай Максимович,

Два дня тому назад я видел Барышева,[2] который сообщил мне следующее: более месяца как уже Вам посланы из типографии Рихтера (где печатаются все солдатенковские издания) две «песни Илиады» в корректуре;[3] от Вас же ответа никакого не получено. Барышев

lib.pushkinskijdom.ru

просил меня написать Вам об этом. Корректуры высланы были в редакцию «С⟨еверного⟩ В⟨естника⟩».

Письмо ваше я получил и вскоре после него был на вечере у Урусова,[4] где познакомился с Андреевой.[5] Не усмотрел в ней проникновения ибсенизма. Впрочем, она ведь не одним Ибсеном[6] увлекается, а и Бурже,[7] — признак чревовещательный! —

Моя жена только что (вчера в ночь) освободилась от тягостей двойного существования, разделив теперь этот труд поровну с весьма субтильной девицей, которая, конечно, будет носить какое-н⟨и⟩б⟨удь⟩ романтическое имя, вроде «Тани» или «Аси».[8] Жена моя здорова и кланяется Вам. Что касается меня, я чувствую себя весьма хорошо, устроился порядочно насчет литературных «доходов»,[9] и меня, по крайней мере еще несколько месяцев, не будет мучить Frau Sorge.[10] Продолжаю обитать в кристальных дворцах английской поэзии.[11] Параллельно изучаю декадентов, которых собираюсь «разделать под орех» в «Русских Ведомостях»[12] Метерлинк возмущает меня до глубины души, и я не вижу в нем ничего, кроме бессмыслицы и шарлатанства.[13] Крайне любопытно, что Вы ухитрились из него перевести. Кстати, *у нас*[14] (т.е. в Москве, в том кружке, который Вы знаете),[15] Вы губите себя своими сонетами.[16] Публика находит в них именно полное декадентство. Иванов[17] на днях будет их бранить в «Рус⟨ских⟩ В⟨едомостях⟩» (я пришлю Вам вырезку). Но для Вас, конечно, такое «осуждение» должно быть приятно? — А когда же появится на свет статья об Э.По?[18] Мне ужасно интересно будет прочесть ее. Я написал статью (конечно, фельетонную) о Сюлли Прюдоме; она пойдет на днях в «Рус⟨ских⟩ Ведом⟨остях⟩».[19] Не знаете ли Вы, был ли какой-н⟨и⟩б⟨удь⟩ отзыв о Шелли в «Нов⟨ом⟩ Вр⟨емени⟩»? Будьте добры написать мне.

До свиданья! Поклонитесь, пожалуйста, Волынскому и Мережковским[20] Жму Вашу руку. Напишите побольше о себе.

К.Б⟨альмонт⟩

[1] Датируется на основании упоминания в письме статьи Бальмонта «Сюлли Прюдом» (см.прим.18 к наст. п.).

[2] Очевидно, имеется в виду работник издательства К.Т.Солдатенкова.

[3] Отдельное издание «Илиады» в переводе Минского вышло в Москве в издательстве К.Т.Солдатенкова в 1896 году. Годом ранее третья песнь была опубликована в сборнике «Почин» (М., 1895).

[4] Урусов Александр Иванович (1843—1900) — московский адвокат, переводчик и критик. О его кружке и взаимоотношениях с Бальмонтом см. вступительную заметку.

[5] Андреева Екатерина Алексеевна (1867—1950) — переводчица, в сентябре 1896 года стала женой Бальмонта. Подробнее о знакомстве и жизни с Бальмонтом см. ее воспоминания: *Бальмонт Е.А.* Мои воспоминания о К.Д.Бальмонте // ЦГАЛИ. Ф.57. Оп.1. Ед.хр.132.

[6] Ибсен Генрик (1826—1906) — знаменитый норвежский драматург, в 1890-е годы был необычайно популярен в России, прежде всего в символистских кругах. Впоследствии Бальмонт признавался, что Ибсен «был тогда наибольшим моим любимцем, с его "Быть самим собой"» (Цит.по: *Бальмонт К.* Избранное. С.556). В 1892 году он перевел книгу норвежского критика Г.Иегера об Ибсене, которая была арестована, а затем уничтожена цензурой (см.: *Добровольский Л.М.* Запрещенная книга в России. М., 1962). В переводе Бальмонта изданы драмы Ибсена «Привидения» (1894), «Дикая утка» (1908), «Маленький Эйольф» (1908). В журнале «Северный вестник» за 1893 год (№ 9, 10) была опубликована статья Минского «Г.Ибсен и его пьесы из современной жизни».

[7] Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель, склонный к натурализму и декадентству, переводился на русский язык с конца 1880-х годов (романы «В сетях лжи», «Ученик» и др.).

[8] Дочь Бальмонта, по свидетельству Е.А.Бальмонт, вскоре умерла от воспаления мозга (см.: *Бальмонт Е.А.* Мои воспоминания о К.Д.Бальмонте // ЦГАЛИ. Ф.57. Оп.1. Ед.хр.132).

[9] Имеются в виду переводы книг Ф.Горна «История скандинавской литературы от древнейших времен до наших дней» и А.Гаспари «История итальянской литературы».

[10] Букв.: госпожа Нужда (нем.).

[11] В это время Бальмонт переводил Шелли, А.Теннисона, У.Блейка и других английских поэтов (см.: *Бальмонт К.* Золотая россыпь. Избр. переводы. М., 1990).

[12] Статья Бальмонта на эту тему нам неизвестна.

[13] Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт символистского направления. Отношение к нему Бальмонта было противоречивым. В письме к Л.Н.Вилькиной от 8 января 1901 года Бальмонт дает резко негативную оценку книге эссе Метерлинка «Сокровище смиренных» (ИРЛИ.

lib.pushkinskijdom.ru

Ф.39. Оп.3. Ед.хр.823). В то же время, по свидетельству Е.А.Андреевой-Бальмонт, он перевел для постановки на сцене Художественного театра три пьесы Метерлинка: «Слепые», «Там внутри», «Непрошенная». Н.М.Минский опубликовал в «Северном вестнике» переводы двух пьес Метерлинка: «Слепые» (1894. № 5) и «Аглавена и Селизетта» (1897. № 1).

[14] Подчеркнуто Бальмонтом.

[15] Речь идет о кружке князя А.И.Урусова.

[16] В журнале «Северный вестник» за 1893 год (№ 1, 2, 4) напечатаны 12 сонетов Минского; 11 из них составили цикл «Сонеты».

[17] Очевидно, имеется в виду А.И.Урусов, печатавшийся под псевдонимом А.Иванов; его статья о Минском в «Русских ведомостях» не появилась.

[18] По Эдгар (1809—1849) — американский писатель, представитель романтизма, пользовался большой популярностью в среде символистов. В 1895 году в Москве были изданы две книги Э.По («Баллады и фантазии» и «Таинственные рассказы») в переводе Бальмонта. Позднее, в 1906—1912 годах в издательстве «Скорпион» вышло «Собрание сочинений» Э.По в четырех томах.

[19] *Бальмонт К.* Сюлли Прюдом // Русские ведомости. 1893. 28 июля. № 210.

[20] Имеются в виду Аким Львович Волынский, Дмитрий Сергеевич Мережковский и его жена Зинаида Николаевна Гиппиус.

3

Москва, Долгоруковская у⟨лица⟩, д⟨ом⟩ Зайченко.
29 дек⟨абря⟩ ⟨1893⟩

Николай Максимович! Я слышал, что Вы собирались в конце декабря в Москву. Теперь я собираюсь с женой в Петербург (на две недели), и меня очень интересует вопрос, приедете Вы или нет. Мне не хотелось бы разъехаться с Вами. Не известите ли? Я бы соответственно с сим обстоятельством ускорил или замедлил свой отъезд отсюда.

Как Вы поживаете? Уже успели забыть своих московских приятелей? Получили ли Вы 2-й вып⟨уск⟩ Шелли?

Мы погибаем в Москве от скуки и переутомления. Поневоле работаешь по 12-и часов в сутки, а потом стонешь. Написал я целую серию стихов (своих) и в январе приступлю к печатанию их отдельной книжкой.[1] Предчувствую, что мои либеральные друзья будут очень меня ругать, ибо либерализма в них нет, а «растлевающих» настроений достаточно. Очень интересно, какое впечатление произведет моя книга на Вас.

Читал Ваше прекрасное стихотворение «Три Парки»,[2] которое мне кажется чуть не лучшим Вашим стихотворением. Читал его многим своим приятелям, на всех производит такое же впечатление, к⟨а⟩к и на меня. Отчего Вы замолчали? Некогда? Черкните мне две-три строки и не забывайте всей душой преданного Вам

К.Бальмонт⟨а⟩

P.S. Жена[3] очень Вам кланяется.
Я кланяюсь Волынскому и Мережковским.[4]

[1] Имеется в виду книга Бальмонта «Под северным небом» (СПб., 1904).

[2] Опубликовано в журнале «Северный вестник» (1893. № 12) под заглавием «Три Парки (Надпись к картине Микельанджело)».

[3] Л.М.Бальмонт.

[4] А.Л.Волынский, Д.С.Мережковский и З.Н.Гиппиус-Мережковская.

lib.pushkinskijdom.ru

4

9, Cité du Retiro, Paris.
27 янв⟨аря⟩ с⟨тарого⟩ с⟨тиля⟩ 1900.[1]

Многоуважаемый
Николай Максимович,

На днях я случайно увидал у одного из знакомых газету «Словцо»,[2] в числе сотрудников которой значитесь и Вы, так же как я. Я уверен, что Вам, как и мне, эти вежливые русские «поэты» не послали газету, и Вы, вероятно, не знаете, что это за помойная яма. Я только что послал Случевскому[3] просьбу вычеркнуть меня из числа сотрудников. Если я не ошибаюсь в своем предположении, вытребуйте от Случевского несколько №№-ов «Словца». Я уверен, что Вам так же будет неприятно увидать на ней Ваше имя, как это случилось со мной. Между прочим, ни Мережковский, ни Гиппиус не значатся в числе сотрудников. Очевидно, им доподлинно известно, что это не литературный орган, а трактирный прейскурант.

Жму Вашу руку. Преданный Вам К.Бальмонт.

P.S. Вы, вероятно, получили «Ченчи».[4] Недели через две вышлю Вам еще кое-что.

[1] Открытое письмо. На обороте адрес Минского: M-r Nicolas Minsky (Vilenkine). Grand Hôtel du Louvre. (Alpes Maritimes). Menton. Отправлено из Парижа 9 февраля 1900 года по новому (европейскому) стилю; получено в Ментоне 10 февраля. Бальмонт уехал из России в Париж в октябре 1899 года и вернулся только летом 1900 года.

[2] «Словцо» — «новый еженедельный листок»; издавался в Петербурге как сезонная, преимущественно юмористическая, газета с декабря 1899 года по апрель 1900 года. Издатель-редактор В.С.Лихачев. В числе сотрудников значились Allegro (П.С.Соловьева), К.Д.Бальмонт, С.П.Буренин, В.Л.Величко, В.П.Гайдебуров, М.Л.Лохвицкая, К.Н.Льдов, Н.М.Минский, К.К.Случевский, Вл.Соловьев, Ф.К.Сологуб, К.П.Фофанов и др. Из них только Allegro и Случевский опубликовали здесь свои стихи. Бальмонт числился сотрудником до 1 февраля 1900 года (№ 7).

[3] Случевский Константин Константинович (1837—1904) — поэт, прозаик; в 1891—1902 годах редактор «Правительственного вестника». На рубеже XIX—XX веков был известен литературными «пятницами», которые охотно посещали «новые поэты», считавшие его своим предшественником.

[4] «Ченчи» — трагедия Шелли, переведенная Бальмонтом стихами. В 1899 году вошла в 7-й выпуск «Сочинений» Шелли.

5

⟨1901⟩[1]

8-й час.

Очень жалею, что не застал Вас. Быть может, Вы придете сегодня к нам, когда вернетесь. Ек⟨атерина⟩ Ал⟨ексеевна⟩ была бы так рада. Я познакомил бы Вас с норвежским «апостолом» русской литературы,[2] если это Вам сколько-нибудь любопытно. Мы в Дмитровском п⟨ереулке⟩ (близ Стремянной), д.11, кв.2.[3]

Преданный Вам

К.Бальмонт.

[1] Датируется по содержанию.

[2] Норвежским «апостолом» русской литературы назван Кнут Гамсун (1859—1952), творчество которого, как и Г.Ибсена, было исключительно популярно в России в 1900-е годы (см.: *Шарыпкин Д.М.* Скандинавская литература в России. Л., 1980). По-видимому, поэт хотел познакомить Минского с романом «Пан», вышедшим в 1901 году в издательстве «Скорпион» в переводе С.А.Полякова с предисловием Бальмонта.

[3] Указан петербургский адрес Бальмонтов.

lib.pushkinskijdom.ru

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ВЯЧ. ИВАНОВА

(ПУБЛИКАЦИЯ М.Д. ЭЛЬЗОНА)

18 мая 1927 года В.Н.Княжнин писал А.Г.Фомину: «Многоуважаемый Александр Григорьевич. Приходил аз, многогрешный и чревоугодный, Влад⟨имир⟩ Ник⟨олаевич⟩ Княжнин, по делу. Получил я от небезызвестного Вам Алексея Кирилловича Елачича[1] письмо — из Скопле (Юго-Славия) писулю, он просит доставить туда — по случаю 35-летнего юбилея проф. Е.В.Аничкова[2] статью Вяч⟨еслава⟩ Ив⟨ановича⟩ Иванова об Аничкове; которая статья была предназначена для Нового энциклоп⟨едического⟩ словаря Брокгауза—Эфрона и *вошла* в него, *но в урезанном* виде.[3] Так вот, он просит достать из архива Венгерова — *оригинал* этой статьи или корректурный оттиск, как более подробное изложение жития Евг⟨ения⟩ Васильевича.

Так как Вы состоите душеприказчиком Венгерова и его архива,[4] то к Вам мое воззвание (услыши мя!) подсобить в этом деле, деле спешном, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ самый юбилей уже справлен 14 V н⟨ового⟩ ст⟨иля⟩, а теперь должен родиться на свет *юбилейный сборник*, для коего и предназначаются названные сведения. NB. Еще потребна и библиография (что мог, собрал по этой части).

Окончательно сговориться думаю с Вами по телефону Вашему. Б⟨ыть⟩ м⟨ожет⟩, даже сегодня. Где, что, и как, и "почему нет, если да"! А пока всего хорошего. Какой у Вас завелся милый маленький человечек.[5] Очень рад за Вас — это хорошо. Думаю, что Вы противозражать не будете. До свидания. Вл. Княжнин. 5/18 V 1927».[6]

Статья, о которой идет речь, обнаружилась в венгеровском собрании автобиографий в папке «Е.В.Аничков», где находится вместе с собственноручной автобиографией. Это двухлистная корректура, на втором листе которой запись рукой С.А.Венгерова: «В Словарь статья вошла с большими сокращениями».[7] Поскольку юбилейный сборник не состоялся, замысел Вяч.Иванова остался неосуществленным.

Аничков, Евгений Васильевич, историк литературы и критик, род. в дворянской семье, Новгородской губ., в 1866 г. Студенческие занятия, с самого начала сосредоточенные на предметах преподавания проф.А.Н.Веселовского, были прерваны арестом по политическим мотивам и необходимостью уехать из Петербурга. В 1892 г. окончил историко-филолог. факультет с печатною работой «Микола Угодник и св. Николай» («Зап.Неофил.Общ.», 1892 г., № 2) и был оставлен при университете. С 1895 г. по выдержании магистерского экзамена состоял приват-доцентом по истории западных литератур и лектором английского языка в Киевском университете. Несколько раз был посылаем с ученой целью за границу. В 1899 г. покидает Россию; участвует в основании русской Высшей школы в Париже. Все время поддерживая научные сношения со своим учителем, А.Н.Веселовским, выступая последователем и отчасти продолжателем его идей, стремясь обобщить их и привести в

---

[1] Елачич Алексей Кириллович (1892—1941) — историк литературы, критик.

[2] Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — литературовед, фольклорист. См. о нем статью Р.Д.Тименчика в кн.: Русские писатели: 1800—1917. Биогр.словарь. М., 1989. Т.1. С.77—78. Далее, при комментировании публикуемой статьи Вяч.Иванова, предусматривается возможность обращения читателя к статье Р.Д.Тименчика.

[3] См.: Новый энциклопедический словарь. Т.2. Стлб.871—872. Сокращения были сделаны явно с целью придать статье энциклопедический характер (Вяч.Иванов не учел требований жанра).

[4] А.Г.Фомин, один из ближайших учеников С.А.Венгерова, одно время его литературный секретарь, не был душеприказчиком в точном смысле слова, однако действительно занимался устройством архива и пользовался репутацией человека, имеющего к нему свободный доступ (см.письмо В.Ф.Боцяновского к А.Г.Фомину от 30 мая 1930 года, опубликованное мною в статье «О новонайденном автографе В.В.Маяковского и одном забытом литераторе» — Русская литература. 1970. № 4. С.155).

[5] Имеется в виду дочь А.Г.Фомина, Татьяна Александровна.

[6] ИРЛИ. Ф.568. Оп.2. № 255. Л.2—3, об. Письмо написано карандашом.

[7] ИРЛИ. Ф.377. № 135. В корректуре подп. «В.Иванов» (в словаре — «Вяч.Иванов»).

lib.pushkinskijdom.ru

замкнутую систему (см. ст. «Заимствования» в этом Словаре[8] и обширный этюд «Историческая поэтика Веселовского» в сборнике Лезина «Вопросы теории и психологии творчества»[9]), А. идет в то же время в школу Гастона Париса,[10] изучает, по указанию последнего, в германских университетах провансальский язык (в области которого ему удается установить склонение mólher), берется за обработку неизданного материала по литературной истории Арраса в XIII в. (см. «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1900, февраль),[11] предваряя издание Jean Roy и Guy («Les dits et les chansons d'Arras»), печатает мелкие филологические работы в «Litteraturblatt f. germ. u. roman. Philologie» и в «Romania», а в Лондоне, где еще в 1894 г. появился в журнале «Folklore» его этюд «St.Nicolas and Artemis» (русская обработка в «Зап.Вост.Отд.Археол.Общ.», 1895, IX),[12] продолжает споры с представителями школы Andrew Lang'a,[13] защищая учение о заимствованиях и наслоениях в обряде и мифе против односторонностей сравнительно-этнографической доктрины о параллелизме и аналогии самобытного племенного творчества. По возвращении в Россию А. привлекается к суду по политическому делу и проводит 13 месяцев в одиночной камере. Выйдя в 1904 г. из тюрьмы, защищает двухтомную диссертацию «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян», удостоенную Академией наук Уваровской премии и оцененную за границей как выдающийся труд (см.: Deubner в «Archiv f. Religions — Wissenschaft», IX, 276—304), что выразилось, между прочим, и в приглашении прочесть курс лекций (Ilcester Lectures) о народной песне в Оксфордском университете. Вместе с тем А. развивает широкую лекторскую деятельность как профессор на Высших женских курсах, а также в форме университетского преподавания и публичных лекций. Здесь он является зараз эстетиком, историком культуры и социологом в отличительном для него синтетическом сочетании этих дисциплин, отмечающем и его литературно-критическую работу (см. этюд о Новодворском в журнале «Правда» 1904 г.,[14] книгу о Мамине-Сибиряке в «Мире Божьем»,[15] «Литературные образцы и мнения», СПб., 1904,[16] брошюру «Искусство и социалистический строй», СПб., 1906, и многие другие статьи, вошедшие в двухтомное собрание критических работ А., озаглавленное «Предтечи и современники на Западе и у нас», СПб., 1910). В 1907 и 1908 гг. А. отбывает одиночное заключение за участие в Крестьянском союзе. По освобождении осенью 1908 г. печатает новый большой труд «Язычество и древнерусская проповедь» с приложением критически изданных текстов, увенчанный Ахматовскою академическою премией и обрисовывающий возникновение былинного эпоса у нас и на Западе из бытовых условий периода уже христианского (к теме о русском язычестве, сводимом А. к племенным культам, относится также доклад «Old russian pagan Cults» в «Fransactions of the III Congress for the History of Religion», Оксфорд, 1909).

Интеллектуальный облик А. характеризуется своеобразным совпадением общественных и теоретических интересов, придающим его многосторонности внутреннее единство и приводящим все его искания в тесную связь с жизнью. Сын гвардейца, дилетанта и гуманного

---

[8] Имеется в виду подписанная статья «Заимствования (в литературе)» (Энцикл.словарь Брокгауза и Ефрона. Полутом 23. С.143—145).

[9] См.: «Историческая поэтика» Александра Николаевича Веселовского. Харьков, 1907. 110 с. (отд.оттиск из кн.: Вопросы теории и психологии творчества / Изд.-сост.Б.А.Лезин. Харьков, 1907. Т.1).

[10] Парис Гастон Брюно Полен (1839—1903) — французский филолог-медиевист, член Французской Академии (с 1895 года).

[11] См.: Очерк литературной истории Арраса в XIII веке // ЖМНП. 1900. Ч.327. Февр. С.229—308.

[12] См.: Св.Николай и Артемида Эфесская. СПб., 1894 (оттиск из «Записок Восточного отделения имп. Русского Археологического общества» — Т.IX. С.70—86; с.79—86: Чудеса св.Николая, епископа города Мир / Пер. с сирийского. Перев. Коковцев).

[13] Ланг Андру (Эндрью) (1844—1912) — шотландский поэт, прозаик, филолог, фольклорист, историк. Уделял особое внимание критике мифологической школы и теории заимствования.

[14] См.: А.О.Новодворский (Осипович) // Правда. 1905. № 6. С. 129—153. Подпись: Е.Жданский. В «Словаре псевдонимов» И.Ф.Масанова не раскрыт.

[15] См.: Мамин-Сибиряк (критический очерк) // Мир божий. 1905. № 10. С.216—237.

[16] Точнее, «Литературные образы и мнения».

lib.pushkinskijdom.ru

помещика 60-х годов, выросший в деревне и органически с нею сросшийся, он со всею непосредственностью сангвинической и широкоотзывчивой природы, пронесшей свою простоту и свежесть чрез все утонченности высокой культуры, легко и плодотворно преодолевает в своем сознании и общественную психологию «кающегося дворянина»,[17] и душевное одиночество «оторванного от народной стихии» интеллигента, и умственный конфликт западничества и веры в нашу духовную самобытность. Чувствуя себя во Франции и в Англии как дома, глубоко убежденный как историк в непреложности своей формулы о повороте культурно-исторического движения с Запада на Восток, склоняясь в своих социологических взглядах скорее к марксизму, А. все же народник искони и по существу. Он и фольклорист потому, что все корни его личного и общественного сознания лежат в деревенском быту; к изучению обряда и верования приводит его не один Веселовский, но вместе и Глеб Успенский, а именно народный календарь во «Власти земли».[18] Типически русский человек и мыслитель, он не может успокоиться на научных схемах, не внося в них живой задушевности и какой-то лирической безудержности, — на позитивизме, не спасаясь от него, чрез формулы имманентизма, к какому-то религиозному синтезу своего эволюционного миросозерцания; инстинктивно отметая все идеалистически-метафизическое, ища и ценя только исторически конкретное, он в то же время не осмысливает ничего конкретного вне координации с самыми широкими обобщениями; этот реалист естественно становится «реалистическим символистом». Отсюда особенность его положения в критике как идейного посредника между широкими кругами общества и группою поэтов-символистов. «Реалистический символизм» как реализм, понятый не в плоскости, а в трех измерениях, т.е. предполагающий ноуменальное в явлении как высшую и реальнейшую реальность, делается лозунгом его критики, выдающейся по широте исторического захвата и полноте раскрытия связей разбираемого эстетического явления со всей совокупностью движущих сил эпохи, по неожиданности и остроумию сближений и обобщений, по огромной и разнообразной осведомленности. Поле научной эстетики было открыто для обработки Веселовским (см. ст. А. «Эстетика» в этом словаре).[19] А. удается в «Весенней песне» на конкретном материале утвердить новое (от Гюйо, Грооса, Бюхера идущее) воззрение на происхождение искусства.[20] По этому воззрению, искусство возникло не из игры (как со времени Канта думали Шиллер, идеалистический эстетик, а также Спенсер и отчасти сам Веселовский), но из практической потребности. Вооруженный данными, добытыми религиозно-историческим этнографическим исследованием Маннгардта, Фрэзера,[21] А.Ланга, и проникнутый, с другой стороны, представлениями Веселовского о первобытном искусстве как искусстве «синкретическом», А. точнее определяет эту потребность, породившую искусство, усматривая начало песни в обрядовом действе и неразлучной с ним обрядовой магии (ср. статью «О происхождении поэзии», «Вестник самообразования», 1905, № 41 и 42). В упрек глубоко значительному исследованию можно поставить разве лишь то, что автор «Весенней песни» останавливается как бы на пороге обряда и не продолжает изыскания в целях ближайшего раскрытия истории культового действия, наприм., не раскрывает элементов жертвы там, где ее первоначальная наличность очевидна по обрядовым пережиткам и т.п. Автобиографию и библиографию см. в «Материалах для биографии русских писателей» С.А.Венгерова.[22]

В. Иванов

---

[17] Выражение Н.К.Михайловского («Вперемежку», 1876—1877).

[18] Имеется в виду шестая глава, «Земледельческий календарь».

[19] Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона. Полутом 81. С.85—115.

[20] Имеется в виду монография 1903—1905 годов. Гюйо Жан Мари (1854—1888), французский философ-позитивист, воспринимал искусство как биологический феномен. Бюхер Карл (1847—1930) — немецкий экономист.

[21] Мангардт Вильгельм (1831—1880) — немецкий этнограф, исследователь народной мифологии. Фрэзер (Фрейзер, Джеймс Джордж, 1854—1941) — английский этнограф и историк религии.

[22] Произвольное наименование «Критико-биографического словаря...» (сведения о Е.В.Аничкове представлены в т.6).

lib.pushkinskijdom.ru

Л.Ю. Коновалова

АНКЕТЫ ДОМА ЛИТЕРАТОРОВ В ПЕТРОГРАДЕ

Крупнейшими центрами литературной жизни Петрограда первых послереволюционных лет были Дом Литераторов и Дом Искусств. Возникшие с интервалом в один год — первый был открыт в декабре 1918, второй в декабре 1919 — Дома выполняли очень сходные функции.

Во главе Дома Литераторов стоял выборный комитет, в состав которого входили: Н. Котляревский (председатель), В. Азов, А. Амфитеатров, А. Блок, Б. Бентовин, Н. Волковыский, А. Ганзен, И. Гиллер, Н. Гумилев, Ф. Зелинский, В. Ирецкий, Е. Карпов, А. Кауфман, А. Кони, Е. Леткова-Султанова, Вас. Немирович-Данченко, В. Петрищев, А. Редько, А. Ремизов, Б. Харитон.[1] Позднее в состав комитета были включены А. Ахматова, Е. Браудо, П. Губер, Е. Замятин, В. Розенблюм, Ф. Сологуб, Вл. Ходасевич.[2]

За год своей культурно-просветительской деятельности Дом Литераторов провел 207 самых разнообразных мероприятий.[3] Было прочитано 9 докладов по истории революционного движения, 30 литературных лекций, 27 лекций по вопросам философии, истории и социологии, состоялось 3 литературных вечера с участием Ф. Сологуба, А. Ремизова, М. Кузмина, 12 «живых альманахов», на которых свои произведения читали В. Азов, А. Амфитеатров, А. Блок, С. Городецкий, Н. Гумилев, Е. Замятин, М. Кузмин, Вл. Пяст, А. Ремизов, Ф. Сологуб, Б. Эйхенбаум, К. Чуковский, Г. Чулков, Вяч. Шишков и др.

Совет Дома Искусств возглавлял М. Горький. Членами совета были: по художественному отделу — Александр Бенуа, Альберт Бенуа, М. Добужинский, Н. Альтман, Ю. Анненков, П. Нерадовский, Ф. Нотгафт, К. Петров-Водкин, С. Тройницкий, В. Щуко, В. Ходасевич, по литературному — А. Блок, Н. Гумилев, Е. Замятин, В. Азов, А. Кауфман, А. Левинсон, Вас. Немирович-Данченко, С. Ольденбург, А. Тихонов, К. Чуковский, по хозяйственному отделу — П. Сазонов.[4]

С первых же дней своего существования Дом Искусств развернул активную культурно-просветительскую работу.[5] Уже с конца декабря 1919 года организуются публичные вечера и лекции по понедельникам. На литературных вечерах выступали: М. Горький, К. Чуковский, Е. Замятин, А. Блок, Н. Гумилев, Г. Иванов, М. Кузмин, Вс. Рождественский, А. Белый, А. Ремизов, Ф. Сологуб, О. Мандельштам, А. Грин, В. Маяковский и др.

Для улучшения бытовых условий литераторов и художников при Доме решено было открыть общежитие. В разное время — до середины 20-х годов — в стенах Дома Искусств находили свой приют: Н. Гумилев, Е. Замятин, М. Лозинский, О. Форш, Вс. Рождественский,

---

[1] Дом Искусств. 1921. № 1. С. 71.

[2] Весь Петроград за 1922 год. Пг., 1922. С. 578—579.

[3] О первых месяцах существования Дома Литераторов журнал «Дом Искусств» сообщает следующее: «Дом Литераторов возник осенью 1918 года, когда непрактичные и неумевшие приспособляться к новым условиям жизни литературные работники были оторваны от привычного дела. Нужда среди литераторов была тогда невероятная. Многие умирали с голоду. Первоначально организаторы Дома ограничились устройством столовой. Но впоследствии, когда пришли холода, Дом стал предоставлять посетителям сравнительно теплое и светлое помещение, читальню, а также рабочую комнату, где можно было заниматься. Начало культурной деятельности Дома Литераторов было положено 22 января 1920 г., когда был устроен вечер, посвященный памяти жертв 9 января и Герцену» (1921. № 1. С. 71).

[4] Дом Искусств. 1921. № 1. С. 68.

[5] Необходимость своего возникновения Дом Искусств объяснил следующим образом: «События последних лет разрушили прежние формы литературной и художественной жизни, уничтожили прежние группировки вокруг журналов и обществ. Литературные и художественные органы, вследствие технических и иных препятствий, прекратили свое существование. Материальная нужда заставила писателей и художников бросить свое основное дело и заняться побочными работами. Между тем никогда еще не ощущалось такой острой потребности в культурных работниках, и главным образом в работниках искусства, как теперь» (Дом Искусств. 1921. № 1. С. 68).

lib.pushkinskijdom.ru

А. Грин, Вл. Ходасевич, А. Волынский, В. Шкловский, М. Слонимский, М. Зощенко, Л. Лунц, О. Мандельштам, М. Шагинян, Вл. Милашевский, Г. Иванов и многие другие.

Кроме того, Дом предоставлял свои помещения для заседаний и лекций «Вольной философской ассоциации», Союзу переводчиков, «Обществу изучения поэтического языка». Сразу же после открытия в него перешла Литературная студия издательства «Всемирная литература». В феврале 1921 года часть студийцев организовала при Доме литературную группу «Серапионовы братья». В группу вошли: Л. Лунц, М. Слонимский, М. Зощенко, К. Федин, Н. Никитин, И. Груздев, Е. Полонская, В. Каверин, Н. Тихонов, Вс. Иванов.

Описывая литературную жизнь Петрограда начала 20-х годов в книге «Горький среди нас», К. Федин охарактеризовал взаимоотношения Дома Литераторов и Дома Искусств как противостояние. Однако противостояние это никогда не имело ярко выраженной политической или идеологической окраски и степень его в истории современной литературы долгое время преувеличивалась.

Укоренившееся противопоставление Домов по составу их членов не выдерживает никакой критики. В справочнике «Весь Петроград за 1922 год» указывается, что практически все представители Дома Искусств являлись одновременно и действительными членами Дома Литераторов. Это подтверждают и анкеты Дома Литераторов, заполненные Е. Замятиным, О. Форш, К. Фединым, М. Слонимским, Н. Тихоновым, М. Шагинян.[6]

Анкетные листы имели следующие вопросы:

«I. Фамилия. Имя. Отчество. Адрес. Телефон. Год рождения.

II. Число членов семьи. Их имена, отчества и фамилии с точным обозначением степени родства и возраста.

III. Литературный ценз: 1) Дата (год, месяц, число) начала литературной деятельности.

2) Перечень написанного или переведенного (может быть заменен ссылкой на Энцикл. Словарь с добавлением появившегося в печати после выхода Словаря).

3) Чем занимался в последние два года до революции, кроме литературы?

4) Чем занимается теперь? Если служит, то где и в какой должности; если занимается литературным трудом, то в каких изданиях, издательствах или учреждениях. В этой графе требуются исчерпывающие сведения.

5) Если не занимается литературным трудом, то когда прервал свою литературную деятельность?

6) В какой литературной организации состоит?

7) С какого времени?

Дата. Подпись.

Билеты для входа в Дом Литераторов выдаются только лицам, заполнившим этот лист».

Вышеуказанные писатели ответили на вопросы так:

ЗАМЯТИН

I. Замятин Евгений Иванович. Карповка, 19, кв. 4, тел. 4-68-86. 1884.

II. З — Людмила Николаевна Замятина, 31, жена. Агриппина Павловна Гроздова, 39, тетка.

III. 1) 1908

2) Книга повестей и расск. «Уездное»; сборники «Кряжи», «Вершки». Повести: «На куличках» («Заветы»), «Островитяне» («Скифы»), «Север» («Северн. альманах» изд. Гржебина) и ряд рассказов в «Северных записках», «Русских записках», «Новом журнале для всех», «Ежемесячном журнале», альм. «Мысль», газ. «Речь», «Бирж. вед.», «Дело народа», «Новая жизнь».

3) Преподаватель высш. учебн. заведений.

---

[6] Анкеты хранятся в Государственном музее К.А. Федина (г. Саратов).

lib.pushkinskijdom.ru

4) Член Редакц. коллегии изд-ва «Всемирная литература». Секретарь Совета Дома Искусств. Преподаватель СПб. Политехническ. института.

5) —

6) Член Дома Искусств и Всеросс. Союза писателей.

7) Дома Иск. — с 1919 г., Союза писателей — с 1920.
2—IX—1920 г.[7]

ФОРШ

I. Форш (А. Терек),[8] — беллетристика. Шах-Эддин — статьи по искусству и критика. Ольга Дмитриевна. Главный Ботанический сад[9]— Дом Искусств. Морская, 14, кв. 44. 1875.

II. Трое: Надежда Борисовна Форш — дочь, 22. Тамара Борисовна Форш — дочь, 21. Дмитрий Борисович — сын, 16 л.

III. 1) 1908 г. Октябрь. «Русская мысль».

2) Книга сказок «Что кому нравится» — изд. «Тропинка», 1910 г. Пьеса «Смерть Коперника» — изд. Революц.-Соц., 1919 г. Рассказы печатались: в «Русской мысли», в «Заветах». Пролог к роману «Оглашенные» — «Скифы». «Поголовщина» — «Наш путь». Роман «Дети земли» — «Русская мысль». Отд. издание «Рыцарь из Нюрнберга». Статьи по искусству под псевд. Шах-Эддин в «Современнике», «Нашем пути», «Знамени Труда», «Знамя», «Зори» и т. д.

3) Делала иллюстрации для Ботанического сада, давала уроки рисования и фр. языка.

4) Только что приехала из Киева, где была инструктором дошкольной секции, редактором детского журнала «Ковер-самолет». Сотрудн. журнала «Зори». Читала лекции в «Литер. студии».

5) Не прерывала вовсе.

6) Член Московского и Петроградского Союза писателей.

7) 1 октября 1918.
Ольга Форш.

Билет для входа № 310.

ШАГИНЯН

I. Шагинян Мариэтта Сергеевна. Мойка, 59. Тел. 6-05. 21 марта 1888 года.

II. 4. Мать, Пепрония Яковлевна Шагинян-Болдырева, 53 года. Сестра, Магдалина Сергеевна Шагинян, 25 лет. Муж, Яков Самсонович Хачатрянц, 36 лет. Дочь Миранда, 2 года.

III. 1) 1906 год, май.

2) 1. «Первые встречи», первый сборник стихов, Москва, 1910 г.

2. «О блаженстве имущего». Поэзия З. Гиппиус, критический очерк. Москва, из-ство «Альциона», 1912.

3. «Две морали». Публичная лекция. И-ство «Альциона», Москва, 1912.

4. «Orientalia», 2-ой сборник стихов.
I издание 1912
II издание 1913 Москва, «Альциона».
III издание 1914
IV издание. Ростов, «Аралэзы», 1919.

---

[7] В последнем пункте анкеты «Билет для входа получил» написано: «За Замятина по доверенности получила Л. Замятина».

[8] А. Терек и Шах-Эддин — псевдонимы О. Форш.

[9] Зачеркнуто.

lib.pushkinskijdom.ru

5. «Узкие врата». 1-ый т. рассказов, СПб., изд. Семенова, 1914.
6. «Семь разговоров». 2-ой т. рассказов, изд. Семенова, 1915.
7. «Странные рассказы». 3-ий том рассказов. Ростов, «Аралэзы», 1917.
8. «Искусство сцены». Ростов, «Аралэзы», 1918.
9. «Введение в эстетику». Курс, читанный в Ростовск. консерв. в 1915—16 гг. Ростов, «Аралэзы», 1919.
10. «Повесть о двух сестрах и волшебной стране Мэрце». Ростов н/Д, Книгоизд. «Детский мир», 1920 год. Множество статей, романов и т. д. по журналам.

3) Была профессором Донской консерватории по кафедре эстетики и истории искусств. Читала эпизодические лекции об искусстве. Поставила на Дону первую прядильно-ткацкую школу и организовала курсы по шерстоведению и овцеводству, где и была лектором.

4) Работаю во Всемирном издательстве (переводы). Приглашена заведовать лекционно-концертн. п/отделом Музопролеткульта в Москве. (На случай, если устроюсь в Москве.)[10] Пишу в московской «Правде» по вопросам производственной пропаганды. Состою заведующей текстильной частью Донпрофобра (нахожусь в отпуске) и предс. коллегии Донской Областн. прядильно-ткацкой школы. Состою професс. в Донской консерв. и Донск. Археолог. институте.

5) —

6) Записалась в Москве в профсоюз писателей. Была в Ростове членом Рабиса.

7) В Ростове с окт. переворота; в Москве с декабря 1920 г.

Мариэтта Шагинян.

Билет для входа № 370.

ФЕДИН

I. Федин Константин Александрович. 10-я Рождественская, 14, кв. 18[11] — Стремянная, 11, кв. 12. Т. 246-27. 1892.

II. —

III. 1) Октябрь 1913 года.

2) Рассказы, статьи, фельетоны, мелочи в журналах «Новый Сатирикон» 1913, 1914, «Отклики» 1919 и газетах провинции и Петербурга 1919, 1920.

3) Был актером в театрах Германии 1917—18, до революции студент.

4) Состою пом. редактора газеты Петрогр. революц. Армии Труда «Боевая правда»; сотрудничаю в «Петр. правде».

5) —

6) В Обществе взаимопомощи литераторов и ученых.

7) Март 1920.

Апреля 1-го 1920. Константин Федин.

Билет для входа № 529[12] — 352.

ТИХОНОВ

I. Тихонов Николай Семенович. Гороховая, 11, кв. 20. 1896.

II. 3. Тихонова Екатерина Давыдовна, мать, 57. Тихонова Антонина Семеновна, 19 л., сестра.

III. 1) 1917 год, декабрь.

2) Журнал «Нива», 1918. Повести: «Старатели», «Орхидея», рассказ «Чудо», 12 стихотворений. Рассказ «Сила», премированный на конкурсе Дома Литераторов. Подготавливается к печати сборник стихов «Орда».

---

[10] Приписка на полях.
[11] Зачеркнуто.
[12] Зачеркнуто.

lib.pushkinskijdom.ru

3) Был на войне.
4) Красноармеец.
5) —
6) В Петроградском отделении Всероссийского Союза поэтов.
7) С осени 1920 года.

3 октября 1921 г. Николай Тихонов.

Билет для входа № 534.

СЛОНИМСКИЙ

I. Слонимский Михаил Леонидович. Спасская, 17, кв. 30, тел.263-33, 1897.

II. Трое (находятся вне Петрограда): Слонимская Фаина Афанасьевна, мать, 63 г. Слонимский Александр Леонидович, брат, 37 л. Слонимский Николай Леонидович, брат, 25 л.

III. 1) Июль 1914 года.

2) Статьи в «Биржевых ведомостях», «Современном слове» и др. повременных изданиях. Печатаются: «XII временник книжной палаты» (вступ. статья и редакция), «М. Горький. — Материалы для биографии» (в изд-ве Гржебина).

3) Служил солдатом в армии.

4) Секретарь издательства З.И. Гржебина, сотрудник газеты «Жизнь искусства», член Дома Искусств.

5) —

6) Член Петроградского профессионального Союза журналистов.

7) С 12 октября 1918 года.

25 марта 1920 г. Михаил Слонимский.

Билет для входа № 386.

Андрей Платонов

О ПЕРВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ

(ПРЕДИСЛОВИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИИ В.В. ПЕРХИНА)

Статью «О первой социалистической трагедии» А. П. Платонов представил М. Горькому, который дал отзыв о ней 13 января 1935 года.[1] Это позволяет считать, что статья Платонова была написана не позднее декабря 1934 года.

Прошло всего три месяца после окончания Первого съезда советских писателей. Платонов не был его участником, но вряд ли съездовские дискуссии прошли мимо его внимания. В речи А.А. Суркова было, в частности, констатировано, что на съезде получило «все права гражданства одно слово, к которому мы еще недавно относились с недоверием или даже враждебностью. Слово это — гуманизм».[2] Статью Платонова можно рассматривать как попытку вмешаться в споры о гуманизме, утвердить в сознании современников собственное его понимание и в связи с ним рассмотреть вопрос об отношении человека к природе и роль художника в современном обществе.

---

[1] См.: *Аннинский Л.* Откровение и сокровение. Горький и Платонов// Лит. обозрение. 1989. № 9. С. 16.

[2] Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. С. 514.

lib.pushkinskijdom.ru

Несмотря на то что в первые пореволюционные годы Платонов испытал сильное воздействие рационализма[3] и с этих позиций призывал «сокрушать, переделать эту планету, чтобы стала как станок»,[4] идея «одухотворения мира»[5] оставалась неотъемлемой частью его сознания с отроческих лет. В те годы Платонов впитывал мудрость народных представлений о мире, общаясь со старухами и нищими,[6] со странниками.[7]

Странники, «калики перехожие», путешествовавшие по святым местам, были «людьми церковными», близкими к определенному монастырю. Но самое главное — они были «носителями репертуара духовных стихов еще в 10-е годы XX века».[8] Эти стихи воплощали народные воззрения на мир и человека, и в них большое место занимало осмысление Души человека и природы и ее страдания от людей.[9] Духовные стихи утверждали моральный кодекс народа, в том числе бережное отношение к природе. По наблюдениям современного исследователя, в духовных стихах господствует атмосфера «жалости, сострадания и милосердия»,[10] «светлая человечность отношений».

Мир ранней поэзии Платонова, воплощающей темы Души человеческой и природы, имеет немало общего со «светлой человечностью» духовных стихов, с пафосом милосердного отношения к природе.

Этот изначальный гуманизм сознания Платонова даже в пору преклонения перед научным постижением истины помогал ему не упускать из поля зрения субъект, человека, познающего истину, благодаря этому избежать дегуманизации и уже к середине 1920-х годов утвердиться на позициях приоритета гуманистических ценностей: «Даешь душу, раз ты изобретатель!».

Напротив, в государственной политике господствовал рационалистический и сугубо утилитарный подход к освоению мира. В 1935 году на Первом съезде по охране природы отмечалась «вопиющая безграмотность в вопросах охраны природы», совершение «целого ряда действий, которые могут кончиться катастрофой».[11]

Примечательно различие в подходах специалистов (ботаников, биологов) и Платонова к проблеме сохранения природы. Специалистов волновало отсутствие элементарных знаний. Это было действительно одной из серьезнейших проблем 1930-х годов. Возглавляемые Н.И. Бухариным «Известия» поместили передовую, где с нескрываемой тревогой говорилось о «рецидиве безграмотности» как грозной опасности на пути утверждения «культурности».[12]

---

[3] См.: *Богданович Т.* Ранние произведения Андрея Платонова. К вопросу о формировании теоретических взглядов писателя// Przeglad rusycystycz. Lodz, 1986. Rocz 8. Ч. 1/2. С. 134; *Малыгина Н. М.* Эстетика Андрея Платонова. Иркутск, 1985. С. 72.

[4] *Платонов А.* Жизнь до конца// Воронежская коммуна. 1921. 25 авг.

[5] *Платонов А.* У начала царства сознания// Воронежская коммуна. 1921. 10 янв.

[6] «Колокол "Чугунной" церкви был всею музыкой слободы, его умилительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я» (*Платонов А.* Голубая глубина. Краснодар, 1922. С. V). Уместно привести еще одно свидетельство духовного воздействия воронежской среды. Несколькими годами ранее его испытал Г.П. Федотов: «У народа тот же Христос, которого я знал в детстве. Я не выдумал его. Он дан мне всей православной средой...: иконой, лубочными картинками Страшного суда, литургикой, сыростью и холодом воронежских церквей...» (*Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. СПб., 1991. Т. 1. С. 3).

[7] Странник — персонаж многих ранних стихов Платонова. Характерный пример из стихотворения «Русь»:

Там за умолкшей опушкой
Звонят к вечерне в селе,
Странник с иконкой и кружкой
Бродит по стихшей земле.

[8] *Сперанский М.* Духовные стихи// Энциклопедический словарь братьев Гранат. М., 1913. Т. 19. Стлб. 198.

[9] См.: *Федотов Г.П.* Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 141.

[10] *Никитина С.Е.* Послесловие// *Федотов Г.П.* Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. С. 142.

[11] Труды Первого Всесоюзного съезда по охране природы в СССР. М., 1935. С. 81, 77.

[12] О грамотности// Известия. 1936. 3 янв.

lib.pushkinskijdom.ru

Платонов писал не о том, что управляющие не знают азбуки и арифметики, он писал о духовной безграмотности, о человеке, который «создает технику, способную сделать его разумом природы», но при этом «оборудован не той душой, не тем сердцем и сознанием». При этом писатель осмыслял это не как недостаток какой-либо отдельной сферы человеческой деятельности, а как состояние данной стадии нового мира, когда он остается «еще трудным и убогим». Это состояние Платонов обозначил понятием «трагедия напряженной души». Смысл его в преодолении «собственной убогости». Процесс преодоления, по мнению Платонова, трагичен, потому что он необычайно медленен, духовность человека не поспевает за развитием техники: «Сам человек меняется медленнее, чем он меняет мир. Именно здесь центр трагедии». Только преодоление «собственной убогости» гарантирует, что «самое далекое будущее» будет «застраховано от катастрофы». Разрешение этой трагедии писатель связывал с социалистическим идеалом.

Вместе с тем Платонов не считал трагический конфликт человека и природы принадлежностью только советского общества. Он пророчески подчеркнул его всемирное значение, когда писал, что «несовершенный человек» может превратить земную историю в «трагедию без конца и без развязки».

Акцент на трагическом и этическом аспектах проблемы «человек и природа» вновь заставляет вспомнить о стихах духовных как источнике мировоззрения Платонова. Но публикуемый текст показывает, что писатель учитывал и опыт русских мыслителей XIX века: Ап. Григорьева, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Из современников Платонова в этом же направлении осмыслял проблему С.А. Клычков. В 1929 году в связи с романом «Мы» об угрозе гипертрофированной власти машин предупреждал Е.И. Замятин. В 1931 году об этом же тревожился В.П. Правдухин: «Рвут землю повсюду железом, сталь в корне глушит живое, природное». Примечательно, что его повесть «Гугенот из Териберки» критиковали за «враждебное» отношение к механизации одновременно с повестью Платонова «Впрок».[13]

Таким образом, можно утверждать, что своей статьей Платонов попытался вернуть в сознание русского общества середины 1930-х годов гуманизм Григорьева, Достоевского и Толстого и «разгромленный»в самом начале тридцатых «перевальский» гуманизм.

С центральной проблемой статьи связан вопрос о роли художника в современном обществе. Всего лишь три года тому назад официозная критика объявила Платонову, что он не может «претендовать на активную творческую деятельность».[14] Первый съезд советских писателей показал, что для Платонова сохраняется опасность быть выброшенным из литературной жизни, так как там громко прозвучало требование подчиниться государственной воле и творить в соответствии с политическими чертежами современности. В этом виделась польза писателя для общества.

Платонов начал статью с полемики против такого понимания пользы. Художник творит не ради «сала», не ради того, чтобы «краснодеревщики слали мебель на дом» — так поступают «поэтические рвачи» или, используя термин Артема Веселого, «литературные шлюхи». Платонов предпочитал оставаться и призывал других писателей быть с «обыкновенными людьми», с народом, участвовать в его «терпеливой работе».

Введя далее в свои размышления цитату из поэмы А. де Виньи «Смерть волка», Платонов существенно расширил контекст своей мысли. Французский писатель тоже когда-то должен был решать вопрос о «пользе» поэзии. Он тоже боролся за право существования в рамках своего общества и настаивал на полезности своего труда, на особой — духовной — полезности. Однако его духовность оказывалась не нужной материалистическому обществу,[15] так же как подобные идеи Платонова встречались в штыки рационалистами 1930-х годов.

Читатель статьи Платонова должен был вспомнить, что герой поэмы принимал смерть от рук своих мучителей, но одерживал моральную победу над посягнувшими на его свободу.

---

[13] См.: *Березов П.* Под маской// Пролетарский авангард. 1932. № 2. Стлб. 171.

[14] Там же. Стлб. 182. Подробнее см.: *Перхин В.В.* Два письма Андрея Платонова// Русская литература. 1990. № 1. С. 228—229.

[15] См.: *Карельский А.* Предисловие// *Виньи Альфред де.* Избранное. М., 1987. С. 33—37.

lib.pushkinskijdom.ru

В сознании Платонова иносказательный смысл судьбы героя поэмы не мог не вызвать ассоциаций с его собственной судьбой художника, с молчаливой гордостью и «без тени страха» встречающего удары противников, ибо «стенать, рыдать, молить — равно позорно», и презирающего тех, которые «продались, чтоб жить в тепле и холе».

Таким образом, Платонов выдвинул концепцию писателя, живущего одной жизнью с людьми, остающегося в обществе людей и в то же время сохраняющего свою «тайную свободу», внутреннюю независимость. Только при таком самосознании, по мнению Платонова, писатель сможет выполнить свои обязанности. О них Платонов говорил, раскрывая содержание понятия «творческие инженеры человеческих душ».

Платонов дополнил известную формулу эпитетом «творческие» и тем самым отверг роль комментатора политических лозунгов. В другом месте статьи он развил свою мысль: писатели должны быть «действительными инженерами и изобретателями человеческих душ, а не их десятниками». Десятники — исполнители чужих чертежей, писатель должен быть подлинным инженером, творцом душ, только так он сможет внести свою лепту в предотвращение «трагедии без конца и без развязки», которую может устроить человек владеющий техникой, но лишенный души. Наделить человека душой — ответственнейшая миссия писателя, но прежде он должен создать душу в самом себе.

Эта статья Платонова была признана Горьким негодной для публикации.[16] Он подошел к ней как сторонник насаждения в обществе «единой идеологии, которая рождает новых героев».[17] Горький ратовал за «социальное значение» литературы и показ «красоты жизни», за то, чтобы писатели слушали лекции, расширяли круг знаний, занимались самообразованием, ибо «наша — "инженеров душ" — обязанность учить. Для этого мы должны сами учиться».[18] С позиций горьковского рационализма нельзя было принять статью Платонова. Но в Горьком всегда жил интерес к вопросам духа. Поэтому отзыв о статье он завершил указанием сохранить ее «для будущего», указанием, отразившим его внутренние сомнения в правильности односторонне рационалистического решения человеческих проблем. Статья Платонова, тщательно изученная Горьким, не могла не усилить эти сомнения, и, думается, она оказала, наряду с другими факторами, влияние на обращение Горького к проблеме трагического в выступлениях и статьях второй половины 1935—1936 годов.

Платонов, как показывает его статья «Пушкин и Горький», хорошо понимал двойственность Горького и вряд ли питал особую надежду на благоприятное отношение к своим мыслям. Второй экземпляр статьи оказался у Щербакова.

А.С. Щербаков (1901—1945) был первым секретарем Союза писателей СССР (1934—1936) и одновременно секретарем ЦК ВКП(б). Его записные книжки хранят свидетельства встреч и просьб многих писателей. Он был склонен к сглаживанию противоречий и явно не одобрял «рапповского реваншизма». Во время подготовки дискуссии о формализме в начале 1936 года Щербаков предупреждал А.А. Суркова: «Можно критику так построить, что от советской литературы вообще ничего не останется».[19] Мягкость руководящего стиля Щербакова вызывала нарекания Горького: «Вы как будто желаете примирить всех со всеми, создать в Союзе (писателей. — *В.П.*) "тишь, гладь, божью благодать"».[20] В письме к Суркову в декабре 1935 года Горький назвал Щербакова «благодушным старичком», «примирителем противоречий».[21]

Однако когда дело доходило до идеологических оценок конкретных произведений, Щербаков руководствовался теми критериями, которые воспринял в годы учебы (1930—1932) в

---

[16] См. об этом подробнее: *Аннинский Л.* Указ. соч. С. 14—16.

[17] Из письма М. Горького о докладе Н.Ф. Погодина (ЦГАЛИ. Ф. 631. Оп. 2. Ед. хр. 120. Л. 2).

[18] Архив М. Горького. Пг-рл. 55.—I—11.

[19] Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИ), бывший Центральный партийный архив (ЦПА). Ф. 88. Оп. 1. Ед. хр. 457. Л. 27.

[20] Архив М. Горького. Пг—рл.55.—I—18.

[21] РЦХИ. Ф. 77. Оп. 1. Ед. хр. 917. Л. 16.

lib.pushkinskijdom.ru

Историко-литературном институте красной профессуры. Поэтому в статье Платонова он подчеркнул то, что касалось полемического переосмысления сталинского тезиса «техника решает все». Статья, столь кардинально уточняющая политическую формулу вождя, не могла рассчитывать на одобрение Щербакова. Более того, может быть и под впечатлением этой статьи, он решил идеологически поправить писателя. В марте 1935 года он указал, что Платонов выражает «чуждые, антипролетарские настроения», что его проза не соответствует «дням величайших побед социализма».[22]

Публикуемая статья представляет значительный интерес с точки зрения жанра. Философско-публицистическая по своей природе, она завершается неожиданным художественно-публицистическим финалом. Платонов-художник не ограничился логической аргументацией и обратился к доказательствам эмоциональным. И в этом проявился его антирационалистический пафос. Кроме того, предлагаемая публикация — важнейшее звено в развитии эстетики Платонова от статей начала 1930-х годов к его литературной критике 1937—1940 годов.

Публикуемый текст (машинопись с правкой Платонова и его личной подписью) хранится в фонде А.С. Щербакова (РЦХИ. Ф. 88. Оп. 1 Ед. хр. 608. Л. 5—9). В статье Л. Аннинского (Лит. обозрение. 1989. № 9. С. 14—16) были приведены, к сожалению, только обширные цитаты из горьковского экземпляра статьи. Но по этим цитатам нельзя понять логику развития авторской мысли и ее аргументацию. Полный текст публикуется впервые.

В журнале «Новый мир» (1991. № 1. С. 145—146) Н.В. Корниенко опубликовала статью Платонова «О социалистической трагедии». Сопоставление показывает, что «новомировская» статья является всего лишь первым, подготовительным вариантом публикуемой статьи. По сравнению с ним объем текста увеличен почти в три раза, Платонов добился более точного и емкого выражения своих мыслей, (разночтения отмечены в комментариях), уточнил заголовок — он обрел второй план, подтекст.

О ПЕРВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ

Надо не высовываться и не упиваться жизнью: наше время лучше и серьезней, чем блаженное наслаждение. Всякий упивающийся обязательно попадается и гибнет, — как мышонок, который лезет в мышеловку, чтобы «упиться» салом на приманке. Кругом нас много сала, но каждый кусок на приманке. Надо быть в рядах обыкновенных людей — для терпеливой социалистической работы, больше ничего.

«Нет, с мужеством свой долг, тяжелый и упорный,
К которому судьбой ты призван был, свершай,
Потом, как я, страдай и молча умирай».

(А. де Виньи)

Но дело, конечно, не в смерти, а в победе.[1]

Этому сознанию соответствует действительное устройство природы. Она не велика и не обильна.[2] Точнее говоря — она так жестко устроена, что свое обилие и величие не отдавала еще никому. Это и хорошо, иначе — в историческом времени — всю природу

---

[22] *Щербаков А.С.* Итоги Пленума Правления ССП// Литературный критик. 1935. № 3. С. 7, 9. Отметим, что вскоре после этой проработки на приеме у Щербакова был В.Б. Шкловский и, в частности, просил о помощи в лечении Платонова (РЦХИ. Ф. 88. Оп. 1. Ед. хр. 467. Л. 20, об).

[1] Строки из поэмы «Смерть волка» (см.: *Виньи Альфред де.* Избранное. С. 491).

[2] Переосмысляя крылатое выражение, восходящее к Ипатьевской летописи («Земля наша велика и обильна»), Платонов полемизировал не только с традиционными и господствующими представлениями, но, возможно, и с Горьким, который в статье «О самом главном» (1932) цитировал эти крылатые слова и восхищался работой, изменяющей «физическую географию», победоносным столкновением техники со стихийными силами природы и тем, что «земля наша все более щедро открывает бесчисленные свои сокровища» (*Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 26. С. 374, 376, 375).

lib.pushkinskijdom.ru

давно бы разворовали, растратили, упились бы до самых ее костей: аппетита всегда хватило бы. Достаточно, чтобы физический мир не имел одного своего закона, правда, основного закона — диалектики, и в самые немногие века мир был бы уничтожен людьми начисто и впустую. Больше того, и без людей в таком случае природа истребилась бы сама по себе вдребезги. Диалектика есть выражение скупости, труднооборимой жесткости конструкции природы, и лишь благодаря этому стало возможно историческое воспитание человечества. А то бы давно все кончилось на земле, как игра ребенка с конфетами, которые растаяли в его руках, а он не успел их даже съесть.

В чем же смысл современной исторической трагедии? Смысл, по-моему, в том, что «техника... решает все».[3] Между техникой и природой принципиально трагическая ситуация. Классовая борьба, вопрос обороны СССР и победы над империализмом тоже теперь имеет техническое содержание главным образом.

Цель техники — «дайте точку опоры, я переверну мир».[4] А конструкция природы такова, что она не допускает, когда ее обыгрывают: мир перевернуть можно, подобрав нужные моменты плеч рычага, однако надо проиграть в пути и во времени, когда длинного плеча рычага столько, что практически победа будет бесполезной. Это элементарный эпизод диалектики. Возьмем современный факт: расщепление атомного ядра. Прямой выигрыш в силе не образуется, т.е. еще нельзя, истратив — количество энергии n, получить n + 1. Но гений техники лежит на косых путях: для разрушения атома ⟨нужны⟩ «попутные» силы природы, напр⟨имер⟩ космические лучи, тогда получается положительный баланс работы.

Сама же природа, если глядеть в упор, держится замкнуто, она способна работать лишь так-на-так, даже с надбавкой в свою пользу, а техника напрягается сделать наоборот. Внешний мир защищен против нас своей диалектикой. Все искусство техники держится на попутных боковых ветрах природы, действующей ради своего сосредоточенного интереса.

В социологии, в любви, в глубине человека диалектика столь же неизменна и несокрушима, если идут ей в лоб. Мужчина, имевший десятилетнего сына, оставил его с матерью, а сам женился на красавице. Ребенок затосковал по отцу и терпеливо, неумело повесился. Грамм наслаждения на одном конце уравновесился тонной могильной земли на другом.

Отец взял с шеи ребенка бичеву и вскоре ушел за ним вслед, в могилу. Он хотел упиться невинной красавицей. Он хотел любовь нести не как повинность с одною женой, а как удовольствие. Не упивайся, — или умирай, ты находишься в трудном и еще убогом мире.

Идеология находится не на внешней высоте, не в «надстройке», а в самом сердце человека и в середине его общественного чувства.

История как всемирная трагедия началась вместе с человеком, но техника служит ее заключительным актом. На Западе эта трагедия идет не к разрешению, а к уничтожению, к снятию темы посредством фашизма и войны. Решается заданная трагедия только у нас.

Мне хочется, чтобы искусство было не только «отображением», а точным пророчеством новых циклопических работ — ради изменения той существующей всемирной жизни, которая похожа на совокупление слепых в крапиве.[5]

---

[3] «Техника в период реконструкции решает все» — из речи И.В. Сталина «О задачах хозяйственников» 4 февраля 1931 года (см.: *Сталин И.В.* Соч. М., 1951. Т. 13. С. 41).

[4] «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю» — слова, произнесенные Архимедом Сиракузским после открытия им законов рычага.

[5] Мысль о недоверии к искусству-«отображению» полемична по отношению к официальному требованию «показа героев» в литературе. Утверждение искусства-пророчества указывает на освоение Платоновым эстетики В.С. Соловьева и символистов. Требование «пророческой решимости» Платонов будет выдвигать и позднее, а дар пророческого предчувствия останется для него важным критерием оценки художественного таланта (см.: *Платонов А.* Размышления читателя. М., 1980. С. 95, 150, 151).

Образ «совокупления слепых в крапиве» как метафора негармоничной, неодухотворенной жизни перекликается с образом совокупления странника и странницы в майский день, к которому обращался Л.Н. Толстой, показывая, как уступка духа плоти нарушает красоту жизни (см.: *Горький М.* Лев Толстой // Избранное. М., 1983. С. 157).

lib.pushkinskijdom.ru

Техника, начатая когда-то как самозащита рабов и затем рабочего класса против смертельной эксплуатации, имеет и посейчас характер средства классовой борьбы. Но в СССР она теперь приобретает уже другое качество и назначение. Рабочий класс, проведший целый век в работе с крутым веществом природы, приобрел такой творческий технический потенциал, что, будучи облагороженным социализмом, он создает технику, способную в течение одного-двух десятилетий сделать его разумом природы — с абсолютной властью в практических масштабах.

Но сам человек меняется медленнее, чем он меняет мир. Именно здесь центр трагедии. Для этого и нужны творческие инженеры человеческих душ. Они должны предупредить опасность опережения человеческой души техникой. Уже сейчас человек не на высоте исторического.[6]

В тех оптимальных условиях для технического прогресса, которые есть у нас, мы живем накануне существенного завоевания мира, т. е. регулирования всех его практически важных для нас, дотоле стихийных процессов. Да, но современный человек, даже лучший его тип, недостаточен; он оборудован не той душой, не тем сердцем и сознанием, чтобы, очутившись в будущем во главе природы, он исполнял свой долг и подвиг до конца и не погубил бы, ради какой-нибудь психической игры, всего сооружения мира и самого себя. Здесь драматическое положение имеет чисто «наше», советское содержание. Социализм можно трактовать как трагедию напряженной души, преодолевающей собственную убогость, чтобы самое далекое будущее было застраховано от катастрофы.

В формуле об инженерах человеческих душ скрыта тема первой чисто социалистической драмы. Через несколько лет эта проблема станет важнее металлургии; вся наука, техника и металлургия — все оружие власти над природой — будут ни к чему, если они достанутся в наследство недостойному обществу. Больше того, несовершенный человек создаст тогда об истории [7] такую трагедию без конца и без развязки, что его собственное сердце устанет.

Но этого не случится, если мы будем сейчас работать. Если мы станем действительными инженерами и изобретателями человеческих душ, а не их десятниками.

Для этой задачи нужно прежде всего создать в самом себе социалистическую душу.

Я видел однажды среди советской интеллигенции, как одна молодая женщина была опечалена. Она была чрезвычайно способным химиком, но некрасивая. Все веселились в летнем саду, а ей не оказывали внимания, как женщине и товарищу. Все⟨х⟩ обсыпали летними цветами и конфетти, а она сидела неудобно в стороне, как чужая и одинокая. Торжество продолжалось далее в вечер. Тогда эта молодая женщина тайно собрала близ соседей упавшие цветки и бумажки, ушла с ними в темноту, за деревья, осыпала себе ими волосы и шею и пришла назад, улыбающаяся, с глазами, блестевшими в слезах. Издалека ей навстречу встал красивый, превосходный инженер и, красный от стыда, стал с нею танцевать и заниматься весь остаток вечера.[8]

В этом нет ничего хорошего. Человек социалистической души заметил бы эту женщину прежде, чем она пошла в сад плакать и осыпать сама себя бумажками.

---

[6] Понятие «историческое» использовал Н.А. Бердяев: «познание исторического», «динамизм исторического». В сб. «Ветвь» (М.: Северные дни, 1917) он опубликовал статью «О творческом историзме», где, раскрывая содержание «исторического», писал об «интуитивном чувстве совершающейся истории», о понимании исторической традиции как «продолжающемся динамическом процессе», о таланте исторического деятеля как «интуитивном угадывании того, что может стать творческой силой истории», о том, что быть на высоте исторического значит быть «новаторами, творцами своего времени». Понятием «историческое» он оперировал и в книге «Смысл истории» (Берлин, 1923).

[7] Вероятно, «из истории».

[8] Ср.: *Платонов А.* Джан // Платонов А. Повести и рассказы. 1928—1934. М., 1988. С. 364—365.

lib.pushkinskijdom.ru

ИЗ ПИСЕМ О.С. БОКШАНСКОЙ К М.А. БУЛГАКОВУ, Л.Е. БУЛГАКОВОЙ-БЕЛОЗЕРСКОЙ И Е.С. БУЛГАКОВОЙ (1930—1938)

(ПУБЛИКАЦИЯ В.В. БУЗНИК)

В рукописном отделе Пушкинского Дома (Ф. 369. Ед. хр. 358) находятся восемь писем О.С. Бокшанской, адресованных М.А. Булгакову (два письма и телеграмма), ему и Л.Е. Булгаковой-Белозерской (одно письмо), ему и Е.С. Булгаковой (два письма), а также последней (одно письмо и радиограмма).

Письма эти представляют интерес для изучения как жизненного, так и творческого пути Булгакова. Они богаты прежде всего конкретными сведениями, именами, фактами, касающимися непростых отношений писателя с московской театральной средой и трудной сценической судьбы его произведений.

Ольга Сергеевна Бокшанская (1891—1948) — сестра Елены Сергеевны Булгаковой (урожд. Нюренберг). С 1919 года была сначала секретарем-машинисткой дирекции Московского Художественного театра, а затем личным секретарем одного из его основателей и руководителей — В.И. Немировича-Данченко.

Ее знакомство с Булгаковым относится, по-видимому, к 1925 году, когда молодой драматург впервые появился в прославленном театре как автор пьесы «Белая гвардия», вскоре переименованной в «Дни Турбиных». После женитьбы Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны Бокшанская стала постоянно бывать в их доме, принимала живейшее участие в театральных делах Булгакова, снабжала его информацией о всевозможных событиях и особенно закулисных интригах в МХАТе. Дневники Е.С. Булгаковой, ее переписка с мужем пестрят бесчисленными упоминаниями о «сестренке Оленьке», встречах, разговорах с нею.

Между тем отношение Булгакова к его «S»(sister-in-law — свояченица; англ.) было далеко не однозначным. Он испытывал к Бокшанской естественные родственные чувства, поначалу даже нежность. Неизменно восхищался ее высоким профессионализмом, «невиданной машинописной выносливостью». Именно ей доверил писатель первую перепечатку «Мастера и Маргариты» под собственную диктовку. При всем том чем дальше, тем больше его раздражали некоторые черты характера и поведения свояченицы. Претили бесцеремонность, самоуправство и прочие моменты, называемые им «грубостями», которые способны «отравить жизнь» окружающим. Сильнее же всего удручала Булгакова склонность Ольги к выдумкам на грани обыкновенной лжи. Осуждая родственницу за «вранье от первого до последнего слова», он с горечью писал жене в 1938 году: «Ты недоумеваешь, когда "S" говорит правду? Могу тебе помочь в этом вопросе: она никогда не говорит правды».[1]

Справедливости ради следует, однако, сказать, что подобная резкость оценок в немалой степени объяснялась, вероятно, тяжелым душевным состоянием Булгакова, резким ухудшением его здоровья, приступами «нейростении» под влиянием официозных гонений. Л.Е. Белозерская вспоминала впоследствии, как в 30-е годы «постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны Михаила Афанасьевича, а попутно истощалась и нервная система писателя: он становился раздражительней, подозрительней».[2] Булгаков и сам в письмах к разным лицам — от В. Вересаева и М. Горького до И. Сталина — неоднократно жаловался, что крайне «переутомлен», «отравлен тоской и привычной иронией», страдает общим «истощением нервной системы».[3]

Нельзя не упомянуть и о том, что Бокшанская, при всех неровностях своих отношений с Булгаковым, отзывалась о нем неизменно в высшей степени уважительно и восхищенно. После кончины писателя она не раз повторяла, что это был «по-настоящему неисчерпаемый человек», личность «потрясающего обаяния и интереса». Для нее было несомненно, что из жизни ушел художник «необычайной одаренности», который «останется в веках».[4]

По мнению исследователей (Л. Яновская), облик Бокшанской «насмешливо и уважительно, язвительно и поэтично и, как говорят знавшие ее люди, необыкновенно узнаваемо» запечатлен Булгаковым в образе одной из героинь «Театрального романа» — вездесущей Поликсены Торопецкой.[5]

lib.pushkinskijdom.ru

[1] *Булгаков М.* Письма. Жизнеописание в документах. М., 1989. С. 425, 427, 439.
[2] *Белозерская Л.Е.* Страницы жизни// Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 228.
[3] *Булгаков М.* Письма... С. 290, 197, 293.
[4] Там же. С. 515, 506, 513.
[5] Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 13.

1

О.С. Бокшанская — Л.Е. Булгаковой-Белозерской и М.А. Булгакову

22 мая 1930 г. Тифлис.

Милые, дорогие мои Любаша [1] и Макочка! [2] Видимое дело — мне ни от вас, ни от моего семейства писем не дождаться. И почему бы? По-моему, это очень грубо так поступать. Сначала меня страшно обнадежили словами и мармеладом, Мака даже меня разочка два поцеловал на прощанье. Я и решила, что письма так и посыпятся. — А мармелад-то до чего вкусно оказалось в вагоне есть, просто неизведанно. Я так к нему прилипла, что Ершов [3] и Степанова,[4] кот⟨орые⟩ были моими неразлучными компаньонами в пути, с которыми я объединила свой «буфет», отчаявшись получить приглашение на мармелад, изредка просили: «А нельзя ли и нам булгаковского мармелада?» Володя Ершов оказался человеком запасливым, чуть мы тронулись — сразу выставил нам три различных бутылки — водка, коньяк и портвейн. В Воронеже, однако, обнаружилась полная нехватка этих самых продуктов, Володя слетал на площадь в кооператив, вернулся с увесистым свертком. Представление продолжалось. В Баку тоже кстати на площади за вокзалом оказался кооператив. Так что доехали мы благополучно. Одного только я понять не могу: почему я не выходила на станциях, как делали наши, чтоб попить стаканчиком вина, которое мне здесь так нравится — № 2 или 6, особенно 6. Ведь тогда бы я на один день раньше, выходит, могла бы его принимать.

Первое и незабываемое мое впечатление от Тифлиса — вход в домишко, в котором Федя [5] отвел мне комнату. Когда я поднялась по какой-то скрипучей и шаткой лестничке и оказалась на какой-то площадке, наполненной самыми неожиданными запахами, оттуда вышла в какую-то дверку и очутилась на балконе внутри двора, — я почему-то сразу ясно себе представила, что вот в такой обстановке происходит 6-я картина «Бега». Понимаете, домишко кажется небольшим, но все-таки он в три этажа, считая нижний, на уровне земли, во внутреннем дворе он в каждом этаже обнесен непрерывной террасой. Да, вероятно, Вам и объяснять не нужно, Вы все это видели.[6] Но мне тогда показалось, что это, должно быть, единственный такой на весь Тифлис странный и забавный дом, и мне выпала удача жить в нем. С этим сознанием я прожила только до тех пор, пока не пришла в театр, где стала делиться впечатлениями с нашими. Оказалось, что все они (кто не живет в отеле) устроены примерно так же. И потом уж, проходя по нашей улице, я увидела, что все старые домишки — все такие. А тут, в первый раз — все увидела: и Люську, и Серафиму, и Чарноту...[7] Знаете, где я живу? Вы представляете, конечно, ул⟨ицу⟩ Руставели, или — что, кажется, то же, — Головинский? И на ней оперный театр. Так вот, если стать лицом к театру, то с левой стороны его есть переулок, до сих пор не наблюдала, как он называется. По этому переулку надо спуститься вниз. Следующая поперечная, параллельно Головинскому, — Саперная ул⟨ица⟩, и на ней, почти на углу упомянутого переулка, я и живу. Ходу в театр минуты две, а если я вхожу с переулка в театральный двор и вхожу со стороны сцены — то вообще никаких минут нет, почти что перейти из комнаты в комнату. Здорово? Хозяйки мои — сестры-грузинки Месхиевы.[8] Скажите Люсе,[9] что они тетки тех самых актрис Месхиевых, на одной из которых, Нине, женат Конст⟨антин Ипполитович⟩ Кареев, наш, и особенно мой, давнишний друг. И Кареевы живут постоянно в Тифлисе, но сейчас, как раз в день моего приезда или на следующий, выехали в Кутаис. Если они вернутся до моего отъезда, я ужасно буду рада их увидеть. Это Вам, конечно, ничего не говорит, это я для Люси написала. Когда я поднимаюсь своим переулком к

lib.pushkinskijdom.ru

Головинскому, перед моим невооруженным глазом стоит гора, фуникулер и белый монастырь посреди горы. Этот вид мне в Тифлисе нравится пока больше всего. Правда, я еще не была в старом Тифлисе, там, где Кура бурлит и замок-тюрьма стоит. Но гора с монастырем до того меня пленила, что я едва ли ее променяю на что-нибудь другое. Мне нравится в этой горе — что это живая гора. Ведь похожа она на задник декорации — и довольно-таки паршивенький задник, а оказывается — живая гора, самая настоящая. И этот неподвижный белый монастырь — тоже живой. Как это ни глупо — я еще ни разу не была на горе и только слушаю с завистью, как наши рассказывают о прогулках и поездках туда. Все это из-за моего робкого характера. Решено было, что я пойду туда с Ник⟨олаем⟩ Аф⟨анасьевичем⟩,[10] а тот занят каждый день, я без него и не иду. Он клянется, что скоро освободится, будет что-то дней пять свободен, тогда повезет меня и на гору, и в старый город, и на «американку». Еще бы неплохо взять два выходных дня подряд и съездить в Боржом. Хоть и скандально, сразу решат, что это что-то вроде любовной авантюры. Макочка, подумайте, а роз-то сколько сейчас здесь продают — батумские, да по гривеннику штука, да таких расцветок и пахнут как! Вы, Мака, были правы, когда так хвалили город. Эх, жаль, не поехали вы все вместе компанией из Москвы со мной, еще бы Петюню [11] прихватить. Тут бы меня сразу из театра и выгнали.

Мака, милый, события последних московских дней потрясали не только нашу группу, которая ехала со мной вечером, но и наших привилегированных, которые поехали 9-го курьерским.[12] Оказывается, Михаил С⟨ергеевич⟩ [13] пришел к ним из своего международного, в котором он следовал вдвоем с Хмелевым,[14] и сообщил, что Вы поступаете к нам в театр. Причем очевидцы говорят, что рассказывал он с таким видом и такими интонациями, что давал ясно почувствовать — он-то все это и устроил. Понимаете, вот будто бился, бился человек и наконец добился Вашего поступления к нам. С таким же видом сообщил он мне эту новость в Тифлисе и при этом сказал: ну, теперь Булг⟨аков⟩ должен дать нам банкет. Если он для себя этого ждет, как по-Вашему, дождется? Должна Вам сказать без всякого преувеличения — решительно все радуются тому, что Вы будете работать с нами, ни одного хотя бы равнодушного отношения я не видела. Но Вы должны мне непременно написать, виделись ли вы с Вл⟨адимиром⟩ Ив⟨ановичем⟩,[15] как виделись, как говорили, с кем еще виделись, — словом, самым подробным образом. Имейте только в виду, что мы здесь будем до 6 июня (7-го уезжаем), что обычное письмо идет с неделю, а воздушной почтой — в самые разнообразные сроки — то 5 дней, то 3, бывали даже случаи, что доходило письмо в 2 дня. Адрес — Тифлис, Госопера, Гастроли МХТ. Если же увидите, что письмо в Тифлис придет гадательно, — то ли мы здесь, то ли уже уехали, — то пишите для верности в Баку, причем адрес опять-таки тот же: Госопера и Гастроли. Только город меняется, все остается на том же месте. Вы не знаете, почему самым подлым образом не пишет ни слова Люся? Я все жду и начинаю уже злиться. Право, не стоило бы ей нынче писать, да придется. Я не помню № Вашего дома на Пироговской,[16] придется послать письмо на Ржевский [17] с просьбой передать. Если и после этого письма она не напишет, — пожалуйста, Мака, напишите, где Шиловские будут жить летом, как здоровье детей, как чувствует себя Настя [18] и в какой санаторий ее определили? Рассказывала Вам Люся, как я уезжала, как Мура Ефимова [19] притащила свои шляпы для совета и как мы с Люсей скоплялись в прихожей у двери в мою комнату и давились от смеха?

Знаете, в довольно занятной обстановке пишу я письмо. Сейчас у нас в комнате сидит человек 12 актеров, идут репетиции, в двух шагах от меня уселась на столе и стульях компания человек в 5 и поют цыганские романсы под гитару. Красота! Приходится и мне отрываться, чтоб послушать, как один замечательно имитирует цыганщину — какую-то «розу стыдливую чайную — стыдливую — и встречу случайную»...

Вот что значит, что Вы не поехали сюда, — я еще ни разу даже не подвыпила как следует, не то что вообще «напилась». Наши-то молодые вовсю пользуют Тифлис, вон Шура Комиссаров [20] сказал, что за все время был только один день, что он не пил, а то во все остальные обязательно. Класс показывают Ершов, Вербицкий...[21] Москвин [22] привез

lib.pushkinskij.com.ru

жену и потому живет крайне скромно. Вас⟨илий⟩ Ив⟨анович⟩ [23] без жены — довольно трудно проверить, как он живет, едва ли скромно. Сегодня мне предстоит легкая вечеринка, о которой я думаю не без трепета. Мой шеф собирает у себя несколько человек — будет вино и покер. И зачем я в это дело втравилась — просто грех! Будет Коля Хмелев, Шевченко,[24] Вербицкий, Ник⟨олай⟩ Аф⟨анасьевич⟩ после спектакля и я. По-моему, компания довольно разнобойная. Фаина потому вошла в это дело, что она первая устроила у себя покер, на который пригласила М⟨ихаила⟩ С⟨ергеевича⟩, вот он ей дает реванш. Мака, Мака, что же мне делать, оберет он меня, как липку. А если я выиграю, — каково мне жить будет! Это первый мой выход в свет, а так я ежедневно сижу вечером на спектакле и после него мы отправляемся в духанчик есть шашлык. Н⟨иколай⟩ Аф⟨анасьевич⟩ непременно хочет написать Вам несколько слов,[25] Макочка, он чрезвычайно Вами интересуется, и очень по-хорошему. Любаша, дусинька, если Вам лень написать мне немного о себе, пусть Мака напишет про Вас побольше. Мака ведь должен написать, он обещал, ведь правда, Мака? Желаю Вам обоим всяких прекрасных вещей — здоровья, удачи, радостей — и нежно вас обоих целую — Любашу по праву, а Маку — только по причине большого расстояния между Москвой и Тифлисом.

Ваша Оленька.

[1] Булгакова-Белозерская Любовь Евгеньевна (1895?—1987) — жена писателя с 1925-го по 1932 год.

[2] Уменьшительное имя Булгакова, принятое в кругу его родных и друзей (см.: *Белозерская Л.Е.* Указ. соч. С. 197).

[3] Ершов Владимир Львович — артист Художественного театра с 1916 года. В первых спектаклях «Дней Турбиных» исполнял роль гетмана Скоропадского.

[4] Степанова Ангелина Осиповна — артистка МХАТа с 1924 года.

[5] Михальский Федор Николаевич — главный администратор Художественного театра, послужил прототипом Филиппа Филипповича в «Театральном романе» Булгакова.

[6] Работа над пьесой «Бег» была завершена Булгаковым в 1928 году. Тогда же автор передал ее для постановки в МХАТе. Таким образом, упоминания Бокшанской о «тифлисских реалиях» в этом произведении, если они действительно таковыми являются, могут быть отнесены к жизненным впечатлениям писателя от его первого посещения столицы Грузии в 1921 году.

[7] Персонажи пьесы «Бег».

[8] Возможно, речь идет о родственницах В.С. Алексеева-Месхиева — артиста Художественного театра.

[9] Домашнее имя Шиловской Елены Сергеевны, жены Булгакова с 1932 года.

[10] Подгорный Николай Афанасьевич — старейший артист Художественного театра, с 1903 года заведовал труппой, репертуаром. В пьесе Булгакова «Мольер» (1935—1936) играл герцога Д'Орсиньи.

[11] Возможно, имеется в виду Васильев Петр Иванович, пианист Большого театра, друг семьи Булгакова, участник постоянных розыгрышей в доме писателя, «Петяня, как его звала Любаша». См.: *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 359.

[12] В конце 1929-го — начале 1930 года гонения на Булгакова со стороны театрального и литературно-критического официоза достигли, казалось, предела. Все пьесы его («Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Кабала святош») были запрещены к постановке, писатель остался без работы, без средств к существованию. 16 января 1930 года он писал брату: «Сообщаю о себе: все мои литературные произведения погибли. Я обречен на молчание и, очень возможно, на полную голодовку» (*Булгаков М.* Письма... С. 160). Находясь в полном отчаянии, Булгаков обратился 28 марта 1930 года с письмом в Правительство СССР, где жаловался на преследования, травлю и просил о помощи. О последовавшем 18 апреля телефонном звонке И. Сталина много лет спустя рассказывала Е.С. Булгакова: «На следующий день после разговора М.А. пошел в МХАТ и там его встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подаст заявление... — Да боже ты мой! Да пожалуйста! Да вот хоть на этом... (и тут же схватили какой-то лоскут бумаги, на котором М.А. написал заявление). И его зачислили ассистентом-режиссером в МХАТ» (Дневник Елены Булгаковой. С. 300).

[13] Гейтц Михаил Сергеевич — с 1930 года состоял в руководстве МХАТа, в 1931 году был его директором. В театральной среде пользовался, однако, сомнительной репутацией. В первой редакции дневника Е.С. Булгаковой (25 мая 1937 года) о нем сказано: «Вот фигура, между прочим, был этот Гейтц! Производил впечатление уголовного типа» (Дневник Елены Булгаковой. С. 373).

[14] Хмелев Николай Павлович — артист МХАТа, исполнитель роли Алексея Турбина в спектакле «Дни Турбиных» (1926 год).

[15] Владимир Иванович Немирович-Данченко, как «дипломатичный и опытный» (В.В. Гудкова) руководитель Художественного театра, неоднократно пользовался своим положением и авторитетом,

lib.pushkinskijdom.ru

чтобы оказать посильную помощь Булгакову в его неравной борьбе с Главреперткомом и прочими ортодоксами (См.: Проблемы театрального наследия М.А. Булгакова. Л., 1987. С. 41). При всем том отношения между режиссером и драматургом не были безоблачными, порой они омрачались и творческими разногласиями, и конфликтами, и простым взаимонепониманием. Случалось, что Булгаков, раздосадованный иными неприемлемыми для себя режиссерскими указаниями, отзывался о «Немировиче» как об одном из своих «злых гениев» (*Булгаков М.* Письма... С. 426).

[16] Большая Пироговская, 35-а, кв. 6 — адрес Булгакова до переезда в Нащокинский пер. (ул. Фурманова), 3, кв. 44.

[17] Большой Ржевский пер., 11, кв. 1 — адрес квартиры Шиловских, где некоторое время проживала и Бокшанская.

[18] Прислуга в доме Булгакова.

[19] Неустановленное лицо.

[20] Комиссаров Александр Михайлович — артист МХАТа.

[21] Вербицкий Всеволод Александрович — артист МХАТа, игравший в «Днях Турбиных» сначала Тальберга (1926 год), позже — Шервинского.

[22] Москвин Иван Михайлович — старейший артист Художественного театра.

[23] Качалов Василий Иванович — артист Художественного театра с 1900 года.

[24] Шевченко Фаина Васильевна — артистка МХТ с 1909 года.

[25] В продолжение письма Бокшанской помещена следующая приписка Н.А. Подгорного: «Приветствую Вас, милый Михаил Афанасьевич, и рад ужасно тому, что мы будем вместе работать в театре. Ольга Сергеевна говорит, что Вы еще не решили сами, где устроитесь, — у нас или еще где-то, но мне кажется, что Вы будете у нас. Мне приятно Вам сказать, что когда (в поезде) узнали об этом Старики наши, то и они очень обрадовались. Москвин особенно. Думаю, что теперь вопрос о "Кабале святош" будет пересмотрен. С осени опять примемся за это дело. Еще раз шлю Вам свой искренний привет. Ваш Ник⟨олай⟩». На оборотной стороне своего письма Бокшанская дописала карандашом еще одну фразу: «Ник⟨олай⟩ Аф⟨анасьевич⟩ что-то напутал, я ему говорила не о том, что Вы не решили еще, где работать, а о возможности совместительства».

2

О.С. Бокшанская — М.А. Булгакову

5 июня 1930 г. Тифлис.

Макочка, милый, спасибо за телеграмму. Жду Вашего письма жадно. Макочка, примите от меня маленький подарок из Тифлиса, его привезет Подгорный. Дорогая Любинька, я очень хотела найти подарок и для Вас, но здесь ничего хорошего для дам не оказалось, а мужские пояса оказались очень хорошие. Дусинька, у меня впереди Баку, я надеюсь найти там какой-нибудь экзот для Вас. Макочка, эту открытку я берегу для Вас еще с переезда Москва — Тифлис, мне ее передали в вагоне, а я сразу вспомнила Вас и то, что этот человек для Вас сделал.[1] Милый мой, для Вас же берегу такие словечки. Здесь есть сапожная мастерская, которая называется «Гнездо поэтов». Мне это ужасно нравится. Или еще вывеска: «Циник и жестяник». Или в одном духане такая надпись: «Фаэтон! Стой, не уезжай, голубчик мой!»

Макочка, Любаша, живу в спешке перед отъездом. Крепко вас обоих целую и обнимаю. Как Бутон?[2] Поклон Марике,[3] тифлисской красавице.

Ваша Оленька.

[1] На открытке — портрет И. Сталина. Восторги Бокшанской в этой связи могут быть отнесены прежде всего к фактам, документирующим «развернутую экспансию имени Сталина в массовое сознание» (*Чудакова М.* Указ. соч. С. 342). Однако несомненно и другое. Булгаков в то время и сам совершенно искренне относился к гэнсэку с большим почтением, считал, что тот, позвонив ему в «самое время отчаяния», весной 1930 года (см. прим. 12 к письму 1), продемонстрировал и великодушие, и человеческую значительность. «Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно», — писал Булгаков В. Вересаеву год спустя после своего знаменательного телефонного разговора с вождем. Правда, теперь в его душу уже начинали закрадываться сомнения, мрачные предчувствия: «Но упала глухая пелена... Сейчас чувство мрачное... Ныне хорошего ничего не жду» (*Булгаков М.* Письма... С. 205—206).

[2] Любимый пес Л.Е. Булгаковой-Белозерской, названный Бутоном в честь слуги Мольера («Кабала святош»).

lib.pushkinskijdom.ru

[3] Чимишкиан Марика Артемьевна — близкая знакомая Булгаковых из Тифлиса. По мнению Л. Яновской, «черты Марики, по-видимому, отразились в облике Евы Войкевич» (пьеса Булгакова «Адам и Ева»). См.: Дневник Елены Булгаковой. С. 341.

3

О.С. Бокшанская — М.А. Булгакову

1 августа 1930 г. Москва.

Милый Михаил Афанасьевич!

Пишу Вам официальное письмо, по поручению М.С. Гейтца.[1] Дело в том, что на днях Мих⟨аил⟩ Серг⟨еевич⟩ был в Главискусстве, и Ф. Кон [2] сказал ему, что он направил к нам в театр для прочтения и дачи отзыва пьесу Татьяны Майской «Легенда», причем он просил, чтоб читали и дали отзыв именно Вы. Поэтому одновременно с этим письмом посылаю Вам заказной бандеролью манускрипт пьесы и передаю Вам просьбу Ф. Кона и Мих⟨аила⟩ Серг⟨еевича⟩, выраженную уже в предыдущих строках этого письма. Если это Вас не затруднит, напишите мне в Театр об ее (пьесы) получении. А то меня беспокоит, дойдет ли она до Вас своевременно и благополучно.

Получила Вашу открыточку, милый друг, и очень Вас благодарю за память.

По машинке Вы видите, что я в городе, в Театре. Это уж второй день, что я в Москве. Могу застрять здесь и еще. Во-первых, Рипси [3] должна выехать на днях к Конст⟨антину⟩ Серг⟨еевичу⟩ [4] по его вызову. Это заставило ее особенно спешно приняться за окончание всех служебных дел, во что она втравила и меня, обольстив меня всяческими заверениями в своей любви и дружбе. Во-вторых, сегодня я получила предложение от Ильи Як⟨овлевича⟩ [5] «схалтурить» перепиской ролей «Хлеба»,[6] на что я, по свойственной мне «жадности к наживе», согласилась незамедлительно. Хотя работа не очень спешная, но я все же предпочитаю засесть в городе на несколько дней, после чего почить на лаврах в Покровском,[7] в кругу милой, но несколько шумной семьи. Шумят главным образом, конечно, «ангельчики»-ребята.[8] Сережа меня умиляет, он вырос и стал ужасно мил и забавен. Мы с Люсей развлекаемся его штуками и стараемся всячески соблюсти серьезность в тех случаях, когда на Люсю нападает педагогический стих, а Сережка этому противится всем своим существом. Знаменито было, когда в мои именины Люся пыталась воздействовать на ребят строгостью, не считаясь со своими силами и возможностями, сильно понизившимися после оживленного обеда. Ник⟨олай⟩ Аф⟨анасьевич⟩ [9] очень удачно это инсценирует.

Макочка, теперь письмо перевернуто на другую страницу, и я могу совершенно свободно Вас так назвать. Но вообще я разболталась, хотя должна была написать Вам только совершенно официальное. И еще болтать нельзя потому, что надо заняться служебными делами, а не частной перепиской.

Возвращайтесь скорее, миленький Мак, мы все по Вас соскучились, Нина Вл⟨адимировна⟩ [10] тоже. 6-го ее день рождения, разговор об этом идет с самых моих именин. Вас нам будет очень недоставать на предполагаемом празднестве. Чувствуете ли Вы это?

Отдыхайте и наслаждайтесь, дорогой Макочка, и приезжайте к нам с кожей того цвета, что сейчас так моден для чулок — цвета поджаренного хлеба, — если это изобразить на моей машинке, то выйдет «пэн-брюле» — здорово?

Ау!

Ваша Оленька.

[1] См. прим. 13 к письму 1.

[2] Кон Феликс Яковлевич — деятель международного революционного движения, член ЦИК, публицист. В 1928—1930 годах был редактором журнала «Крокодил», в 1930—1933 годах являлся членом коллегии Наркомпроса, председателем Всесоюзного комитета радиовещания. С Булгаковым поддерживал личное знакомство, имел общие литературные дела. В рукописном отделе Пушкинского Дома находится письмо Ф. Кона к Булгакову с просьбой об отзыве на упоминаемую Бокшанской

lib.pushkinskijdom.ru

пьесу Т. Майской «Легенда» (Ф. 369. Ед. хр. 409), а также помеченная 1930 годом записка секретаря Наркомпроса с приглашением писателя на встречу с Ф. Коном (Ф. 369. Ед. хр. 451). По воспоминаниям Е.С. Булгаковой, Ф. Кон был в числе адресатов, к которым, наряду с другими членами Правительства, обратился Булгаков со своим известным письмом 1929 года.

[3] Таманцова Рипсиме Карповна — секретарь К.С. Станиславского, пользовалась своей приближенностью к руководству МХАТа и была влиятельной фигурой в театральном коллективе. Она «одна из немногих» приветствовала брак Булгакова с Еленой Сергеевной (см.: Дневник Елены Булгаковой. С. 50).

[4] Станиславский Константин Сергеевич — вместе с В.И. Немировичем-Данченко основал Художественный театр, был его бессменным руководителем, создателем знаменитой творческой «системы Станиславского». К Булгакову с самого начала отнесся в высшей степени благожелательно и приветствовал его возвращение в театр на рубеже 20—30-х годов: «Дорогой и милый Михаил Афанасьевич! Вы не представляете себе, до какой степени я рад Вашему вступлению в наш театр!» (*Станиславский К.С.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1961. Т. 8. С. 270). С годами, однако, между ним и Булгаковым наметились некоторые трения творческого характера.

[5] Судаков Илья Яковлевич — режиссер, артист. В 1926 году осуществил первую постановку «Дней Турбиных» на сцене МХАТа.

[6] Имеется в виду пьеса В.М. Киршона «Хлеб».

[7] Дача Шиловских в Подмосковье.

[8] Дети Е.С. Булгаковой (Евгений и Сергей) от брака с Е.А. Шиловским.

[9] См. прим. 10 к письму 1.

[10] Уборевич (Боровская) Нина Владимировна — в прошлом актриса, жена командующего Московским военным округом И.П. Уборевича. Была соседкой Шиловских по дому в Ржевском переулке, поддерживала приятельские отношения с Бокшанской. По одной из версий, именно на одном из музыкально-артистических вечеров в квартире Уборевичей состоялось знакомство Булгакова с Еленой Сергеевной.

4

О.С. Бокшанская — М.А. и Е.С. Булгаковым[1]

⟨1932 г. Москва⟩

Милые мои, всего вам хорошего.

Целую крепко.

Я счастлива. Порадуйтесь за меня.

Детишки, будьте счастливы.

Мака, желаю удачи и радости в работе, милый.

Ваша Оля.

[1] Карандашная записка без обозначения места и даты написания. Содержание ее, возможно, связано с тем, что в 1932 году Бокшанская вышла замуж за артиста МХАТа Е.В. Калужского.

lib.pushkinskijdom.ru

5

О.С. Бокшанская — Е.С. Булгаковой

⟨май 1933 г. Москва⟩

Люсеныш!

К⟨онстантин⟩ Серг⟨еевич⟩ [1] просил, чтоб я с вечера послала Маке текст марковского письма, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ считает, что «ночью хорошо думается» и Маке будет нужно настроиться еще с вечера.[2]

Люсик, он очень просит Маку приложить руку к этому делу, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ считает, что в письме нужно не только формально правильное изложение, но и талантливый, заражающий текст. Да что тебе объяснять — ты это понимаешь лучше меня.

Дусеночка, я буду либо у Нины,[3] либо дома — звоните, если нужно и если хотите, — дело ужасно, исключительно важное.

Я сказала К⟨онстантину⟩ С⟨ергеевичу⟩, что ты обещала просить Маку не открещиваться от этого дела, тем более что, по мнению К⟨онстантина⟩ С⟨ергеевича⟩, Мака может писать все, что захочет, — это совсем безответственно, подпишет ведь К⟨онстантин⟩ С⟨ергеевич⟩, он же и будет переделывать по-своему, — а Мака пусть пишет, как хочет и как чувствует, — так сказал К⟨онстантин⟩ С⟨ергеевич⟩.

Крепко тебя целую и крепко на вас обоих надеюсь. Надо, чтобы в письме было ясно, что В⟨ладимир⟩ И⟨ванович⟩ [4] находится действительно в ужасающем положении — письма и телеграммы от него трагичны.[5]

Твоя Оля.

[1] См. прим. 4 к письму 3.

[2] К настоящему письму приложено два проекта обращения к И.В. Сталину от лица МХАТа с просьбой о материальной субсидии Немировичу-Данченко, который по причине денежных затруднений оказался не в состоянии вернуться из зарубежной поездки на родину. Первый проект написан Булгаковым, второй — заведующим литературной частью МХАТа П.А. Марковым, что подтверждается соответствующими приписками, сделанными впоследствии Е.С. Булгаковой.

Текст Булгакова: «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! Позвольте мне побеспокоить Вас просьбой по важнейшему делу, касающемуся Художественного театра. Дело это вот в чем: Владимир Иванович Немирович-Данченко застрял за границей в самом тяжелом положении — ему не на что выехать в СССР. А между тем он здесь совершенно необходим. Ему нельзя задерживаться за рубежом — ему нужно быть здесь, в Театре. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, предоставьте ему возможность погасить его заграничные долговые обязательства, которые держат его, с тем чтобы он в срочном порядке мог вернуться в Союз. Сумма, которая ему необходима, составляет 1500 долларов.

Искренне уважающий Вас

Москва, 28 мая 1933 года».

Текст Маркова: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Зная Ваше исключительно отзывчивое и внимательное отношение к Художественному театру, я решаюсь беспокоить Вас просьбой, имеющей для нашего театра очень важное и всех нас тревожащее значение. Она касается ближайшего моего товарища по работе, со-директора и со-основателя театра — Владимира Ивановича Немировича-Данченко, находящегося сейчас за границей и не имеющего средств к выезду в СССР. Насколько мне известно, об этом уже писал Вам Алексей Максимович. Мне приходится лишь добавить, что эта просьба направлена к Вам от всего коллектива театра, крайне нуждающегося сейчас в присутствии и работе Владимира Ивановича.

Обстоятельства, при которых Владимир Иванович остался за границей на такой долгий срок, таковы: зимой и весной 1931 г. он перенес тяжелое сердечное заболевание. Затем, летом 1931 г., он выехал за границу для лечения, причем он получил на леченье меньшую сумму, чем он рассчитывал по своей договоренности с Наркомпросом. Осенью 1931 г. он не смог вернуться на работу, так как состояние его здоровья продолжало внушать опасения. Зиму 1931—1932 гг. он просуществовал на деньги, полученные за границей как аванс в счет заказанной ему книги, и денег из СССР не получал. С наступлением лета он обратился с просьбой о материальной помощи из СССР для лечения и возвращения, которая была ему обещана в просимом размере, но высылалась постепенно и с большими задержками. Боязнь остаться за рубежом без средств к существованию вынудила его принять на себя ряд режиссерских работ в итальянском театре. Отвечая на настойчивые просьбы МХАТ скорее приступить к работе в театре, Владимир Иванович порвал свои заграничные обязательства, но к этому времени полученные им из Москвы суммы оказались недостаточными для

lib.pushkinskijdom.ru

того, чтобы покрыть долги и получить возможность приехать в Москву. Сейчас на все эти расходы ему необходимо 1500 долларов.

Как бы ни расценивать причины, по которым Владимир Иванович очутился за границей в настоящий момент в столь трудном — даже угрожающем — для него положении, я не могу ни на минуту забыть ни его колоссальной роли в истории русского театра, ни его энергичной, талантливой, самоотверженной работы уже в революционные годы, когда он все силы отдавал на поддержку МХАТ и на развитие и создание искусства новой великой эпохи. Сейчас его работа в Театре крайне нужна — мне одному трудно нести выполнение всех тех замечательных и нужных задач, поставленных театру Правительством и Партией: здесь и создание Академии (поскольку Владимир Иванович — замечательный педагог), и руководство двумя театрами — основным и филиалом, и дальнейшая работа с драматургами, и непосредственная режиссура спектаклями.

Я глубоко убежден, что, получив материальную возможность вернуться, Владимир Иванович отдаст все силы для страны, как он это делал во все годы своей работы, и оправдает доверие Правительства и Партии».

[3] См. прим. 10 к письму 3.

[4] См. прим. 15 к письму 1.

[5] В.И. Немирович-Данченко вернулся в СССР 19 августа 1934 года.

6

О.С. Бокшанская — Е.С. Булгаковой

Радиограмма

16 июля 1935 г. Ленинград.

Москва, Нащокинский, 3, квартира 44 Булгаковой

Приезжаю семнадцатого девять утра Курский вокзал извести Полю [1] напомни Рипси [2] машине

Целую Оля

[1] Вероятно, прислуга в доме Е.А. Шиловского, где Бокшанская продолжала некоторое время жить и после ухода сестры к Булгакову.

[2] См. прим. 3 к письму 3.

7

О.С. Бокшанская — М.А. Булгакову

Телеграмма

Ленинград Европейская гостиница Булгакову М.А.

⟨ноябрь 1936 г. Москва⟩

Гейтц [1] просит ленинградский адрес Афиногенова [2] прошу узнать и сообщить телеграфно

Бокшанская

[1] См. прим. 13 к письму 1.

[2] Афиногенов Александр Николаевич — драматург, состоял в руководстве РАППа, претендовал на партийную ортодоксальность своей литературно-театральной позиции, что не спасло его от политических санкций, вплоть до исключения из партии. В отношении Булгакова проявил себя как один из самых яростных критиков его, хотя порой, в случае успехов писателя, принимался заискивать перед ним, искать его внимания. В середине 30-х годов для Афиногенова наступили трудные времена, его пьесы были сурово раскритикованы самим И. Сталиным, сняты с репертуара МХАТа (см.: Дневник Елены Булгаковой. С. 341). В театральных кругах распространился слух, что с Афиногеновым «что-то неладно». На собрании драматургов стали осуждать тех критиков, которые «протаскивали» его пьесы на сцену. В 1937 году к Булгакову обратился некий журналист Н. Добраницкий с заверениями, что тот «очень ценен для Республики», что он — «лучший драматург», тогда как его гонители и недруги, «вся эта сволочь в лице Киршона, Афиногенова и других специально дискредитировала» автора «Дней Турбиных», «Мольера», чтобы «уничтожить». Через несколько дней в дневнике Е.С. Булгаковой появилась запись: «Сегодня в газете — об исключении из партии Афиногенова» (см.: Дневник Елены Булгаковой. С. 142, 146, 149). По-видимому, нарастающая

lib.pushkinskijdom.ru

сложность всех этих обстоятельств и обусловила срочное телеграфное обращение Бокшанской к Булгакову, который с 28 ноября по 1 декабря находился в Ленинграде на прослушивании оперы Б. Асафьева «Минин и Пожарский», написанной на его либретто.

8

О.С. Бокшанская — М.А. Булгакову и Е.С. Булгаковой

5 сентября 1938 г.

Дорогие мои Мака и Люся!

Мы с Женей [1] очень хотим не только послать Вам привет по случаю 800-разия «Турбиных»,[2] в которых Женя играет всегда с радостью и удовольствием,[3] — но и предложить вашему просвещенному вниманию скромные «дары Терека». Ребятишки, целуем вас крепко. Кушайте на здоровье.

Ваша Оля.

[1] Евгений Васильевич Калужский, муж Бокшанской.
[2] 800-я постановка «Дней Турбиных» на сцене МХАТа состоялась *5* сентября 1938 года.
[3] В «Днях Турбиных» Калужский на протяжении многих лет исполнял роль Студзинского. В 1934 году на торжествах по случаю 500-го спектакля был специально отмечен как «единственный, кто сыграл все 500 спектаклей без пропуска» (*Булгаков М.* Письма... С. 298).

О МАРСИЕВЫХ РАНАХ: ПОЭТ БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ

(ПУБЛИКАЦИЯ Е. В. ЛУКИНА)

Незадолго до ареста Бенедикт Лившиц в одном из своих последних стихотворений написал:

Меня зовет обратно жизнь другая,
Уже не запертая на засов.

Поэт не мог не предчувствовать наступления «урочной жатвы» 1937 года. Неприятие Октябрьского переворота и последовавшего кровавого разгула демонических страстей было высказано им с предельной ясностью еще во время гражданской войны:

В угаре тяжком пьяных стогнов,
С безумной жизнию вразлад,
Пред чернию пою, не дрогнув,
Императóрский Петроград.

Разлад с «безумной жизнию» продолжался до последнего дня. Вслед за Осипом Мандельштамом поэт с горечью признавался: «Уже непонятны становятся мне голоса Моих современников». А современники, отринув «устарелые» христианские заповеди, поносили «врагов народа» и кричали о строительстве неведомого рая на земле: им виделась окончательная картина мира, которая, как и некая авангардная живопись, была лишена человеческой перспективы. В свою очередь Сталин, будучи крайне радикальным экспериментатором, как бы идеализировал небезызвестный «черный квадрат» Малевича и стремился превратить живое общество в единый мощный монолит. Спешка объяснялась и оправдывалась накатывавшейся с Запада войной.

Приказ по НКВД № 00447, принятый в июле 1937 года, стал вершиной социально-авангардного творчества вождя: этот приказ требовал практически полного уничтожения разнодействия и разномыслия. Годами хранившиеся в архивах советской тайной канцелярии материалы теперь снимались с пыльных полок и направлялись на немедленную реализацию.

lib.pushkinskijdom.ru

Безусловно находившийся в духовной оппозиции к режиму Бенедикт Лившиц не мог остаться незамеченным НКВД. Он не был звездой первой величины, подобно Ахматовой, Булгакову или Пастернаку, которых сталинские опричники боялись трогать, видимо, потому, что реакция большевистского самодержца могла быть непредсказуемой, однако потихоньку собирали на них «компромат» — на случай, если самодержец даст понять о своем неблагорасположении. Ну а со второстепенными литераторами позволялось делать все, что угодно.

В ночь на 26 октября 1937 года в квартире № 6 дома № 26 по улице Некрасова в Ленинграде начался обыск. Особенно тщательно осматривался кабинет поэта: письменный стол красного дерева, стеллажи с редкими книгами по русской и французской литературе, искусству, истории, философии. Видимо, не забыли заглянуть и за старинную картину фламандской школы живописи, висевшую на стене. Изъяли: разную переписку и Георгиевский крест № 48225, фотографии и значок за отличную стрельбу, плакат с манифестом Украины 1920 года и иностранную валюту на сумму 1 франк 85 сантимов, знак 148 Царицынского полка 1769 года и серебряные вилочку и ложечку...

Доставленный в тюрьму на Шпалерной, Лившиц сообщил о себе следующие сведения. Родился 25 декабря 1886 года в Одессе, в семье мещан. Окончил юридический факультет Киевского университета. Служил рядовым в 88-м пехотном полку с 1912-го по 1913 год и в 1914 году был на фронте. Ни в каких партиях не состоял. Род занятий — «писатель на дому».

На следующий день арестованный был допрошен. Его обвинили в том, что он является «участником контрреволюционной организации литераторов, проводящей подрывную работу против Соввласти». Лившиц категорически отрицал предъявленное обвинение.

Что происходило дальше — неизвестно. Инквизиторские методы ведения следствия, узаконенные тогдашним руководством страны, достаточно подробно описаны А. И. Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ» и во многих других источниках: у нас нет никаких оснований надеяться, что поэт избежал их. Подписывая 11 января 1938 года второй и последний протокол допроса, Бенедикт Лившиц был уже морально сломленным человеком. Этот вывод подтверждает и сам «метод» ведения следственных дел в то время.

Наивысшую оценку руководства НКВД получали групповые дела с обвинением «шпионаж», «террор» или «диверсия»: осужденные по ним, как правило, подлежали расстрелу. Менее «ценились» дела по «антисоветской агитации и пропаганде» или «вредительству»: в подобных случаях обвиняемые приговаривались к 5 или 10 годам концлагерей. В неформальной иерархии ценностей последнее считалось как бы «недоработкой» следователя: на оперативных совещаниях он подвергался суровой критике и строго предупреждался.

Приступая к следствию, сотрудник определял, кто из группы обвиняемых должен стать основным разоблачителем, при этом учитывались психические и моральные качества человека. Зачастую таковым становился агент (секретный сотрудник, осведомитель). Ему обычно обещали освобождение после суда и имитации расстрела: из уст высоких чинов НКВД это звучало убедительно.

В течение определенного времени заготовлялся так называемый «ключевой протокол допроса», в котором разоблачитель признавал свою руководящую роль в группе, называл ее участников и преступные цели, ставившиеся ею. Этот протокол составлялся на основе двух источников: с одной стороны, использовались тайные донесения (порой того же сексота), с другой — показания арестованного. Готовый документ тщательно корректировался руководящим составом Управления НКВД так, чтобы «комар носа не подточил». Лишь после этого он считался окончательным и разоблачитель подписывал его. Черновые записи, сделанные на предыдущих допросах, следователь уничтожал.

При составлении и особенно при корректировке «ключевого протокола» каждый факт приобретал соответствующую юридическую оценку. К примеру, если обвиняемый говорил, что «у нас состоялась беседа с таким-то», то корректировщик добавлял сюда слово «контрреволюционная». Если речь заходила о литературном произведении, то оно называлось «пасквильным» или «клеветническим». Словосочетание «наша группа» не обходилось без эпитетов «преступная», «враждебная» или «троцкистская». Допускалась произвольная трак-

lib.pushkinskijdom.ru

товка целых эпизодов: например, критика Сталина расценивалась как «призыв к террору». Следует отметить еще одну особенность: сотрудники стремились не датировать сообщаемые факты «преступной» деятельности, чтобы избежать несогласованности с другими показаниями, да и самим не запутаться. Состав «антисоветской группы» определялся формальным путем: сюда включали как достаточно близких разоблачителю людей, так и тех, кто был намечен к аресту или уже находился в застенках. Принадлежность к одной цеховой организации, в частности к Союзу писателей, значительно облегчала задачу: здесь все более или менее знали друг друга, а некоторые даже жили в одном писательском доме на канале Грибоедова.

«Ключевой протокол» позволял «разоблачить» остальных членов группы. Подавляющее большинство арестованных подписывалось под признательными показаниями: стойкими оказывались единицы.

Бенедикту Лившицу суждено было стать основным разоблачителем «контрреволюционной группы литераторов» и подписать «ключевой протокол допроса», который публикуется ниже.[1] Для большинства упомянутых в нем литераторов он оказался роковым. Какими методами удалось морально сломить поэта — можно только догадываться.

В мае-июне 1938 года состоялись очные ставки между Лившицем и тремя другими арестованными писателями: В. О. Стенич категорически отрицал показания Лившица, Ю. И. Юркун полностью подтверждал, Е. М. Тагер частично с ними соглашалась, частично — нет.

На суде, проходившем 20 сентября 1938 года под председательством армвоенюриста В. В. Ульриха, Б. К. Лившиц полностью признал себя виновным, сказал, что искренне раскаивается в своих тяжких преступлениях, и просил не лишать его жизни. Увы, приговор был окончательным и подлежал немедленному исполнению. Прах поэта покоится на Левашовской пустоши, где захоранивались тогда жертвы сталинского геноцида.

В своем первом поэтическом сборнике Бенедикт Лившиц провозгласил себя последователем древнегреческого флейтиста Марсия, который вызвал на состязание кифареда бога Аполлона и за это поплатился жизнью. Слова поэта стали пророческими: ему тоже пришлось пройти сквозь страшные муки. Зная о них, никто не посмеет в чем-либо упрекнуть современного Марсия. Судить могут лишь сами репрессированные. Но от их имени сказал Николай Заболоцкий, который мужественно выдержал пытки и никого не оговорил: «И в минуты смертельного изнеможения я не позволил себе клеветы на Тихонова. Как же смели наклеветать на меня те — двое (Б. К. Лившиц и Е. М. Тагер. — *Е. Л.*)? Должно быть, сама смерть смотрела на них, если они, позабыв совесть свою, решились на подлое дело. Но я не виню их. Есть предел силы человеческой».[2]

Протокол допроса

обвин. Лившиц Бенедик Константинович, 1882 г. р., ур. г. Киева, русский, гр-н СССР, б/п, литератор-переводчик, из мещан («купцов» зачеркнуто. — *Е. Л.*), не судимый.

от 11 января 1938 г.

Вопрос: В поданном вами заявлении[3] вы признались, что являетесь участником антисоветской троцкистско-правой организации писателей г. Ленинграда и что по своей контрреволюционной деятельности были связаны с ныне находящимся в Париже активным участником контрреволюционной троцкистской организации Кибальчичем.[4] Расскажите подробно о своей связи с Кибальчичем.

---

[1] Дело № 35610 — 1937 г⟨од⟩.

[2] Аврора. 1990. № 8. С. 130.

[3] Типичная формулировка, с которой начинаются многие признательные показания арестованных НКВД. Никакого заявления в деле Лившица нет.

[4] Кибальчич Виктор Львович (1890—1947) — французский писатель русского происхождения (литературный псевдоним — Виктор Серж). С 1918 года проживал в России, работал сотрудником Исполкома Коминтерна, три года состоял в ВКП(б), откуда исключен в 1928 году за «фракционную деятельность». В марте 1933 года был арестован ГПУ; на допросе назвал Б. К. Лившица своим «близким знакомым». Выслан в Оренбург. Весной 1936 года выехал из СССР.

lib.pushkinskijdom.ru

О т в е т: Работая в 1927 году над переводом французских писателей, я впервые столкнулся с Кибальчичем, который был рецензентом французских книг в Ленинградском Отделении Государственного Издательства. («По линии Горлита» зачеркнуто. — *Е. Л.*).

Наше знакомство вначале носило чисто деловой характер; постепенно я начал с ним сближаться и с 1929 г. я стал посещать его квартиру, где мы вели и политические беседы, в которых он высказывал мне свои контрреволюционные троцкистские взгляды.

К этому же времени с Кибальчичем сблизился и автор контрреволюционных пасквильных произведений — поэт О. Мандельштам,[5] которого я знал как антисоветски настроенного с 1924 г. из совместных наших контрреволюционных бесед.

В беседах с нами Кибальчич развивал свои троцкистские взгляды в вопросе литературы. Для него в литературном произведении было не важно содержание, а была важна определенная формальная высота. Этой «высоты», этого «мастерства», по утверждению Кибальчича, он не видел в подавляющем большинстве советских произведений. От этих общелитературных бесед он переходит в дальнейшем к контрреволюционным нападкам на руководство ВКП(б).

Кибальчич в беседах с нами «возмущался» отношением марксистской критики к попутчикам, зажимом непролетарских писателей. «Это линия партии? — Увы, да! Что поделать! Бывают ошибки. Не всегда руководство на высоте. Руководство — еще не вся партия. Партия — еще не весь пролетариат». Так обычно заканчивал свои троцкистские высказывания Кибальчич.

Еще большую озлобленность против руководства ВКП(б) Кибальчич высказывал в период коллективизации.

В одной из таких контрреволюционных бесед у меня дома, где присутствовали: я, Мандельштам и Кибальчич, он — Кибальчич, клевеща на политику ВКП(б), прямо заявил, что судьба коммунизма в одной шестой части света поставлена на карту, что диктатуре пролетариата якобы угрожает провал, если коллективизация не удастся, а последнее более чем сомнительно, что сопротивление кулака не так легко сломить, что можно даже с уверенностью предсказать, что борьба с кулаком дело почти безнадежное и что катастрофа надвигается — ее грозные признаки уже налицо. Тут же он начал высмеивать пятилетний план, называя его «неслыханной затеей и продуктом чисто головного творчества». Он доказывал, что планировать хозяйство 150-миллионного народа — «это химера, обреченная на явную гибель».

Припоминаю дословное выражение Кибальчича по поводу 1-го пятилетнего плана, он сказал: «Сколько жертв приносится и еще будет принесено этому Молоху?»

Опубликованную статью Сталина «Головокружение от успехов» Кибальчич расценивал как сдачу позиций, отступление по всему фронту.

Дальше. Опубликование письма в редакцию «Пролетарская революция» также широко использовалось Кибальчичем для троцкистской агитации среди писателей. «Попытка фальсификации истории партии, попытка перечеркнуть роль Троцкого в первые годы революции» — вот как оценивал Кибальчич это письмо Сталина. И как «доказательство» он извлекал на свет «завещание Ленина», которое широко распространял среди близких ему контрреволюционных кругов писателей.

Эта контрреволюционная троцкистская оценка Кибальчичем генеральной линии ВКП(б) находила у нас полную поддержку.

В о п р о с: С кем еще, помимо вас и Мандельштама, был связан Кибальчич в этот период?

О т в е т: В период 1929—30 гг. Кибальчич развил активную троцкистскую деятельность, устанавливая связи с наиболее реакционной частью ленинградских писателей. Он слишком опытный и осторожный конспиратор. Приходя к нему, я редко заставал у него больше

[5] Осип Мандельштам был арестован КНВД 3 мая 1938 года; умер в лагерной больнице 27 декабря 1938 года.

lib.pushkinskijdom.ru

одного-двух человек. Чаще других я видел у Кибальчича Николая Никитина [6] и Лихачева.[7] Тогда же он установил связь с писателями Кузминым,[8] Юркуном,[9] Ахматовой, Фединым, Козаковым,[10] с которыми также вел контрреволюционные троцкистские беседы. Об этом он мне говорил позже сам, указывая на Никитина, Лихачева, Кузьмина, Юркуна, Ахматову, Федина, Козакова как на своих политических единомышленников.

Свою контрреволюционную деятельность среди писателей Кибальчич вел в целях сплочения и организации антисоветской части ленинградских писателей и использования их в борьбе с ВКП(б) и советской властью.

Вопрос: Из ваших показаний вытекает, что Кибальчич вел вербовочную работу среди писателей. Так ли это?

Ответ: Да, это верно. Кибальчич не ограничивался только контрреволюционной агитацией, он давал поручения по ведению антисоветской агитации и другим лицам, связанным с ним в силу общности вражды к ВКП(б) и советскому правительству, тем самым привлекая нас к практической вредительской троцкистской деятельности. Мне, конечно, трудно сказать, какие поручения он давал другим, так как это он конспирировал, но я лично от него получал конкретные указания о проведении антисоветской работы.

Вопрос: Вы уклоняетесь от правдивых показаний. Говорите прямо — Кибальчич ставил перед вами вопрос о вхождении в троцкистскую организацию?

Ответ: Да, Кибальчич ставил передо мной вопрос о вхождении в троцкистскую организацию, на что я ему ответил согласием.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Кибальчич завербовал вас в контрреволюционную троцкистскую организацию?

Ответ: В 1930 г., после опубликования статьи Сталина «Головокружение от успехов», я имел беседу с Кибальчичем у него («меня» зачеркнуто. — *Е. Л.*) дома. В этой беседе он с резкой контрреволюционной критикой обрушился на линию ЦК ВКП(б) в вопросе коллективизации сельского хозяйства. Говоря о том, что коллективизация ведет к разорению деревни, резкому упадку сельского хозяйства, он делал вывод, что революции грозит гибель. Тут же Кибальчич стал говорить мне, что выход из создавшегося положения может быть найден только в смене руководства ВКП(б) и приходе к власти тех, кто имеет иную программу, противоположную в вопросах хозяйственной и политической жизни страны. На мой вопрос, что он хочет этим сказать, Кибальчич мне ответил, что под словами «те, кто имеет иную программу в вопросах хозяйственной и политической жизни страны» он подразумевает троцкистскую организацию, существующую в настоящее время нелегально, ведущую борьбу со сталинским руководством и активным участником которой он являлся.

Далее Кибальчич, ставя передо мной вопрос о моем вхождении в троцкистскую организацию, сказал: «Я ведь знаю, что вы являетесь врагом советской власти. Диктатура пролетариата враждебна вам, вы стоите за буржуазную республику. Вам может показаться странным, что мы — троцкисты, предлагаем вам вступить в нашу организацию. Но ведь

---

[6] Никитин Николай Николаевич (1895—1963) — русский советский писатель. В 20-е годы входил в литературное объединение «Серапионовы братья».

[7] Лихачев Иван Алексеевич (1902—1970) — переводчик. В 20—30-е годы возглавлял секцию искусства Испано-американского общества, в котором Кибальчич был председателем политико-экономической секции. Арестован 28 октября 1937 года как активный участник «контрреволюционной троцкистской организации». Приговорен 23 июля 1940 года к восьми годам концлагерей. В 50-е годы проживал в г. Фрунзе.

[8] Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — прозаик, поэт, переводчик, критик.

[9] Юркун Осип (Юрий) Иванович (1895—1938) — прозаик. В 30-е годы проживал вместе с М. А. Кузминым. Арестован НКВД 3 февраля 1938 года. 9 мая 1938 года подписал признательные показания, которые были приобщены к делу Б. К. Лившица. На суде признал себя виновным и показал, что в «троцкистскую организацию» был вовлечен Лившицем. Расстрелян 21 сентября 1938 года.

[10] Козаков Михаил Эммануилович (1897—1954) — русский советский писатель. Любопытно, что в 1939 году М. Э. Козаков опубликовал пьесу «Чекисты».

lib.pushkinskijdom.ru

надо понять, что сейчас, когда стоит вопрос о смене сталинского руководства страной, мы не можем отбросить в сторону тех, которые могут помочь нам в этом».

Я ответил согласием Кибальчичу на его предложение участвовать в троцкистской организации.

Вопрос: Кибальчич вам назвал других участников троцкистской организации?

Ответ: Нет, не назвал. Он меня предупредил, что связь по контрреволюционной работе я должен держать только с ним.

Вопрос: Какие задания по контрреволюционной работе дал вам Кибальчич?

Ответ: Кибальчич дал мне задание вести контрреволюционную агитацию среди писательской массы, группируя вокруг себя ее реакционную часть.

Так, в одной из бесед со мной о ленинградской группе «Перевал», в которую входили писатели: Тагер,[11] Николай Чуковский, Куклин [12] и Спасский,[13] Кибальчич предложил мне установить с ними связь с целью использования этой группы в борьбе с ВКП(б) и советской властью.

С Ник. Чуковским я был знаком с 1922 г., с Тагер познакомился вскоре после ее возвращения из ссылки в Ленинград, со Спасским сошелся в 1926 г. Таким образом, задание Кибальчича мне было нетрудно выполнить. Встречаясь с перечисленными лицами и раньше, я только участил свои встречи с ними, главным образом с Ник. Чуковским, стал чаще бывать у него, приглашать его к себе. Не упоминая имени Кибальчича, в беседах с участниками группы «Перевал» по таким основным вопросам, как пятилетний план, коллективизация, отношение к линии партии в литературе, я подвергал все контрреволюционной критике с троцкистских позиций.

В результате моей контрреволюционной агитации в лице «перевальцев» мы нашли верных идейных «агентов» троцкизма. Насыщенные мною контрреволюционным троцкизмом, они активно распространяли его в той среде писателей, среди которых вращались.

Квартиры Тагер и Н. Чуковского стали местом нелегальных сборищ, на которых присутствуют главным образом «перевальцы» — Спасский, Куклин и близко связанные с ним Стенич [14] и Берзин.[15]

На этих сборищах с контрреволюционных троцкистских позиций критиковались все мероприятия партии и правительства.

---

[11] Елена Михайловна Тагер (1895—1964) была арестована 16 марта 1938 года, подписала признательные показания 11 июня 1938 года. Приговорена 23 сентября 1938 года к 10 годам заключения в концлагерь. Освобождена в 1955 году.

[12] Куклин Георгий Осипович (Иосифович) (1903—1939) — прозаик. Был арестован НКВД 5 февраля 1938 года и приговорен 23 сентября 1938 года к 8 годам заключения в концлагерь. Умер в Красноярской тюремной больнице 9 ноября 1939 года.

[13] Спасский Сергей Дмитриевич (1898—1956) — русский советский писатель. В 1929 году опубликовал «Повесть о старшем брате», прототипом героя которой явился Александр Ульянов. Был репрессирован в 1938 году.

[14] Стенич (наст. фамилия — Сметанич) Валентин Осипович (1898—1938) — переводчик. Арестован НКВД 14 ноября 1937 года. Поэт Н. А. Заболоцкий в «Истории моего заключения» вспоминал о Стениче: «Эстет, сноб и гурман в обычной жизни, он, по рассказам заключенных, быстро нашел со следователями общий язык и за пачку папирос подписывал любые показания» (в кн.: Чистые пруды. М., 1988. С. 553). Однако это не подтверждается документами: Стенич подписывал не больше и не меньше, чем подавляющее большинство остальных заключенных. 25 ноября 1937 года подписал признательные показания, которые были приобщены к делу Б. К. Лившица. Расстрелян 21 сентября 1938 года вместе с последним.

[15] Берзин Юлий Соломонович (1904—194?) — русский советский писатель. В 1930 году, находясь в писательской командировке вместе с Б. П. Корниловым на бумажной фабрике г. Добруш (Белоруссия), отказался подписать письмо с осуждением «шахтинских» вредителей из гуманных соображений, что и явилось одной из причин его ареста 10 февраля 1938 года. Виновным себя не признал. 2 июля 1939 года был осужден на 8 лет лишения свободы. В 40-е годы его след затерялся в магаданских лагерях.

lib.pushkinskijdom.ru

Позднее на эти нелегальные сборища Тагер, по моему предложению, привлекла литературных работников — Жирмунского, Оксмана,[16] Эйхенбаума, Маргулиса,[17] Губера,[18] которые были связаны и группировались со мной в силу своего контрреволюционного единомыслия.

Вопрос: Еще какие задания по контрреволюционной работе вам давал Кибальчич?

Ответ: Кибальчич также указывал на необходимость проведения подрывной работы на литературном фронте. Конкретно это должно было выражаться в подрыве творческой работы, протаскивании в печать антисоветских произведений, в контрреволюционной обработке молодых кадров.

Вопрос: Более подробно на этих вопросах мы потом остановимся. А сейчас расскажите о тех заданиях, которые вы получали от Кибальчича по вербовке в троцкистскую организацию?

Ответ: Таких задач, о вербовке в троцкистскую организацию, передо мной Кибальчич не ставил. Наоборот, он всегда подчеркивал, чтобы я тщательно скрывал свою принадлежность к троцкистской организации и действовал как бы просто враждебно настроенный человек.

Вопрос: Как известно, в 1933 г. Кибальчич был арестован, а затем выслан. С кем из участников контрреволюционной троцкистской организации вы были связаны после его ареста?

Ответ: Ни с кем, но во время нахождения Кибальчича в ссылке я с ним был все время в переписке, информируя его о литературных новостях, о той подрывной работе, которую мы проводим. Кибальчич в первом же письме из ссылки дал мне понять, что на следствии он ничего не сказал и что мы должны продолжать свою контрреволюционную деятельность. Переписка нами велась через почту и продолжалась до 1936 г., когда Кибальчич выехал за границу.

Вопрос: А после отъезда Кибальчича за границу вы с ним поддерживали связь?

Ответ: Да, поддерживал, но это относится к более позднему времени — к 1937 году.

Вопрос: Каким путем вами осуществлялась связь с Кибальчичем после его выезда за границу?

Ответ: Эта связь осуществлялась через жену писателя Эренбурга — Любовь Эренбург, которая является троцкистским эмиссаром.

Вопрос: На этом вопросе остановитесь подробнее.

Ответ: С Любовью Эренбург я знаком с 1916—17 г. еще по Киеву. После Октябрьской Революции мы встретились с ней в 1923 г. в Петрограде, когда она вместе с мужем — Ильей Эренбургом приезжала из Германии. После этого я не видел Л. Эренбург до 1935 г. Уже первая встреча с ней в 1935 г., с глазу на глаз, убедила меня в том, что я имею дело с человеком антисоветски настроенным. Ее возмущало отношение советской власти к писателям, в частности «расправа» с О. Мандельштамом (он был тогда арестован и выслан за контрреволюционную деятельность). Она очень горячо говорила о том, что «у вас в СССР никто не может выражать откровенно своих мыслей». Мне не пришлось много с ней говорить, но весь наш разговор велся в озлобленном тоне против руководства партии и советского правительства.

Окончательно политическое лицо Л. Эренбург для меня стало яснее несколько позже, после ее приезда из Москвы в 1935 г.

---

[16] Ю. Г. Оксман (1895—1971) был арестован 6 ноября 1936 года и приговорен 9 июня 1937 года к 5 годам заключения. Срок отбывал на Колыме. Был окончательно освобожден в ноябре 1947 года.

[17] Моргулис Александр Иосифович (1898—1938) — русский советский писатель. Арестован 28 августа 1936 года и приговорен 21 марта 1937 года к 5 годам заключения. Умер в Севвостлаге НКВД 20 октября 1938 года.

[18] Губер Петр Константинович (1886—1940) — русский советский писатель. Арестован 26 августа 1938 года и приговорен 10 ноября 1939 года к 5 годам заключения. Умер весной 1940 года в Кулойлаге НКВД (Архангельск).

lib.pushkinskijdom.ru

По возвращении из Москвы Л. Эренбург встретилась со мной. В беседе она стала делиться своими впечатлениями от встреч с московскими писателями. Она поражалась «забитости» и «трусости» советских писателей, которые, по ее словам, «ползают на коленях перед советской властью» и «боятся за свою шкуру».

Далее Л. Эренбург мне рассказала о том, что в Париже она связана с троцкистским центром. По ее словам, троцкизм за границей, особенно во Франции, представляет собой внушительную силу, с которой все считаются. Это не жалкая группа морально разложившихся людей, как его хотят представить в СССР, говорила мне Эренбург, а внушительная организация, насчитывающая в своих рядах много выдающихся личностей и пользующихся большим авторитетом в рабочей среде. И Жид [19] и Мальро [20] недаром тяготеют к троцкизму и имеют много друзей среди троцкистов.

Отвечая Л. Эренбург, я указал ей, что она неправа, когда обвиняет нас, писателей, в трусости и нерешительности, так как в Ленинграде существует достаточно большая группа писателей, которые целиком стоят на троцкистских позициях и ведут борьбу, правда, может быть недостаточно активную, с руководством ВКП(б) и советского правительства.

Здесь же я ей сказал о своей связи с троцкистом Кибальчичем. На этом наша беседа тогда кончилась.

В свой приезд в 1937 г. Л. Эренбург передала мне, что она связалась с высланным из СССР Кибальчичем, проживающим в Париже и входящим в троцкистский центр, с которым она связана.

Л. Эренбург, по ее словам, информировала Кибальчича об установлении связи со мной, о контрреволюционной деятельности, которую я и Тихонов [21] ведем среди ленинградских писателей.

В эту же встречу она рассказала мне, что троцкисты на Западе развернули активную работу в Испании, в связи с происходящими там событиями. Хотя испанских троцкистов обвиняют в том, что они хотят поражения испанского правительства, говорила мне Эренбург, но ведь испанские революционеры давно смертельно устали, не хотят бороться и давно уже прекратили бы всякую борьбу, если бы не СССР, который «подгоняет их в спину штыками».

Вопрос: Вы показали, что Л. Эренбург, являясь троцкистским эмиссаром, связалась с вами по поручению троцкистского центра в Париже. Какие установки по контрреволюционной работе вам дала Л. Эренбург?

Ответ: Через несколько дней я снова встретился с Л. Эренбург. Как бы продолжая наш первый разговор, Л. Эренбург указала мне на необходимость активизации контрреволюционной работы и сказала, что считает необходимым, чтобы я сблокировался с теми антисоветскими группами, которые существуют среди писателей. Конкретно Эренбург указала на необходимость блока с существующей среди ленинградских писателей группой правых, возглавляемой председателем ленинградского ССП Николаем Тихоновым.

Тихонов, с которым Л. Эренбург также была связана, по ее словам, ведет аналогичную нашей подрывную работу. Я согласился с этой установкой Л. Эренбург, указав, что я сам хотел сблизиться с Тихоновым, поскольку мне стало известно, что он возглавляет группу правых в литературе и ведет контрреволюционную работу. Тогда же мы договорились о совместной контрреволюционной деятельности.

---

[19] Жид Андре (1869—1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1947). В 1935 году на Парижском конгрессе мира в защиту культуры вместе с Р. Ролланом и Ж. Дюамелем обратился к Сталину с просьбой освободить из оренбургской ссылки В. Л. Кибальчича. В то же время, посетив СССР (в Ленинграде, в частности, с писателем встречался И. А. Лихачев), выступил с резкой критикой коммунистической диктатуры.

[20] Мальро Андре (1901—1976) — французский писатель, искусствовед и политический деятель. Участвовал в гражданской войне в Испании. Впоследствии министр культуры в правительстве Шарля Де Голля.

[21] Николай Семенович Тихонов (1896—1979) в 30-е годы возглавлял Ленинградское отделение Союза писателей СССР; в 1935 году участвовал в Парижском конгрессе мира в защиту культуры.

lib.pushkinskijdom.ru

Вопрос: Откуда вам было известно, что Тихонов возглавляет группу правых в литературе и ведет антисоветскую работу?

Ответ: Я прошу дать мне возможность на этот вопрос ответить подробнее.

В 1930—31 гг. параллельно с антисоветской группой, инспирируемой Кибальчичем, в среде ленинградских писателей началась концентрация части антисоветских элементов около Н. С. Тихонова. Это человек недюжинного ума, большой воли и выдержки, осторожный и скрытный. Он не раскрывает своих карт перед первым встречным и в совершенстве владеет искусством маскировки.

Его публичные политические высказывания, ничего общего не имеющие с его подлинными политическими убеждениями, общеизвестны. Они создали ему репутацию «левого попутчика» (во время РАППа) и в наши дни «беспартийного большевика».

Под прикрытием Тихонова Ахматова долго протаскивала переиздание своих реакционных стихов. Мандельштам переиздавал в Гослитиздате сборник своих антисоветских произведений.

При попустительстве Тихонова в Ленинградском издательстве писателей один за другим выходили порочные, клеветавшие на советскую действительность романы Вагинова,[22] поэтическое наследие которого Тихонов на могиле Вагинова объявил бессмертным.

В стихотворном отделе «Звезды», редактируемом непосредственно Тихоновым, появилась издевательская поэма Заболоцкого — «Торжество земледелия»,[23] поднятая на щит, невзирая на свою явную контрреволюционность, Эйхенбаумом и Н. Степановым.[24]

Вообще вся одиозная контрреволюционная фигура Заболоцкого долгое время держалась на признании его Тихоновым.

Эти факты, а их можно было привести еще множество, достаточно ясно указывают на контрреволюционную сущность Тихонова.

В этот период, предшествующий постановлению ЦК о перестройке литературных организаций, я еще не был близок с Тихоновым.

После опубликования решения ЦК о перестройке литературных организаций на нелегальных совещаниях у Тагер и Чуковского, где присутствовали участники нашей антисоветской группы — Тагер, Берзин, Жирмунский, Оксман, Куклин, Маргулис, Стенич, Губер, упразднение РАППа расценивалось как сдача позиций ЦК ВКП(б) в области руководства литературой и как возможность создания произведений, «свободных» от марксистской идеологии, как возможность протаскивания идеологически враждебных идей в литературе.

Организация Союза Советских Писателей рассматривалась как создание своего рода «академии», в которой писатели займут свое место независимо от своей идейной направленности.

Вредительское руководство 1-м съездом Советских Писателей в лице Бухарина и Радека способствовало объединению антисоветских групп писателей.

Речи Бухарина и Радека давали определенные директивы контрреволюционным силам в литературе, директивы хотя и зашифрованные революционной фразеологией, но расшифровывавшиеся без особого труда теми, кому они были адресованы.

Основным лозунгом Бухарина на этом съезде был призыв к выхолащиванию из литературного произведения его социалистической направленности, призыв, в корне подрывавший лозунг социалистического реализма. Всей советской поэзии предлагалось ориентироваться на Пастернака, чье творчество противопоставляется творчеству Маяковского, отодвигаемому куда-то на задворки.

---

[22] Вагинов Константин Константинович (1899—1934) — русский советский писатель. В 20-е годы примыкал к литературной группе ОБЭРИУ, куда входили Н. Заболоцкий, Д. Хармс, А. И. Введенский и др. Умер в апреле 1934 года.

[23] Н. Заболоцкий (1903—1958) был арестован 19 марта 1938 года; никаких показаний не дал; 2 сентября 1938 года приговорен к 5 годам заключения в концлагерь.

[24] Степанов Николай Леонидович (1902—1972) — литературовед. Занимался, в частности, изучением поэзии В. Хлебникова и Н. Заболоцкого, был ближайшим другом последнего.

lib.pushkinskijdom.ru

После закрытия съезда в Ленинграде контрреволюционная работа в литературе активизируется.

К этому же времени относится и мое сближение с Тихоновым, которое, как я показал, произошло при содействии Любовь Эренбург. Результатом моего сближения с Тихоновым явился блок троцкистов с правыми в литературе, так как вокруг меня группировались главным образом троцкистские элементы из среды беспартийных писателей, а вокруг Тихонова — правые.

Вопрос: Вы показали, что с Л. Эренбург договорились о встрече с Тихоновым для установления связи по контрреволюционной работе. Эта встреча состоялась? Когда?

Ответ: В двадцатых числах ноября 1935 г. Л. Эренбург приехала ко мне домой с Тихоновым. Разговор, происходивший в ее присутствии между мной и им, носил характер выработки программы совместных действий.

Вопрос: Изложите подробнее ваш разговор с Тихоновым.

Ответ: Разговор начался с впечатлений о всесоюзном съезде писателей, состоявшемся этой осенью в Москве, и, естественно, перешел на перспективы ближайшего будущего: на положение писателей в СССР после съезда и на возможности творческой работы.

Со свойственной мне резкостью я утверждал о зажиме творческой мысли, об отсутствии какой бы то ни было свободы, что в СССР свободно могут высказываться только большевики, а у сторонников других политических мнений и воззрений — «рты замазаны». За всякую оппозиционную мысль, не говоря уже о мыслях с меньшевистским или троцкистским оттенком, у нас якобы сажают и расстреливают, что в таких условиях создавать настоящие литературные произведения нельзя, что так дальше продолжаться не может и что нам необходимо бороться с создавшимся положением.

Тихонов целиком поддержал меня.

Эренбург, имевшая достаточно оснований считать, что этой встречей сильно подвинула вперед свое дело — дело сплочения обеих групп, выразила удовлетворение возникновением дружбы между Тихоновым и мною.

Далее разговор перешел в плоскость выработки практических мероприятий борьбы с советской властью.

Предварительно я рассказал Тихонову о своей связи с троцкистской организацией через Кибальчича и о том, что в продолжение ряда лет группирую перевальцев — Тагер, Куклин, Берзин, Н. Чуковский, а также писателей Стенич, Спасского, Маргулис, Франковского,[25] Губер, Жирмунского, Оксмана, Выгодского,[26] Юркуна.

Тихонов, в свою очередь, информировал меня, что им также создана группа, и из ее участников назвал мне поэтов Заболоцкого, Корнилова,[27] Дагаева,[28] А. Ахматову и указал на свою близкую связь с формалистами Эйхенбаумом и Степановым.

Далее он мне указал, что связан с контрреволюционными националистическими организациями, существующими среди грузинских писателей.

После определения наших «сил» мы договорились с Тихоновым, что борьбу с советской властью необходимо проводить более организованно. Мы обсудили вопрос о создании антисоветской организации из тех отдельных разрозненных групп, которые существовали среди ленинградских писателей. При этом условились, что никаких внешних форм этой вновь

---

[25] Франковский Адриан Антонович (1888—1942) — один из крупнейших мастеров художественного перевода; известен переводами романов классиков английской литературы XVIII века.

[26] Выгодский Давид Исаакович (1893—1943) — критик, переводчик, литературовед. Арестован 14 февраля 1938 года и приговорен 23 июля 1940 года к 5 годам заключения. Умер в карагандинском лагере НКВД 27 июля 1943 года.

[27] Поэт Борис Корнилов (1907—1938) был арестован 19 марта 1937 года как участник «антисоветской троцкистско-террористической диверсионно-вредительской организации». Расстрелян 20 февраля 1938 года.

[28] Дагаев Сергей Михайлович (1910—1938) — поэт. Его стихи были опубликованы Н. С. Тихоновым в майском номере журнала «Звезда» за 1932 год. Арестован 10 января 1938 года. Подписал признательные показания 31 января 1938 года, которые были приобщены к делу Б. К. Лившица. Расстрелян 21 сентября 1938 года вместе с последним.

lib.pushkinskijdom.ru

создаваемой организации мы придавать не должны, а что необходимо сплотить тех лиц, которые с нами связаны, и организованно, по заранее намеченному плану проводить подрывную деятельность.

Непосредственное руководство и организацию этой подрывной деятельности мы взяли на себя. Договорившись по этому вопросу, мы перешли к обсуждению и выработке конкретного плана нашей контрреволюционной работы.

Мы решили, что необходимо в первую очередь сорвать самостоятельное творчество у ленинградских писателей, отвлечь их от создания полноценных произведений на основе лозунга ЦК ВКП(б) о «социалистическом реализме», по договоренности с Тихоновым мы должны были активизировать формализм в литературе и продвинуть различные идеологически вредные произведения. Далее мы договаривались о необходимости проведения соответствующей контрреволюционной работы среди молодых начинающих писателей, главным образом литкружковцев и слушателей литуниверситетов.

В конце беседы мы остановились, по предложению Тихонова, еще на одном вопросе. Это о более близкой связи с контрреволюционными националистическими кругами среди грузинских писателей.

Вот, в основном, те линии борьбы с советской властью, которые мы наметили в беседе с Тихоновым.

Как я уже показывал раньше, результатом нашего сговора явилась активизация контрреволюционной деятельности антисоветской части ленинградских писателей и их организационное сплочение. С этого времени, по инициативе моей и Тихонова, под различными предлогами, в различном составе, систематически у меня, Тагер, Н. Чуковского собираются участники нашей организации: Тихонов, я, Спасский, Н. Чуковский, Тагер, Стенич, Берзин, Куклин, Эйхенбаум, Выгодский, Маргулис, Франковский, Жирмунский, Оксман, Юркун, Корнилов, Крайский.[29]

На этих сборищах мы с контрреволюционных позиций обсуждали все мероприятия ВКП(б) и советского правительства как в области культуры, так и в области общеполитической и хозяйственной жизни страны, вырабатывали практические мероприятия по борьбе с советской властью.

Вопрос: Какая контрреволюционная работа проводилась участниками названной вами троцкистско-правой организации?

Ответ: Основной задачей нашей троцкистско-правой организации и тех антисоветских групп, которые существовали раньше среди ленинградских писателей, было воспитание в контрреволюционном духе писателей, особенно молодежи, отрыв их от коммунистического влияния.

Это должно было привести к тому, что эта часть писателей, которая подпала бы под наше контрреволюционное влияние, не могла создать подлинных советских произведений, мобилизующих и зовущих советский народ на борьбу за коммунизм.

Исходя из этого, вся деятельность Ленинградского Отделения ССП строилась с расчетом на максимальный отрыв писателя от его непосредственного дела — творческой работы. Тихонов, используя троцкистское руководство ССП в лице Беспамятнова,[30] Майзеля,[31] Горелова,[32] загружал членов союза никчемными совещаниями, бесплодными дискуссиями, секционными заседаниями, чем отрывали их от творческой работы.

---

[29] Крайский (наст. фамилия — Кузьмин) Алексей Петрович (1891—1941) — русский советский поэт. Погиб в народном ополчении.

[30] Возможно, Н. В. Беспамятнов (псевдоним — Аджеразьян Санаев) — автор книги «Центр нападения. Физкультурные рассказы».

[31] Майзель Михаил Гаврилович (1899—1937) — критик. В 30-е годы заведовал отделом критики журнала «Литературный современник». Арестован 5 ноября 1936 года. Расстрелян 4 ноября 1937 года.

[32] Горелов Анатолий Ефимович (р. 1904) — критик, литературовед. В 1934—1937 годах был ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза писателей.

lib.pushkinskijdom.ru

Мы активизировали формализм в поэзии. Опираясь на бухаринский доклад, работа советских поэтов вредительски ориентируется на творчество Пастернака как на вершину советской поэзии.

Пастернак объявляется мировой величиной. Эта пропаганда, производившаяся нами, сказалась и на отношении к нему всех делегатов Парижского съезда защиты культуры, приветствовавших Пастернака (при содействии Мальро) бурными овациями.

Наряду с этим нами было отодвинуто на задний план творчество Маяковского как якобы технически несовершенное и устарелое. Замалчивалось его имя в журналах, в публичных выступлениях, его книги преданы забвению. Мы старались создать разрыв между Маяковским и массовым советским читателем.

Мы искусственно привлекли внимание к творчеству таких писателей, как Вагинов, Корнилов, Тагер, Куклин, Заболоцкий, являвшихся участниками организации. Их произведения, глубоко враждебные всему подлинно советскому, подымались нами на щит, печатались в ленинградских журналах, в «Издательстве писателей в Ленинграде» и в Госиздате, рекламировались как последние достижения в области формы, для чего мы мобилизовывали формалистов-критиков в лице Эйхенбаума и Степанова.

Мы всячески пытались компрометировать Горького, распространяли о нем всякие клеветнические слухи.

Юркун рассказывал всем фашистские слухи о связке писем Горького, адресованных какой-то корреспондентке (фамилию забыл) и содержащих ряд глубоко оскорбительных отзывов о Сталине; после смерти этой корреспондентки, умершей за границей, переписка была якобы приобретена за большие деньги советским правительством.[33]

Мы проводили контрреволюционную агитацию в основном двумя путями: в печати и путем устных высказываний.

В ленинградских журналах, руководимых участниками нашей организации, печатаются контрреволюционные произведения Корнилова, Заболоцкого и других участников организации. Даже когда Корнилов был исключен за антисоветские выходки из ССП, правление союза под давлением Тихонова вынесло специальное постановление: обеспечить ему возможность печататься в «Звезде» и в «Литературном современнике».

Когда Пастернак поместил в «Новом мире» свои клеветнические стихи («А он твое изделье кладет под долото, твои мечты и цели...»), мы подняли шумиху с целью извратить истину и отвести от Пастернака законное возмущение, которое вызвал этот контрреволюционный выпад.

Наряду с агитацией в печати, агитацией, которую поневоле приходилось проводить в более или менее скрытой форме, мы вели более открытую контрреволюционную устную агитацию. Перед открытием всесоюзного съезда распространяли слухи, что Горький съезд не откроет, так как находится не в чести.

Контрреволюционной оценке и осуждению подвергались все значительные политические события. Так, например, в период утверждения конституции VIII-м Чрезвычайным Съездом Советов я, давая оценку этому политическому событию, клеветнически утверждал, что «Конституция — это искусно и ловко составленный Сталиным и его подручными документ», который является лучшим образцом политического очковтирательства. Настоящей демократии и политической свободы у нас не может быть. Я заявлял: «Это все только красивые фразы, пока у власти стоят большевики».

Аналогичная контрреволюционная оценка давалась мною и обоим троцкистско-зиновьевским процессам. Я утверждал, что якобы «уничтожили людей, которые стремились освободить русское общество, русскую интеллигенцию от железного гнета сталинского самодержавия (далее зачеркнуто: «что память этих людей для меня дорога и священна. Они мои братья по борьбе с тиранами». — *Е. Л.*)».

---

[33] От этом подробнее см. в книге Н. Берберовой «Железная женщина» (М., 1991).

lib.pushkinskijdom.ru

Мои высказывания по другим вопросам носили аналогичный характер. Контрреволюционные высказывания других участников организации ничем не отличались от моих.

Наша контрреволюционная организация вела также специальную работу по подготовке новых контрреволюционных кадров. Эта работа проводилась нами по трем линиям:

а) Через университет, руководимый троцкистом Майзелем, который играл роль рассадника враждебных идей, где на корню обрабатывались будущие писатели в контрреволюционном направлении.

В лекциях участники организации Берзин и Николай Чуковский из современной литературы выхолащивали ее социалистическую целенаправленность. Вульгарным социологизмом, сознательным упрощенчеством подменяли подлинный марксистский анализ.

б) Через «студию» участника организации Крайского. Поэтическая молодежь, воспитывавшаяся в студии, являлась особо благодарным материалом для идеологически враждебного воздействия. Культ Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, прочно державшийся в ленинградской поэтической среде, немало способствовал обработке молодого литературного поколения в контрреволюционном духе.

Студия воспитала ряд авторов контрреволюционных произведений, в частности Калитина,[34] Дагаева.

в) Контрреволюционная обработка молодежи на дому довольно широко проводилась Тихоновым, к которому, по его словам, ходит много молодежи. Тихонов систематически в контрреволюционном направлении обрабатывал начинающих поэтов.

Ко мне тоже ходили молодые писатели Дмитроченко,[35] Мамин.[36] Я также политически обрабатывал их, воспитывая в них ненависть к советской власти.

Дмитроченко, передавая мне ложные слухи о голоде на Украине, так же как и я, делал из них выводы определенного порядка, направленные против политики партии в вопросах сельского хозяйства.

Посещавший меня Мамин нередко в беседах со мной резко высказывался против А. М. Горького, говоря, что напрасно из плохого писателя делают нечто вроде иконы, запрещая всякую критику, свободную от предубеждений.

Не помню по какому поводу он высказал мысль, что условия для творческой работы у нас на редкость тяжелые. Его суждения о возможности развития братских национальных литератур носили явно выраженную расистскую окраску.

Вопрос: Вы показали, что связь с троцкистским центром в Париже вами осуществлялась через Л. Эренбург. А еще через кого вы были в связи с троцкистским центром?

Ответ: Перед отъездом Л. Эренбург (в конце 1935, начале 1936 г.) я и Тихонов договорились, что в случае приезда из-за границы лиц, которым она даст поручения к нам по контрреволюционной работе, они должны связаться с нами по паролю. Таким паролем должна служить фраза «Привет от Любовь Михайловны» и заграничный галстук, который то же лицо должно вручить.

Осенью 1935 г. в Ленинград приезжала корреспондент газеты «Юманите» Жанна Симон с указанным выше паролем. Во время встречи с ней в «Астории» я информировал ее о той работе, которая проводилась нашей (объединенной) организацией среди писателей как в Ленинграде, так и в Грузии, работе, о которой я уже подробно показал выше.

---

[34] Калитин Павел Александрович (1908—1938) — поэт. Арестован 27 апреля 1937 года как автор «контрреволюционного» стихотворения «Пуля». На допросе признал себя участником «контрреволюционной группы литераторов», которая якобы собиралась на квартире Н. С. Тихонова. Был приговорен к расстрелу.

[35] Дмитроченко Иван Тарасович (1904—1941). Погиб под Вырицей. См.: За советскую Родину. Л., 1949.

[36] Мамин Николай Иванович (1906—1968) — русский советский писатель. Арестован 27 июля 1936 года и 11 сентября 1936 года приговорен к 7 годам заключения в концлагерь. Вторично осужден в 1949 году. В 60-е годы жил в Сибири.

lib.pushkinskijdom.ru

Жанна Симон, в свою очередь, передала мне указание троцкистского центра о необходимости большего конспирирования нашей деятельности, ухода в подполье, в целях сохранения кадров.

А самое главное, в случае провала организации, скрыть о блоке троцкистов с правыми. Она говорила, что нужно проинструктировать всех участников организации так, чтобы они в случае ареста не выдавали бы остальных участников организации, а давали бы в крайнем случае показания о себе как об одиночках.

Из Ленинграда Жанна Симон уехала в Москву, с кем она там встречалась, я не знаю.

Вопрос: Отвечая на вопрос о практической контрреволюционной деятельности вашей организации, вы сказали не все. Показаниями одного из арестованных нами участников организации установлено, что ваша организация стояла на позициях террористической борьбы с советской властью.

Ответ: Это верно, я не хотел это скрывать от следствия. Правда, никогда, никаких конкретных планов совершений террористических актов мы не разрабатывали, но в своей контрреволюционной пропаганде мы призывали к террору.

Впервые вопрос о террористической борьбе с ВКП(б) и советской властью лично передо мною был поставлен в 1930 году Кибальчичем, который в одной из бесед прямо заявил, что выход из создавшегося в стране положения он видит в смене руководства страной любыми средствами, вплоть до террора, «хотя о нем надо говорить обиняками». Позднее он информировал меня, что троцкистская организация целиком стоит на террористических позициях в борьбе с ВКП(б).

В нашей объединенной организации вопрос о терроре впервые возник при обсуждении интервью, данного Сталиным немецкому журналисту Эмилию Людвигу. В квартире у Тагер в тот вечер собрались Ник. Чуковский, Спасский, Куклин, Берзин, Стенич и я.

Разговор зашел об интервью, опубликованном за несколько дней до этого. Я не помню точно ответа Сталина на вопрос, заданный ему журналистом насчет мер охраны его личной безопасности, но именно в связи с ответом заговорили о терроре.

Я высказывался в том смысле, что если бы покушение удалось, то, как бы ни расценивалась роль личности в истории, смерть Сталина вызвала бы большое смятение и расстройство в рядах партии. Все присутствующие поддержали меня.

Призывом к террору были и стихи Мандельштама, направленные против Сталина, а также и те аналогии, которые я проводил, сравнивая наши годы с 1793 годом и Сталина с Робеспьером.

В 1937 году у меня дома собрались Тихонов, Табидзе,[37] Стенич, Юркун, Л. Эренбург и я. За столом заговорили об арестах, о высылках из Ленинграда.

Тициан Табидзе сообщил об аресте Петра Агниашвили, зам. председателя ЦИК Грузии, близко связанного с Табидзе.

Далее разговор перешел к аресту Мандельштама, которого Табидзе также хорошо знал.

Тихонов сообщил, что Мандельштам скоро должен вернуться из ссылки, так как заканчивается срок, на который он был осужден.

В связи с этим зашел разговор об арестах среди интеллигенции. Присутствующий Юркун в очень резких контрреволюционных тонах стал высказываться против Сталина, заявляя, что Сталин — это Иоанн Грозный.

— Ну нет, — возражал я, — все это гораздо сложнее: Наше НКВД — это суд времен террора. Чекисты — это те судьи, которых так прекрасно изобразил Франс в романе «Боги жаждут», слепые, уверенные в своем высоком призвании. И между нашими большими процессами и процессами времен террора много общего: и сегодня, как это делали в то время, искусственно сближают людей, иногда между собой даже незнакомых и встречающих друг друга впервые на суде.

---

[37] Табидзе Тициан Юстинович (1895—1937) — грузинский советский поэт. Его стихи Б. Лившиц переводил на русский язык. Расстрелян в 1937 году.

lib.pushkinskijdom.ru

Насчет Сталина — тоже неверно. Не Грозный он, а Робеспьер. С одной стороны, забота о человеке, любовь к детям, с другой — органы НКВД, расстрелы, ссылки. И то и другое — плод искреннего убеждения, но я не сомневаюсь и в искренности Робеспьера. Однако история ему этого не простила.

Эта моя реплика имела один смысл — призыв к террору.

Допрос прерывается.[38]

---

[38] К делу Б. К. Лившица приобщены также признательные показания Зоргенфрея Вильгельма Александровича (1882—1938), арестованного 5 января 1938 года и расстрелянного 21 сентября 1938 года вместе с Б. К. Лившицем.

lib.pushkinskijdom.ru

КОГДА НАПИСАН МУЗЕЙНЫЙ АВТОГРАФ «ГОРЯ ОТ УМА»?

Как известно, в конце мая 1824 года Грибоедов, уезжая из Москвы в Петербург, оставил у своего ближайшего друга С.Н. Бегичева, отсутствовавшего в это время в Москве, Музейный автограф «Горя от ума» — четыре тетради, впоследствии переданные семьей Бегичева в Московский исторический музей, — в каждой по акту комедии. Н.К. Пиксанов определил, что первая часть «Горя от ума», в первых двух тетрадях, была записана Грибоедовым еще в Тифлисе, до приезда в Москву весной 1823 года, вторая же, согласно предположению Пиксанова, обычно воспринимаемому как установленный факт (хотя сам он отмечал, что «точных показаний мы ниоткуда не имеем»[1]), была внесена Грибоедовым в третью и четвертую тетради в конце августа 1823 года в тульском имении Бегичева Дмитровском, где Грибоедов провел все лето. Отсюда исследователь делает далеко идущий вывод, что весь идеологический корпус комедии, уже содержащийся в Музейном автографе, сложился еще до общения Грибоедова с будущими декабристами в Москве, а следовательно, творческая история «Горя от ума» не имеет прямого отношения к декабристскому движению: «Этим устанавливается независимость Грибоедова от непосредственных влияний общественных» (с. 72, 118, 326—340, 357 и др.).

Однако хронология создания Музейного автографа была не до конца продумана Н.К. Пиксановым. В одном месте он говорит, что в перебеленном тексте первых двух актов, который Грибоедов привез с Востока в Москву, уже были «и Нестор негодяев знатных, и многое другое, что изложено в диалогах Чацкого и Фамусова во втором акте» (с. 72), в другом указывает, что, как и в первой тетради, во второй, тоже привезенной из Тифлиса, взамен зачеркнутого текста «вставлены листы 31—32 с новой переработкой монолога “А судьи кто?”, где опять наложены свежие бытовые краски» (с. 96). Как видно из текста Музейного автографа, первое из этих утверждений ошибочно, правильно второе: «Нестор негодяев старых» есть лишь в окончательной редакции Музейного автографа («знатных» — в окончательной редакции «Горя от ума», а в первоначальных вариантах нет ни его, ни помещика, обменивающего слуг на собак, ни владельца крепостного балета, распродающего поодиночке «амуров» и «зефиров», ни самого вопроса «А судьи кто?».[2] Таким образом, «свежие краски», наложенные на второй акт в Москве, не только бытовые, но и политические. Предположение Н.К. Пиксанова об изготовлении второй части Музейного автографа в деревенской глуши тульского имения Бегичева также требует проверки.

Есть одно обстоятельство, четко указывающее на то, что вторая часть Музейного автографа не могла быть написана в августе 1823 года. В первоначальной редакции первой части Музейного автографа главный герой именовался не Чацким, а Чадским. В окончательной редакции фамилия в большинстве случаев исправлена на «Чацкий». Во второй части Музейного автографа с самого начала пишется «Чацкий». При неизменности характера героя на всех этапах творческой истории комедии (с. 296), смена фамилии не мотивирована процессом создания образа и, по всей вероятности, была обусловлена тем, что Н.К. Пиксанов называет «вторжением общественности в художественное произведение» (с. 66). В декабре 1823 года А.С. Пушкин писал П.А. Вяземскому из Одессы, что до него дошел слух, будто Грибоедов написал «комедию на Чедаева».[3] Намек на П.Я. Чаадаева современники видели именно в фамилии Чадский, воспринимавшейся как каламбур, высмеивающий «либеральный чад в голове Чаадаева».[4] Не приходится сомневаться в том, что Вяземский, в последние месяцы 1823 года постоянно общавшийся с Грибоедовым в Москве,[5] рассказал ему о полученном пись-

---

[1] *Пиксанов Н.К.* Творческая история «Горя от ума». М., 1971. С. 111 (далее ссылки в тексте).

[2] *Грибоедов А.С.* Горе от ума/ Подг. Н.К. Пиксанов при участии А.Л. Гришунина. М., 1987. С. 180—183. (Лит. памятники/ АН СССР).

[3] Пушкин. Полн. собр. соч. [Л. ,] 1937. Т. 13. С. 81.

[4] *Веселовский А.Н.* Александр Сергеевич Грибоедов// Грибоедов А.С. Комедия «Горе от ума»... СПб., 1875. С. XXXVIII. (Русская б-ка. V); *Ю.М.* Маленькая хроника// Новое время. 1901, 1(14) ноября.

[5] *Фомичев С.А.* Заметки о грибоедовской текстологии // А.С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л., 1977. С. 194—195.

lib.pushkinskijdom.ru

ме.[6] Мог узнать Грибоедов о распространившемся слухе и из других источников. Чтобы воспрепятствовать неправильному пониманию образа главного героя и всей комедии, Грибоедов, очевидно, изменил фамилию Чадский на Чацкий, а после отъезда из Москвы в Петербург сопроводил последнюю еще и указанием: «Известная фамилья»[7] (в Музейном автографе этого указания нет), связывавшим форму имени героя с широко известной в то время фамилией русско-польского либерального деятеля Тадеуша Чацкого (1765—1813).[8] Ввиду того, что читки комедии автором у московских друзей и знакомых, во время которых только и мог сложиться слух о «комедии на Чаадаева», происходили осенью 1823 года, после возвращения Грибоедова в Москву из имения Бегичева (с. 112), совершенно очевидно, что в это время второй части Музейного автографа, с фамилией Чацкий, явно безотносительной к Чаадаеву, еще не существовало, читки велись по какому-то более раннему тексту. Вторая часть Музейного автографа могла быть написана только в промежутке между декабрем 1823 и маем 1824 года.

Противоречит мнению Н.К. Пиксанова и свидетельство С.Н. Бегичева, что после летней работы Грибоедова над комедией была изготовлена рукопись «Горя от ума» наполовину автором, наполовину писарем: «Он хотел оставить мне на память свою пьесу, написанную его рукой, но имел терпение написать только два акта, а остальные заставил писаря. Тетрадь эта у меня сохраняется».[9] Имея перед глазами Музейный автограф, состоящий из четырех тетрадей и почти полностью написанный рукою Грибоедова, Н.К. Пиксанов отбросил это свидетельство как «ошибку памяти» (с. 110). Но имеющиеся в Музейном автографе следы работы писаря (несколько вставных листов в первом акте, конец третьего акта) вряд ли могли преобразиться даже в «старческой памяти» четко во вторую половину текста комедии, вряд ли и понадобился бы писарь для переписки нескольких листов. Видимо, рукопись, о которой пишет Бегичев, реально существовала, и ошибка Бегичева состоит лишь в отождествлении с этой рукописью хранившегося у него Музейного автографа, которого он не только «в позднейшее время», как полагает Н.К. Пиксанов, но с 1823 года не доставал из крепкого кожаного портфеля с замком. А причина ошибки, судя по всему, в том, что Грибоедов, уезжая в мае 1824 года в отсутствие Бегичева в Петербург, забрал рукопись, изготовленную наполовину писарем, с собою, предварительно внеся в нее изменения и дополнения по окончательной редакции Музейного автографа, а вместо нее оставил у Бегичева испещренный 220 поправками (с. 117) Музейный автограф.

Сам Н.К. Пиксанов признает, что Грибоедов несомненно «вез в Петербург тщательно переписанную рукопись "Горя от ума" с текстом, равным окончательной редакции Музейного автографа», что эта рукопись могла быть «изготовлена задолго до выезда из Москвы» и «на нее могли уже там лечь новые авторские переработки» (с. 120). Существование такой рукописи подтверждается и тем, что осенью 1823 года, когда Грибоедов писал комедию на отдельных листах, часто беззаботно разбрасывая их (с. 112), он дал списать княжне В.П. Волконской готовую рукопись «Горя от ума» (с. 108).

Приняв, что работу над Музейным автографом Грибоедов продолжал до конца мая 1824 года, мы должны заключить, что идеологический корпус комедии сложился не до, а после общения Грибоедова с московскими декабристами (в окончательной редакции «Горя от ума» — и с петербургскими декабристами).

Г.И. Магнер

---

[6] Возможно, впечатления Грибоедова от этого сообщения отразились и в Музейном автографе, в возмущении Чацкого той
«...быстротой,
С которой чуть возник, уж приобрел известность
Московской фабрики слух вредный и пустой».
(Грибоедов А.С. Горе от ума. С. 260—261).

[7] *Грибоедов А.С.* Горе от ума. С. 95.

[8] *Нечипор Клин.* Живой Чацкий// Исторический журнал для всех. 1908. Т. 1. С. 444; *Петровский Н.* Грибоедов и Немцевич// Русский филологический вестник. 1917. Т. 77. № 1—2. С. 14.

[9] *Бегичев С.Н.* Записка об А.С. Грибоедове// А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 28.

lib.pushkinskijdom.ru

ОБ ЭПИЛОГЕ ПОЭМЫ БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ»

В 1910 году в «Универсальной библиотеке», выходившей в московском издательстве «В. Антик и Ко», появилась в переводе В.Ф. Ходасевича первая часть романа польского писателя К. Тетмайера «Легенда Татр» — «Мария из Грубого» (1910), а в 1912 году заключительная его часть — «Яносик Нендза Лимановский» (1911). Впоследствии «Легенда Татр» в переводе Ходасевича дважды переиздавалась в советские годы — в составе Избранных произведений Тетмайера (1958) и отдельным изданием (1960).

«Легенда Татр» — самое значительное произведение Тетмайера, пользовавшегося на протяжении многих лет широкой популярностью в России польского писателя. Это исторический роман о борьбе польского крестьянства против веками угнетавших его магнатов и шляхты. В первой книге «Легенды Татр» борьбу эту возглавляет незаконный сын короля Владислава IV Александр Леон Костка, а во второй — народный герой разбойник Лимановский. Оба они терпят поражение и трагически погибают.

В отличие от крупнейшего своего предшественника на поприще польской исторической романистики Г. Сенкевича, Тетмайер в «Легенде Татр» отдает свои симпатии не шляхте, а крестьянству своей родины — скалистого Подгалья (предгорья Татр), с большой любовью описывая этот край, его людей и природу, их нравы и предания. В ткань своего произведения он щедро вводит стихотворения, представляющие фольклорные стилизации.

Однако горячо сочувствуя горцам и вообще простому люду Польши, Тетмайер не склонен к идеализации народного движения. Недаром героем первой части своего романа он делает бунтовщика-изгоя Костку, а героем второй — разбойника Яносика Лимановского. Костка становится вожаком восставших крестьян вследствие нанесенных ему обид: незаконный сын короля, он вынужден терпеть обиды и унижения вельмож, отвергнут в качестве претендента на руку аристократки Беаты Гарбурт. Лишь вступив на путь борьбы, он нравственно перерождается, проникается искренним сочувствием к угнетенным, ищет союза с Хмельницким, желая освободить не только польских, но и украинских крестьян. Лимановский же и его ближайшие помощники, при всем своем мужестве и смелости, — разбойники. Ни Костка, ни Яносик не останавливаются перед насилием и пролитием крови. А второй из них к тому же окружает себя роскошью и богатством, пользуясь награбленным имуществом.

Как близкая параллель к финалу «Двенадцати» Блока важен один из эпизодов первой части романа. Приговоренный к смертной казни Костка вступает здесь в спор со своим исповедником — настоятелем Тынецкого монастыря аббатом Петраковским:

« — Мы крестим, — сказал аббат.

— Крестите! Цепями крестите вы, а не водой!

— Ты кощунствуешь,. сын мой, и грешишь в последние минуты жизни.

— Кощунствую и грешу? Разве не заковали тебя, отче, еще на утре дней в кандалы, чтобы, когда придет пора, ты почувствовал их на руках и ногах? Ты не восстал, ты не вышел с крестом к простому народу, к тому народу, которого Мессией был Христос!

— Анабаптист Радоцкий говорит твоими устами.

— Анабаптист тут не при чем! Ты подражаешь святому Франциску Ассизскому, который подражал Христу. О, воистину, если бы Христос захотел в эти дни сойти с неба, он простил бы тебе все грехи, встретив тебя с крестом, идущего впереди нас! И был бы ты святым не в том календаре, в котором мы отмечаем дни! Ты был бы святым в великом календаре угнетенных душ несчастного народа! Отче! Не ладаном бы, купленным у торгашей кадили бы тебе в алтаре, — благословили бы тебя толпы угнетенных, и слезы неволи омыли бы руки и ноги твои, как святая вода, которую крестят!..»[1]

Здесь нет полной аналогии с поэмой Блока. Костка выражает уверенность лишь в том, что Христос на стороне угнетенных и что он простил бы грехи священнику, идущему впереди них. И все же приведенный эпизод из романа польского писателя в той или иной мере предвосхищает размышления Блока, отразившиеся в заключительных строках «Двенадцати».

Вспомним, что в декабре 1909 года умер отец Блока, в связи с чем поэт посещает Варшаву, а в 1910 году у него возник план поэмы «Возмездие», над которой он продолжал работать до конца жизни. Поэтому Блока не могла не интересовать после 1910 года не только русская история второй половины XIX века, но и история Польши. И хотя отзывы Блока о Тетмайере в статье 1907 года имеют отрицательный характер,[2] имя этого польского писателя было ему хорошо известно. К сожалению, ни «Мария из Грубого», ни «Яносик Нендза Лимановский» не сохранились в составе библиотеки Блока. Однако интерес поэта к проблеме народных восстаний и мятежей мог в 1910-е годы побудить его прочесть «Марию из Грубого». В набросках продолжения второй главы «Возмездия» героиню — польскую девушку — зовут Мария и родом она «с Карпат», как и героиня Тетмайера. Все это позволяет предположить, что первая часть романа Тетмайера в переводе Ходасевича могла находиться в поле зрения Блока и припомниться ему в момент работы над «Двенадцатью».

Г.М. Фридлендер

---

[1] *Тетмайер К.* Легенда Татр. М., 1960. С. 123.

[2] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 218, 225.

lib.pushkinskijdom.ru

ИСТОЧНИКИ ДВУХ ЭПИГРАММ

Вышедший в 1988 году в большой серии «Библиотеки поэта» том «Русская эпиграмма» (как и предшествующий ему аналогичный том 1975 года) отличается подробным и хорошо разработанным комментарием, без которого эпиграмма — жанр не только злободневный, но и построенный на мелких фактах и намеках — становится не вполне понятной. Однако он нуждается в некоторых дополнениях — именно в силу этой особенности жанра эпиграммы.

В обоих изданиях книги помещена эпиграмма неустановленного автора на известного ученого и общественного деятеля М.М. Ковалевского:

Я в Париже — вольтерьянец,
Я в Италии — папист;
В Македонии — повстанец,
А в России монархист.[1]

Комментарий в обоих изданиях не указывает несомненного литературного источника этой эпиграммы — сатирической характеристики мракобесия М.Л. Магницкого из широко известной поэмы А.Ф. Воейкова «Дом сумасшедших»:

Я за деньги — христианин,
Я за орден — мартинист,
Я за землю — мусульманин,
За аренду — атеист![2]

В издании 1988 года (с. 532) впервые опубликована по сообщению Л.В. Горнунга со слов М.А. Зенкевича эпиграмма неизвестного лица на Н.С. Гумилева:

Стоял Гумилев пред креолкой простой,
Надушен «Иланг-илангом»:
«Сеньора, с оранг-утангом
Имел разговор небольшой».

Комментарий здесь особенно необходим, так как мы имеем дело с довольно редким примером эпиграммы-пародии. Приведенный текст несомненно высмеивает пристрастие Гумилева к экзотике, но делает это с использованием его же собственных стихов:

И взор наклоняя к равнинам,
Он лгать не хотел предо мной.
— Сеньоры, с одним дворянином
Имели мы спор небольшой...[3]

Это фрагмент (видимо, единственный дошедший до нас) поэмы, которую Гумилев начал писать в Коктебеле в июне 1909 года и, очевидно, читал в кругу своих друзей. Из этого же дружеского круга исходит приведенная эпиграмма, сообщенная близким знакомым и литературным соратником Гумилева поэтом М.А. Зенкевичем. Это позволяет хотя бы примерно очертить круг, к которому принадлежал неустановленный пока автор эпиграммы, а также условно датировать ее второй половиной 1909 года (в публикации датировка отсутствует).

В. Э. Молодяков

[1] Русская эпиграмма (XVIII— начало XX века). 3-е изд. Л., 1988. С. 526. Комм. С. 670; Русская эпиграмма... 2-е изд. Л., 1975. С. 606. Комм. С. 905.

[2] Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959. С. 299.

[3] *Гумилев Н.* Стихи. Поэмы. Тбилиси, 1988. С. 434.

О ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА

Обнаруженные А.С. Жэховым в берлинской газете «Руль» за 1921 год и переопубликованные во втором номере «Русской литературы» за год 1992-й (с. 183—186) два очерка И.С. Соколова-Микитова под общим заглавием «На своей воле (из жизни красной деревни)» появились на ее страницах, увы, не в первый раз. Они уже печатались за два года до этого в другой газете и имели самостоятельные заголовки — «Дыра от баранки» и «Охранная грамота». Мне приходилось обращать на это внимание в связи с неточностями в монографии М.М. Смирнова «Иван Соколов-Микитов»,[1] но крохотная библиографическая заметка, судя по всему, осталась вне поля зрения исследователей творческого наследия писателя, равно как и осуществленная

[1] *Зленко Г.Д.* Читатель уточняет// Лит. Россия. 1975. 18 апр. № 16 (640). С. 11.

lib.pushkinskijdom.ru

двумя годами ранее А.С. Жэхова перепечатка «Охранной грамоты».[2]

Цикл «На своей воле», вобравший «сердца горестные заметы» о трагических явлениях постоктябрьских дней, был создан скорее всего в Крыму, где И.С. Соколов-Микитов очутился ранней осенью 1919 года, после драматического путешествия по Украине вместе с продовольственной делегацией, отряженной из Смоленска для заготовки хлеба.[3] Во всяком случае, ко времени захода писателя в Одессу на торговом судне «Дых-Тау», отшвартовавшемся у причала местного порта не позже конца первой ноябрьской декады того же года, рукопись была готова, и с ней И.С. Соколов-Микитов рискнул зайти к И.А. Бунину, который возглавлял литературный отдел некоей газеты. «Бунин, — сообщает Иван Сергеевич, — похвалил мой рассказ, сказал, что он будет напечатан, предложил мне "фикс" (так назывался в прошлые времена ежемесячный гонорар независимо от того — печатались или не печатались произведения автора). ⟨...⟩ На другой день я был у него в квартире, в большом пустынном здании.[4] Он вручил мне письмо своему знакомому... просил при случае это письмо передать. ⟨...⟩ На следующий день наш пароход уходил в Севастополь. С тех пор я не встречал Бунина».[5]

Примечательно, что ни в одном из нескольких вариантов мемуарного очерка об И.А. Бунине[6] писатель не приводит названия газеты, в редакции которой виделся с Иваном Алексеевичем. Наверное, он просто не упомнил его, а вероятнее, не решился предоставить возможность идеологическим надзирателям советской литературы найти «контрреволюционный компромат» против него, каковым могла послужить хотя бы та же «Охранная грамота» с ее яростным призывом «не верить советским "охранным грамотам" и советским посулам, даже если они подписаны *самим* (т.е. В.И. Лениным. — *Г.З.*)». А разыскать газету не доставляло большого труда: она была внесена в беспрецедентное описание одесской периодики эпохи гражданской войны[7] и едва ли не полным комплектом (за исключением десяти, 61—70-го, номеров) пылилась в «запаснике» Одесской гос. научной библиотеки им. А.М. Горького (теперь эта связка, просмотренная мной в первой половине 1970-х годов, куда-то запропастилась, и поиски ее остаются пока что безрезультатными; подшивка же, принадлежавшая недавно печально известному спецхрану, заключает незначительную часть номеров, вышедших на закате существования газеты). Это породило ряд догадок. М.М. Смирнов, в частности, писал, что И.С. Соколов-Микитов познакомился с И.А. Буниным в редакции «Одесских новостей», где тот «нашел свое последнее пристанище»,[8] хотя Иван Алексеевич в ранний период своих одесских связей сотрудничал в «Южном обозрении», а позже дружил в основном с журналистами «Одесского листка».

Встреча двух писателей состоялась примерно между 9—12 ноября 1919 года на Александровском (сегодня — Мира) проспекте, в доме № 11, где помещалась редакция «Южного слова». Эту газету основал академик Д.Н. Овсянико-Куликовский после очередного изгнания из Одессы большевиков. Финансировалась она издательством на паях «Русская культура»; первый номер вышел 27 августа (10 сентября) 1919 года. К участию в газете были привлечены Л.П. Гроссман, А.А. Кипен, А.М. Федоров, Т.Л. Щепкина-Куперник и ряд других местных и бежавших на юг литераторов.[9] И.А. Бунин печатался в ней самым активным образом. Начиная с 19-го номера за 14(27) сентября 1919 года, он поместил в «Южном слове» около десятка стихотворных циклов, серию публицистических заметок, рассказы «Соотечественник» и «Готами», две небольшие новеллы, наконец, несколько отрывков из лекции «Великий дурман».[10]

---

[2] *Соколов-Микитов И.С.* На своей воле (из жизни «революционной» деревни): Дубки; Охранная грамота/ Вступ. заметка и публ. Г.Д. Зленко// Вечерняя Одесса. 1990. 10 сент. С. 6. (Из лит. запасников).

[3] См.: *Ширмаков П.П.* На большаке русской литературы// Творчество И.С. Соколова-Микитова. Л., 1983. С. 21—22.

[4] И.А. Бунин жил тогда в доме художника Е.О. Буковецкого на ул. Княжеской (теперь — Баранова), № 27. Там недавно установлена мемориальная доска.

[5] *Соколов-Микитов И.С.* Слово о Бунине// Лит. наследство. 1973. Т. 84, кн. 2. С. 158; см. также: *Зленко Г.Д.* Знакомство писателей// Вечерняя Одесса. 1988. 19 нояб.

[6] Значительно расширенный вариант помещен, например, в кн.: *Соколов-Микитов И.С.* На теплой земле: Повести и рассказы. Л., 1979. С. 540—551.

[7] Одеська періодична преса років революції та громадянської війни. 1917—1921/ Опис Г.Д. Штейнванда; Ред. С.Л. Рубінштейн. Одеса, 1929. С. 85—86, № 212.

[8] *Смирнов М.М.* Иван Соколов-Микитов: Очерк жизни и творчества. Л., 1974. С. 33.

[9] Южное слово. 1919. 28 авг. (10 сент.). № 2. С. 4.

[10] Перепечатку одного из них, до сих пор не прочитанного буниноведами, в окружении других таких же материалов см.: *Зленко Г.Д.* Неизвестный Бунин: К 120-летию со дня рождения писателя. [Вступ. заметка и публ.: Бунин И.А. Интервью сотруднику «Одесского листка»; Страшные контрасты: (Ответ на анкету «Одесских новостей» к 100-летию со дня рождения И.С. Тургенева); Из «Великого дурмана»] // Всемирные одесские новости. 1990. Нояб.— дек. С. 8. Кстати сказать, в двух последних изданиях собр. соч. И.А. Бунина первое появление рассказа «Готами» отнесено к 1923 году. Между тем он опубликован значительно раньше(см.: *Бунин И.А.* Готами: Новый рассказ// Южное слово. 1920. 4(17) янв. № 3 (114). С. 2).

lib.pushkinskijdom.ru

После появления 38-го номера «Южного слова» в его редакции внезапно произошли перемены. Д.Н. Овсянико-Куликовский вместе с рядом ближайших сотрудников опубликовал открытое письмо о несогласии с курсом издательства «Русская культура» на включение в редколлегию представителей «некоторых правых групп», что, дескать, причинило бы «ущерб идее, носительницей которой является Добровольческая армия»,[11] и ушел из газеты, дабы основать «Современное слово». В состав редакции «Южного слова» были введены академики И.А. Бунин и Н.П. Кондаков, к сотрудничеству в нем привлечены А.Т. Аверченко, Б.В. Варнеке, П.А. Нилус, С.Н. Сергеев-Ценский, К.А. Тренев, И.С. Шмелев и др.[12] И.А. Бунин принял на себя руководство литературным отделом, намеревался печатать только первостатейных прозаиков и поэтов, однако выполнить эту программу не смог. Единственное, что он успел, — отвадил легковесных куплетистов и придал газете характер «ученого», академического издания, как аттестовал «Южное слово» в отчете о положении в захваченной деникинцами Одессе подпольный губком КП(б) Украины в лице одого из членов секретариата Нюры Палич, т. е. А.М. Панкратовой, будущего известного историка.[13]

Данное И.С. Соколову-Микитову слово И.А. Бунин сдержал: спустя неделю в «Южном слове» вышел тот самый рассказ Ивана Сергеевича, который похвалил Иван Алексеевич.[14] А потом был помещен цикл очерков «На своей воле (Из жизни «революционной» деревни)»: он шел в трех номерах и занял в общей сложности полосу.[15] Последней подаче предшествовало рекламное объявление, где сообщалось, что в рождественский день газета напечатает произведения К.А. Тренева, И.С. Соколова-Микитова, Тэффи (Н.А. Бучинской), Г.А. Шенгели.[16] Действительно, одновременно с очерками Ивана Сергеевича вышли рассказы «Будочница» К.А. Тренева, «Ярышка» Г.Д. Гребенщикова, очерк Тэффи «Стамбул» и ее же стихотворение «Джанум». К.А. Тренев и Тэффи выступали в «Южном слове» и ранее;[17] что касается Г.Д. Гребенщикова, то он появился здесь впервые, предпочитая печататься на страницах других одесских изданий, в частности журнала «Огоньки» и газеты «Одесский листок».

«Южное слово» выходило вплоть до 12(25) января 1920 года; свет увидели 120 номеров. Спустя два дня оно сменило заголовок на «Родное слово»; под ним газета издавалась до 24 января (6 февраля) 1920 года, наработав еще 10 номеров. Похоже, что на заключительном ее этапе И.С. Соколов-Микитов помещал тут свои произведения не только под настоящим именем, но и под псевдонимом Ив. Деревенский.[18] Однако без специальных разысканий в архивах и библиотеках, а прежде всего без текстологического анализа материалов, помещенных под явно вымышленной фамилией, относить их к И.С. Соколову-Микитову было бы опрометчиво.

Перепечатывая в «Руле» два из пяти очерков, ранее опубликованных в «Южном слове», автор внес легкую, совершенно несущественную правку; вполне возможно, что она принадлежит кому-то из сотрудников редакции. Разумеется, при возможном включении очерков в новые сборники произведений И.С. Соколова-Микитова желательно было бы воспользоваться текстами одесской газеты, которые прошли взыскательную редактуру И.А. Бунина.

Г. Д. Зленко

---

[11] Письмо в редакцию: Уход сотрудников «Южного слова»// Одесский листок. 1919. 3(16) окт. № 135. С. 3. Среди подписавших это письмо — фамилия Л.М. Леонова, что давно возбуждает любопытство, не был ли известный писатель в это время в Одессе, к чему имелись определенные предпосылки.

[12] См.: Южное слово. 1919. 6(19) окт. № 39. С. 1.

[13] В огне гражданской войны: Сб. документов и материалов. Одесса, 1962. С. 327.

[14] *Соколов-Микитов И.С.* Исподнее// Южное слово. 1919. 18 нояб. (1 дек.). № 77. С. 2.

[15] *Соколов-Микитов И.С.* На своей воле: Из жизни «революционной» деревни: Дыра от баранки; Легенда// Там же. 1(14) дек. № 89. С. 2; На своей воле// Там же. 6(19) дек. № 93. С. 2; На своей воле: (Из жизни «революционной» деревни): Дубки; Охранная грамота// Там же. 1919. 25 дек. (1920. 7 янв.). № 108. С. 3.

[16] См.: Там же. 1919. 24 дек. (1920. 6 янв.). № 107. С. 1.

[17] *Тренев К.А.* Наши дни: I. На даче// Там же. 1919. 14(27) нояб. № 73; *Тэффи.* Стамбул: I. Сонный Босфор// Там же. 20 окт. (2 нояб.); Стамбул: II. Жизнь// Там же. 27 окт. (9 нояб.).

[18] *Деревенский Ив.* Человеческий винегрет: (Записки беженца) // Южное слово. 1919. 18(31) дек. № 102. С. 3; *Деревенский Ив.* По пути бегства: (От нашего спец. корреспондента)// Родное слово. 1920. 14(27) янв. № 1. С. 3.

lib.pushkinskijdom.ru

В.Н. Запевалов

ОПЫТ БИОГРАФИИ Ф.Д. КРЮКОВА *

В истории русской литературы тема казачества едва ли не одна из самых малоизученных. И не только потому, что до последнего времени произведения и имена таких видных писателей, ее разрабатывавших, как Ф. Крюков, П. Краснов, И. Родионов, Р. Кумов, С. Арефин, находились под запретом и оказались забытыми. Сам по себе казачий вопрос — а это прежде всего «крестьянский вопрос в его весьма специфическом выражении» и одновременно «русский вопрос во всем его многообразии и трагичности»[1] — остается почти неизученным. А ведь «казачий образ жизни, — как утверждает исследователь, — быть может явился высшей формой развития русской общины».[2] Как бы там ни было, но в нем угадывается оригинальное проявление национальной жизни. Между тем среди историков и этнографов до сих пор нет единой точки зрения на происхождение, роль и место казачества в русской истории, хотя Лев Толстой, казалось бы, со всей определенностью писал по этому поводу в дневнике: «Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть».[3]

Начавшееся в стране мощное движение за возрождение российского казачества пробудило интерес к истокам и корням, героическому прошлому народа, изучению его духовной и материальной культуры, созданной за долгие годы самобытного, многотрудного существования. Переиздаются труды некоторых дореволюционных историков казачества (Ф. Щербина, Е. Савельев и др.), возвращаются к читателю забытые имена и произведения казачьих писателей, появляются статьи и исследования об их жизни и творчестве.[4] Наибольший интерес критика и литературоведение проявляют к Ф.Д. Крюкову (1870—1920), писателю, публицисту и общественному деятелю Дона и России. Этот интерес во многом подогревается многолетней дискуссией вокруг надуманной проблемы авторства «Тихого Дона», начавшейся в западном литературоведении после выхода в 1974 году (в канун празднования семидесятилетия М.А. Шолохова) книги Д.*[5] «Стремя "Тихого Дона" (Загадки романа)» с предисловием и послесловием А. Солженицына. Имя Крюкова обрело с тех пор едва ли не мировую скандальную известность.

Полтора десятилетия спустя эта дискуссия, возобновленная на страницах журнала «Вопросы литературы»,[6] была подхвачена другими изданиями и имела, по справедливому замечанию критика В. Васильева, «характер экстатической сенсационности».[7] Дискуссия проходила в то время, когда в стране активно публиковались произведения тех авторов, которые в силу многих причин оказались вычеркнутыми из русской литературы. На этой волне и произошло возвращение Крюкова к читателю. В настоящее время изданы два сборника прозы писателя.[8] Им предшествовала серия газетных и журнальных публикаций его очерков и рассказов.[9] О Крюкове

---

* *Астапенко М.* Его называли автором «Тихого Дона»: Очерк. Ростов-на-Дону, 1991. 115 с.

[1] *Ткаченко Петр.* «Политклуб» в папахе // Наш современник. 1992. № 3. С. 147.

[2] *Трофимов В.* Казачий вопрос // Дон. 1990. № 2. С. 134.

[3] *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 48. С. 123.

[4] См.: *Сатарова Л.Г.* Донское казачество в прозе рубежа 19—20 вв. М., 1992.

[5] За этим криптонимом скрыла свое имя советский литературовед И.Н. Медведева-Томашевская, жена известного пушкиниста. См.: Взгляд из Парижа [Интервью с Н. Струве] // Лит. газ. 1990. 2 мая.

[6] См.: Вопросы литературы. 1989. № 8. С. 148—222; 1991. № 2. С. 3—81.

[7] *Крюков Федор.* Без огня /Вступ. слово Владимира Васильева // Молодая гвардия. 1990. № 7. С. 49.

[8] *Крюков Ф.Д.* Рассказы. Публицистика / Вст. ст. и прим. Ф.Г. Бирюкова. М., 1990; *Крюков Ф.Д.* Офицерша: Повести и рассказы /Вст. ст. и прим. И. Данилова. Краснодар 1990.

[9] *Крюков Федор.* Станичники /Вст. сл. В. Калугина // Слово. 1989. № 11. С. 70—73; *Крюков Федор.* Без огня. Рассказ. /Вст. сл. Владимира Васильева // Молодая гвардия. 1990. № 7. С. 48—78; *Крюков Федор.*. Офицерша /Вст. зам., подг. текста и публ. Ф. Бирюкова // Советский воин. 1990. № 11. С. 28—47, 67; *Крюков*

lib.pushkinskijdom.ru

сегодня пишут и спорят не только историки литературы, но и писатели. Жизнь и судьба Крюкова нашли отражение в романах А. Солженицына «Красное колесо» и «Красные дни» А. Знаменского. Появляются статьи, архивные разыскания, работы биографического характера.[10]

Выпущенная ростовским издательством «Единство» книга донского историка и краеведа М. Астапенко «Его называли автором "Тихого Дона"», как указано в аннотации, посвящена «жизни и литературной судьбе Федора Дмитриевича Крюкова, вновь открытого для нас донского писателя-казака, депутата I Государственной Думы, секретаря Донского войскового круга». Она написана в привычном для автора жанре биографического очерка, как, впрочем, и две ранее вышедшие из-под его пера книги о К. Булавине и М. Платове.[11] В композиционном построении очерка (его составили пять глав: «...Казак, учитель, литератор...», «Депутат Государственной Думы», «В гуще литературной жизни», «Секретарь войскового круга», «В памяти потомков») реализована установка автора на жизнеописание. М. Астапенко стремится очертить этапные моменты жизненного пути Крюкова, выявить важнейшие факторы, повлиявшие на характер его творческого и политического самоопределения в сложном общественно-литературном контексте переходной эпохи. Основное внимание он сосредоточил на двух темах — Крюков-литератор, Крюков-политик.

Как подчеркивается в предисловии к книге, она «написана на основе редких, никогда не публиковавшихся материалов, хранившихся в специальных фондах и частных архивах» (с. 4). Действительно, автор привлекает ряд труднодоступных, ставших раритетными изданий донской периодики периода гражданской войны («Донские ведомости», «Донская волна», «Вольный Дон», «Утро Юга»), использует малоизвестные эпистолярные и мемуарные источники. В книге представлены редкие фотографии Крюкова и лиц из его окружения. Эти вводимые в научный оборот материалы во многом расширяют и дополняют наше представление о Крюкове-литераторе, Крюкове-политике. И в этом, надо признать, одно из достоинств книги. Не умаляя никоим образом заслуг В. Проскурина,[12] ее можно назвать первым опытом биографии Крюкова.

В то же время нельзя не отметить ряд существенных недостатков, присущих книге. Прежде всего обращает на себя внимание библиографическая неосведомленность автора, поверхностное знание им истории изучения и восприятия творчества Крюкова критикой как дореволюционного, так и советского периодов. А ведь литература о нем на сегодняшний день насчитывает более ста наименований (статьи, рецензии, публикации архивного характера, мемуарные заметки), полностью или частично посвященных ему. Понятно, что знакомство с ней, а также поиск и выявление новых литературных и исторических источников, равно как и изучение массива архивных материалов, находящихся в разных хранилищах и библиотеках Москвы, Петербурга, Орла, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, требует от каждого автора многолетнего, кропотливого труда, без чего немыслима никакая работа историка литературы. Однако М. Астапенко предпочел иной путь — путь компиляции. Вот почему круг источников, выбранных для построения биографии Крюкова, оказался весьма суженным. Отсюда неполнота и фрагментарность в освещении многих сторон жизни Крюкова. Анализ в книге по существу подменяется неумеренным цитированием. Главы «Секретарь войскового круга» и «В памяти потомков» построены в основном на обзоре юбилейных статей еженедельника «Донская волна» и сборника «Родимый край», изданного в 1918 году к 25-летию творческой деятельности писателя. М. Астапенко не

Федор. Казачка // Русское богатство. 1991. № 1. С. 60—104; *Крюков Федор.* Мечты /Вст. сл. Бориса Берендюкова // Кубань. 1991. Август. С. 31—43; *Крюков Федор.* Обыск (Упрощенным порядком) /Вст. замет. А. Вихряна // Советская Россия. 1990. 18 февр. № 42; *Крюков Федор.* В глубине: Очерки из жизни глухого уголка // Вокруг света. 1991. № 4. С. 38—43; *Крюков Ф.Д.* Зов братьев. Живые вести /Вст. зам. и публ. А.А. Зайца //Казачьи ведомости (газета казачьего землячества Невской станицы). 1991. Вып. 1.

[10] *Мезенцев М.* 1) На пути к истине // Веч. Ростов. 1987. 14 сент. № 21; 2) Судьба архива Ф.Д. Крюкова // Коммунистический путь. 1988. 9 сент. № 108; 13 сент. № 109; 16 сент. № 111; 19 сент. № 114; 3) Еще живет надуманная правда // За советскую науку. Ростов-на-Дону. 1990. 19 марта. № 11; *Шумов В.* 1) Бытописатель казачьей жизни // Коммунистический путь. 1988. 26 июня. № 88; 2) Отличный человек и даровитый писатель // Вече. 1991. № 11. С. 12; Переписка Ф.Д. Крюкова с А.С. Серафимовичем /Вст. ст., подг. текста и коммент. В.М. Проскурина // Волга. 1988. № 2. С. 147—167; *Мраморнов Олег.* Как отредактировали Крюкова в «Советской России» // Станица. 1991. Январь. № 1; *Бирюков Ф.Г.* «Я люблю Россию...» (О Федоре Дмитриевиче Крюкове) // Литература в школе. 1991. № 2. С. 13—24; *Васильев Владимир.* Ненависть (Заговор против русского гения) // Молодая гвардия. 1991. № 11. С. 239—263; № 12. С. 225—235; *Ермолаев Г.С.* (США). О «Стремени "Тихого Дона"» // Русская литература. 1991. № 4. С. 34—44; *Сатарова Л.Г.* Возвращение Федора Крюкова // Казачьи ведомости. 1991. № 3; *Солженицын Александр.* Бодался теленок с дубом /Очерки литературной жизни. Пятое дополнение. 1974—1975 // Новый мир. 1991. № 12. С. 69—76; *Моисеева Ольга.* Донской писатель Федор Дмитриевич Крюков // Русская мысль. 1992. 17 апр. № 3925. С. 11.

[11] *Астапенко М.* Кондратий Булавин. Ростов-на-Дону, 1988; *Астапенко М.П., Левченко В.Г.* Атаман Платов: Жизнеописание. М., 1988.

[12] *Проскурин В.* К характеристике творчества и личности Ф.Д. Крюкова // Русская литература. 1966. № 4. С. 179—186.

lib.pushkinskijdom.ru

учитывает того обстоятельства, что эти статьи были написаны людьми из ближайшего окружения Крюкова, к тому же в особой обстановке и по особому случаю. На них лежит печать неизбежной комплиментарности. Автор весьма некритично подходит к оценке этих материалов. Так, еженедельник «Донская волна», помещая к юбилею редакционную биографическую справку о Крюкове, допустил ошибку.[13] Скорей всего это было сделано преднамеренно, с тем чтобы весомее представить творчество Крюкова в дни юбилея. Начало его литературной деятельности связывалось с рассказом «Казачка», опубликованным в журнале «Русское богатство» в 1896 году. Этот рассказ был отнесен в заметке к 1893 году. Однако начало литературной деятельности Крюкова связано не с 1893 годом и не с рассказом «Казачка», а с миниатюрами, которые он напечатал в 1892 году в «Петербургской газете» под псевдонимом А.Березинцев. Излишне доверяясь юбилейным материалам, М. Астапенко пишет: «В октябре 1893 года в журнале "Русское богатство", который редактировал Владимир Галактионович Короленко, появился рассказ Федора Дмитриевича "Казачка". С него-то и начался отсчет в творчестве Крюкова» (с. 8).

Следует указать и на другие ошибки и неточности в книге. Цитируя слова критика А. Горнфельда из его некролога о Крюкове, который первым точно определил место писателя в русской литературе, М. Астапенко существенно искажает их смысл: «Федор Дмитриевич принадлежит к тем подлинным создателям художественного слова, которыми по праву гордится русская литература» (с. 45). У А. Горнфельда это высказывание звучит совершенно иначе: «Ф.Д. принадлежит к тем *второстепенным*, но подлинным создателям художественного слова, которыми по праву гордится русская литература».[14]

В главе «Депутат Государственной Думы» М. Астапенко пишет: «О роспуске Думы, — вспоминал Крюков, — я узнал, как большинство депутатов, утром, 9 июля (1907 года. — *В.З.*) из газет» (с. 31). Далее из текста мы узнаем, что взволнованный прочитанным, Крюков поехал в Таврический дворец. Оттуда с группой депутатов, решивших не подчиняться указу царя о роспуске Думы, он перебрался в Выборг, где находился с 9 по 11 июля 1907 года. А далее следует странность, вызывающая недоумение: «Наскоро собравшись, Федор Дмитриевич, усталый и опустошенный происшедшими событиями, отбыл поездом на Дон, в родную Глазуновскую. Здесь он сразу же попал под гласный надзор полиции. 9 июля 1907 года в его доме по распоряжению Усть-Медведицкого округа был произведен обыск. Полицейские чины изъяли у бывшего члена Государственной Думы двадцать одну брошюру "для проверки по каталогу", как разъяснил Крюкову жандармский офицер, производивший обыск» (с. 36). Судя по документальному очерку «Обыск (Упрощенным порядком)», в основу которого лег этот эпизод из жизни писателя, обыск производился в присутствии Крюкова.[15]

Требует комментария предисловие к книге, в котором М. Астапенко, в частности, пишет, что Крюков «был знаком с В. Короленко, М. Горьким, И. Буниным и другими выдающимися писателями России. Политическая деятельность Крюкова свела его с Николаем II, П.А. Столыпиным. Он слушал В.И. Ленина, который отозвался на некоторые произведения Федора Дмитриевича. Среди его близких знакомых — А.М. Каледин, М. Богаевский, П.Н. Краснов, А.И. Деникин, Л.Г. Корнилов, Ф. Миронов и многие другие политические деятели Дона и России» (с. 4).

Понятно стремление М. Астапенко вписать Крюкова в широкий общественно-литературный контекст времени, показать окружение писателя, однако многое из того, о чем заявлено в предисловии, осталось лишь упоминанием. Читателю не ясно, где, когда и при каких обстоятельствах Крюков, например, познакомился с Буниным, где и когда «слушал Ленина», наконец, каковы были его взаимоотношения с деятелями белого движения — Калединым, Богаевским, Красновым, Корниловым.

Не получила должного освещения в книге линия отношений Крюкова с его земляками — Ф. Мироновым и А. Серафимовичем. М. Астапенко оставил без внимания многие публикации последнего времени, посвященные этой теме.

Голословным осталось утверждение М. Астапенко о том, что «среди довольно близких знакомых Крюкова» в предвоенные годы «можно назвать... А. Куприна, Л. Андреева, Ф. Сологуба, Д. Мережковского, С. Булгакова» (с. 50). Автор не приводит в подтверждение ни одного документа. Мало аргументированным выглядит и суждение о том, что Крюков был знаком с Блоком: «По мнению людей, знавших Крюкова и круг его знакомых, он был знаком и с Александром Блоком, жена которого, Любовь Дмитриевна, была дочерью родственницы Крюкова — второй жены Дмитрия Ивановича Менделеева — Поповой Анны Ивановны (она и дядя Крюкова Попов Василий Алексеевич состояли в родстве)» (с. 50). Ссылка автора на беседу с М.А. Асеевой, думается, не может служить весомым документальным свидетельством сказанного.

Особо следует остановиться на интригующем названии книги, которым, надо полагать, М. Астапенко хотел привлечь внимание читателя. Оно, во-первых, звучит по меньшей мере некорректно по отношению к Шолохову; во-вторых, никак по существу не отражается в тексте очерка. М. Астапенко намеренно или ненамеренно уклоняется от освещения истории вопроса об авторстве «Тихого Дона», и читателю не ясно, как и почему Крюков оказался в ряду многочисленных претендентов на

---

[13] См.: Донская волна. 1918. 18 нояб. № 23.

[14] *Горнфельд А.* Памяти Ф.Д. Крюкова // Вестник литературы. 1920. № 6. С. 15.

[15] См.: *Крюков Федор.* Обыск (Упрощенным порядком) // Сов. Россия. 1990. 18 февр. № 42. С. 4.

lib.pushkinskijdom.ru

книгу века. Историк предлагает читателю самому решить эту пресловутую проблему и отсылает его к очерку Крюкова «На тихом Дону» (1898), который якобы и «дал основание объявить Крюкова автором романа "Тихий Дон"» (с. 4). Это ничем не обоснованное суждение воспринимается не иначе, как новая, сочиненная автором очерка версия. М. Астапенко, вероятно, спутал здесь Крюкова с С. Голоушевым, с именем которого в тридцатые годы связывалась одна из легенд о мнимом плагиате. Но и газетный очерк Голоушева (опубликован в 1917 году в эсеровском «Народном вестнике» под псевдонимом Сергей Глаголь), который послужил поводом для новой кампании клеветы против Шолохова, когда вышла в свет книга «Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева» (М.: Федерация. 1930), назывался несколько иначе — «С тихого Дона».[16]

Отсылая читателя к очерку Крюкова «На тихом Дону», М. Астапенко в то же время отмечает в первой главе: «Сейчас с помощью беспристрастного компьютера математически точно доказано, что это не соответствует истине и что Шолохов есть и будет единственным и настоящим творцом знаменитой эпопеи»(с. 5).

Двусмысленно звучит фраза М. Астапенко из предисловия, которая несет, помимо воли автора, тот смысл, что якобы Шолохов имел какое-то отношение к тому, что произведения Крюкова не переиздавались: «Долгие годы его (Крюкова. — *В.З.*) имя и произведения были под строжайшим запретом, ибо в окололитературных кругах считалось, что он был автором эпопеи "Тихий Дон"» (с. 4). Во-первых, «имя и произведения» Крюкова не находились под строжайшим запретом. О Крюкове писали и говорили, с его произведениями, созданными в дореволюционный период, читатель мог познакомиться в библиотеке. Единственное, что тогда попало в спецхран, — публицистика писателя 1917—1920 годов. Во-вторых, Шолохов не имел никакого отношения к тому, чтобы запрещать или не запрещать издание книг Крюкова. Напротив, он весьма однозначно выразил свое отношение на сей счет в письме к В. Проскурину от 18 декабря 1964 года: «Мне думается, что дело неплохое — ознакомить читателя с писателями конца прошлого — начала нынешнего веков, в том числе, разумеется, и с Крюковым. К сожалению, у нас преданы забвению имена талантливых людей, почему-либо не получивших известности в свое время».[17]

Читатель многого не найдет в книге М. Астапенко. Например, страниц о судьбе архива Крюкова, о котором в литературе имеются самые противоречивые сведения; страниц о том, работал или не работал писатель над романом из казачьей жизни. Остается лишь гадать, почему эти дискуссионные вопросы не нашли отражения в очерке.

Характеризуя книгу М. Астапенко в целом, заметим, что это пусть и не во всем удачный, но *первый* опыт биографии Ф.Д. Крюкова. Несмотря на недочеты, книга не должна оставаться незамеченной, ибо обращена к судьбе такой сложной и противоречивой личности, как Ф.Д. Крюков, находящейся ныне в центре литературных полемик и дискуссий вокруг романа-эпопеи «Тихий Дон». Однако введение Крюкова в широкий литературно-общественный контекст сопровождается разного рода издержками. Между тем от исследователей его творчества требуется основательное фактическое обеспечение биографии писателя, а уж тем более — свобода от тенденциозности и прямых ошибок.

---

[16] См.: *Глаголь Сергей.* С тихого Дона // Народный вестник. 1917. № 12, 13-14 за 24 и 28 сентября.

[17] *Мезенцев М.* Судьба романа // Вопросы литературы. 1991. № 2. С. 20—21.

lib.pushkinskijdom.ru

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е.Р. ДАШКОВОЙ

22—26 марта 1993 года в Петербурге было отпраздновано 250-летие со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Е.Р. Дашковой. Торжества были организованы Санкт-Петербургским научным центром РАН совместно с Воронцовским обществом при участии Библиотеки Российской академии наук, Российской национальной библиотеки, Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Музея истории Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургского филиала Института естествознания и техники, Архива Российской академии наук и других организаций. Сам факт празднования юбилея Дашковой, в течение многих лет невозможный из-за аристократического происхождения сподвижницы Екатерины II, свидетельствует о возвращении в русское общество исторической объективности по отношению к собственному прошлому.

Благодаря знаменательной дате более полно было осмыслено место выдающейся женщины в русской культуре XVIII века, осознана роль в истории Императорской Петербургской Академии наук, директором которой Дашкова была в 1783—1794 годах. Как известно, она стала и президентом организованной по ее инициативе в 1783 году Российской Академии, главным трудом которой явился первый толковый словарь русского языка.

Дашкова была также в центре литературной жизни своего времени — поощряла писателей, редактировала известные общественно-литературные журналы («Собеседник любителей российского слова» в 1783—1784 годах и «Новые ежемесячные сочинения» в 1786—1796 годах), писала пьесы, переводила. Образованнейшая женщина своего времени, она дружила с выдающимися европейскими философами, учеными, артистами, скульпторами.

Эти и другие грани личности Дашковой были в фокусе внимания участников научной конференции, прошедшей в Санкт-Петербургском научном центре РАН 24—26 марта при участии русских и зарубежных исследователей. Прелюдией к ней стало открытие 22 февраля книжной выставки в Библиотеке Российской академии наук.[1]

Первый день конференции был особенно насыщен. Ее открыл ученый секретарь Санкт-Петербургского научного центра РАН Э.А. Тропп. Приветственное слово от представителей рода Воронцовых-Дашковых, рассеянных ныне по всему миру, произнес А.И. Воронцов-Дашков, преподаватель русской литературы в Смит колледже (Нортхэмптон, США). Он же чуть позже в отдельном сообщении рассказал о своей находке, сделанной в Ялте, где им была обнаружена опись библиотеки Дашковой. Заслугам выдающейся женщины в области русского просвещения были посвящены доклады Ю.Д. Марголиса и Г.А. Тишкина «Вклад Е.Р. Дашковой в развитие университетского образования» и Г.И. Смагиной «Е.Р. Дашкова и школьное образование». Оценка ее личности оказалась в центре внимания трех выступавших — кембриджский профессор Э. Кросс рассматривал прижизненные высказывания о Дашковой англичан, В.А. Сомов — отзывы о ней французских писателей и публицистов, А.Е. Чекунова анализировала суждения о ней соотечественников (как современников, так и потомков). Анализ понимания Дашковой монархической идеи был предложен в докладе американской исследовательницы С. Уиттэйкер, где была также затронута история ее взаимоотношений с Екатериной II. Деятельность Дашковой как редактора крупнейшего журнала своего времени, сплотившего лучшие литературные силы, была рассмотрена в докладе Н.Д. Кочетковой «Е.Р. Дашкова в "Собеседнике любителей российского слова"». В центре внимания исследовательницы было разное понимание задач журнала Дашковой и императрицей — они не совпадали изначально (статья «От издателей» и «Письмо к издателям из Звенигорода»); в дальнейшем расхождения лишь усилились. Вместе с тем сопоставление произведений Дашковой, напечатанных в «Собеседнике», с сочинениями Д.И. Фонвизина свидетельствует об их идейно-тематической близости. Дашковой-литератору был посвящен также доклад немецкого ученого Ф. Гёпферта «Дашкова-драматург: "Свадьба Фабиана" как продолжение "Armut und Edelsinn" Коцебу», в котором на основании биографических материалов анализировалась не дошедшая до наших дней пьеса. Сообщение С.Р. Долговой «Княгиня Дашкова и семья Малиновских» основывалось на документах, которые вводятся в научный оборот. Это архив

[1] См. подробнее: Е.Р. Дашкова (1743—1810): Каталог книжной выставки. СПб., 1993.

lib.pushkinskijdom.ru

известного историографа А.Ф. Малиновского, женатого на племяннице Дашковой А.П. Исленьевой, — здесь сохранились письма Дашковой и М. Вильмот к Малиновским и жизнеописание Дашковой, законченное А.Ф. Малиновским 9 мая 1836 года.

Наибольшие споры вызвал доклад М.М. Сафонова «Е.Р. Дашкова и ее "Записки"», в котором под сомнение ставилось авторство Дашковой. Докладчик высказал предположение, что К. и М. Вильмот записывали устные рассказы своей покровительницы, в их распоряжении были также ранее опубликованные сочинения Дашковой и ее заметки на книгах Ж.-А. Кастера и К.-К. Рюльера. Составленное таким образом некое единое целое было представлено стареющей и больной Дашковой на апробацию. Версия М.М. Сафонова объясняет отсутствие в «Записках» важнейших моментов биографии их автора, особенности повествования, многочисленные анахронизмы и т.д.

В докладе К.Ю. Лаппо-Данилевского «Об итальянском путешествии Е.Р. Дашковой в 1781 году», открывшем второй день конференции, были рассмотрены «итальянские» страницы ее «Записок» в контексте русских и европейских свидетельств XVII—XVIII веков об этой стране. Мотивы и маршрут путешествия 1781 года позволяют связать эту поездку с традицией «Grand tour». Сообщение сотрудницы Русского музея Е.И. Столбовой содержало обширную аргументацию в пользу некогда отвергнутой атрибуции — речь шла о портрете Дашковой кисти неизвестного художника, который ныне хранится в Меншиковском дворце-музее в Петербурге. Долгое время считалось, что на нем изображен князь А.А. Меншиков, однако особенности костюма, прическа, черты лица позволяют отклонить эту атрибуцию. В заключение исследовательница обратилась к портрету, хранящемуся в Архиве Академии наук, до сих пор он считался изображением Дашковой в пожилом возрасте, несмотря на то что некоторые детали указывали на другое лицо. Им оказалась графиня Анна Алексеевна Матюшкина, ставшая статс-дамой в один день с Дашковой. Длительные архивные разыскания были суммированы в докладе Л.И. Бройтман «Петербургские адреса Е.Р. Дашковой», рассмотревшей историю домов и земельных участков, принадлежавших Дашковой, ее родителям и родственникам мужа.

Второй день завершился юбилейным концертом, первое отделение которого было составлено из музыкальных произведений второй половины XVIII века (арии из опер Дж. Паизиелло и В.А. Пашкевича, соната для скрипки И.Д. Хандошкина), прозвучала и музыка, написанная самой Дашковой («Английский духовный гимн», «Контраданс и менуэт»). Затем была представлена комедия Дашковой «Тоисиоков, или Человек бесхарактерный», не ставившаяся на сцене со времени царствования Екатерины II. Пьеса, сыгранная на сцене Эрмитажного театра, как бы перенесла зрителей на 200 лет назад, в атмосферу споров о человеческой природе, столь характерных для эпохи Просвещения.

Третий день конференции был посвящен не столько Дашковой, сколько представителям ее рода. В.А. Удовик рассказал об истории дружбы, связывавшей А.Р. Воронцова и А.Н. Радищева. В.О. Кацыком был зачитан доклад отсутствовавшего французского историка Ж. Брийара «М.С. Воронцов в Мобеже», посвященный деятельности М.С. Воронцова во главе русского оккупационного корпуса во Франции. Сообщение Д.И. Исмаил-Заде явилось по сути дела первой попыткой объективного анализа программы экономических и социальных преобразований кавказского наместника Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, его непростых отношений с Николаем II и Государственной Думой. Всего за три дня конференции было прочитано около 30 докладов, из которых лишь часть нами была отреферирована выше.[2]

Юбилейные торжества, посвященные 250-летию со дня рождения Дашковой, стали значительным событием в культурной жизни города на Неве. С одной стороны, они подчеркнули важность преемственности в созидательной деятельности различных поколений, с другой — обнажили зияющие раны, нанесенные России революцией 1917 года и до сих пор не зарубцевавшиеся: достаточно вспомнить о разграбленных коллекциях Воронцовых, поругании их могил (в том числе самой Дашковой в Троицком), разрушении и осквернении церквей в их имениях. В целом же юбилей свидетельствовал о возвращении в русское общество системы подлинных приоритетов и о благодарной памяти потомков по отношению к одной из наиболее замечательных сподвижниц Екатерины II.

Участники торжеств высоко оценили деятельность членов Оргкомитета и в первую очередь его секретаря Е.А. Ивановой, а также бескорыстную исследовательскую, популяризаторскую и общественную активность членов Воронцовского общества.

К.Ю. Лаппо-Данилевский

---

[2] Краткое изложение докладов см. в кн.: Международная конференция «Воронцовы — два века в истории России: К 250-летию Е.Р. Дашковой». Санкт-Петербург, 24—26 марта 1993 года. Тезисы докладов российских участников. СПб., 1993.

lib.pushkinskijdom.ru

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ В КОНТЕКСТЕ СВОЕЙ ЭПОХИ

(МАТЕРИАЛЫ IV ПЛАТОНОВСКОГО СЕМИНАРА)

28 октября 1992 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН прошло очередное заседание Платоновского семинара. Семинар проводится с весны 1990 года (о первых трех заседаниях см.: *Харитонов А.А.* Платоновский семинар в Пушкинском Доме// Русская литература. 1992. № 1. С. 224—227) и объединяет усилия ученых разных специальностей — литературоведов, историков, философов, социологов, изучающих жизнь и творчество Андрея Платоновича Платонова (1899—1951).

В работе IV Платоновского семинара «Андрей Платонов в контексте своей эпохи» приняли участие сотрудники Отдела новейшей русской литературы ИРЛИ, специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Ставрополя, Петрозаводска, Иванова.

Вела заседание и произнесла вступительное слово заведующая Отделом новейшей русской литературы ИРЛИ докт. филол. наук Н.А. Грознова. Она говорила о значении наследия Андрея Платонова в истории национальной культуры и о том глубоком кризисе, который переживает наука о русской литературе послеоктябрьского периода. Охарактеризовав состояние сегодняшнего платоноведения как затишье после всплеска общественного интереса, вызванного публикациями перестроечных лет, Н.А. Грознова призвала участников семинара оценить творчество писателя в контексте его времени, насытить науку о Платонове архивными материалами, без которых тщетными останутся наши попытки воссоздать историческую истину во всей ее полноте.

Докт. филол. наук Н.В. Корниенко (ИМЛИ, Москва). ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 30-Х ГОДОВ И ПОИСК ПЛАТОНОВА В 30-Е ГОДЫ

Обращаясь к 30-м годам и, в частности, к творчеству Платонова, мы неизбежно выходим к проблеме перелома, совершавшегося тогда в советской литературе. 1931 год был назван «годом перелома» на I Съезде советских писателей — вспомните известное выступление Всеволода Вишневского: «У нас были переломы: 1917 год; нэп; 1929—1930; а в 1931 году партия нас повела»; именно в это время появляются общие установки, касающиеся идеологического и творческого руководства литературой. Мы обычно склонны считать, что эти установки — о реконструкции тематики, о реконструкции романа, о реконструкции всех изобразительных средств — исходили от критиков РАППа. Но если мы будем объективны и обратимся к материалам 1930—1931 годов, то увидим, что левее рапповцев в деле перестройки литературы и в требовании смены литературной политики были представители «Перевала» и Всероссийского Союза советских писателей — оплота оппозиции РАППу в 1920-е годы.

Платоноведов долго волновал вопрос: подписывался ли Платонов под декларацией «Перевала»? Мы и сегодня не имеем однозначного ответа: Алексей Платонов подписался или Андрей Платонов, потому что стоит «А. Платонов»; однако, насколько позволяет судить творчество писателя, Андрей Платонов подписаться под платформой «Перевала» не мог.

Перелом, совершившийся в 1930-е годы, применительно к творчеству Платонова важен еще и в другом плане: принимал ли он надвигающиеся сверху и извне требования кардинальной ломки системы, мировоззрения, изобразительных средств? Безусловно, принимал. Это отразилось, скажем, на двух редакциях повести «Впрок» — 1930 и 1931 года — и на всем поиске Платонова 30-х годов.

В прозе 30-х годов у больших художников этот перелом уходил в глубинные пласты содержания, которые нам еще предстоит прочитать; с уровня фабулы они уходили в глубины *под*текста, они выстраивали текст по законам того, что Мандельштам называл в «Разговоре о Данте» «приемом гераклитовой метафоры», принципиально *не*однозначной по своему содержанию. В этом смысле платоновский поиск приобщен к поиску Леонида Леонова 30-х годов («Дорога на Океан»), к поиску Горького — Платонов в 30-е годы обращается к Горькому не только как к руководителю Союза писателей, но и, в первую очередь, как к автору окуровских вещей и «Жизни Клима Самгина».

В контексте идеологической оглашенности 30-х годов принципиальный смысл имеет повесть Платонова «Джан». Она создавалась в 1935 году, когда в советской литературе уже существовал целый пласт произведений о социалистическом преобразовании Востока. Первая писательская поездка в Туркмению состоялась в 1930 году; были созданы «Путешествие в Туркменистан» и «Пустыня» Павленко, «Саранчуки» Леонова, повести и рассказы Всеволода Иванова, Тихонова и других писателей. Тема социалистических преобразований Востока очень показательна в отношении тех параметров, по которым в 30-е годы разрабатывалась тема второй природы: это слом религиозной модели Востока; это слом кочевничества и привнесение оседлых, европейских моделей жизни; это уход от прежних обычаев. Как писал Павленко, «история преобразуется полностью; Бухара как сказочный Китеж-град Востока должна перестать существовать»; иными словами, Восток должен расстаться со своими ценностями. Платонов в своих произведениях о Туркмении вступает в спор с Павленко, и это не есть их сугубо частный диалог: к 1934 году Павленко возглавляет Всероссийский Союз советских писателей и является, по сути дела, идеологом и законодателем темы социалистических преобразований Востока.

Январь—февраль 1935 года — время создания повести «Джан». Полемика с Павленко, полемика с Тихоновым здесь идет именно на уровне подтекста, на уровне метафорического густого строя текста повести. Если, скажем, Пав-

lib.pushkinskijdom.ru

ленко постоянно пишет: пустыня должна быть сдана; в пустыне ничего нет; пустыня должна быть преобразована, то платоновская сквозная метафора в «Джане» — пустыня не пустая, в ней люди живут. Все растения, все живые существа «Путешествия в Туркменистан» Павленко появляются у Платонова, появляются как мир живой, как мир, который живет по собственным вечным законам.

И еще один важный момент. Как вы помните, на I Съезде советских писателей в докладе Радека прозвучал тезис: «Джойс или соцреализм». Выбор был предрешен: под запретом как буржуазное, как несоциалистический путь слова оказывался не только Джойс, но и Пруст. До «Джана» Платонов фактически никогда не выходил на форму открытого потока сознания. Но в «Джане» — если читать повесть по рукописи — в тех местах, где он описывает состояние умирающего народа, мы вообще не увидим знаков препинания; это потом их расставили и перевели слитный текст в диалоги. На самом же деле это, действительно, поток сознания.

Еще раньше, в 1933 году, Платонов пишет «Мусорный ветер». Тема его — кризис, гибель Европы; весь рассказ построен как поток сознания Лихтенберга, которое разрушено и не может вместить в себя эту действительность. Не случайно, переходя к «Джан», Платонов записывает в черновиках: «Азия. Приход хозяина. Европа».

Для Платонова всегда была важна народоведческая тематика; и в повести «Джан», даже когда от него потребовали написать новый финал — и он написал возвращение народа джан на родину, — даже под этим прессингом он оставил народ хранителем тех ценностей, которые он исповедовал в прошлом. Народ джан формулирует ту идею свободы, которую не может сформулировать Лихтенберг в «Мусорном ветре». Лихтенберг понимает, что мир разрушен, вспоминает Декарта и всю европейскую философию, и в то же время сознает, что происходит и разрушение человека — и не только сознания, но и самого тела его. А народ джан в финале формулирует саму идею повести — идею души: народу джан не нужен социализм, не нужно богатство, у народа джан есть самое большое богатство, говорит Суфьян, — душа, способность мучиться и страдать.

Для меня «Джан» — это туркменский вариант трагедии радикального перелома строя национальной жизни. Есть русский вариант ее — «Чевенгур»; «Джан» — это зеркальный, туркменский «Чевенгур». Идеологи «Чевенгура» недоуменно взирают, как кротко идет народ по адову дну коммунизма, — и только тогда они прозревают: это тысячелетняя религия питала национальные корни, воспитала в народе умение страдать, умение прожить жизнь как приуготовление к смерти.

И последнее, о чем хотелось сказать: как опыт 1933—1934 годов отразился на выборе самого героя. Для Платонова Назар Чагатаев — «выдуманный персонаж», так он его определил в списке героев. Назар Чагатаев — сколок с «Чевенгура», с идеи Прошки Дванова: «Я вам чистый Чевенгур привез... они не армяне, не русские, не украинцы; они — безотцовщина». Пройдя русский полюс безотцовщины — «Чевенгур», европейский полюс безотцовщины — «Мусорный ветер», Платонов приходит к «Джан», которая являет собой третий, восточный полюс безотцовщины. В «Джане» проблема безотцовщины фактически приобретает характер всемирной проблемы.

В образе Назара Чагатаева, в экспозиции этого героя, явствен конкретный диалог, который Платонов вел еще с 20-х годов, — диалог с В.Б. Шкловским. Формула, с помощью которой Чагатаев собирается преобразовывать Восток, — чисто метафорическая. Видя страдания Веры, Назар понимает, что страдание разрушает, уничтожает человека: «Горе представлялось ему пошлостью». Мысль эта относится не только к Вере, с ней он выходит в мир Сарыкамыша, где народ его именно страдает. Так вот, в этой формуле Назара Чагатаева совершенно отчетливы отзвуки той полемики, которая велась в 20-е годы, продолжалась в 30-е и была связана с именем Достоевского.

Если мы внимательно прочитаем выступления на I Съезде советских писателей, то увидим, что самое яростное разоблачение Достоевского принадлежит не рапповским критикам, а В.Б. Шкловскому, который в известной своей речи на съезде заявил: «Мы, наследники великой культуры, должны судить Достоевского, судить как изменника» — изменившего революции, ее идеалам. Шкловский проводит идею социалистического гуманизма как идею, противостоящую всему духу русской классической литературы, и прежде всего идее сострадания. Назар Чагатаев — герой, полностью лишенный этого чувства, — фактически уже на уровне экспозиции дается как представитель нового поколения и нового — социалистического — гуманизма. Чагатаеву еще только предстоит прозреть, и вся повесть — еще и воспоминание героем самого себя.

Канд. филол. наук В.Ю. Выюгин (ИРЛИ, Санкт-Петербург). АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И АНАРХИЗМ (к проблеме подтекста платоновского творчества)

Однажды Е. Толстая-Сегал, говоря о Платонове, призвала пересмотреть закрепившийся в представлении многих «образ доморощенного народного философа, неотличимого от своих полуюродивых героев». Е. Толстая-Сегал первой заговорила об «идеологических контекстах Платонова». С тех пор выявление мировоззренческих истоков художественной мысли писателя остается одной из важнейших проблем платоноведения. Исследователи находят в платоновском творчестве влияние таких разноплановых и разнохарактерных мыслителей, как Федоров и Фрейд, Богданов и Достоевский, Шпенглер и Розанов, Бердяев и Гастев. При этом художественный мир Платонова не выглядит эклектичным. Напротив, результатом «суммы влияний» оказывается такой прочный сплав языка и мысли, что констатация еще одного факта

lib.pushkinskijdom.ru

влияния мало что прибавляет к пониманию феномена Платонова. Платоновская индивидуальность подавляет любое, даже самое сильное из влияний. Итак, с одной стороны — крайняя открытость текста, с другой — предельная его замкнутость, как следствие неповторимой индивидуальности писателя. Эта «открытость замкнутого» ощущается постоянно, когда читаешь Платонова. Мы не можем остановиться в восприятии его текста на первичном и поверхностном уровне смысла: уровне темы, сюжета. Мы стремимся уловить подтекст — словно что-то не уместилось в слове писателя, но существует за ним, совсем рядом: в пространстве сознания автора и культуры.

Восприятие или отрицание художником определенного круга идей, философских или политических, той или иной литературной традиции — процесс не механический и не зависящий всецело от его рассудочных устремлений и желаний. Принимая идею, писатель продолжает сомневаться в ней и неустанно испытывает ее ; отбрасывая — словно помимо своей воли включает в основание создаваемой поэтической вселенной. Одно из явлений такого порядка — «анархизм» Андрея Платонова: идея не просто отвергнутая, но «снятая» в сознании художника.

Проблема «Платонов и анархизм» была поставлена и по-своему решена еще в конце 20-х годов теми критиками, которые уличали Платонова в «замаскированном анархо-индивидуализме» (М. Майзель), в «нигилистической распущенности и анархо-индивидуалистической фронде» (Л. Авербах). По прошествии десятилетий заключения Майзеля или Авербаха воспринимаются как результат и средство идеологической борьбы, как штамп, который позволяет вывести творчество писателя за пределы пролетарской литературы. И тем не менее эти заключения не были так уж беспочвенны. Сознательно или неосознанно, Платонов давал повод воспринимать свое творчество в русле названной мировоззренческой традиции.

Идеи анархизма интересовали Платонова. Об этом мы можем судить и по его произведениям, и по прямым его признаниям (вспомним творческий вечер 1 февраля 1932 года). Однако еще в 1920 году писатель опубликовал статью «Анархисты и коммунисты», в которой с характерной категоричностью выразил негативное отношение к «учению», ставящему интерес и свободу личности выше интересов всего человечества. Отдавая предпочтение коммунистической «дороге», Платонов как будто заранее отвечает на обвинения своих будущих критиков. Но все не так просто. Ведь и коммунизм не был для Платонова абсолютной, окончательно истинной идеей. «Мы коммунисты, но не фанатики коммунизма, — напишет он в том же двадцатом, — и знаем, что коммунизм есть только волна в вечности истории. И еще: мы больше революционеры, чем коммунисты» («Будущий октябрь»). Отношения между «коммунизмом» и «анархизмом» Платонова — это отношения между двумя родственными и одновременно полярными идеями, в первой из которых писатель, всецело желая принять ее, сомневается, а вторую, отвергая, сберегает в одном из тайников своей души.

На чем основана эта родственность и каким образом в художественно-философской системе Платонова могут сосуществовать столь чуждые, по его собственному утверждению, начала? Отвечая на этот вопрос, мы оказываемся перед более общей проблемой: существует ли закономерность, определяющая отбор и удержание художественным сознанием писателя всевозможных оказываемых на него влияний?

Если говорить о Платонове и анархизме, то достаточно легко обнаруживается предпосылка, позволяющая влиянию его идей укрепиться в круге представлений писателя, известная общность между источником влияния и самой направленностью его мысли. Это, во-первых, тяготение к положительному знанию, позитивистское восприятие мира. Это, конечно же, и приверженность идее революции (для Платонова — в самом широком смысле, подразумевающем научное переустройство не только социума, но и самой Природы).

Известен ряд явно антигосударственных, антибюрократических произведений Платонова. «Усомнившийся Макар», «Впрок», «Государственный житель», «Че-Че-О» представляют собой тревожную реакцию писателя на ощущавшуюся им в 20-е годы «пробуксовку», крайнее замедление революционного процесса. Но отвержение государства — лишь одна, отрицательная сторона анархического учения. Не менее интересны те случаи, когда анархическое мировоззрение присутствует в произведении имплицитно, в своей положительной ипостаси. Такова, например, повесть «Строители страны» — первая редакция «Чевенгура». В ее основу положена попытка разрешить конфликт между двумя «стихиями» человеческой души: личным и общественным «инстинктами». А ведь это главная и положительная задача, поставленная в «Этике» П.А. Кропоткина. Так, внимательно читая платоновские тексты — тот же «Чевенгур» или двухстраничный план романа «Зреющая звезда», мы не раз наталкиваемся на целые пласты реминисценций из Кропоткина, и очевидно, что вопрос об «анархизме» писателя достоин специального развернутого исследования. Платонов «открыт» этой традиции, поскольку предрасположен к ее восприятию. Но точно так же он «открыт» множеству других традиций. Возникает вопрос: так ли уж далеки друг от друга разнохарактерные источники влияний, отразившихся в платоновском творчестве, или между ними есть некая улавливавшаяся самим писателем общность?

Аспирант А.А. Харитонов (ИРЛИ, Санкт-Петербург). ТРОЦКИЙ И ТРОЦКИЗМ В ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН».

В наши дни распространено представление о том, что А. Платонов был чужд современной ему социальной борьбы, ибо творил на уровне сугубо философской рефлексии и воплощал в своем творчестве вечные истины вне конкретно-исторических форм их бытования. Это, конечно, не так: произведения писателя — свидетельства

lib.pushkinskijdom.ru

его раздумий о судьбе России и ее народа не только на путях вечности, но и в данный миг исторического бытия. Платонов не мог остаться в стороне от обсуждения политических вопросов еще и потому, что всегда относился к судьбе революции и пролетарского государства как к «личному, сердечному делу».

Обратим внимание на авторскую датировку «Котлована». Платонов редко датировал свои тексты; естественно предположить, что, указывая в данном случае даты, он имел в виду не фиксацию времени создания повести. Декабрь 1929 года — апрель 1930 года — вехи, ограничивающие краткий, но предельно насыщенный событиями отрезок истории России. Этими датами Платонов прямо привязывает «Котлован» к исторической ситуации «года великого перелома». Поэтому для понимания оценочной авторской позиции особенно важно учитывать ориентацию писателя на современные ему политические реалии. Она воплощена в первую очередь в системе персонажей повести.

Из всех голосов эпохи, отраженных в повести «Котлован», наиболее заметны в ее тексте аллюзии на речи и статьи И.В. Сталина. Первым на явное и скрытое цитирование автором и героями «Котлована» выражений и целых пассажей из выступлений «главного революционера» страны указал в своей статье «Усомнившийся Платонов» М. Золотоносов. Исследователь выявляет системную полемику с заявлениями партийного вождя, которую писатель ведет в форме их травестирования.

Но в тексте «Котлована» присутствует не только Сталин, но и Троцкий. Прямое указание на актуальность этого имени в идейном содержании повести то, как назван Платоновым один из ее персонажей — Лев Ильич Пашкин (контаминация имен двух вождей революции сюжетно обыгрывается самим автором).

Что же означает в 1930 году указание на Троцкого, вычеркнутого к этому времени из политической жизни страны? Очевидно, оно должно не только напомнить читателю-современнику о поверженном теоретике перманентной революции, но и связать идейное содержание повести с социально-политическими идеями названного именем этого деятеля партийного течения.

Сами представители троцкистской оппозиции (1923—1928) называли ее «платформой большевиков-ленинцев» или «левой оппозицией». Оценивая положение, сложившееся в СССР во второй половине 20-х годов, они приходили к выводу о том, что в результате политического и физического уничтожения старых большевиков, принудительной коллективизации сельского хозяйства, первого 5-летнего плана, после ликвидации всех форм рабочего контроля и всех прав и свобод рабочих сталинская бюрократия стала эксплуататорским правящим классом.

В «Котловане» антитеза «рабочий человек — бюрократ» заявлена с самого начала (эпизод в пивной). Упрекая «пищевого служащего», двое рабочих-кровельщиков наивно и несколько прямолинейно обращают к нему громко звучавшее в политических дискуссиях эпохи требование «рабочего контроля»: «Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!»

Разоблачение бюрократии для «троцкистов» — не очередная «кампания по борьбе с отдельными недостатками» (как понимала и вела ее официальная советская пропаганда), а концептуальная критика избранного партией пути «обюрокрачивания рабочего государства». Черты быта «нового дворянства», отмеченные в документах левой оппозиции, А. Платонов художественно обобщил в образе Льва Ильича Пашкина. Это герой второстепенный, но ярко характерный; антибюрократические мотивы звучат у Платонова неакцентированно, попутно основному тематическому развитию повести, но сумма их создает типический образ бюрократа советской эпохи. Приведем лишь несколько примеров.

Из победной реляции о быстром развитии в СССР маргариновой промышленности Троцкий делает такой вывод: «...появление суррогата означает... что в Советском Союзе имеются два класса потребителей: один предпочитает сливочное масло, другой мирится с маргарином»; в «Котловане» сливочное масло прямо названо «зажиточным веществом». Троцкий пишет о том, как ценят жены бюрократов возможность пользоваться «хорошими духами»; Платонов изображает одну из таких жен, Ольгушу Пашкину, которая «у пудренного столика... свою рожу уснащивает». Троцкий сравнивает автомобиль, возвышающий бюрократа над пролетарием, с конем, который в средневековье отличал феодала-риттера, т.е. всадника, от крестьянина; в «Котловане» автомобиль — универсальная метафора, знак принадлежности или приобщения героя к бюрократическому правящему классу. Троцкий отмечает: «Слово "совбур" — советский буржуа — в применении к привилегированному сановнику очень рано вошло в рабочий словарь»; платоновский Жачев называет Пашкина «буржуем», а все, что с ним связано, — «буржуйским» («буржуйская пища»).

Носителем идей Троцкого у Платонова оказывается сюжетный антипод Пашкина — бездомный инвалид Жачев. Он, как и Троцкий, фанатик революции; их роднит непримиримость к «классовому врагу» — в позиции Жачева писатель доводит ее до гротеска: инвалид согласен признать классово чистыми, «социалистическими» только детей, родившихся после революции, и вынашивает планы умерщвления всех прочих людей. Жачев и личными своими чертами походит на «неистового Льва»: он беззастенчив, по-своему красноречив, склонен к демагогии (этим, впрочем, отличаются все «политизированные» герои повести: Пашкин, Козлов, Сафронов, активист). В уста Жачева, который ненавидит лютой классовой ненавистью Пашкина и его жену, писатель вкладывает все антибюрократические высказывания «Котлована», его глазами показывает жизнь «новых буржуев». Если сформулировать его взгляды на мир в терминах марксистской риторики, они вполне совпали бы с выводом Троцкого: «Лимузины для "активистов", хорошие духи для "наших женщин", маргарин для рабочих, магазины-"люкс" для знати, вид деликатесов сквозь зеркальные витрины для плебса, —

lib.pushkinskijdom.ru

такой социализм не может не казаться массам новой перелицовкой капитализма».

Одним из основных положений платформы левой оппозиции было разоблачение невероятных темпов сверхиндустриализации, авантюризма первого пятилетнего плана, который нашел свое полное выражение в лозунге «пятилетку — в четыре года!». В «Котловане» сатирой на политику «большого скачка» становится разговор Пашкина с «главным революционером в городе»: «сытный бутерброд» можно не подымать с пола, так как «на будущий год запроектировано сельхозпродукции по округу на полмиллиарда»; «революционер» походя распоряжается «разрыть маточный котлован вчетверо больше»; столь же спонтанна и встречная инициатива Пашкина — «увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз».

Привязана к политическим реалиям своего времени и центральная метафора повести — котлован под *общ*епролетарский дом. В 1924 году Сталиным была впервые выдвинута теория построения социализма в *отдельно взятой* стране (она подвергалась постоянной критике Троцкого). В «Котловане» социализм для *всемирного* пролетариата строят уже в *уездном* масштабе.

Социально-критические мотивы повести явно и по многим направлениям перекликаются с тезисами левой («троцкистской») оппозиции. Это свидетельствует о сознательной ориентации писателя на идеологический контекст эпохи, на читателя, который воспринимает проблемы индустриализации (у Платонова — «темпы»), коллективизации («генеральная линия»), перерождения бюрократической партийно-советской верхушки («буржуй») в контексте партийных полемик 1920-х годов.

Канд. филол. наук Т.М. Вахитова (ИРЛИ, Санкт-Петербург). ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ПЛАТОНОВА 20-Х ГОДОВ

Проза А. Платонова рубежа 20—30-х годов занимает особое место в его наследии, отличаясь специфическим, насыщенным аномалиями языком и постоянной сюжетно-композиционной организацией (жанр «путешествия»). Этот феномен пытались объяснить влиянием разного рода литературных и художественно-философских традиций: Гоголя и Достоевского, русского авангарда и сюрреализма, экзистенциализма и примитива. Не менее важной представляется ориентация писателя на фольклорную традицию, которая в платоновском творчестве этого периода носит не частный, а принципиальный, обобщающий характер.

Нельзя не заметить, что принципы поэтики, по которым выстроены «Че-Че-О», «Чевенгур», «Усомнившийся Макар», «Первый Иван», «Котлован», «Впрок», в общих чертах укладываются в схему русской бытовой сказки и близкого к ней жанра были (былички). Опираясь на классификацию В.Я. Проппа, можно выявить три группы проблем для дальнейшего сравнительно-типологического анализа: изображение реальности; герои; сюжетно-композиционные принципы.

1. В русских бытовых сказках, как и в бывальщинах, изображается только реальный, а не волшебный мир. Он живой, предметный, насыщенный конкретными реалиями крестьянской жизни, но изображается он обобщенно, без подробной детализации. Быт не составляет фон, а является материалом для произведения. Пейзаж в фольклоре обычно либо отсутствует, либо намечен в самых общих чертах.

Давно отмечены условность и обобщенность изобразительной ткани платоновских вещей. У Платонова нет конкретных описаний обстановки, где происходит действие: ни пивной в «Котловане», ни «Института душевноболящих» в «Усомнившемся Макаре», ни коммуны «Дружба бедняка» в «Чевенгуре», хотя место действия указано точно — юг Новоселовского уезда. Последний факт также свидетельствует о близости к быличке, в которой рассказчик для придания реальности излагаемому обычно указывает конкретную деталь, точную дату и место происходящих нереальных событий. Платонов очень часто использует этот прием. Например, в рассказе «Первый Иван» он упоминает книгу Корнева В.Г. «Всасывающая сила почвы и принципы системы автоматического орошения почвы». Писатель не только излагает содержание этого труда, но и приводит выводы научной комиссии, оценившей достижения Корнева. Кроме того, он указывает название института, который выпустил эту книгу, и дату выхода ее в свет — 1925 год. А вслед за этим идет описание совершенно фантастических опытов героев рассказа, которые выпускали положительные электроны в небеса, а отрицательные спускали в землю, где якобы от этого в несколько раз лучше всходили посевы.

Сверхъестественность и фантастичность, которые есть в бытовых сказках и быличках, не нарушают естественных законов природы, но особым образом трансформируют реальность, выворачивая ее наизнанку. Природа сверхъестественного у Платонова также не нарушает общего хода вещей и существует как в политических формах (коммуна), так и в технических (изобретение), и в фольклорных (медведь в «Котловане»). Несмотря на реалистический способ и стиль подачи материала, этот элемент «сверхъестественного» у Платонова деформирует реальность, которая существует по странной прихоти соединения «логики повседневности» и «логики чудесного» (С.П. Залыгин). Изображение времени и пространства у Платонова также подчинено фольклорным законам. Пространство у него почти всегда эмпирично — это то пространство, которое в момент действия окружает героя; вещи, недоступные взгляду персонажа, не изображаются. В прозе Платонова рубежа 20—30-х годов можно отметить и фольклорную «несовместимость времен». Когда один герой действует, другой обычно спит. Когда Дванов спит у Феклы Степановны, Копенкин на Пролетарской Силе его ищет; когда Вощев вместе с рабочими засыпает на котловане, на сцену выходит со своими ночными думами Прушевский. Время у Платонова, как и в фольклоре («долго ли, коротко ли»), не ощущается как реальная категория; такое впечатление, что

lib.pushkinskijdom.ru

времени нет вообще, хотя приметы его постоянно автором подчеркиваются.

2. Почти все герои Платонова этого периода отличаются какой-то странной умственной недостаточностью. У Макара — «порожняя голова»; герой хроники «Впрок» «не имел глубокого разума, способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть ее сущностью»; Вощев потерял истину; Саша Дванов не видел границы между умом и телом; Копенкин не умел долго думать и говорить, у него внутри возникал шум. И даже Вермо — представитель технической интеллигенции — не знал, чем занять свой ум, поэтому воображал себя то паровозным машинистом, то летчиком воздухофлота. Один из героев очерка «Че-Че-О» честно признается автору: «У меня ум за разум зашел». Постоянный акцент Платонова на недостатке ума у своих персонажей (наиболее характерен в этом смысле зачин рассказа «Первый Иван») позволяет предположить, что в основе цикла произведений Платонова конца 20-х — начала 30-х годов лежала бытовая сказка о дураках.

Образ героя-дурака в бытовых сказках не так уж прост, он сочетает в себе разные характеристики: дурак-хитрец, дурак-обманщик, дурак-глупец, дурак-мудрец, дурак-аспид... В те годы Платонов постоянно размышляет над этими персонажами, о чем свидетельствуют его записные книжки; одна из записей подводит итог размышлениям: «Сознание себя Иваном-дураком — это самосознание народа. Самое такое самосознание показывает, что мы имеем дело с народом-хитрецом, с умницей, который жалеет, мучается, что живет в дурацком положении».

Существенной особенностью этого героя является странное поведение. «Когда герой сказки дурак, — пишет В.Я. Пропп, — то это означает не только его глупость, но и необязательность для него — а следовательно для повествования — тех норм поведения и последовательности в поступках, которые определяют собой действия слушателей и нормы их поступков в жизни». Анализ поведения платоновских персонажей позволяет сделать вывод об их «странности» и неподчинении логике причинно-следственного мышления, по которому существуют герои литературы. Фольклорная логика их действий зачастую психологически не мотивирована и не объясняется исторической последовательностью событий.

3. «Беспричинные» действия персонажей сказки обусловливают своеобразную композицию фольклорных произведений. Она в большинстве случаев представляет собой цепь разрозненных эпизодов, как бы нанизанных на стержневой путь героя. Зачастую рассказчики компонуют сюжет из нескольких сказок, соединяя разные истории и сюжеты. Текстологические разыскания показывают, что примерно таким образом формировал свои произведения этого периода и А. Платонов. В конце 1929 года Платонов пишет «были из жизни массового человека»: «Умственный хутор», «Послушайте рассказ об одном мужике, который перехитрил целое государство», «Слушайте теперь короткий рассказ про Филата-Бедняка», «Наследники Ленина», «Масло розы». Именно из этих «былей» монтируется рассказ «Усомнившийся Макар» и хроника «Впрок». Не вошедшие в эти вещи фрагменты после авторской правки вводятся в «Котлован».

Сознательная ориентация Платонова на фольклорный жанр «былей», своеобразный «фольклорный» метод работы над текстами позволяют рассматривать его прозу этого времени не как «серьезную» авторскую литературу, а как «игровой» материал, в котором действительность сконструирована из определенных символов реального и сказочного характера, где нарушена привычная иерархия ценностей и ориентиров, а жизнь «выворочена наизнанку». По-видимому, разочарование в утопии коммунистической и противостояние официозу ввергли в конце 20-х годов ряд писателей в утопию «игровую», фольклорную («Необыкновенные рассказы о мужиках» Л. Леонова). Изучение этой «игровой», нетрадиционной литературы требует нетрадиционных методов и исследователей, которые, надеюсь, скоро появятся.

Канд. филол. наук Е.И. Колесникова (ИРЛИ, Санкт-Петербург). РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

При всей загадочности платоновского творчества в нем можно проследить некоторые объективные мировоззренческие составляющие. Платонов отразил трагический перелом массового русского сознания, до начала XX столетия существовавшего на основах целостного христианского миропонимания. Эта же проблема оказалась объектом серьезного научного анализа в целом ряде социологических, исторических и философских исследований, среди которых наиболее близок нам по теме сборник «Проблемы русского религиозного сознания», вышедший в Берлине в 1924 году. Среди его авторов — Б.П. Вышеславцев, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк и другие.

Состояние современного им сознания авторы сборника оценивают как промежуточное между религиозностью и безрелигиозностью. Такое равновесие непродолжительно, ибо, как пишет Вышеславцев, «религия, устремленная к Богу-вседержителю, требует универсальной гармонии, требует положительного всеединства». В сознании человека XX века утвердилась смесь религии и безрелигиозности, подлинный же атеизм, продолжает Вышеславцев, очень редок; обыкновенно он подменяется идолопоклонством. Для человека легче всего сотворить себе кумира, как Ницше из «сверхчеловека» или Штирнер из самодовлеющего «я».

Таким образом, духовная жизнь современного человека представляется авторам сборника довольно путаной. Распалась целостная картина мира, даваемая православием, утрачена, по словам Карсавина, «связь всего с абсолютным и абсолютного со всем». Именно теперь стал возможен вопрос со стороны человека: полезен ли он в мире, или все без него благополучно обойдется? Платонов попытался заглянуть в этот гигантский духовный разлом и констатировал, что «человек остался без Бога и Бог без человека». Личность оказалась оторванной от сверхличностных онтологических корней.

lib.pushkinskijdom.ru

Здесь перед нами — важный этап внутренней эволюции самого Платонова. Если раньше его герои были уверены в необходимости улучшения окружающей действительности, то к началу 30-х годов они уже не столь активны и целеустремленны. Писатель показал, как мир в глазах человека, дерзнувшего усомниться в целесообразности его устройства, вдруг распался, как разбитый калейдоскоп, на отдельные части, в которые теперь именно ему, одинокому человеку, предстояло вдохнуть смысл бытия. Но человек, решивший изменить мир, оказался отброшенным далеко назад, и ему уже не под силу даже объяснить этот мир, который проплывает мимо него отдельными фантомами: в жарком мареве степи растворяется призрачный всадник на богатырском коне в погоне за видением неведомой Розы Люксембург, над огромной могильной пустотой вырастает мираж общепролетарского дома, сквозь кровь и слезы мерещется заветная республика Чевенгур. И человеку хочется удержать в памяти хоть что-нибудь, хоть малую частицу этого мира, ведь он уже не имеет представления о всеобщей Премудрости, красоте и единстве бытия. Герои без Бога пребывают в сиротстве, «живут благодаря одному рождению».

Поиски истины ведутся имманентно, из внутреннего источника человеческой личности. Не случайно евангельские мотивы остаются в повестях Платонова только авторскими посылками, которые герой в данном измерении решить не в состоянии. Он так и остается «нищим духом», с тоской в сердце. Можно предположить, что духовные поиски были мучительны не только для героев, но и для самого писателя. В его рукописных заметках есть запись: «Не Христос и не Антихрист, не среднее, а другое — не третье, а другое именно».

Канд. филол. наук Т.А. Никонова (Воронеж).
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ В ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА 20-Х ГОДОВ

Легко заметить, что до сих пор А. Платонов ощущается нами как некое отдельно стоящее явление, достаточно сложно соотносимое с литературой своего времени. Отмечены, правда, отдельные связи, идущие к творчеству А. Платонова извне, его переклички с тем или иным художественным явлением, с отдельными современниками. Однако чаще всего цель этих наблюдений — подчеркнуть самобытность, неповторимость мира Платонова. Между тем существовало и иное движение, идущее *от* А. Платонова. Присутствие в литературе художника такого масштаба и напряжения не могло пройти бесследно, как бы ни старались официальные литературные круги ослабить и ограничить его влияние.

Одним из отчетливо ощущаемых последователей А. Платонова современниками был признан Андрей Никитович Новиков, долгие годы поддерживавший личное знакомство и близко общавшийся с Платоновым. Однако А. Новиков не был эпигоном, питающимся близостью гения. Да и сама эта близость была небезопасна, если учитывать литературную репутацию А. Платонова. Достаточно легко увидеть его влияние на уровне стиля (например, рассказ А. Новикова «Обиход вольного разума», 1929), на уровне общей трактовки явления, композиции («Причины происхождения туманностей» А. Новикова, 1929 — «Город Градов» А. Платонова, 1926). А. Новиков и не скрывает этой близости, прямо цитируя платоновского «государственного человека» И. Шмакова в повести «Причины происхождения туманностей».

Однако плодотворность тех идей, которые А. Новиков разделил с А. Платоновым, сказалась прежде всего в том движении, которого требовали эти идеи. А. Новиков сохранил свой изначальный интерес к деревенскому герою, пришедшему в новый мир революционных потрясений с «вольным разумом», не желающим покоряться чужому решению. Он сохранил интерес к быту, семейному укладу. Его привычный герой хозяйствен и прижимист, домовит, живет так, как завещали отцы. Сегодня это может показаться странным, однако было достаточно непросто исповедовать такую позицию в начале 30-х годов, когда усиленная мифологизация литературы стремилась к своему апогею, когда заканчивалось формирование «безбытного» мировоззрения и образа жизни. Уметь думать не как все помогало одно присутствие А. Платонова и его произведений, в которых неостановимо развивалась авторская мысль.

А. Новиков, как и А. Платонов, не становится в переломные 1929 и 1930 годы на сторону официальной точки зрения, осмеивающей хозяйственного мужика и трактующей его как представителя мелкобуржуазной стихии. Рядом с «Усомнившимся Макаром» и путником, сделанным «из телячьего материала мелкого настороженного мужика» («Впрок»), вырастает фигура новиковского Прохора Матвеевича Сокова из повести «Комбинат общественного благоустройства» (1929). Творческий диалог с А. Платоновым в этой повести переходит в новую стадию. «Комбинат общественного благоустройства» развивает тему, которая так публицистически прямо в творчестве А. Платонова, пожалуй, и не заявлена. А. Новиков в этой повести ведет речь о том, что развитие страны после революции пошло не в сторону «утепления» жизни — решения проблем и нужд «низового человека», а по линии индустриализации и коллективизации. Вместо комбината общественного благоустройства большевики начинают строить в городе металлургический комбинат и создавать опустошенное место в деревне, не желая замечать, что «низовому человеку» нужна «пуговица к штанам, а не трактор». Одичавшие, безбытные люди, с точки зрения А. Новикова, ничего построить не смогут. Они стремятся забыть свое прошлое, стыдятся своих предков, уничтожают своих будущих детей, спеша в то будущее, куда зовут их газеты и популярные брошюры.

Главный герой повести Прохор Матвеевич Соков — «герой постепенности», как определяет его автор: он идет туда же, куда и все, — в социализм, но прийти в него он хочет со своим самоваром, не утратив уважения к дому, семье, своим предкам.

lib.pushkinskijdom.ru

Публицистическая прямота письма, всегда свойственная А. Новикову, в данном случае не мешает четкости авторской позиции. Повесть «Комбинат общественного благоустройства» — вполне закономерный шаг после «Причин происхождения туманностей», ибо протест против бюрократизации всей страны воспринят А. Новиковым, как и А. Платоновым, в плане защиты человека, его права на суверенность своей судьбы. Повесть А. Новикова, как и произведения А. Платонова «переломных» лет, вступала в неприкрытый спор с тем мироощущением, которое становилось господствующим.

Докт. филол. наук В.В. Агеносов (МПГУ им. В.И. Ленина, Москва)

В свое время, стремясь «втиснуть» А. Платонова в рамки «социалистического реализма», многие литературоведы наделяли писателя большевистской партийностью. Сегодня наблюдается противоположная тенденция: в статьях Н. Ивановой, И. Золотусского, Е. Евтушенко и многих других подчеркивается антикоммунистическая направленность «Чевенгура», «Ювенильного моря» и даже «Джана», не говоря уж о «Котловане», а их автор превращается в мрачного экзистенциалиста, говорящего о трагедии жизни.

Между тем, на мой взгляд, А. Платонов не был ни большевиком, ни антикоммунистом. Но коммунизм исповедовал. Другое дело, что коммунизм для Платонова не политическая организация, а философская категория: бытийное состояние всеединства, общности людей, природы, космоса — Тайна, путь к которой нелегок. Такое представление сродни народным легендам о Беловодье и Реке Дарье, о Китеж-граде. Все творчество писателя было испытанием разных путей к обетованной земле, путей, полных поражений и открытий в «Чевенгуре», трагически ошибочных в «Котловане», во многом плодотворных в «Джане».

Попытаюсь доказать это на материале «Чевенгура», где, по словам вышеназванных критиков, смертью ребенка отрицается всякая идея коммунизма. На первый взгляд это так. «Троице», которую застал в разрушенной церкви Копенкин, так и не удалось сотворение нового мира, а из Чепурного не получился Спаситель. Больше того, подлинный Христос («высокий дальний человек», «окруженный воздухом, только подошвы еле касались земной черты»), поманив издали чевенгурцев, прошел мимо их царства. «Сочельник коммунизма» не перешел в рождение и крещение.

Тем не менее Платонов не счел нужным завершить на этом роман. Напротив, вся последующая часть проходит под знаком символической пасхальной заутрени. В музыке ее колоколов заложена и идея движения вперед, и предвидение дороги без конца. С приходом в Чевенгур Саши Дванова и Гопнера Закон прежнего завета заменяется Благодатью, коммунизм распределительный — идеей трудовой жизни, но не для обогащения, а для блага товарища. При этом нас не должно смущать то обстоятельство, что в мире Платонова герои часто делают бесполезные вещи, как это смутило прагматика Сербинова. Бесполезные вещи полезны в высшем смысле. И не случайно многое из того, что создают герои Чевенгура, воплотится с общественной пользой в «Ювенильном море» и повести «Впрок».

Итак, если на первой стадии развития Чевенгура «сочельник» завершился смертью ребенка, то на второй, «пасхальной», произошло не менее символичное выздоровление Якова Титыча. Знаменательно, что «круглый сирота» Яков Титыч обретает мальчика Егория, чье имя в контексте имен русских святых говорит само за себя.

Существенно, что Чевенгур погиб не тогда, когда в нем совершались кровавые злодеяния, а теперь, когда забрезжило верное решение. Чевенгурцы почти вплотную подошли к решению историософской проблемы будущего России, их город был готов слиться с тем чудо-городом, описанием которого заканчивалась вторая часть романа, но погиб так же, как погибла новая экономическая политика, погиб от наступления Котлована. Из этого, однако, не вытекает, что история завершилась, о чем свидетельствует финал романа.

Такая трактовка позволяет, с одной стороны, воспринимать Платонова во всей его сложности, показать трагическое несоответствие его коммунизма реальности жизни, с другой — подчеркнуть принадлежность писателя к той великой традиции русской литературы, которая требовала, правдиво изображая жизнь, верить в торжество духовности и добра.

Докт. филол. наук А.А. Газизова (Москва)

Самое драгоценное в А. Платонове — его опыт оправдания человека. Он вышел за пределы культуры отрицания, за рамки монотеизма, ушел, как сам считал, «в "низкую" действительность, откуда все стремятся уйти». Там он выбрал своего героя — маргинального человека, чтобы сказать о тайне его пути в основной текст бытия. Он сделал видимой массовую маргинальность и неотступно свидетельствовал, что и «выброшенные» люди *изнутри* способны к труду познания мира и себя в нем и совершают этот труд. Их скитания, говорит А. Платонов, в поисках смысла существования. Изнутри хаоса они находят свою связь с космосом. Очень важно: эта связь со сверхличным у каждого своя, интимная, освобождающая.

А. Платонов не измеряет мира одной правдой, не утверждает в нем единственного способа жизни, не оценивает чужую культуру с точки зрения своей, не обращает в свою веру и на ней не настаивает. Его мир не бинарен, крайности в нем не разведены. В платоновском мире происходит «сшибка», «соударение», смешение «живых существ», культур, эпох, сознаний и поведений, классических принципов и неклассических ситуаций — «общий конгломерат», по слову А. Платонова. Он моделирует не «лестницу эволюции», а — хаос творения, ведь мир не сотворен, он каждый миг творится, жизнь каждого подчинена творению. Платоновские герои выброшены в хаос и во внешнем движении справиться с хаосом не могут, сколько бы ни старались. Но на сокровенной, внутренней дороге они выходят на встречу с мыслью, порожденной

lib.pushkinskijdom.ru

движением в хаосе: что есть я? А. Платонов доверился познающей мысли маргинала, и в ней, корявой, смутной, путаной, не умеющей себя выразить, обнаружил чистую функцию разума — искание смысла в хаосе и в себе.

В платоновском оправдании человека выразилась генетическая традиция национального думания о мире и человеке. В учениях русских философов начала века жизнь человеческого духа осмыслена как особая реальность, названная «ненаблюдаемой», «третьей онтологической». Она странным образом объединяет материю и дух, жизнь человека и космическое бытие. Это дом всечеловеческой памяти, из него идут к людям «сигналы припоминания». Вощев так и говорит: «Смысл жизни надо не выдумать, а — вспомнить».

Писатель Андрей Платонов взялся за изображение пробуждающегося сознания нового типа, которое олицетворил — пронзительно и пророчески — в метафорическом Медведе: уже не зверь, но еще не человек, и в Степане Копенкине, в котором есть и рыцарь революции, и каратель, и убийца, и святой.

«Человек сам себя не знает, — говорил А. Платонов, — его должен узнать писатель». А. Платонов изнутри узнал маргинального человека нового времени и не захотел в нем разочароваться. Горечь отрезвления он превозмогал теплой верой в живую жизнь, которая сильнее распада и дает силы человеку выходить из кризиса сознания.

Докт. филол. наук Л.П. Егорова (Ставрополь) поделилась своими наблюдениями над хранящейся в ЦГАЛИ стенограммой обсуждения рассказа А.П. Платонова «Среди животных и растений» (Ф. 631. Оп. 2. Ед. хр. 162), которое состоялось в Союзе писателей СССР в июле 1936 года (в нем участвовали Шкловский, Брайнина, Гехт, Пакентрейгер и др.). Докладчица привела в своем сообщении ряд непосредственных литературно-критических оценок творчества писателя, содержащихся в стенограмме, которые позволили ей уточнить социально-философский контекст, в котором воспринимался рассказ. Важное место в докладе заняло сопоставление опубликованного текста рассказа «Среди животных и растений» и его более ранней редакции, текст которой приложен к стенограмме.

Аспирант В.А. Колотаев (Ставрополь) в докладе «Мифофольклорные основы в романе Андрея Платонова "Чевенгур". Пространство дома» продолжил рассмотрение крупнейшего произведения писателя как волшебной сказки, остановившись на этот раз на некоторых особенностях хронотопа платоновского романа. Им были рассмотрены такие ключевые для Платонова антиномии, как дом — антидом, ночь — день и другие.

Ст. преп. С.С. Сыч (Гродно), остановившись в сообщении «Фантастика у А.П. Платонова и Л.М. Леонова» на проблеме соотношения социально-политических реалий и фантастического начала в творчестве двух крупных писателей-современников, пришла к выводу о максимальной приближенности фантастического мира Платонова к социальной действительности.

На заседании состоялось живое обсуждение прозвучавших докладов и выступлений, развернулась острая дискуссия по целому ряду затронутых в них проблем. Особое внимание участников семинара привлекли вопросы, связанные с эсхатологическими произведениями Платонова 40-х годов, проблемы интерпретации мировоззренческой позиции писателя в контексте современных ему политических идей, связь творчества Платонова с наследием его непосредственных предшественников — поэтов и философов «серебряного века».

А.А. Харитонов

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «А. СОЛЖЕНИЦЫН». К 30-ЛЕТИЮ ВЫХОДА В СВЕТ ПОВЕСТИ «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

16 ноября 1992 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН проходила первая в России научная конференция, посвященная творчеству А. И. Солженицына и приуроченная к 30-летию выхода в свет повести «Один день Ивана Денисовича». В конференции приняли участие литературоведы и преподаватели из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Петрозаводска. Открывая конференцию, директор ИРЛИ, доктор филол. наук, профессор Н. Н. Скатов отметил, что сейчас мы можем говорить о творчестве А. И. Солженицына во всем его объеме. В этой связи возникает опасность противопоставления Солженицына-художника Солженицыну-мыслителю (как, кстати, это было у нас с Достоевским, с Толстым), хотя в ряду других великих мастеров слова, своих предшественников и современников, Солженицын — явление удивительно цельное и органичное. И все же при том громадном, что сделано Солженицыным как писателем, повесть «Один день Ивана Денисовича» (повесть не просто на лагерную тему) до сих пор продолжает оставаться произведением номер один. С нею связано и первое подлинное проявление гласности в нашей стране (понятие это с тех пор не раз уже у нас скомпрометировано). Появление повести Солженицына, напомнившее о великих гуманистических традициях русской литературы, явилось актом восстановления классики как классики. И в этом смысле ее (и по праву) можно назвать произведением апелляционным. И как всякое великое произведение, оно поворачивается к нам сегодня новыми гранями, открывая новые смыслы. Образ главного героя повести Ивана Денисовича Шухова и сейчас воспринимается нами как свет надежды — надежды воскресения. Иван Денисович ждет на своей родине своего

lib.pushkinskijdom.ru

творца — Александра Исаевича Солженицына.

С докладом «Повесть А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“ и традиции русской прозы» выступила доктор филол. наук Н. А. Грознова (С.-Петербург). Характеризуя современное состояние историко-литературной мысли, докладчица отметила известную трудность в поиске методологии, новых научных подходов в осмыслении весьма сложного, противоречивого, но на редкость богатого литературного процесса в России после 1917 года, охватывающего восемь десятилетий XX века. Импульсы к таким поискам во многом исходят из современных философских работ. Налицо прорыв к вселенским вопросам бытия, к метафизике, религиозному сознанию как одной из высших форм сознания, к свободным представлениям об эйдической структуре мира, к пониманию христианства как равноправной парадигмы среди существующих способов познания мира и многим другим проблемам. Философская наука вторгается в осмысление сущностных параметров русской литературы советского периода. Благодаря целому ряду разработок во многом меняется сама система понятий, связанных с художественным содержанием литературы данной эпохи. В русле этих тенденций и следует рассматривать солженицынскую концепцию жизни, заявленную с особой силой уже в первых произведениях писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича» предстает не только как завершающий аккорд беспрецедентной по масштабам солженицынской летописи революции в «Красном колесе», но и как знак глубокой тайны русской жизни, воплощенной в образе главного героя повести. Описание каторжной стороны жизни ставит это произведение в один ряд с «Записками из Мертвого дома» Достоевского и «Воскресением» Л. Толстого, создавая впечатление, что русской каторге суждено быть вечной спутницей национальной жизни. И все же, несмотря на античеловечность лагерного бытия, нельзя отрицать сильнейшего излучения просветленности, идущей от главного героя. Источник этой энергии не только в коренных чертах русского национального характера, но прежде всего в религиозном христианском мироощущении, хотя ключей к философскому смыслу религиозного начала в произведении автор вроде бы нигде не дает. Понять философское содержание повести «Один день Ивана Денисовича» помогают одновременно писавшиеся эссе «Крохотки» — своего рода гимн религиозному сознанию. К этой теме Солженицын вернется и в Нобелевской лекции, где развернет целостную концепцию религиозного восприятия мира. Размышляя о нравственно-философских истоках творчества Солженицына, Н. А. Грознова напомнила слова В. В. Розанова из статьи «Возле „русской идеи“» (1911): «Западным людям русская литература открыла эру нового нравственного миропорядка». Именно к этой традиции и примыкает «Один день Ивана Денисовича» — через праведников Лескова, через героев Достоевского, через Платона Каратаева; художник вычерчивает здесь путь к новому нравственному миропорядку. Повесть Солженицына восстановила прерванную на десятилетия русскую традицию в праведности человека видеть «осуществление нравственного закона» (П. Я. Чаадаев) — и в этом особая роль произведения Солженицына в литературном процессе. После рассказов Солженицына, а может быть, и благодаря Солженицыну, «деревенская проза» — ярчайшая страница в истории мировой литературы XX века.

Академик А. М. Панченко (С.-Петербург) в докладе «Стиль Государственной Думы и „Красное колесо“» подробно остановился на отношении Солженицына к Думе и ее отражении в последнем цикле романов писателя. Основная концепция А. М. Панченко такова: негативное изображение автором деятелей этого правительственного органа России объясняется особенностью демократического мышления Солженицына, который смотрит на жизнь с точки зрения простого человека, связанного с крестьянским сознанием. Ученый делает вывод, что крах монархического режима в России был исторически предрешен.

Полемично прозвучало выступление академика Г. М. Фридлендера (С.-Петербург) «О Солженицыне и его эстетике». Докладчик решительно отверг существующие утверждения о том, что как публицист Солженицын уступает Солженицыну-писателю; не согласился также с попыткой отнести писателя к лагерю «постмодернизма». По мнению Г. М. Фридлендера, Солженицын унаследовал от великих русских писателей-классиков в качестве главной темы тему России. Этим определяется исключительный художественный масштаб и нравственный накал его творчества, его место в современной русской культуре. (Доклад Г. М. Фридлендера ~~публикуется~~ опубликован в первом номере журнала).

Доктор филол. наук А. И. Павловский (С.-Петербург) выступил с докладом «Рассказ А. Солженицына „Матренин двор“. Особенности поэтики». По мнению докладчика, рассказ «Матренин двор» является как бы своеобразным зеркальным отражением повести «Один день Ивана Денисовича» и может рассматриваться — по характеру образа и общему смыслу — как часть дилогии о человеке из народа, в условиях неволи сохраняющем нравственные устои своей нации. Некоторые элементы рассказа приближают его к жанру жития, вынужденного, однако, заметно трансформироваться и приобрести новые черты. Матрена, по мнению А. И. Павловского, праведница, живущая на глубоко неправедной земле в окружении неправедных людей («врагов», по ее словам). Страна перестала быть «святой Русью» — она пожинает плоды безверия, злобы и греха. По библейскому преданию (встреча Авраама с Богом по дороге в Содом), для спасения мира необходимо не меньше десяти праведников. Матрена же — одна. Отсюда глубочайший трагизм рассказа — он сосредоточен не только в судьбе героини, но и в образах-символах, носящих апокалиптическую окраску (двуглавый паровоз, без огней, вслепую давящий и разрезающий на куски тело Матрены). Между тем, как явствует из рассказа, сходного в этом отношении с повестью, Матрена — одна из миллионов и

lib.pushkinskijdom.ru

миллионов подвижниц русского народа. Это последнее соображение бросает на всю коллизию слабый свет надежды, почти, однако, невидимый, ибо он возникает за границами текста в виде незримой ауры добра.

Большой интерес вызвал доклад доктора искусствоведения Ю. К. Герасимова (С.-Петербург) «„Архипелаг ГУЛАГ“ как литературное произведение». В начале своего выступления докладчик заметил, что разговор о художественных особенностях произведения, обжигающего беспощадной правдой, горем и гневом, мог бы показаться неуместным, если бы автор не определил свой труд как «опыт художественного исследования», в котором все материалы соединены «возможностями художника». По мнению Ю. К. Герасимова, художественная мощь видна уже в монументальной архитектонике произведения, а непритупляющаяся острота его воздействия зависит не только от приводимых фактов, но и от драматического чередования и столкновения тем книги: человек в ГУЛАГе, физиология тюремно-лагерной системы, «теория» и практика репрессий. Эстетическая организация текста обнаруживается в приемах градации, контраста ритмического чередования, в постоянных жанровых сменах от главы к главе. Автор привлек чуть ли не все малые жанры прозы — от анекдота и сатирической миниатюры до рассказа и исповеди. По выводам Ю. К. Герасимова, становление полифонизма, усиленного всепроникающим личным началом, как особого способа художественного мышления и построения началось у автора «Красного колеса» еще в «Архипелаге ГУЛАГ».

Ю. К. Герасимов провел сопоставление «Архипелага ГУЛАГ» с «Адом» «Божественной комедии». Образ невидимого жуткого царства появляется у Солженицына на первых же страницах: по скрытым «каналам», как по Ахерону, Стиксу и Флегетону, сплавляются на острова Архипелага миллионы жертв. И далее, до конца книги, автор ведет читателя по всем кругам гулаговского ада, заставляя его не отворачиваться от картин всевозможных пыток, истязаний, убийств. По наблюдению докладчика, автор в «Архипелаге» предстает и одной из жертв, и свидетелем, ведомым по кругам ГУЛАГа, и вожатым, цель которого та же, что и у Вергилия. Слово «ад» появляется в начале книги, когда необратимость ареста уподобляется смерти и переходу в царство сатаны. Солженицын воздерживается от сравнений ГУЛАГа с дантовским адом, хотя роман «В круге первом» указывает на то, что подобные ассоциации ему известны. Литературная независимость художественного мира «Архипелага» обусловлена, по мнению Ю. К. Герасимова, тем, что Солженицын воспринимал всю историю каторги и ссылки в России и их осмысление в литературе как явления наивные в сравнении с лютостью и размахом ежовско-бериевского террора против народа. При таком подходе может оказаться, что и дантовский ад как предельное проявление зла будет превзойден в ГУЛАГе не только мучительством, но прежде всего тем, что мучают не грешников, а заведомо невинных людей. Есть немало и других существенных различий между адом у Данте и у Солженицына. Аналога дантовской теодицеи у Солженицына не обнаруживается, но его вера в неизбежность поражения зла и в необратимость правды имеет по сути дела религиозный характер. В заключение докладчик указал на еще одну возможную область сопоставлений: после «Божественной комедии» Данте написал «Монархию», став одним из первых выразителей общенационального сознания, ревнителем государственного единства всей Италии.

Доктор филол. наук Ю. К. Руденко (С.-Петербург) в докладе «„Один день Ивана Денисовича“. К вопросу о специфике жанра», развивая концепцию жанра Б. В. Томашевского и В. Я. Проппа, отметил, что в конкретной поэтической системе отдельно взятого произведения может быть несколько жанрово значимых доминантных систем, взаимодействующих между собой и придающих произведению особый жанровый облик. Анализируя повесть «Один день Ивана Денисовича», Ю. К. Руденко сосредоточил внимание на ее названии как ключевой системообразующей, стилевой и структурной доминанте. Сопоставляя первоначальное авторское («Щ-854. Один день из жизни одного зэка») и редакторское («Один день Ивана Денисовича») названия, докладчик особо остановился на разнице структурно выраженных в них жанровых маркировок. Структура окончательного названия повести присутствовала уже в первой редакции произведения, но играла вспомогательную роль — взаимодействовала с первым и главным, тематически расшифровывая, комментируя и ограничивая его. Жанровый смысл структуры «один день...» заостряет читательское внимание на авторской повествовательной стилистике как таковой. «День как вся жизнь» — один из простейших и в то же время древнейших художественных символов, передающих не бытовую, но бытийную важность. Название произведения в обоих вариантах содержит еще и имя персонажа — тем самым судьба типизируется как судьба человека в историческом контексте целой эпохи. Но в окончательном названии повести имя героя безакцентно и кажется нейтральным, хотя богато значимыми нюансами (мужское, полное русское имя), тогда как в первоначальном варианте (Щ-854) оно кричаще экспрессивно и служит акцентуации особой темы произведения, что злободневно, но менее всего соответствует глубинному строю произведения, — вероятно поэтому редакторский вариант названия и оказался авторизованным.

Науч. сотр. Государственного музея К. А. Федина Е. Г. Князькова (Саратов) в сообщении «Образ автора в „Архипелаге ГУЛАГ“», сосредоточила внимание на соотношении авторского, документального и художественного начал в структуре повествования «Архипелага ГУЛАГ». В отличие от мемуарной прозы о лагере, где персонифицированный автор — герой биографии — излагает историю своей жизни в ГУЛАГе (воспоминания Л. Копелева, «Записки Сологдина» Д. Панина), «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына выявляет иной угол зрения. Свое особое мнение

lib.pushkinskijdom.ru

о происхождении, истории и жизни ГУЛАГа писатель проверяет коллективным опытом. Отсюда потребность в местоимении «мы», выражающем авторскую манеру изложения. Коснувшись проблемы пространственно-временной организации произведения, Е. Г. Князькова отметила, насколько существенно отличие субъектно-объектных связей в «Архипелаге ГУЛАГ» от этих связей в мемуарной прозе. Если мемуарному жанру присуще линейное время повествования, то в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын взрывает время. С самого начала повествования носитель сознания — автор использует настоящее время для установления необходимой временнóй дистанции между повествователем и читателем. По мере развертывания повествования читатель оказывается как бы на перекрестке времен: исторического, событийного, времени жизни отдельного человека, эпохального времени государства, наконец времени авторского сопереживания описываемому, т. е. психологического времени. Характерной чертой авторского присутствия на страницах «Архипелага ГУЛАГ» является усиление иронии.

Важную для понимания некоторых особенностей мировоззрения Солженицына проблему затронула канд. филол. наук Л. Е. Герасимова (Саратов), выступившая с докладом «Планетарное сознание в понимании В. И. Вернадского и А. И. Солженицына». По мнению докладчицы, мысли Солженицына, высказанные им в публицистике, книге «Бодался теленок с дубом», близки мыслям Вернадского о вселенскости человечества, о новом типе нравственности — нравственности глобальной. Солженицын видит и «обнадежность», и опасность этого единства. В преодолении разрывов, в «установлении мировых пропорций», в развитии «мирового зрения» особую роль писатель отводит литературе. Сопоставление взглядов Вернадского и Солженицына на процесс формирования планетарного сознания позволяет видеть, как разными путями — эмпирического научного обобщения и эмпирического обобщения творческого опыта — мыслители подходят к осознанию наличия особой, межчеловеческой душевно-разумной общности, не уничтожимой никакими государственными, военными, идеологическими силами. Если Вернадский представляет ноосферу как геологически неизбежный этап эволюции Земли, хотя и понимает, что тормозящие силы велики, то Солженицын видит, что кроме накопления того, что можно назвать ноосферой, идет накопление и на противоположном полюсе, и в этой вечной борьбе добра и зла каждый поступок, каждое слово человека «перетягивает» мир в ту или другую сторону. Отсюда и практический вывод писателя — «жить не по лжи». Полемизируя с некоторыми исследователями по вопросу о религиозности мировоззрения Вернадского, Л. Е. Герасимова особо подчеркнула, что позицию ученого трудно назвать христианской. От ранних дневниковых записей до последних есть немало свидетельств атеизма или антропокосмизма ученого. Религию Вернадский чувствовал как глубочайшее проявление человеческой личности, ценил ее роль в этической деятельности, хотя полагал, что процесс науки приведет к созданию новой этики, которая не будет обязательно связана с религией. В отличие от Вернадского позиция Солженицына — последовательно христианская. Общность человечества писатель рассматривает как форму постижения и исполнения человеком воли Божественного Провидения, что отчетливо проявилось в «Архипелаге ГУЛАГ». В «узлах» «Красного колеса» смысл земной истории открывается вверх, а смысл Божественного Провидения укореняется, овеществляется в событиях, накапливающих или взрывающих человеческую историю.

Актуально прозвучал доклад канд. филол. наук Н. В. Крыловой и канд. филол. наук В. В. Иванова (Петрозаводск) «К феномену религиозности А. И. Солженицына (поведенческий аспект)». По мнению авторов доклада, религиозность писателя — это узел проблем. Солженицынская поэтика (тип литературного героя, тяготение к жанру идеологического романа, к почти иконным по уровню обобщенности тропам — сгущенной метафоре и символу, «узловая» организация временного пространства), его социальный опыт (панморализм в политике, предпочтение монархии всем системам государственного устройства, «ратоборчество» и т. д.) непризнание «модерности» как примата современности перед Большим Временем, оценка состояния мира как предапокалиптического — все это выдает тесную зависимость духовного мира писателя от традиций русского православия. В то же время религиозная практика Солженицына отмечена существенными отклонениями от «первоисточника»: новозаветное «возлюби...» заменяется ветхозаветным «возненавидь врага», отчеканившимся в лагерном символе веры; «Не верь, не бойся, не проси!» — функции судии, духовника и воина одновременно узурпируются в ущерб смирению, кротости и «антикесарству» христианских подвижников прошлого; все, связанное с плотью, полом и т. п., подлежит крайнему отрицанию. Очевидно, что наряду с «вертикалью» культуры христианства религиозность Солженицына нуждается в прояснении «горизонталью» породившей его социально-культурной эпохи. Лагерь, откуда Солженицын вышел верующим человеком, по всем параметрам стал для него перевернутой моделью монашеского пустынножительства. Подготовительной ступенью к школе любви и всечеловеческого единения была у нас школа классовой ненависти. Эпоха «восстания масс» (антисоборность) и ее ведущий антропологический тип требовали компенсации в виде своей противоположности — диктатора, сверхчеловека, генералиссимуса незримого архипелага издательств, явок и целой армии «бойцов невидимого фронта». Ценностное предпочтение антропоцентризма, бестиального здоровья (душа упразднена «как медицинский факт») восполняется в личности и творчестве Солженицына проповедью крайней аскезы. Таким образом, А. Солженицын — христианин и дохристианин — предстает как парадоксальное отражение Системы, с которой борется. И в то же время

lib.pushkinskijdom.ru

религиозность, ставшая средством духовного самосохранения для писателя-мыслителя, всеми своими деформациями выправляет ценностный дисбаланс эпохи.

Доклад члена Санкт-Петербургского Русского исторического общества Е. В. Лукина «Русская идея и соловецкие сидельцы (за строкой «Архипелага ГУЛАГ»)» был посвящен обзору тех идей, которые обсуждались в 20-е годы участниками философско-религиозных кружков «Воскресение», «Братство преп. Серафима Саровского», «Космическая академия наук» и впоследствии послужили основой для обвинения в контрреволюционной деятельности философа А. А. Мейера, историка культуры Н. П. Анциферова, лингвиста И. Е. Аничкова, литературоведа Д. С. Лихачева и других русских интеллигентов, упоминающихся в романе А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» как узники Соловецкого лагеря особого назначения. В докладе, в частности, говорилось что на философско-религиозных собраниях активно обсуждалась предложенная В. С. Соловьевым концепция «русской идеи», согласно которой Россия в будущем должна положить все свои национальные силы на осуществление вселенского единства человеческого рода на основе Церкви Христовой. Повторяя вслед за В. С. Соловьевым тезис о необходимости признать «правду социализма», А. А. Мейер рассматривал предстоящий человечеству путь как реализацию Царства Божия на земле, выдвигал задачу коллективного творчества как главную в деле домостроительства Божия и высказывался в поддержку экономических и социальных преобразований большевиков, а также идеи мировой революции. Вместе с тем участники философско-религиозных собраний подвергали резкой критике идеологическую и духовную политику советской власти, называя ее властью Антихриста и определяя Интернационал как суррогат вселенского братства, подданные которого неизбежно становятся изменниками делу национального и всякого вообще творчества. Так, участник «Братства преп. Серафима Саровского» Д. С. Лихачев объявлял введение большевиками новой орфографии делом Антихристовой власти и заветной мечтой российской бесовщины. Осуждая гонения на Церковь и в то же время приветствуя грядущую мировую революцию как необходимый этап на пути реализации идей об общечеловеческой соборности, земном всеблаженстве и всеобщей Церкви, И. Е. Аничков в своем докладе «Россия и Антихрист», прочитанном на собрании «Братства преп. Серафима Саровского» в 1927 году, призывал не противиться антихристианской власти, но ожидать новой религии, которая синтезирует в себе христианство и ленинизм. При этом он ссылался на аналогичные высказывания в статье А. А. Блока «Владимир Соловьев и наши дни» (1921). В заключение Е. В. Лукин отметил, что сам А. А. Блок в своих дневниках указал на боязнь большевиков возможного слияния религии и социализма. В дальнейшем это привело к репрессиям против сторонников «русской идеи» В. С. Соловьева.

В содержательном докладе доктора филол. наук В. П. Муромского (С.-Петербург) «Из литературной полемики вокруг повести А. И. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“» нашла отражение та сторона дискуссии 60-х годов, которая тогда не всем была видна, но имела принципиальное значение для судьбы этой повести и ее автора. Речь идет о литературных произведениях, появившихся вслед за «Иваном Денисовичем» и вступивших с ним в своеобразный внутренний диалог: стихотворение «Метеорит» Н. Грибачева, повести «Пережитое» Б. Дьякова, «Барельеф на скале» А. Алдана-Семенова, — а также о письмах В. Шаламова Солженицыну 1962—1964 годов, где подробно проанализирована повесть последнего. Одни из названных писателей критиковали Солженицына как бы слева, с позиции, побуждающей сказать еще более жестокую правду о лагерях, другие — справа, с точки зрения сугубо ортодоксальной, согласно которой эта мрачная сторона советской действительности, раз уж она стала достоянием литературы, должна быть освещена светлыми образами лагерников-коммунистов. Построенные в соответствии с этой программой и с учетом солженицынских «промахов» повести Дьякова и Алдана-Семенова превратили лагерную тему, исключительно драматическую по своей сути, в еще одну оптимистическую трагедию. Изрядная доля тенденциозности этих авторов была продиктована как общим представлением о традициях советской литературы, так и конкретными политическими импульсами, возбужденными повестью об Иване Денисовиче. В то же время «Колымские рассказы» Шаламова, которые действительно могли бы обогатить лагерную тему (даже по сравнению с Солженицыным), из-за цензурных препятствий долгое время так и не могли пробиться в печать. Ощущая некую заданность и даже спекулятивность трактовки этой больной для общества темы, Солженицын почувствовал потребность выйти за пределы одного дня жизни своего героя и сказать всю доступную ему правду о лагерях. Так возник замысел книги «Архипелаг ГУЛАГ». Созданием этого уникального произведения писатель как бы подвел черту под многолетней дискуссией вокруг «Одного дня Ивана Денисовича», расставил в ней свои акценты.

«Обо мне лгут как о мертвом», — с горечью признался однажды автор «Архипелага ГУЛАГ». Объяснению полярных и противоречивых суждений о жизни и творчестве писателя было посвящено остро прозвучавшее сообщение канд. филол. наук В. И. Кузнецова (С.-Петербург) «А. И. Солженицын в критике „слева“ и „справа“». В мемуарной книге «Бодался теленок с дубом» и в дополнении к ней «Сквозь чад», в серии известных публицистических статей и других работах писатель отверг сложившиеся советские стереотипы мировоззрения и типы художественного соцмышления, что вызвало бурные дискуссии в бывшем СССР и за рубежом. Основы для будущих непримиримых словесных баталий, считает В. И. Кузнецов, были заложены в статье Солженицына «На возврате дыхания и сознания» (по поводу трактата А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе...»), в которой писатель отвер-

lib.pushkinskijdom.ru

гал утопическую идею «обновленного социализма», отрицал интернационально-космополитический путь культурного прогресса и т. д. Резкое размежевание российских «левых» и «правых» произошло, полагает В. И. Кузнецов, особенно после появления эссе Солженицына «Образованщина», «Наши плюралисты», «...Колеблет твой треножник», «Как нам обустроить Россию», в которых вынесен приговор оторвавшейся от народа интеллигенции. И «левые» и «правые», заключает В. И. Кузнецов, причаливают к одному политико-интернационалистическому берегу, где нет нравственно-этического измерения личности. В своем гражданском и художественном служении новой России Солженицын утверждает «третий путь»: «национальное» есть для писателя единственно возможная форма бытия «универсального». Эта позиция Солженицына и вызывает, по мнению докладчика, нападки «слева» и «справа».

Канд. филол. наук В. Н. Запевалов (С.-Петербург) в докладе «М. Шолохов и А. Солженицын. К истории взаимоотношений» предпринял попытку осветить этот не поддающийся однозначному толкованию вопрос, привлекая неизвестные архивные материалы. В. Н. Запевалов подчеркнул, что вопрос о взаимоотношениях Шолохова и Солженицына — русских писателей разных судеб, характеров и мировоззрений — не сводится, как пытаются представить некоторые исследователи, лишь к проблеме авторства «Тихого Дона», когда Солженицын, реанимировав бытовавшую с 20-х годов легенду, обвинил Шолохова в плагиате. До сих пор этот вопрос, несмотря на многочисленные публикации московского журналиста Л. Колодного, которые должны были бы поставить наконец точку в длительной дискуссии, — продолжает оставаться открытым. Две стороны его — литературная и юридическая — взаимосвязаны. Юридическая сторона такова: коль нет прямых вещественных доказательств плагиата (а их действительно нет), а также общепризнанных косвенных, то эта проблема должна быть отнесена к разряду псевдонаучных. Отношения же писателей, отличавшиеся вначале взаимной симпатией и предельно осложненные в дальнейшем (в немалой степени этому способствовали резкие оценки Шолоховым пьесы «Пир победителей» и романа «В круге первом», а также его выступление по делу Синявского и Даниэля), породили крайне резкие отзывы друг о друге. Резкость этих оценок следует рассматривать с учетом остроты общественно-литературной и политической ситуации рубежа 60—70-х годов. По воле многосложных, весьма противоречивых и запутанных обстоятельств Шолохов и Солженицын оказались в ту пору на пересечении двух полярно противоположных тенденций общественного сознания и литературы. Писатели явились своеобразными полюсами идейной борьбы, фокусом преломления которой и стала поистине драматичная история их взаимоотношений.

Канд. филол. наук Г. В. Филиппов (С.-Петербург) в докладе «Трактат А. Солженицына „Как нам обустроить Россию“ и современное состояние нашей страны» отметил, что трактат, написанный в традициях исповедальной и проповеднической литературы («Житие протопопа Аввакума», «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, «Дневник писателя» Достоевского, «В чем моя вера?» Л. Толстого), во многом оказался пророческим. В нем нашли отражение мысли о судьбе государства многих деятелей России разной поры — И. А. Ильина, М. П. Драгоманова, Н. А. Левицкого, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, а также Г. П. Федотова, еще в 1947 году в статье «Судьба империи» предсказавшего неизбежность краха коммунистической России, ее распада приблизительно в границах, повторяющих Россию монархическую. С 9 лет Солженицын читал книги В. В. Шульгина, так что начало формирования историко-политической концепции писателя, пронизывающей романы «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Бодался теленок с дубом», а также трактат «Как нам обустроить Россию», приходится на более ранние годы, чем считалось прежде. Писательскую позицию Солженицына в трактате можно выразить словами: «Не могу молчать!» Докладчик подробно остановился на пророческих советах и призывах писателя, к которым не прислушались политические мужи страны. А Солженицын предрек многое. Главное измерение истории у писателя — нравственное. Высокий уровень деятельности всех государственных структур недостижим без установления над ними этического контроля (и в этом Солженицын утопичен). Весь трактат «Как нам обустроить Россию» по содержанию двойствен: здесь и резкая критика, и розовые надежды. «Когда Солженицын заявил о намерении возвратиться на родину, — признается докладчик, — у меня возникла мысль: не ждет ли его судьба М. Горького, оказавшегося в сетях коварства Сталина в 1928 году?» Ответ на вопрос дала телевизионная передача беседы Солженицына с С. Говорухиным, фрагменты которой были опубликованы на страницах газеты «Русская мысль». Г. В. Филиппов подробно остановился на ошибках российского правительства, которые, как считает Солженицын, сравнивший современное положение России с февралем 1917 года (произошел «сухой расстрел страны»), привели к распаду государственности. Далее, рассматривая публицистические работы Солженицына, докладчик обратил внимание на особенности поэтики писателя. Свое выступление Г. В. Филиппов закончил словами Гоголя о роли писателя в обществе, которые процитировал в трактате Солженицын.

С сообщением «Второе действие „Красного колеса“» выступил писатель П. Г. Паламарчук (Москва). Интересно прозвучало на конференции выступление А. Н. Стрижова (Москва), поделившегося воспоминаниями об А. И. Солженицыне.

В ходе обсуждения докладов участники конференции подчеркивали актуальный характер выдвинутых проблем творческой биографии А. И. Солженицына.

В. Н. Запевалов

lib.pushkinskijdom.ru

НОВЫЕ КНИГИ

А н д р е е в а **Г.Т. Творчество Н.С. Лескова. Пособие по спецкурсу.** Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1992. 125 [2] с.

Бахтин М.М.: проблемы научного наследия. Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: С.С. Конкин (отв. ред.) и др.]. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 1992. 158 [1] с.

Болдинские чтения [1989]: К 70-летию проф. Г.В. Краснова. [Материалы]. Нижний Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. 185 [2] с.

Б у л а н о в **А.М. «Ум» и «сердце» в русской классике: Соотношение рационального и эмоционального в творчестве И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.** Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. 157 [1] с.

Б у р а н о к **О.М. Драматургия Феофана Прокоповича и историко-литературный процесс в России первой трети XVIII века: Учеб. пособие по спецкурсу.** Самара: Изд-во Самарского гос. пед. ин-та, 1992. 76 [2] с.

В е р т л и б **Е. Русское — от Загоскина до Шукшина (Опыт непредвзятого размышления).** [Вступ. ст. А. Панченко]. СПб.: Б-ка «Звезды», 1992. 403 [2] с.

Г о р д и н **М.А. Владислав Озеров.** СПб.: Искусство, 1991. 206 [2] с.

Г о р с к и й **А.А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». Историковед. и ист.-культ. проблемы.** М.: Ин-т рос. истории, 1992. 169 [3] с.

Д е м ч е н к о **А.А. Н.Г. Чернышевский. Науч. биогр.** [В 3-х ч. Ч. 3. 1859—1864]. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. 329 [2] с.

Д о с т о е в с к а я **Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери.** [Пер. с нем. Вступ. ст., подгот. текста и примеч. С.В. Белова]. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. 244 [1] с.

Д у м о в а **Н.Г. Московские меценаты.** М.: Молодая гвардия, 1992. 333 [2] с.

Ж о л к о в с к и й **А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма.** М.: Сов. писатель, 1992. 429 [1] с. (Слово и культура).

И е з у и т о в а **Р.В., Л е в к о в и ч Я.Л. Пушкин в Петербурге.** Л.: Лениздат, 1991. 348 [2] с.

Исследования по истории литературы и общественного сознания феодальной России: Сб. науч. тр. Отв. ред. Е.К. Ромодановская. Новосибирск: Наука, 1992. 205 [3] с.

Классическое наследие: методология исследования. [Литературоведение. Науч. ред. П.И. Ткачев]. Минск: БГУ, 1992. 107 с.

Легенды старого Петербурга. [Сборник. Сост., примеч. М. Файнштейна]. М.: Панорама, 1992. 140 [2] с.

М а н н **Ю.В. Семья Аксаковых: Ист.-лит. очерк.** [Для ст. шк. возраста]. М.: Детская лит-ра, 1992. 399 [1] с.

М и л ь д о н **В.И. Открылась бездна... Образы места и времени в классич. русской драме.** М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992. 349 [2] с.

Народная и литературная сказка. Межвуз. сб. науч. работ. [Редколлегия: В.И. Кодухов (отв. ред.) и др.]. Ишим: Ишимский гос. пед. ин-т, 1992. 198 с.

Н а у м о в **А.В. Посмертно подсудимый.** [Об А.С. Пушкине]. М.: Рос. право: МП «Вердикт», 1992. 335 с.

От Пушкина до Белого. Пробл. поэтики русского реализма XIX—нач. XX в. [Межвуз. сб. Под ред. В.М. Марковича]. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992. 303 [1] с.

П а л е е в а **Н.Н. Проблема личности в русской классической драматургии (Филос. аспекты).** М.: Искусство, 1992. 158 с.

По страницам некрасовских журналов: Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: Л.А. Розанова (отв. ред.) и др.]. Иваново: ИвГУ, 1991. 171 с.

Пушкин: проблемы поэтики. Сб. науч. тр. [Редколлегия: Ю.М. Никишов (отв. ред.) и др.]. Тверь: ТГУ, 1992. 133 [2] с.

Роман и повесть в классической и современной литературе. Межвуз. научн.-тематич. сб. [Редколлегия: Н.А. Горбанев (отв. ред.) и др.]. Махачкала: ДГУ, 1992. 180 с.

Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьев. [Сборник. Сост., отв. ред. и автор вступ. ст. А.Ф. Замалеев. Послесл. В.Д. Комарова]. СПб.: Наука, 1991. 363 [1] с.

Русская литература XIX в.: метод и стиль. [Сб. ст. Редколлегия: Е.К. Озмитель (отв. ред.) и др.]. Фрунзе: КГУ, 1991. 139 с.

Русский авантюрный роман 1-й половины XIX века. Метод. рекомендации для студентов филол. фак. пед. ин-тов. [Сост. И.И. Доценко, И.В. Черный]. Харьков: ХГПИ, 1991. 26 [1] с.

А б е л ь т и н **Э.А. Народная душа живая... О нравств. проблематике прозы писателей Красноярского края.** Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1991. 117 [2] с. (Поэтич. слово Сибири. Вып. 3).

А н т о ш и н **К.Ф. О фольклорных истоках дилогии С. Курилова «Ханидо и Халерха» и «Новые люди».** Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1992. 52 [1] с. (Поэтич. слово Сибири. Вып. 3).

lib.pushkinskijdom.ru

А р б и т м а н Р.Э. **Живем только дважды. Заметки о фантастике.** Волгоград: П.О. «Полиграфист», 1991 (1992). 116 [3] с.

Г о л о в ч и н е р В.Е. **Эпический театр Евгения Шварца.** Под ред. Н.Н. Киселева. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1992. 183 [1] с.

Г о л у б к о в М.М. **Утраченные альтернативы: Формирование монистич. концепции сов. литературы, 20—30-е гг.** М.: Наследие, 1992. 199 [2] с. (Ин-т мировой лит-ры).

Д о р и н М.З. **Литературный цитатник.** М.: Прометей, 1992. 35 [1] с.

Д у н к а н А. **Моя жизнь. Моя Россия, Мой Есенин: Воспоминания.** Пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 396 [1] с.

И в и н с к а я О.В. **Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени.** М.: Либрис, 1992. 461 [3] с.

К о ш е л е в а А.Л. **Поэт и время: Современная поэзия Красноярского края: Р. Солнцев, В. Белкин, А. Федорова, З. Яхнин.** Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1991. 88 [2] с. (Поэтич. слово Сибири. Вып. 3).

Л о с с к а я В. **Марина Цветаева в жизни: Неизд. воспоминания современников.** [М.]: Культура и традиции, 1992. 348 с.

Любовь и смерть Сергея Есенина. [Сборник]. М.: МП «Дефант», 1992. 157 [1] с.

М и л ь д о н В.И. **Бесконечность мгновения: (Национальное в худож. сознании).** М.: Сов. писатель, 1992. 426 [2] с. (Слово и культура).

Проблемы детской литературы. Сб. науч. тр. [Редколлегия: Е.М. Неелов (отв. ред.) и др.]. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1992. 140 [1] с.

Русский фольклор Новоторъяльского района. Традиц. фольклор русского населения Новоторъяльского р-на Марийской ССР. [Сб. Вступ. ст. Т.А. Золотовой, А.Г. Иванова]. Йошкар-Ола: Респ. полигр.-ред. объединение, 1992. 71 [1] с.

Содержательность форм в художественной литературе: Пробл. поэтики. Межвуз. сб. науч. ст. [Редколлегия: Л.А. Финк (отв. ред.) и др.]. Самара: СГУ, 1991. 182 с.

Т у м а н с к и й Е.М. **Павел Васильев, каким его не знали..., 1927—37 гг. Докум. повесть.** Самара: Книжное изд-во, 1992. 111 [1] с.

Ф е д о с е е в а Л.Г. **Марина Цветаева. Путь в вечность.** М.: Знание, 1992. 63 с.

Философия М.М. Бахтина и этика современного мира: Сб. науч. ст. [Редколлегия: Р И. Александрова, О.В. Брейкин (отв. редакторы) и др.]. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 1992. 112 [1] с.

Мифологический словарь. Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Большая Рос. Энциклопедия; [Тольятти]: Лада-Маком, 1992. 736 с.

Технический редактор *Е.А. Полякова*
Корректоры *О.И. Буркова, Л.Б. Наместникова, М.В. Орлова* и *Э.Г. Рабинович*

Сдано в набор 19.05.93. Подписано к печати 28.02.94. Формат 70 x 100 $^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.80. Усл. кр.-от. 21.16. Уч.-изд. л. 27.10. Тираж 7695. Тип. зак. 68. С 680

Оригинал-макет изготовлен в компьютерном издательском центре «Наука»

Компьютерная верстка *Н. Ю. Травкина*

199034, Санкт-Петербург, В-34, 9 линия, 12
Тел.: (812) 213-35-59

Санкт-Петербургская издательская фирма ВО «Наука»
199034, С.-Петербург, В-34, Менделеевская линия, 1. Редакция журн. «Русская литература», тел. 218-16-01

Санкт-Петербургская типография № 1 ВО «Наука»
199034, С.-Петербург, В-34, 9 линия, 12

lib.pushkinskijdom.ru